Облака

Калужский литературный альманах

2
2019

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

Калужский
литературный альманах

2

КАЛУГА
2019

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 2. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2019. — 336 с.
ISBN 978-5-907177-06-2

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
40oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-907177-06-2
9 785907 177062

© Авторы. Тексты, 2019
© Трунин А. В. Составление, 2019
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2019

ВМЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА

— Кто наш читатель? — угрюмо спросил Игорь Красовский, когда мы собрались обсуждать концепцию альманаха, который вы сейчас держите перед собой. Я заметила, что в последнее время он предпочитает мыслить конкретно. Да и в стихах у него — конкретно прижились конкретные начальницы жилуправления, диспетчеры такси, сантехники, гопники и даже конкретный инвалид с базедовой болезнью. Про них написано, но, вероятно, они читать нас не будут. Хотя — кто знает.

А рядом с ним сидел Владимир Обухов — мастер по абстрактному мышлению, он только недовольно фыркнул и пожал плечами. Для него, видимо, конкретный читатель — вещь совершенно абстрактная. Зачем читатель тому, кто каждый день разговаривает с вечностью и пишет «белым по белому», как в его стихах — «Я белилами по белому полотну пейзаж пишу...»

Белым по белому — это всё равно, что писать палочкой на песке под шум прибоя: набежит волна — и вот уже ничего не осталось от твоей строчки, её проглотило море и тихо перекатывает по волнистому дну подальше вглубь. Это всё равно, что сочинять и не записывать: быть то ли щедрым таким, то ли дурачком, не понимающим ценности поэтических или прозаических откровений. Или складывать их в наволочку, как Велимир, а потом потерять её при переезде (не Хлебниковым единым жив человек).

Вот и издавать этот «бумажный» альманах в век компьютерный, виртуальный — всё равно что пускать по морю бутылку с сигналом «SOS!» — вдруг кто найдёт, выловит её, обросшую мхом и ракушками, в каком-нибудь другом времени, другом мире, на другой планете.

— Кто наш читатель? — повторил Игорь. Юра Холопов только вздохнул. И молчал загадочный Саша Трунин, и отводила свои карие глаза Ольга Клюкина. Молчала комната, молчали стены, молчали книги, стоящие на полках. Только за окном привычно шумела улица, по которой текли машины, брели не томимые духовной жаждою пешеходы, неслись дети на самокатах и делал заоблачный пируэт на велосипеде какой-то отрок.

Кстати, об облаках. Они медленно передвигались по небу, как белые верблюды по синим барханам и тоже не знали, кто наш читатель и трудимся мы кому, тратя своё бесценное время, не получающее никакого денежного эквивалента.

Рядом со мной сидел Паша Тришкин. Он-то что тут делает? У него в этом альманахе не будет ни строчки, какой ему резон? Ни радости от новой публикации, ни славы. А вот сидит же ж. И очень серьёзно относится к тому, что выйдет к читателю. Поэтому и сам не торопится ни писать несозревшие мысли, ни печатать. Паша молчал, как и все, а может, вспоминал свои строчки:

Свет стоит свеч,
Но этот странный рок
Искать огонь за пазухой у строк
И не беречь...

— Давайте я напишу вступительное слово! — сказала я неожиданно. И кто меня за язык тянул? И все обрадовались, потому что вступительное слово всегда структурирует, задаёт направление, мысль, форму. А какой же альманах без формы?

Но как структурировать облака? Какие они должны быть — квадратные, круглые, шестиугольные? В какой размер должны укладываться, во сколько страниц? И кто, действительно, наш читатель? Мы потерялись во времени и в пространстве. Мы бродим на ощупь по бездорожью, как слепые, вытянув перед собой руки: ау, ау... где ты, кто ты? И если б мы не верили, что ты есть, что ты существуешь и тоже ищешь встречи с нами, наверное бы, мы бросили это безнадёжное дело, в котором, как ни странно, нам помогают структуры, министры, которые, как и Игорь, предпочитают мыслить конкретно, а вот же — помогают.

А, значит, наше дело — сейчас постараться и написать хорошо белым по белому, как тайными чернилами по белой бумаге, которые проявятся, если на них подышать, которые откроются, если согреть их своим вниманием, своим сердцем. Я не знаю, кто ты наш читатель, но я знаю, что у тебя есть сердце. Не торопись за этой гонкой, за суетой. Быть может, найдёшь там, где не ожидаешь что-то важное для души.

Открой эту книгу и подыши на эти строки.

Марина УЛЫБЫШЕВА

ПОЭЗИЯ
и
ПРОЗА

Марина Улыбышева

Марина Алексеевна Улыбышева — поэт, журналист. Корреспондент программы «Родной образ» на телерадиокомпании «Ника ТВ». Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских и в рамках Международной премии М. Волошина в номинации «Лучшая поэтическая книга 2014 г.» специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии». Награждена Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой, медалью Сергия Радонежского II степени и государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ПЕРЕКЛИЧКА

Храни моё Слово, славянская вязь.
Я билась в тенётах твоих словно язь.
Покуда клевало страну вороньё.
Пока шили дело на слово моё.

Но рухнули царства, сдались рубежи.
И правду мою утопили во лжи.
Назойливой мухой в селенье слепцов
она колотилась в сердца мертвецов.

Прося подаянья, как голь и рваньё,
на паперти слово стояло моё.
И, дико куражась, вертясь чумово,
прохожие хамы плевали в него.

Твоё достояние шло с молотка.
Но жизнь всё равно мне казалась сладка,
пока твой наследник, весь в пятнах чернил,
кириллицей имя имён выводил.

Я знала и знала, что вся не умру.
И норы точила и грызла кору
я с теми, кто свечкой горел на пиру,
трамвайною вишенкой жил на юру.

Покуда горчит и клокочет гортань,
язык мой из праха и пепла восстань.
Салютом сирень в поднебесье рвалась.
Царевич Димитрий был. Я родилась.

Исчезнет бумага, сгниёт береста,
и клёкот чужой преисполнит уста.
Я Слово Его напишу на песке
на рыбьем и птичьем своём языке.

Андрей Убогий

Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 г. в городе Железногорске Курской области, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы.

НАЧАЛО, ИЛИ SCRIBO ERGO SUM

Порой меня спрашивают — да и я сам спрашиваю себя — а зачем я пишу? Все попытки ответить в житейски-обыденном плане, как мы отвечаем на большинство возникающих перед нами вопросов, будут неубедительны, а то и попросту лживы. Ну, в самом деле: не из-за денег же я перепортил, за тридцать пять лет, целую гору бумаги и потратил на это так много сил, нервов и времени? «Литературных» денег — если какие-то крохи время от времени и перепадали — хватало разве на скромные посиделки с друзьями.

Так, может быть, я писал и пишу ради славы? В двадцать лет я, возможно, и поколебался бы, отвечая на этот вопрос: что таить, честолюбие свойственно юности. Но годы шли, книг, написанных мною, всё прибавлялось, однако ни с чем, хотя бы отдалённо похожим на славу в обычном её понимании, я так и не встретился — ограничившись, как говорится, широкой известностью в узких кругах.

Но писать тем не менее я продолжаю — зачем? Если это нелёгкое дело не приносит ни денег, ни славы — забирая при этом большую часть жизни — то какая нужда или сила заставляет меня почти каждое утро садиться к столу, чтобы начать день с написанных и зачёркнутых строчек? Этот вопрос стоит предо мною вот уже тридцать пять лет, и я ныне так же мало способен дать внятный ответ на него — как и в дни своей юности. Но и оставить его без попытки ответа я не могу: это было бы бегством от самого же себя.

И вот я подумал: если прямой и короткий ответ невозможен — то не пойти ли окольным путём? Не попытаться ли вспомнить о том, как я начал писать, о том, что я чувствовал и сознавал в те далёкие годы — чтоб из рассказа о собственном литературном начале, возможно, увидеть: что заставляло меня брать в руки перо и выводить на бумаге слова?

Вспоминаются сумерки. Отчего-то начало моей самостоятельной жизни — с тех самых пор, как я покинул родительский дом и поселился в общежитии медицинского института — было именно сумрачным, погружённым в невнятную смесь тьмы и света, яви и сна, бытия — как сказал бы философ — и небытия. Сумрачны были и пробуждения в комнате номер двенадцать — холодной и гулкой, с высокими потолками и серыми наледями на подоконнике — сонно-угрюмыми были студенты, бредущие утром по сумрачным коридорам общаги, сумрачны были ноябрьские серые улицы города, по которым тянул непрерывный и злой, пыльный ветер, сумрачны были залы анатомички, где на стенах висели портреты суровых великих анатомов, а в углу стоял желтоватый — тоже не очень весёлый — скелет; сумрачен был, наконец, формалином пропитанный труп, что лежал на столе, посередине учебной комнаты. Вообще, весь тот мир, в котором я жил в те давнишние годы (а уже началось и стремительно таяло последнее десятилетие советской эпохи), был, как я вспоминаю сейчас, окутан именно сумерками. Что ни возьми — вокзалы и улицы, обстановку столовых или пивных, коридоры различных контор, одежду людей или их, людей, лица — всё было серым и пыльным, изношенным и малокровным.

Да и у меня самого, шестнадцатилетнего юноши — не сказать, чтобы было светло на душе. И вот как о предметах, погружённых в сумерки, трудно понять, возникают они из потёмок или, напротив, растворяются в загустевающей тьме (всё зависит от времени суток) — так же и про себя самого я не мог точно сказать: исчезаю я — или рождаюсь? Растворяюсь ли я в этой сложной, густой, разъедающей смеси под названием «общая жизнь» — или, напротив, пытаюсь как-то выделиться из неё, нащупать то зыбкое и неуловимое — но при этом мучительно необходимое мне — что называлось «я сам»? Можно сказать, тот конфликт, под знаком которого проходил весь трагический русский двадцатый век — конфликт личности и коллектива — он разрывал моё юное сердце и мою неокрепшую душу. С одной стороны, я хотел верить тому, во что предлагалось и полагалось поверить — то есть в безусловную правоту коллектива и истину «общего дела»; но, с другой стороны, сердце чуяло в этом некий подвох и подмену и всячески сопротивлялось тому, чтоб раствориться, всецело и без остатка, в сумерках коллективного существования.

Не из этой ли непрерывной и тяжкой борьбы — борьбы с собою самим за себя самого — и появилось во мне это странное и полуосознанное желание: взять лист бумаги и что-то на нём написать? Причём написать не то, что требовалось от меня как студента — конспект, скажем, лекции или выдержку из учебника — а написать то, что хотел бы и мог написать только я сам (хоть я толком и не понимал, кто такой этот «я», что он хочет и что ему нужно). Так беременным женщинам порою чего-то мучительно недостаёт, и они в бессознательных поисках этого «недостающего» начинают есть землю или куски известковой побелки. Я, в сущности, тоже тогда был беременным — но собою самим, то есть собственной личностью, пусть пока неоформленно-слабой, но уже ощущавшей глубинный, мучительный долг стать собой, сказать своё слово…

Но это сейчас я пытаюсь облечь то, что происходило со мной, в форму более-менее внятных мыслей и фраз; тогда же, в юности, это выглядело просто комично. Я шёл в читальный зал студенческой библиотеки — она называлась «Аквариум» из-за круглых, как корабельные иллюминаторы, окон — усаживался за пустующий стол, клал перед собою раскрытый учебник или анатомический атлас — а рядом с этим учебником, как бы в его тени, пристраивал лист бумаги, на котором и пробовал написать это самое «нечто своё».

Вы спросите: что это было — «нечто своё»? И почему я так опасался, что кто-то, не дай Бог, заметит, чем я занимаюсь? Если ко мне приближался знакомый, я тут же совал свой листок под учебник и делал вид, что учу анатомию — то есть занимаюсь законным, дозволенным делом. А если случалось, что мой злополучный листок замечали и небрежно спрашивали: «Конспектируешь?» — то я поспешно кивал: «Конспектирую…»

Чего я стыдился? Но я чувствовал: то, чем я сейчас занимаюсь, есть дело настолько интимное, что мне легче пройтись по читальному залу в чём мать родила — нежели взять и прилюдно признаться, что я — страшно вымолвить! — сочиняю рассказ…

А иногда мне казалось, что я, наклоняясь над бумажным листком или пряча его под учебник, заслоняю рукопись не только от глаз однокурсников — но прячу и от сурового взора общаги, чьи пять этажей тяжело громоздятся буквально за моею спиной. Да, общежитие наше стояло впритык к библиотеке — и от неё, от общаги, было куда трудней утаить, что один из её питомцев затеял, по сути, измену: он пошёл своим собственным, независимым и одиноким, путём.

Но стыд и смутное осознанье того, что я дезертирую из рядов общей жизни — потому что чувствую зов куда более глубинного и изначального долга — это всё было ничто по сравнению с ужасом собственной немоты, с невозможностью выразить то, что ты хочешь и должен сказать. Я ведь не только не знал, к а к сказать то, что нужно, — но я не знал: ч т о же именно я должен сказать? Это было, как в той сказке — «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» — это было задачей, которую я был обязан исполнить, ещё даже не зная, в чём именно она состоит. Но задание, которое и само возникает в процессе своего выполнения, — это и есть сущность творчества: сотворенье небывшего, или «прирост бытия», по выражению Николая Бердяева.

Правда, о Бердяеве мы тогда и слыхом не слыхивали: идеология общего существования на дух не переносила это свободолюбивое имя. Мучиться собственной немотой приходилось, как всякому пишущему, в одиночку; и, как всякому пишущему, приходилось испытывать тот самый «страх перед чистой страницей», который, в своей глубине, есть ужас сознанья того, что ты, уже вроде бы и присутствуя в мире — ещё как бы не существуешь, ещё не доказал своей принадлежности к полноценному бытию.

О чём я пытался писать — изнывая, под сумрачным взором общаги, от одиночества и немоты? Поначалу это были записи о тех состояниях жизни, в которых мне чудилось нечто, прорывавшее саму ткань реальности — обветшалую,

пыльную, сильно побитую временем ткань — и выводившее душу туда, где было больше свободы и радости. Я пытался писать то о джазовой музыке — об отважной и обречённой атаке трубы, о лоснящихся потом щеках трубача, о блужданьях синкоп, словно ищущих выход из плена реальности — то о снегопаде в морозный и солнечный день, когда снежные иглы, искрясь, возникают из синего воздуха и плывут в лучах низкого солнца, оседая — ну как же без этого! — на ресницах какой-нибудь девушки, чьи глаза влажно мерцают, а каблучки оглушительно-резко скрипят по морозному снегу… Или писал, например, как огни семафоров отражаются в переплетениях рельс — я любил вечерами ходить на вокзал и смотреть, с переходных мостков, на пути, тепловозы, вагоны, пакгаузы, стрелки — как весь этот железнодорожный чугун горячо дышит угольной гарью и креозотом, и как в душе человека, который всё это видит и чувствует, ноет сладкая боль от желания ехать и ехать — неважно куда…

Но это сейчас из-под моей руки (всё-таки поднаторевшей в лирических описаниях) выходят более-менее складные фразы; тогда же, когда я начинал, всё то, что ложилось на клетки тетрадных листов, было вялым, зажатым, беспомощным и безнадёжным. И это тем более заставляло меня скрывать от знакомых свои литературные «штудии»: не хватало ещё всем узнать, что я не просто пишу — а пишу совершенную чушь!

Промучившись в безнадёжных попытках начала что-то около года, я написал нечто, показавшееся мне достойным чужого внимания. Это был рассказ под названием «Счастливый человек», в котором описывался день молодого прораба-строителя из небольшого посёлка (подразумевалось Стодолище, где мы летом работали в стройотряде) — день, заполненный самыми заурядными событиями и делами; но само постоянство и привычная незамысловатость этих обыденных дел представлялись мне неким подобием счастья. Позже я встретил у Джойса краткую формулу моего тогдашнего замысла: автор «Улисса» определил эту тему как «величие тривиального». И хоть на славу великого дублинца я не претендовал, но понёс-таки свой трёхстраничный рассказ в редакцию областной газеты. Называлась газета «Рабочий путь», а помещалась её редакция в здании обкома партии — главном здании города. О чём я думал и на что надеялся, входя со своими листками в это монументальное здание — оплот как раз той идеологии коллективного существования, против которой я неосознанно протестовал в своих одиноких писаниях? Сейчас-то мне просто смешно вспоминать того застенчиво-угрюмоватого юношу восемнадцати лет, который ступает по сумрачной лестнице, ищет редакцию, а затем с трудом открывает тяжёлую дверь с табличкой «Отдел культуры». Но тогда мне было не до смеха и не до иронических наблюдений. А жаль — ибо взгляд отстранённой иронии мог бы очень помочь при моём первом знакомстве с лицом, так сказать, официальной культуры. Представлял это лицо угрюмый, одутловатый и серый мужчина в костюме и туго подтянутом галстуке — который взглянул на меня исподлобья, с такой откровенною неприязнью, как будто его затошнило от одного моего появления. Теперь-то я понимаю, что этот работник культуры, скорее

всего, был с тяжёлого, что называется, «бодуна»; и принеси я вместо рассказа бутылку «Столичной» — мы вполне могли бы расстаться друзьями. Но я принёс то, что принёс, — и положил своего «Счастливого человека» на лакированный, тоже очень недружелюбно настроенный стол.

Обречённо вздохнув, человек с серым лицом тут же начал читать, не предложив мне даже присесть. Вот, наверное, с тех самых пор я и не выношу, когда при мне читают что-то моё: потому что немного бывало в моей жизни минут столь же тягостных и мучительно-длинных. Но читателю моего рассказа было, видимо, ещё хуже, чем мне: он тяжко вздыхал, тёр лоб рукой и становился мрачнее с каждой минутой. Никогда б не подумал, что чтение прозы способно настолько воздействовать на человека: казалось, что моего визави вот-вот стошнит на его лакированный стол. Наконец последний листок рассказа выпал из его пальцев, и мужчина спросил сиплым голосом:

— Что это?

— Рассказ… — ответил я столь же сиплым и столь же страдающим голосом.

— М-м-м… — застонал, как от зубной боли, работник культуры. — И о чём же ваш этот… рассказ?

— Он ни о чём, — сказал я честно и зачем-то добавил: — Он, скорей, против.

— Да? — мой собеседник с удивлением поднял одну бровь (поднять обе у него, видимо, не было сил). — И против чего же?

— Он против ядерной войны, — произнёс я, с облегчением осознавая, что говорю очевидную глупость и что ноги моей больше не будет в этом отделе культуры.

Человек в галстуке хмыкнул и пододвинул мне рукопись:

— Знаете, что: а идите-ка вы…

Я бы нисколько не удивился, если бы он послал меня на три общеизвестные буквы; но в последний момент мой собеседник сдержался и смягчил выражение:

— А идите-ка вы… в литературное объединение!

Я выходил из редакции со странным и смешанным чувством только что пережитого унижения, но и с ощущением вдруг открывшейся мне — очень важной и нужной — свободы. И я тогда твёрдо решил, что никогда, ни за что не вернусь не только в это здание или эту газету — но никогда в жизни не пойду ни в какое литературное объединение.

После визита в «Рабочий путь» — с которым, как оказалось, мне вовсе не по пути — я продолжал жить странно раздвоенной жизнью. Один «я» был правильным медицинским студентом и предавался всем наслаждениям юности: учился и скромно кутил в ресторанах, тренировался (я был неплохим бегуном) и, как положено, волочился за девушками. Другой же «я» словно бы наблюдал за всем этим со стороны и думал: а как бы всю эту жизнь описать? Не то чтоб она была уж такою особенной или интересной; но я смутно чувствовал, что жизнь, как она есть сама по себе — без стороннего взгляда, который её наблюдает, и без попыток её описать — такая жизнь проходит словно впустую: она исчезает, как сон или дым.

Да ладно студенчество — время, сказать откровенно, почти всегда и у всех беспечное и бестолковое; но даже тогда, когда я получил медицинский диплом и вернулся в Калугу, чтобы работать врачом, — даже тогда меня не оставляло странное ощущение пустоты и никчёмности собственной жизни. Но это уж было и вовсе необъяснимо. Ведь я пропадал дни и ночи в больнице, я постигал хирургию со всей пылкостью и энергией молодости; я заявлялся домой лишь затем, чтоб поесть да поспать; я бредил типами хирургических швов и названиями инструментов; даже ночами мне снилось, что я оперирую — и, как во всяком кошмаре, с ужасом вижу, что делаю что-то непоправимое, но уже не могу ни исправиться, ни остановиться…

И вот вся эта жизнь, полная и настоящей работой, и смыслом, который нельзя отрицать — уж если работа хирурга бессмысленна, то бессмысленно всё вообще — вся эта полная и напряжённая жизнь тоже порою казалась мне сном или грёзой. Так и думалось: вот проработаю я лет, скажем, сорок, соберусь уходить на покой — и что вспомню тогда, оглянувшись в былое? Возможно, и вспомнить-то мне будет нечего, кроме лязганья ножниц и хруста зажимов, кроме брызганья крови из раны и скрипа узлов лигатур — да ещё разве глаз операционных сестёр над белыми масками…

А вот стоило мне склониться над чистой страницей — всегда ранним утром, когда только брезжил рассвет, — и попытаться оставить на ней хотя бы несколько строк — вот тогда моя жизнь (да и жизнь того мира, который меня окружал) становилась в моих глазах чем-то реальным и несомненным. Конечно, такое «восстановленье реальности» происходило далеко не всегда — чаще я перечёркивал то, что написано, и шагал на работу в больницу, как бы спасаясь от собственного бессилия и немоты, — но порою я всё же встречался с реальностью (то есть, по сути, с самим же собой); и все эти встречи происходили на белом, в помарках и строчках, бумажном листе.

За год после института я написал шесть небольших рассказов. И писались они, прямо скажем, мучительно. Это было похоже, уж если прибегнуть к избитой метафоре, на бесконечные роды, когда я пытался родить из себя — самого же себя. И та общая жизнь, отношения с которой я так непросто и долго выяснял в годы студенчества — она здесь была уже ни при чём: советская империя с её коллективной идеологией быстро катилась к упадку. Корень проблемы лежал куда глубже: он был скрыт в тех пластах бытия, где из первоначальной немóты рождается нечто — в нашем случае возникают слова на бумаге. Писание — это, по выражению Тютчева, «второе грехопадение нашего бедного разума» — воспринималось мною одновременно как долг — и соблазн. Начиная писать рассказ, я смутно чувствовал, что касаюсь чего-то такого, чего я пока недостоин, что могу замарать своим неумелым и грубым прикосновением; но стоило мне отказаться от литературных попыток и неделю-другую вообще не садиться к столу — как я ощущал себя дезертиром, покинувшим поле сражения.

Итак, я произвёл на свет шесть рассказов. Мой «новорождённый» был едва жив, чуть дышал, и на него трудно было смотреть без жалости, переходящей в брезгливость: именно так смотрел на эти рассказы я сам. Но этот

«заморыш» вызвал сочувствие ещё кое-кого — и, в первую очередь, моего отца, настоящего, уже безо всяких сомнений и оговорок, писателя. Повздыхав — сына было всё-таки жалко: уж очень за тяжкое и почти безнадёжное дело он взялся — отец показал мои опусы своим литературным знакомым — и те, как ни странно, отозвались вполне одобрительно. Дело дошло до того, что я начал собирать рукопись на Всесоюзное совещание молодых литераторов — и стал проводить целые вечера и все выходные дни за перепечатыванием и кропотливою правкой своих первых рассказов.

Детям компьютерной эры трудно представить, что это такое: подготовка машинописных копий литературного текста (которые тоже, по инерции, назывались «рукописями»). Им трудно представить даже то, как выглядела и как работала пишущая машинка — от которой у современных компьютеров осталась разве что клавиатура. В нашей семье таких машинок было две. Рукописи отца перепечатывала в основном моя мама — продолжая тем самым традиции семейства Толстых, где Софья Андреевна, несмотря на обременённость семьёй и бытом, без устали переписывала для своего великого мужа тысячи беспощадно исправленных им рукописных страниц. Моя матушка повторила — а в чём-то, возможно, и превзошла — трудовой подвиг Софьи Андреевны: ведь графине не приходилось пятьдесят лет работать врачом-психиатром, да ещё в отделении острых психозов.

Так вот матушка перепечатывала рукописи отца на немецкой машинке с женским именем «Эрика» — лёгкой, изящной и безотказной (какой и должна быть, по мнению многих мужчин, настоящая женщина). Мне же досталась «Москва», изделие отечественных мастеровых: тяжёлое и несуразное, как сама наша русская жизнь. Но, хоть каретка «Москвы» и была тяжела — допечатав строку, она с металлическим лязгом откатывалась, как орудийный затвор после выстрела — хоть рычаги «Москвы» то и дело слипались, и приходилось их разделять, пачкая пальцы о чёрную ленту, — но даже «Москва» представлялась мне чудом техники. Как много в ней было деталей — разных кнопок, винтов, рычагов и заклёпок — как она, после удара пальцем по клавише, выбрасывала — словно в канкане! — изящную ножку-рычаг с крошечной буковкой на стопе, и от торопливого топота этих букв-ножек по чёрной, ползущей рывками и пачкавшей белый лист ленте — на этом бумажном листе отпечатывались слова…

И вот этот эффект превращения неразборчивых строк рукописи в отчётливый текст — он неизменно меня изумлял. Даже казалось, что твой рассказ уже вышел в свет — раз он лежит в напечатанном виде. Или мерещилось, что там, внутри корпуса, в сложном сцеплении рычагов, живёт некий дух — дух печатной машинки. И если его как-нибудь разогреть-раззадорить — то он сможет печатать слова уже сам по себе, без оглядки на рукопись и на того, кто сидит за клавиатурой.

А ремонты «Москвы», с возвращеньем обратно на тяги слетевших пружин, с подгибанием тех рычагов, что слипались чаще всего, или с перемоткой скомкавшейся ленты? А чистка ватой со спиртом тех крошечных букв, которые засорились-забились настолько, что на месте некоторых отпечатывалось

только чёрное пятнышко? А «копирка», которую было так трудно достать, что каждый копировальный лист использовался до предела — когда он становился прозрачен, словно крыло стрекозы, а недостаток пигмента на нём ты восполнял тем усердием, с каким колотил по разболтанным клавишам?

В общем, на целые годы «Москва» стала моим верным спутником и почти другом. Но машинописный текст, прежде чем посылать его куда-либо, надо было исправить от опечаток, огрехов, от лишних слов — надо было, как говорили, «вычистить» рукопись. И вот вся кропотливая трудоёмкость этого дела теперь тоже с трудом представима. Ведь как теперь правят компьютерный текст? Стёр ошибку и написал заново букву, слово, строку — вот и вся правка. А некогда, в эру пишущих машинок, нужно было, найдя и отметив ошибки, распечатать «правильные» слова на отдельном листе, затем аккуратно их вырезать ножницами — и, окуная в клей спичку, сначала намазать, а после приклеить бумажку с исправленным словом поверх опечатки. А если ты захотел не просто убрать опечатки — а внести более серьёзную правку? Тогда приходилось перепечатывать и подклеивать целые строки или абзацы; с иных страниц свисала «лапша» из подклеенных строк.

Бывало, к концу такой нудной работы начинаешь прямо-таки ненавидеть собственный текст: до того он тебе надоел. И когда, наконец, отнесёшь рукопись на почту, а там её завернут в лист коричневой плотной бумаги, перехватят крест-накрест шпагатом, запечатают парой сургучных печатей, а потом бросят куда-то на полку, в сумрак почтовой кладовой, — тогда ты испытаешь такое облегчение, словно у тебя наконец сняли камень с души. Подумаешь: «Ну, слава Богу! Как говорится: с глаз долой — из сердца вон. Надеюсь, что с этой рукописью, так мне надоевшей, я больше не встречусь — пусть она путешествует где-то, сама по себе…» Но я тогда был слишком наивен: оказалось, что рукописи не только не горят — но они ещё и возвращаются.

Да, они возвращаются: в их природе, похоже, есть что-то общее то ли с ночными кошмарами, то ли с угрызениями совести. Правда, та моя рукопись, что я отправил на Всесоюзное совещание молодых литераторов, ко мне не вернулась: я сам настиг её в Москве жарким маем 1989 года.

В оргкомитете сказали, что все, кто желает, чтобы их творчество обсудили на семинарах, должны разыскать и забрать свои рукописи (присланные, как и моя, по почте, со всех концов огромной страны) — а лежат эти рукописи в доме Союза писателей, на третьем этаже, налево от лестницы. Что ж, заявился я на теперешнюю Поварскую (тогда она называлась улицей Воровского), в прославленный Львом Толстым «дом Ростовых». Пересёк круглый двор, по которому бродили, поодиночке и кучками, печальные и озабоченные люди разного возраста — это и были, наверное, молодые писатели — а затем поднялся по уютным старинным лестницам на тот самый третий этаж. И что же я там увидел? В торце коридора и впрямь налево от лестницы — не обманули! — была беспорядочно свалена груда бумаги. И по этой неряшливой груде, роясь в ней — буквально на четвереньках — ползали три некрасивые девушки с грустными лицами.

Действительно, было от чего опечалиться: в этой бумажной куче лежали сотни рукописей, каждая из которых была для их автора чем-то вроде ребёнка, любимого и долгожданного первенца. Сколько бессонных ночей, должно быть, проводили начинающие писатели — сочиняя, печатая и выправляя всё то, что сейчас высилось погребальным курганом макулатуры! Какие-то папки порвались, не выдержав всех испытаний, что выпали им на пересыльных этапах — и их содержимое лежало разрозненной россыпью мятых листов: как можно было спокойно на это смотреть? И я уж совсем был готов повернуться, уйти — не ползать же на четвереньках вместе с печальными поэтессами? — но вдруг, бросив взгляд под ноги, увидел знакомую папку. Да, это была она, моя рукопись: словно услышав шаги хозяина, она отделилась от общей свалки и из последних сил подползла ко мне. Так что ушли мы в итоге вдвоём: я — и изрядно потёртая папка с моими рассказами.

Что сказать о самом совещании? Проходило оно на северной окраине Москвы, в спортивном комплексе «Олимпийский». И вряд ли ещё когда-либо в одном здании собиралось такое количество литературно одарённых молодых людей. Интересно б узнать: как сложились их судьбы? Ведь с тех пор прошло без малого тридцать лет — и сменились эпохи. Многие ли из тех, кто шумели и спорили, пели и пили по коридорам, холлам и номерам «Олимпийского», остались и что-то сами оставили в литературе? Возможно, что и немногие: очень уж круто переломилась жизнь. Хотя, с другой стороны: может, именно литература и помогала людям держаться — когда всё вокруг рушилось? Ведь остаются в конце концов только слова; и можно считать то последнее Всесоюзное совещание чем-то вроде мобилизации войска, которому предстояло вот-вот отправляться в поход не просто в «незнаемые пределы», в чужие пространства — но в чужие, холодные и незнакомые времена.

Увы, «немного лиц мне память сохранила» — мало кого я могу отчётливо вспомнить из того молодого литературного ополчения, которое созывалось советской империей перед самым её, империи, крахом. Вспоминаю хорошего писателя и врача Ивана Алексеева, который меня подвозил до метро на своей вдрызг разбитой машине: в ней не было даже кресел, и сидеть приходилось на ржавом и громыхающем днище. Помню зеленоглазую, рыжую красавицу-калужанку Ирину Слепую, с которой мы всё подшучивали над нашими фамилиями.

— Вот только попробуй, Ирина, — говорил я ей — не назвать свою первую книгу «Прозрение»!

— Хорошо! — хохотала она. — Но только после того, как ты, Убогий, назовёшь свою «Исцеление»!

Вспоминаю омских поэтов — Марину Улыбышеву, Игоря Киселёва, Георгия Бородянского — и то, как мы с ними, выйдя на ночной балкон, орали монолог есенинского Хлопуши. А на соседних балконах тоже читали стихи, пели песни, спорили и объяснялись в любви — друг к другу и к литературе — и кто мог подумать, что этот громадный «Титаник», полный жизни, огней, голосов, — вот-вот натолкнётся на неотвратимый айсберг истории?

Закончились далеко не все обсуждения и семинары — совещание было в самом разгаре — а я вдруг, проснувшись на неудобном диванчике в холле, где меня ночью свалили усталость и хмель, почувствовал: всё, пора уезжать. Зов одиночества, всегда звучащий во мне — и было притихший на фоне имперского литературного карнавала, — сделался так силён и настойчив, что я поспешно умылся, взял сумку и вышел. Солнце только что встало; курился туман; громадное здание «Олимпийского» ещё спало мертвецким сном хорошо подгулявшего человека.

Чувствуя редкую бодрость — пора, пора было мне возвращаться в свой мир и в свою привычную жизнь! — я зашагал в сторону речного канала. Но тут же встретил Владимира Личутина, коренастого и ещё почти молодого: он шёл в «Олимпийский» — продолжать обсуждения начинающих. Я поздоровался. Личутин узнал меня — именно в его семинаре я накануне заслужил несколько похвальных слов мэтра — и удивлённо спросил:

— Куда это вы так рано?

— Пора на работу, — ответил я.

— А кем вы работаете?

— Хирургом.

— Да, это серьёзно, — уважительно покивал бородою Личутин. — А сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Ну-у… — автор «Раскола» махнул рукой, как бы отпуская меня на все четыре стороны. — У вас ещё всё впереди!

Действительно, у меня впереди было много всего; но кое-что было и позади: например, та страна и тот мир, в которых я вырос. До метро «Речной вокзал» тогда ходил катер — и я решил побаловать себя прогулкой по каналу имени Москвы. И вот когда я, опираясь о поручень, стоял на палубе катера и смотрел, как отдаляются травяной склон берега и дебаркадер, — мне мерещилось, что от меня отплывает нечто большее, чем просто берег и пристань. Сейчас-то я понимаю, что удалялась ни много ни мало — эпоха, со всем её осязаемым и неосязаемым содержимым и с теми людьми, что её создавали и обживали. Там, на другом берегу, оставались октябрятские звёзды и пионерские галстуки, ленинские субботники и кумачовые стяги над колоннами демонстрантов, оставался Гагарин со своим знаменитым шнурком на ковровой дорожке, оставалась «Пионерская правда» с «Советской Россией» — оставалось так много всего, что и жизни не хватит на то, чтоб припомнить все эти черты и детали эпохи.

И там, отдаляясь всё более, оставалась литературная жизнь — та, с которой я расставался в это погожее утро, ещё не успев толком встретиться. Эта жизнь была очень сложна и богата: в ней были издательства, книги, журналы с огромными тиражами, редакции и редакторы, критики и литературные объединения, были Всесоюзные совещания молодых литераторов — последнее из которых я как раз покидал — и в ней были, что самое главное, миллионы читателей. Такое уж точно никогда больше не повторится — и никогда рассказ или повесть, напечатанные в каком-нибудь толстом журнале, не будут,

уже через несколько дней, предметом горячего интереса и обсуждения миллионов людей, от Камчатки до Калининграда.

Прошёл всего год с той поездки в Москву — и литературная жизнь сказала мне своё окончательное «прощай». В один день — это надо же так совпасть! — я получил по почте сразу две своих рукописи, вернувшиеся из московских издательств: одну из «Молодой гвардии», а другую из «Современника». Причём это были рукописи, уже имевшие положительные редзаключения: кто помнит тогдашние литературные правила, тот знает, что на этом этапе автор уже вполне мог праздновать выход книги и брать деньги в долг под будущий гонорар. А для молодого писателя выход двух книг во всесоюзных издательствах означал бы, что жизнь вполне удалась: и в плане материальном, и в отношении так называемой славы. И вот, полный сладких надежд, я получаю сразу два нокаутирующих удара. К вернувшимся рукописям прилагались короткие письма примерно одинакового содержания: редакция-де считает рукопись интересной и достойной издания, но из-за острого дефицита бумаги и урезания издательских планов откладывает сотрудничество — до лучших, как говорится, времён.

Хорошо, что я тогда много работал в больнице и на литературные переживания у меня не было ни досуга, ни сил: честно сказать, я толком и не осознал, что же именно произошло. Это уж после я догадался, что эти две тяжёлые бандероли пришли ко мне как бы из небытия — из того советского прошлого, в которое никому и никогда больше не возвратиться.

Но жизнь, как ей и положено, продолжалась. У нас с Еленой рос сын — сидя возле его кроватки и покачивая её, когда Димка плакал, я и написал свою первую повесть — и я сутками работал в больнице, а после дежурств, возбуждённый усталостью и недосыпом, шёл париться в наши калужские бани.

Появление их вот на этих страницах ничуть не случайно. Парилки Калуги сыграли важную роль не только во всей моей жизни — не знаю, как бы я выдерживал все её тяготы, не оказывайся время от времени под берёзовым веником, на горячем полке — но именно бани, можно сказать, открыли мне двери в литературу.

А было так. На одном из Пушкинских праздников в Полотняном Заводе — это главное из событий калужской культурной жизни — я разговорился с Мариной Улыбышевой, поэтессой из Омска, как раз к тому времени перебравшейся в нашу Калугу. И, помню, начал рассказывать ей про калужские бани — действительно, уникальные бани, со своими особыми правилами, особой манерою париться, с веками отлаженным ритуалом и с особенным, можно сказать, мировоззрением. Я так увлёкся рассказом, что начал уже и размахивать воображаемым веником: меня подхватило, как говорилось встарь, крыло вдохновения. Марина слушала, то широко открывая глаза, то смеясь — пока наконец не сказала:

— Слушай, да ты вот про это самое и напиши!

Я удивлённо замолк, и в меня вдруг вошло осознанье того, до чего же громадная сила и истина заключается в этом немудрёном совете. Эта фраза,

по сути, решила всю мою литературную жизнь и судьбу: я понял, что писать нужно только о том, что ты любишь. И я словно увидел, в каком-то пока размывчатом контуре и перспективе, образы всех своих будущих книг. И, пусть предмет описаний в них будет самым обыденно-скромным — таким, например, как калужские бани, — но, если ты искренне любишь то, о чём пишешь, ты всегда найдёшь в этом предмете истину и красоту. И что ещё важно — такой литературе не нужно ничего, кроме неё самой: она сама есть собственная цель. То есть не нужно ни публикаций, ни гонораров, ни славы: нужна лишь возможность писать то, что ты хочешь — по свободному зову души.

И вот как-то в отпуске — выдался погожий сентябрь — я поехал с отцом в его родной Тим, небольшой посёлок на Курщине, где тогда ещё, слава Богу, жила моя бабушка Мария Павловна. Была у нас и конкретная задача — выкопать бабушкину картошку — но, кроме того, я надеялся взяться там за очерк о банях Калуги.

Жить и писать я устроился в дровяном сарае: половина его, от пола и до потолка, была забита дубовыми чурками — будущим топливом бабушкиной печи — а в другой половине едва помещались кровать, стул и стол под синей клеёнкой. Лучшего места для жизни и для работы у меня никогда не бывало: главное, я там был совершенно один, ничто бытовое меня не отвлекало (предметам быта в сарайчике просто-напросто не было места) — и, кроме того, на крышу время от времени с глухим стуком падали и катились антоновские яблоки, наполнявшие весь сарай своим упоительным запахом.

Я просыпался, едва начинало светать — от петушиного крика и бормотания горлинок и ещё от желания поскорее сесть за работу. Пока закипал чайник, я делал в саду некое подобие утренней зарядки. Было ясно, свежо, и смородинные кусты, стоило задеть их рукой, осыпались дождём ледяной росы. Трудно сказать, что пахло сильнее: эти потревоженные смородинные кусты, пожухлая ботва на картофельных грядах — или антоновские яблоки, которые словно светились в траве под деревьями? Но скоро ко всем этим бодрым утренним запахам добавлялся ещё один: запах крепкого чая. И это был знак, что пора усаживаться за стол. На его синей клеёнке появлялась стопка тетрадных листов, дешёвая шариковая авторучка и чайная чашка: белая, в красный горошек, до краёв полная терпким дымящим настоем. Вот на этих трёх китах — бумага, ручка и чашка чая — и держалось моё утреннее мироустройство. Сделав пару глотков, я брал авторучку, медленно приближал её к синим клеткам бумаги — и окружающее отдалялось, а затем и вовсе переставало существовать. Больше не было ни дровяного сарая, ни синей клеёнки шаткого столика — а была приоткрытая дверца банной печи, малиново-сумрачный свет, исходящий от раскалённых камней, было звяканье шайки и плеск воды в ней, был бросок — и короткий, глухой выдох пара, от которого сумрак парной содрогался, а парильщики, тесно сидевшие на нижнем порожке, ещё сильнее склонялись и прятали лица в колени…

Ничего подобного раньше со мною не происходило. Мне больше не приходилось мучиться немотой и бессилием, подбирая слова: нет, слова теперь сами легко находили меня и вели за собой. Что писать, как писать — теперь

вовсе не думалось: текст ложился строка за строкой так легко, как будто он и раньше существовал вот на этих тетрадных страницах — и теперь проступал на бумаге, как проявляются симпатические чернила.

Поразительно, но тот текст о банях, что я написал в эти бодрые, ясные утра в Тиму, мне вовсе не приходилось править — это при том, что обычно правлю я много и мои рукописи пестрят помарками. За утро я писал по одной небольшой главе; всех глав получилось четырнадцать — вот и вышло, что за две недели отпуска я как раз закончил банную рукопись. Когда ставил точку и откидывался на спинку стула, завершая очередную главу, — то с удивлением видел, что вместо туманного зябкого утра в Тиму царит уже солнечный и почти жаркий день. Петухи замолкали, зато горлинки бормотали почти беспрерывно; на кухне, через двор от сарая, гудел бабушкин примус, и сама она во фланелевом тёмно-вишнёвом халате хлопотала у разделочного стола, готовя нам с отцом завтрак. Я до сладкого хруста потягивался, выходил из сарая, подбирал с земли яблоко и сочно вгрызался в его сладко-кислую мякоть, с наслаждением чувствуя, что уж это-то яблоко я, без сомнения, заслужил.

После завтрака мы с отцом копали картошку, а после, смыв пыль и пот, шли в центр посёлка, к пивному ларьку. И вот эти пивные прогулки по Тиму, они были тоже честно заслужены — той утреннею работой, возбужденье которой ещё длилось во мне. И поэтому всё, что я видел, казалось особенно ярким и выпуклым, новым: можно было подумать, что я, отработав свои три-четыре часа, каким-то мистическим образом соучаствовал и в сотворении того ясного полдня в Тиму, по которому мы с отцом сейчас медленно шли, поддавая ногами сухую листву тополей. Отец, как тимской старожил, знал почти всех в посёлке и сопровождал прогулку рассказами о послевоенном детстве, и о судьбах тех поселян, рядом с которыми ему довелось жить. Эти рассказы складывались, в своей совокупности, в целое эпическое полотно; до сих пор мне кажется, что отец мог бы выстроить из послевоенного Тима что-то вроде фолкнеровской Йокнопатофы, сложить неторопливо-подробную сагу об этих, степных и былинных, местах.

Да и в том, как мы ждали очереди у пивного ларька, как потом пили пиво — тоже было нечто эпическое. Всё происходило подробно и неторопливо — как в истинном эпосе. Ведь эпосу спешить некуда: он всегда пребывает у цели — а целью ему служит жизнь. Вот мы и наблюдали неторопливо-подробную поселковую жизнь, сами являясь её неотъемлемой частью. За ларьком был широкий, как поле, пустырь; на краю его были сложены бетонные плиты — на них мы и сидели, как на скамьях античного театра, — а через пустырь брели поселковые жители: их продвиженье в пространстве напоминало прохождение ими их собственной жизни. Кто-то шёл бодро (таких было мало), другой плёлся устало; кто-то шагал налегке, а кто-то тащил мешок неудобной поклажи; кто-то выписывал пьяные петли, а кто-то шагал напряжённо, как будто преследуя ускользавшую цель. Но все — молодые и старые, мужики, бабы, дети — все они одолевали простор пустыря с очевидным усилием, отдавая ему — пустырю и простору — часть своей жизни. И вот это

общее усилие преодоления, оно оставалось как будто висеть над пожухлой травой — над гусятником и подорожником, над полынью и пижмой — как некий длящийся и едва слышный звук, как невидимый след человеческой жизни; и ты понимал, что твоё ощущение этого звука (в ином состоянии вовсе не слышного) — это и есть твоё чувство родины…

В ту погожую осень в Тиму я обрёл главное: собственный голос. Это и впрямь было похоже на исцеление от немоты: когда после невнятных мычаний, после попыток хоть что-то сказать и отчаяния от невозможности выразить то, что ты хочешь, — речь потекла, как прорвавшийся через запруду ручей, торопливо и жадно хватая и унося с собой всё, что попалось ему на пути.

Но и всё-таки, хоть я выше и написал о разлуке с литературною жизнью, я чувствовал: собственная книга мне необходима. Пусть самая скромная, пусть вышедшая мизерным тиражом — но книга была бы тем пропуском в жизнь (причём вовсе не «литературную», а настоящую), без которого я продолжал бы чувствовать собственную невоплощённость и как бы неполноценность. Признаюсь: для меня, молодого, все люди делились даже не столько по национальным или половым признакам, сколько по признаку куда более важному: человек написал свою книгу — или он так и прожил жизнь без собственной книги. И это деление, на первый взгляд столь надуманно-произвольное, — несёт в себе, если вдуматься, глубокий онтологический смысл. Человек с собственной книгой — это тот, кто сумел воплотить (пусть неполно и приблизительно, бледно и слабо) то творческое начало, что Создатель вложил в нас, когда мы появились на свет. Причём «книга» — вовсе не обязательно именно книга: в её роли может выступить песня или картина, построенный дом или исполненный танец, научная формула или благоухающий сад. Под «книгой» я понимаю любой воплощённый и закреплённый в реальности творческий акт — но именно воплощённый, а не оставшийся в области чистой мечты и потенции. И я до сих пор думаю, что человек, проживший свою жизнь без «книги», — не исполнил возложенной Богом задачи.

А уж если ты занимаешься литературой уже десять лет — в молодости этот срок почти равен вечности — но у тебя ещё нет собственной книги, то ты начинаешь задумываться: а существуешь ли ты вообще? Может быть, то, что ты пишешь — и что тебе даже снится ночами, в виде ползущей перед глазами полосы бесконечного текста — есть морок и бред, есть какое-то лишь помешательство, от которого следует освободиться? Но когда ты бросал свою «писанину» и неделю-другую не садился к столу — жизнь становилась совсем уж пуста и бессмысленна.

И вот именно книга, о которой так грезилось, — она, как ты верил, могла бы прорвать пелену твоего затянувшегося «полусуществования» и явиться твоей дверью в мир. Но какая там книга, когда вот они: две папки с рукописями, возвращёнными из московских издательств, и вот они — два письма (они и доселе лежат где-то в старых бумагах), из которых ясно, что в обозримом будущем никакой моей книги не выйдет.

Но тогда, может быть, взять да издать её самому? Времена изменились, и не только в худшую сторону: теперь издание собственной книги перестало быть делом подсудным и рассматриваться почти как попытка государственного переворота. И если уж полноценную книгу издать мне не под силу — где взять деньги доктору, которому месяцами не платят зарплату и чья семья едва сводит концы с концами? — то не попробовать ли издать что-то вроде брошюры: вот, например, те банные очерки, что я так увлечённо писал в Тиму?

Идея возникла, и дело было за малым: как её осуществить? И вот тут меня снова выручила медицина. Среди пациентов оказались и те, кто работали в типографии, и те, кто имел отношение к производству бумаги. Не стану описывать многочисленных встреч, разговоров и согласований, которыми я занимался осенью 1990 года, вспомню лишь несколько эпизодов той осени, которые до сих пор греют память и душу.

За рулоном дешёвой бумаги я отправился в Кондрово — посёлок, где и во времена Пушкина и Гончаровой велось бумажное производство. Может, когда-нибудь я опишу эту гулкость фабричных цехов, эти чаны, где мокнет и хлюпает макулатура, опишу сквозняки, полумрак, рёв погрузчиков-каров, опишу блеск и вращение мокрых цилиндров, по которым нескончаемо льётся бумажное полотно. Но тогда мне был нужен итог всего этого сложного процесса: огромные рулоны бумаги, стоявшие у дверей погрузочного цеха. Весил такой рулон килограммов триста-четыреста; но я видел, как ловко рабочие катают их по цеху, кантуют, ставят «на попа» и вновь валят набок, чтобы перекатить на новое место. Полюбовавшись на эти богатырские игры, я пошёл в заводоуправление, нашёл там директора, и тот как-то очень легко выписал мне бумагу.

— Забирай! — сказал он дружелюбно. — Вы помогаете нам — а мы вам!

Я, конечно, был счастлив — но как же мне было доставить бумагу в Калугу, за пятьдесят вёрст отсюда? Ни машины, ни денег, чтобы нанять грузовик, у меня не было. Я стоял, растерявшись, в приёмной директора, держа в руках драгоценную накладную на триста пятьдесят килограммов бумаги — и мне стала являться диковатая мысль: а не докатить ли мне свой рулон до Калуги, шагая да подталкивая его по обочине шоссе? Ведь я видел, как рабочие сноровисто катают бумагу и за смену «накатывают», возможно, несколько километров; так что ж я не прокачу пятьдесят? Ну, пусть на это уйдёт дня три-четыре — неужели я не потружусь для первой собственной книги? Воображение заработало, и я живо представил себе и затяжные подъёмы, когда придётся через каждые десять шагов подпирать тяжёлый рулон бруском-башмаком и стоять, привалясь к нему и отдыхая; представил дожди, которые я буду пережидать, укрывая себя и бумагу полиэтиленовой плёнкой; представил ночёвки, когда я буду отрывать от рулона клочки для растопки костра; представил, как будут сигналить и помирать со смеху водители всех попутных и встречных машин, свидетели этой комичной картины: когда человек, словно жук-скарабей за навозным комком, шагает-корячится за огромным рулоном бумаги…

Но не случилось мне совершить этот подвиг жука-скарабея — о чём я, признаться, немного жалею. Одна из общительных женщин-снабженцев, получавшая бумагу для макаронной, помнится, фабрики — заметила мою растерянность, выяснила, в чём дело, и рассмеялась:

— Не горюй, парень! В моём грузовике найдётся место и для твоего рулона. Вот сейчас пообедаем в здешней столовой — да и поедем…

С доставки рулона бумаги в Калугу и началась работа по изданию «Космоса бани». Типография, где делали книгу, была маленькой, набор был ручным, а тамошняя книгопечатная машина была если не детищем — то уж, наверное, прямым правнуком станка Гутенберга. Теперь-то подобное можно увидеть только в музеях полиграфии; на словах очень трудно описать эту всю восхитительно настоящую, ощутимо-реальную технологию печатного дела. Но только в такой архаической типографии я мог удостоиться радости видеть то, что мало кто видел: текст собственной книги, отлитый в металле.

Это было едва ли не главным впечатлением всей моей жизни. Зайдя в очередной раз в типографию — а заходил я нередко: то постоять за плечом наборщицы, то принести клише с рисунками (иллюстрировал книгу я сам), то просто побыть в атмосфере рождения книги — я увидел огромный, метра три на четыре, верстальный стол, на котором мерцало горячее серебристо-свинцовое озеро.

— Что это? — спросил я изумлённо у директора типографии.

— Это? — улыбнулась она. — А это, Андрей, набор вашей книги. Любуйтесь!

Передать, что испытывал я в те минуты, почти невозможно: разум не поспевал осмысливать то, что я чувствовал — а чувства растерянно вопрошали рассудок: что же это такое? Неужели те самые строки, что ложились на тетрадные листы под запах антоновки, на рассвете тимских ясных дней — теперь отлиты в металле и торжественно-жарко мерцают, как бы сознавая свою завершённость и полноту? Неужели те мысли и чувства, что клубились во мне, когда я вспоминал гулкость мыльного зала, запах берёзовых веников или сумрачный жар раскалённой парильной печи — неужели всё это теперь перешло из туманного мира идей в осязаемо-плотный, вещественный мир объективной реальности?

Можно сказать, что в этот момент я воочию видел и чувствовал связь меж платоновским миром идей — и реальною жизнью. И я долго-долго, в каком-то блаженном оцепенении, смотрел на отлитый в металле текст, впервые со всей очевидностью чувствуя, что я наконец-то стал автором книги — то есть как бы впервые и сам появился на свет…

Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Закончил ВГИК. Член Союза художников. Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. С 2016 года живёт в Калуге.

СРЕДЬ МОЩНЫХ ШМЕЛЕЙ И ПОЛЫНИ

Серебряная песня

Запорошённые травы
Пропадают в белом мраке,
Дальше тёмные дубравы,
Дальше долгие овраги.

Лают мелкие собачки,
Там — за кладбищем, в низине.
Да, порой бывают драчки,
Но вообще они едины.

Нить заката над деревней
Проросла в окне соседа,
Свет печной, свечной и древний.
Плюс беспечная беседа.

И серебряные плети
Обвивают борт сарая,
И невидимые дети
Пробегают белым раем.

Запорошённые травы
Пропадают в белом мраке…

Деревенский концерт

Последний петух в околотке
Поёт, как известно за двух,
Молекулой ро́дится в глотке
Воистину лыцарский дух.

А в сердце — всем слышно? — валторна,
Концерт очень сельских рожков,
И воздух, хрустально-просторный,
Открыт для открытых прыжков.

Серебряно-розовый купол
И красного моха холмы,
И двух уморительных кукол
Играем талантливо мы.

Средь мощных шмелей и полыни
Нам жить этой жизнью дано.
В закате мы чуточку стынем,
Хотя он похож на вино.

По закону политеса

Как парча у Веронезе
Это облако искрится,
Как парча у Веронезе
Это облако течёт.

Очень скоро оно станет
Красной маленькой лисицей,
И по краю — краю неба —
Топ-топ-топ-топ-топ… уйдёт.

До свиданья!.. До свиданья!
Я целую край завесы,
И на сцену выбегает
Нелюбезный арлекин.

Я ж тихонько удаляюсь,
По закону политеса,—
Деликатно и учтиво,
С тонкой баночкой сардин…

Красивый всадник

Женщин, подшивающих одежду,
Девушек, плетущих кружева,
Я люблю, как скромную надежду,
Как в листве осенней острова.

Гуси собираются в станицы,
А вы ткёте нежный свой покой.
Я вздыхаю, как большая птица,
Как речник над тихою рекой.

Кружевные нити, палисадник,
Детство, промелькнувшее навек!
Словно золотой, красивый всадник…
А вот он-то добрый человек.

Поэт

Я не знал себя, я был поэтом,
Удивлённым, маленьким и грустным.
Рос среди серебряного света,
Средь людьми созда́нного искусства.

Помню вас, старинные комоды,
Вас, зоологические тени,
Длинные меж комнат переходы,
На коврах разумные олени.

Чайльд Гарольд в серебряных рейтузах
Проплывал в неведомую муку,
И гармошкой дедушкиной муза
пела мне старинную разлуку.

* * *

Белый свет на Севере,
Как благая весть,
Как привет от истины,
Знак, что счастье есть.

В этом свете вижу я
Рощи и поля,
То другая, милая,
Добрая земля.

Будто это родина
Для моей души,
Пахнут даже розами
Здесь карандаши.

Тропочки петлистые,
Вязы да дубы,
Ставенки цветистые
У моей судьбы.

Окраина

Чугунная растительность
Погаснувших аллей.
Лимонная действительность
Неясных фонарей.

И я иду окраиной
Степного городка,
Тобою в сердце раненный,
Но выживший пока.

Зачем метать все ножики
Обидных, горьких слов?
И выгрызать все коржики
Чудесных детских снов?

Зачем, зачем мureною
Проглатывать года?
Нет, не пойму я этого,
Наверно, никогда.

Фабричные строения,
Народ немножко пьян,
И всяк по настроению
Сегодня хулиган.

И я иду окраиной
Степного городка,
Тобою в сердце раненный,
Но выживший пока.

Антоновка

Суп горячий и тёплые тапочки
Я могу обеспечить тебе.
Пусть в дому обесточены лампочки,
Мы зажжём их в грядущей судьбе.

— Вот дрова, пять кубов — не хотите ли? —
Предлагает грядущий январь.
Мы выходим, озябшие жители,
и въезжает шофёр в пастораль.

— Точно здесь пять кубов?
Мне не верится.
— Абсолютно! Проверим давай!
А вокруг голубая метелица
засыпает сиреневый рай.

Засыпает траву и антоновку,
Что могла бы докушать коза…
Но учись — как доверчиво, ровно как,
Её смотрят простые глаза.

* * *

Птицы в городе этом
Истоптали все льдинки,
Исходили все тропки
В фиолетовом сне.

Птицам в городе этом
Надо выдать ботинки,
Как когда-то, когда-то
ты их выдала мне.

И что это за воздух?
Пью его, как наливку.
Город твой, словно рыба
В золотой глубине.

Я гляжу в его глазки,
Глажу вдоль по загривку.
Ведь когда-то, когда-то
Ты так сделала мне…

Виктор Чернявский

Виктор Анатольевич Чернявский родился в Луганской области, в Калуге живёт с 1988 года. По образованию химик-технолог. Стихи пишет недавно. Автор книг «Радуга в октябре» и «Стихи капитанше».

Я ПОЮ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ КНИГИ

* * *

Я пою длиннокрылым фрегатам
В небе над Белым морем,
Летящим за свежей рыбой
В магазин «Океан»…
Я пою серебристым шевронам,
Трём сержантским нашивкам
На рукаве морпеха,
Берущего под козырёк.
Я пою для открытой книги
С заломленными страницами —
Запретной и лаконичной,
В моём сердце оставившей след.
Трём взлетевшим морщинкам
Мой свободный сонет…

Опера

Болело ушко — правое, маленькое,
Его лечили — сухими травами,
Тёплой солью мешочек-подушку
Наполняла вечером мама,
Ко мне наклонясь подкладывала,
Влажной тряпочкой тёрла лицо,
Размылись черты во времени —
Я солёную оперу слушал
Ставшую моей колыбельной.
Через ветхую белую наволоку
Заходили в подъезд два опера
С кобурой и в красных околышах —
Смотрели мою фотографию,
Связывали проволокой,
Горячий трогали лобик,
Вырастая до дяди Стёпы
В последней четвёртой четверти —
Забирали в милицию, ехали.
Слева была степь,
Справа высокая круча —
Блестел незамёрзший Донец,
Сверкал вороной пистолет
Солнечными лучиками.
В небо детским пистоном стреляли,
Всё заливало красным —
От нёба до февраля —
Так солнце вечернее гасло…

* * *

Десять оттенков чёрного
Сажей печной копчёной
Падали на сугробы,
Цветом тел эфиопов
Пугая пятнистых коров.
Дым возносился вверх
Двадцатью оттенками серого,
Дырявя насквозь атмосферу,
Словно стрельба эсеров
По вождю СССР.
Тридцать оттенков белого
Речным светящимся жемчугом
Слоились в мартовском небе —
Белей мезозойского мела,
Светлей известковых стен.
Осталось от неба зимнего
Сорок оттенков синего —
Лазоревей чистых сапфиров,
Ярче гор Абиссинии
В сиянии снежных вершин…

* * *

У низкого зимнего солнца
Глаза золотые, волчьи,
Глядят на кусты и деревья —
Получаются синие тени.
Пугливые тени тонкие
По ледяному безмолвию
На шкурами устланных нартах
Скользят до самого марта
Быстрые, как олени,
Лёгкие и пятнистые,
Тянутся длинные тени,
Льются капелью чистой…

* * *

Я пишу стихи капитанше,
Пусть она и в отставке —
У неё на погонах звёздочки
Наподобие буквы Т.
Для меня это знак посадки
На палубе авианосца,
Идущего в белой пене
Холодного кофе латте
Пусть давно не летал
Списанный палубный «Харриер»
Вертикального взлёта —
Прямо с места в карьер —
Я тоскую глазами карими
По очам её бирюзовым,
А может, и светло-серым —
Их нельзя рассмотреть.
Если б я был военкомом
В фуражке с высокой тульёй,
То присвоил бы ей полковника —
Три большие звезды,
Потому что давно уже болен,
Мучительно, безнадёжно,
Неизлечимой болезнью —
Детской болезнью левизны...

* * *

Облако дальнего плавания
Повисло над нашим домом
В синей небесной гавани..
Собаки внизу залаяли
Долго и бестолково
На дождевое облако.
«Я плыву из Гаваны,
Из лазурной Атлантики,
С грозами океанскими!» —
Прогремела серая туча
На языке Сервантеса
Так, что в серванте звякнуло.
Не понимая испанский,
Собаки нервно завякали,
Мушку позвали шпанскую
С красивым зелёным отливом
На длинной, узкой спине.
«Сильный начнётся ливень,
Бегите в свои укрытия!» —
Взмахнув на прощанье крыльями,
Обронила хвостатой шпане...

Сергей Михеенков

Сергей Егорович Михеенков родился в 1955 году в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в Советской Армии — на Чукотке. Работал механизатором, учителем сельской школы, журналистом, редактором районной газеты, научным сотрудником Тарусского краеведческого музея, помощником депутата Государственной Думы. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского и Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (семинар Эрнста Сафонова). Автор многих романов и документальных книг о войне, биограф маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского и выдающейся русской певицы Лидии Руслановой. Живёт и работает в г. Тарусе.

ПОВЕСТЬ О БЕССМЕРТНОМ СЕРЖАНТЕ

Глава первая

БЕГ

Октябрь 41-го. Шестьдесят пехотных, танковых и моторизованных дивизий Группы армий «Центр» начали операцию «Тайфун» — мощный и стремительный рывок на Москву, который должен был окончательно решить судьбу похода германской армии на Восток.

На брянском направлении танкам и мотопехоте 2-й танковой группы генерала Гудериана противостояли войска Брянского фронта, в том числе 50-я армия генерала Петрова. В первые же дни немецкого удара фронт армии был разрезан, и её дивизии, полки, а порой батальоны и отдельные отряды сражались изолированно. Те, кто выжил и выдержал первый натиск, отходили к Туле. К Туле стремились и танки Гудериана. Началась гонка. Кто первым займёт город и оборонительный район в окрестностях. Две массы войск, утопая в грязи, спешили на восток. Одни — чтобы занять удобные позиции и оборонять город и тыловую Москву на заранее подготовленных рубежах. Другие — чтобы лишить войска противника, сбитые с позиций под Брянском, всякой опоры и на их плечах ворваться в Москву.

Командарм Петров, герой Испании, погибнет в пути. Армию возглавит другой генерал — Ермаков. Энергично проведёт перегруппировку остатков

частей, вышедших к Туле, и с ними остановит танки Гудериана. Генерала Ермакова вскоре после этого отдадут под суд, но это уже другая повесть…

Солдаты, отступавшие в те дни и ночи по разбитым дорогам Брянщины к Туле, ничего этого не знали. Они просто бежали на восток, к Москве. Никто из них не мог и предполагать, что ждёт их в конце пути. И где этот путь закончится для них. Бегущим всё казалось пропавшим, уничтоженным, раздавленным гусеницами немецких танков, сожжённым точным огнём чужой артиллерии. И собственные жизни им представлялись случайными химерами, которые вот-вот тоже растают, растворятся в дымке бесконечных дорог, в нежной до слёз белизне перелесков, превратятся в землю и дождь.

— Наше дело какое… — рассуждал пожилой сержант Отяпов, расправляя перед ярким пламенем костра сырые портянки. — Наше дело — солдатское. Приказали бежать, мы и бежим. Бежать — не позор. Это я вам говорю точно. Потому как можно и вернуться. — И Отяпов хитровато и весело улыбнулся, шевельнул свою портянку, от которой сразу пошёл густой мужицкий дух; смешиваясь с дымом махорки, этот его дух, скручивался в такой ядрёный жгут, что им, как в те минуты казалось Отяпову, можно было повалить любую вражью силу. Потому, должно быть, он и улыбался в одиночку. Улыбался, изо всех душевных сил стараясь не унывать, сержант Отяпов ещё и для того, чтобы хоть как-то справиться со страхом и собственной бессмысленной злостью. Правда, смысл-то у его злости был, но выхода той злости пока случая пока не представилось.

Третьи сутки полк на марше. Но марш складывался по какому-то несуразному уставу. Порядка того устава никто не знал, но следовать ему — куда деваться? — приходилось. Командиры стали неразговорчивые. Видать, думал себе сержант Отяпов, всё это оттого, что на прежних позициях много добра покидали, а теперь за такую бесхозяйственность и, если строже смотреть, форменное вредительство придётся отвечать перед родиной и народом. Но народ-то, перед которым надо было держать ответ, и сам бежал, горбясь под мокрым снегом в промокших шинелях и ватниках. И то хорошо, что хоть винтовки не побросали. А родина всё не кончалась и не кончалась. Правда, дороги становились всё хуже и хуже.

— Ты, Отяпов, своим штандартом тут перед нами не маши, — сказал ефрейтор-связист, прибившийся к их взводу по дороге.

— А что такое? Аппетит испорчу? Так всё одно с утра ничего не ели и, видать, до утра ничего такого не предвидится.

— Вот выйдем к Рессете, там, в Хвастовичах, стоят наши дивизионные тылы. Там нам и кухня, и отдых. Так что, ребята, не падайте духом. — Ротный стоял чуть поодаль, под разлапистой елью и тоже нервно курил, заглушая голод и тоску.

Обсушиться они и на этот раз не успели. Пронеслось по лесу, от костра к костру вдоль остановившейся на час-другой солдатской реки-дороги:

— Тушить костры! Приготовиться к маршу!

И снова двинулись по осенней слякоти, изнашивая остатки обуви, которая первая страдала во время любых неурядиц. Вот, думал сержант Отяпов, с беспокойством посматривая на свои ботинки, и спать вам не надобно, и есть не просите, а силу свою изнашиваете прежде моей, человеческой. Ещё месяц назад он получил со склада совсем новенькие ботинки. Крепкие, как борона. От них сладко пахло дёгтем и кожей. И сносу им, казалось, не будет. А что он в них повоевал? Какие такие сроки? Неделю и два дня. До этого нёс службу при дивизионной прачечной. Контингент там, что и говорить, оказался не окопный. Бабы и есть бабы. С ними одна война. Но всё же было повеселее. А тут вон и шутки никто не понимает…

В левом ботинке неприятно похолодало, а вскоре и вовсе захлюпало. Что ж ты, боец, с досадой поглядывал на свой ботинок Отяпов, так скоро из строя запросился? Да, вот попробуй, хоть какой ты будь командир, но прикажи ему, ботинку, воду не пропускать! Хрен он тебя послушается. А ты, сутки некормленный, с десятью патронами в подсумке, изволь, исполняй то, что тебе прикажут. А что прикажут? Приказ бойцу всегда един — родину оборонять. Вот и оборони её, с десятью-то патронами… Хорошо, что придумал Отяпов себе вот какое облегчение жизни: выменял за горсть табаку у ефрейтора-связиста новенькую пару фланелевых портянок, подвернул их, сверху обмотки, и — как всё равно в сапогах! Но где-то сбоку начал расходиться шов, видать, раскис. Сырость, грязь, непогода… Надо бы просушить ботинок, почистить его и подбить свежими деревянными шипами. Но где о таком думать в этой кутерьме?

Спать на ходу для Отяпова — дело тоже привычное. Лишь бы на чей-нибудь штык не напороться. А то споткнётся кто из впереди идущих, выставит свою винтовку с примкнутым штыком, а ты — на него. Хорошо, народ почти побросал свои штыки. Ни к чему они теперь им, бегущим. Только за берёзки цепляться, движение задерживать. Но побросали не все.

А дрёма так и охватывает, так и ласкает тело. Натурально бабья натура у этой дорожной усталости… Нет сил отгонять её. Так и прилёг бы сейчас под любым кустом, хотя бы вон под тем или под тем, где мох погуще. Да, мечтал сержант Отяпов прилечь после такой дороги — дело самое подходящее и простительное. Не посмотрел бы ни на сырь, ни на что. Притулил бы голову на мягкий мох, раскинул руки. Только бы выспался всласть, а там будь что будет…

И посреди этих своих сугубо личных мыслей встрепенулся Отяпов, открыл глаза и увидел идущего рядом старшего лейтенанта Безлесова. Тот, похоже, тоже на него глянул. Как бы не догадался, о чём я только что возмечтал, беспокойно подумал Отяпов. Вспомнил вечернее происшествие…

ЧП случилось, когда только-только начало смеркаться и дивизия, закончив днёвку, побатальонно начала выдвигаться на лесную дорогу. Из роты пропали двое. Отяпов их знал. Тамбовские. Вроде бы хорошие, надёжные ребята. На Десне лежал с ними в одном окопе, когда немец налетел самолётами и начал обрабатывать тяжёлыми бомбами передний край обороны полка. Ничего, бомбёжку пережили благополучно, медвежатиной от них после

налёта не пахло. Потом отбивали танковую атаку. Один танк прошёл через их окопы, и артиллеристы подожгли его уже в тылу, возле блиндажей санчасти. Но и тут тамбовские не сплоховали. Стреляли, как все, отсекали пехоту. Пехота — на танки, через их окопы не прошла.

И вот — ушли с поста. Смена пришла, а их и след простыл.

Роту послали на поиски. Прочесали ближайший перелесок, нашли. Сперва винтовки. Они их побросали в куст. Подсумки, гранаты, всю боевую амуницию. Навоевались. А потом поймали, похватали и самих беглых.

Расстреливали перед дорогой, чтобы видел весь полк. Зачитали приказ. Вырыли ямку. А полковая колонна всё шла и шла мимо, и все смотрели на тамбовских, как они стояли над ямкой под берёзой белые как мел и ждали каждый своей пули.

Когда комендантские вскинули винтовки, Отяпов машинально, словно от вспышки близкого разрыва, закрыл глаза. И, пока не бахнул залп, не открывал. Смотреть на то, как умирали тамбовские, не хотелось. Отяпову почему-то их было всё же жалко. Хоть и присяге они изменили, и товарищей своих бросили, в том числе и его, Отяпова, но всё же в душе стонала какая-то жалость и сомнение, что можно было бы и не расстреливать бойцов за малодушие, за проявленную трусость и прочие отвратительные проявления, достойные всяческого осуждения и даже презрения товарищей по оружию. Постращать, попозорить, но жизнь оставить. Потому Отяпов и зажмурился, когда захлопали возле берёзы затворы.

А некоторые смотрели. И потом обсуждали, вспоминали, как падали расстрелянные в яму и как их комендантские торопливо закапывали…

Левый ботинок разваливался. А тамбовских расстреляли в сапогах, и сапоги на них были добротные, первого срока. Думать о сапогах расстрелянных, а уж тем более сожалеть о них, конечно же, стыдно. Но вот сейчас через шаг-другой отвалится подмётка, и — что тогда ему, сержанту Отяпову, делать посреди фронтовой дороги? Как воевать дальше? Нет, угрюмо думал он, кое-как преодолевая сон и усталость, командование всё же поступило расточительно. И не только с расстрелом, но и с сапогами расстрелянных. Пускай бы старшины забрали в свой обменный фонд, а там бы, глядишь, и таким, как Отяпов, что-нибудь из того обменного склада справедливо и заслуженно перепало.

За этими мыслями, которые совсем истерзали Отяпова, и застал его свистящий шорох снаряда. Снаряд пролетел мимо и разорвался где-то в глубине леса правее колонны. Но то, что он откуда-то прилетел, и прилетел сюда, к большаку, по которому шли батальонные колонны, тянулись обозы тылов и артиллерийские запряжки, было плохим знаком.

Снег к утру усилился. Залеплял лицо и сёк, со звоном, будто колючей проволокой, царапал, по каске. Но снег так не беспокоил. Что снег, если через два дня Покров? Снегу уже и пора. Обеспокоил Отяпова снаряд.

Прилетел, сокол ясный, пёс клыкастый… Значит, немцы их колонну обнаружили. Дают пристрелочные. Сейчас должен второй прилететь. Если не прилетит, загадал Отяпов, значит, напрасно я тревожусь, шальной залетел.

Второй снаряд лёг уже поближе к дороге. Видно было, как блеснуло за деревьями, и чуть погодя посыпались по кустам осколки. А третий на куски разнёс санитарный фургон. Машина стояла на пригорке перед лощиной и из неё перегружали на повозки раненых. Видать, закончилась горючка. Вот как неудачно остановился. Слишком видное место. Шофёр-то, видать, растяпа…

— Господи, Исусе Христесе. — И Отяпов украдкой перекрестился.

Бойцы кинулись было спасать уцелевших, но им замахали руками выбежавшие навстречу санитары:

— Не надо! Не надо! Никого там уже нет.

Начали помогать санитарному обозу перетащиться через лощину. Дорогу совсем растолкли. Вперёд ушли танки и бронетранспортёры. Тракторы протащили тяжёлые орудия. И теперь телеги по ступицы проваливались в колеи, заполненные густой осенней жижей. Такая только к весне затвердеет, в нормальную дорогу превратится. Или когда приморозит. Кони лезли из гужей. Да, думал Отяпов, глядя на старания коней, нам несладко тут о смерти думать, а какового им…

— Впрягайся, пехота, без нас и тут беда, — приказал ротный и сам принялся толкать повозку.

Раненые были прикрыты шинелями и соломой, и только бледные лица их колыхались в темноте. Иногда слышался стон или какая-нибудь просьба, которую наверняка никто не выполнял.

— Да какой тебе закурить, — терпеливо увещевал старшина какого-то бедолагу. — Вот переправимся на тот берег, там покурим. А тут… Тут германец не разрешает. Так что терпи.

Снаряды теперь падали справа и слева, впереди и позади.

— Шире шаг, мать-перемать! — кричал какой-то незнакомый капитан в распахнутой шинели с обгорелыми полами.

Высокий и худой, как обгорелое дерево, он стоял на взгорке и размахивал чёрным трофейным автоматом без магазина. Всё перепуталось, думал Отяпов, торопя идущего впереди ефрейтора-связиста:

— Давай, Курносов, шибче двигайся. А то немец прихватит серёд дороги.

— На дороге — не беда. Лес рядом. А вот ежели на переправе…

Переправа, как понял Отяпов, совсем скоро. К ней и тянулись, батальонные колонны и обозы.

Рядом уже несколько километров тянулся санитарный обоз. Будто прилип. Раньше его не было. На раненых смотреть было тоскливо.

— Дядя Нил, подсоби! — услышал он вдруг знакомый голос.

Присмотрелся: господи Исусе, так это ж Лидка! Лидка Брусиленкова, его свояченицы племянница из соседних Боровичей. До войны фельдшером работала в районной больнице. А теперь вот тоже тут, в шинельке да в пилотке.

Лидка нахлёстывала серого исхудалого коня, до плеч забрызганного дорожной грязью. В повозке лежал раненый. Его трепало так, что голова его билась о грядку. Отяпову даже показалось, что Лидка везёт мёртвого.

Совсем одурела девка. Мёртвых складывали у дороги, мёртвых дальше не везли. А на их место тут же притаскивали только что упавшего и наспех перевязанного, в кровавых бинтах. Телеги не пустовали.

— Ты ж откудова, дочка, в наш ад свалилась? — посочувствовал ей Ояпов, подтолкнул к повозке ефрейтора Курносова и сам как следует налёг на полок.

Ещё двое бойцов из их роты ухватились за тяжи. Конь, почувствовав помощь, полез по грязи, как чёрт, и через минуту-другую они уже весело бежали, то ли подталкивая полок, то ли держась за него.

Отяпову показалось, что от раненого потянуло сивушным духом. Он присмотрелся к лежавшему под солдатским одеялом и вдруг узнал в нём комбата. Толкнул Лидку.

— Мне велено переправить товарища капитана Титкова на тот берег Рессеты, — упреждая его взгляд, сказала Лидка и отвернулась.

— Куда ж его ранило? — тихо, чтобы тот не услышал, спросил Отяпов, уже догадываясь, что ответит Лидка.

Но она ничего не сказала. Будто не расслышала. Боится, подумал Отяпов. Или боится, или, чего хуже, жалеет этого дезертира.

— Скидай его в канаву, сук-кина сына! — И Отяпов потянулся, чтобы перехватить вожжи.

Но Лидка огрела его кнутом, так и обожгла мокрой и тугой, как проволока, супонью по руке. Потом начала нахлёстывать коня, и тот понёс повозку обочиной, испуганно обгоняя понуро бредущих бойцов.

Вот жизнь, думал Отяпов, твою капитана-мать… А ведь — капитан, со шпалой в петлицах. В такое время батальон бросил…

На Лидку Отяпов не злился. Может, влюбилась, дурёха, в своего командира. До войны на женихов ей не везло. Двадцать пять лет, а никто замуж так и не позвал. А на войне женихов много. Лидка прибыла, видать, с последним пополнением. Надо ж, в одном батальоне, а ни разу не встретились.

Пока выталкивал из грязи повозку с пьяным комбатом левый ботинок совсем рот разинул, и вода в него пошла вместе с дорожным грунтом — полной рекой… Твою-капитана, про себя выругался Отяпов, но о комбате уже не думал. Думал о Лидке.

Что злиться на Лидку? К тому же приказ ей отдан… А коли приказ, то как быть военному человеку? Исполнять! А как иначе?

А вот он бы поступил иначе. И Отяпов вспомнил, как в тридцать шестом с мужиками искупал в пруду пьяного председателя колхоза. Тоже горячка была, дожди пошли, а сено всё в лугах, растресено, мокнет, гниёт. Председатель в правлении со счетоводкой и уполномоченным из района гулянку затеяли. Ну и нагрянули колхозники к ним на честной пир, вытащили всех троих на пруд и искупали в ряске… Чуть не посадили. Хотели припаять неуважение к власти или что-то такое, по вредительской части. Но обошлось. Председатель райисполкома вмешался. Хороший мужик. Сейчас тоже где-то воюет. Может, полком командует, может, по политической части кем. Такие нынче при больших штабах…

Чем ближе к переправе, тем сильнее огонь. Мины хряскали уже в самой гуще народа. Лидка с пьяным комбатом унеслась куда-то вперёд. Её глубоко надвинутую на голову пилотку Отяпов давно потерял из виду. Хорошо, Курносов выручил, связист, дал ему кусок провода, и Отяпов тем проводом хорошенько скрутил ботинок. Теперь даже вода меньше поступала внутрь и можно было не беспокоиться, что подошва отвалится и потеряется в грязи. Спасали, конечно, портянки. Да провод Курносова. Вот спасибо ефрейтору, не зря что связист.

Впереди открылась широкая пойма. Мост. Дымящиеся воронки вокруг. И через всю пойму, сбиваясь у моста в плотное серое стадо, шёл, колыхался сплошной серый поток. Этот поток гудел угрюмыми и злыми голосами, гремел оружием и снаряжением, матерился, стонал и кашлял. В нём чувствовалось нечеловеческое напряжение, страх и надежда, что самое опасное вот-вот будет пройдено, останется позади. Страх передавался и лошадям, и они шарахались по сторонам, сбивали с ног людей, сами падали на колени, ломая оглобли. Но сломанные оглобли тут же скручивали ремнями, и кони снова шли вперёд, в том же потоке.

— Давай, Курносов, не отставай, братец, — торопил Отяпов связиста.

Поток, в котором они оказались, вылился из леса в пойму. На какое-то время людям стало просторней и легче бежать к мосту. Туда устремились все, и пешие, и конные. Совсем рядом ударил снаряд. Отяпова обдало болотиной и горячим тухлым воздухом сгоревшей взрывчатки. Охнул бежавший впереди боец и ухватился за воздух. На мгновение Отяпов встретился с ним взглядом. Лицо знакомое, вроде из соседнего взвода, второй номер пулемётного расчёта. Так и есть, на боку сумка с запасными дисками для ДП. Надо бы помочь пулемётчику, мелькнуло в голове, но тут же эту мысль, словно осколком, перерубило другой: не справлюсь, не донесу, уж больно парень велик для моих плеч, эх, твою-капитана, всех не вынесешь, не спасёшь. Кому-то и тут лежать…

— Держи, не потеряй! — И Отяпов сунул сержанту свою винтовку.

Пулемётчик действительно оказался тяжёлым. Глубже стали протопать ноги в жидкой болотине. Хорошо, что сапёры загатили колею, и вязанки хвороста всё же кое-как держали, пружинили под ногами, не давали провалиться в пучину.

У самого моста началась давка. Отяпова с его ношей на плече сжали со всех сторон и понесли по настилу вперёд, так что он едва успевал переставлять ноги, чтобы не упасть и не быть задавленным в этом злом и неистовом человеческом месиве, где каждый спасал свою жизнь. Курносов хрипел рядом. Только бы не бросил мою винтовку, беспокоился Отяпов. Только бы снаряд не попал в настил…

И в это время, когда они были уже на середине моста, серия снарядов накрыла пойму на той стороне, откуда они только что ушли, серый поток и край настила. Вверх полетели куски одежды и человеческих тел, брёвна, обломки повозок и всего того, что двигалось в ту минуту через реку.

Глава вторая
БОЙ У БОЛОТА

Отяпов встал на колени, соскоблил грязь с лица. Глаза видели, но плохо. Оранжевая пелена мешала разглядеть всё, что происходило вокруг. Рядом карабкался ефрейтор Курносов. Похоже, он был жив. Пулемётчик, тоже живой, лежал рядом и смотрел на Отяпова с надеждой. По щекам его текли слёзы. Совсем молоденький, лет, может, восемнадцати. Отяпов разглядел его ещё на марше — уши из-под пилотки торчком, пилотка дюдей, шинель — как на горбатом. Явно из последнего пополнения.

— Не брошу я тебя, не брошу, сынок. Как-нибудь поволоку.

Он встал и начал поднимать пулемётчика. Тот, как мог, помогал ему, карабкался на спину, хватался за скользкую мокрую шинель. Отяпов уже знал, что не бросит пулемётчика что бы ни случилось.

Лес был рядом. Туда сломя голову бежали те, кому удалось перебраться на другой берег.

Левее послышалась стрельба. Отяпов прислушался и сразу всё понял: вот те на, твою-капитана, называется, ушли, вырвались...

По краю болота бежали немцы. Они старались держать цепь, время от времени останавливались, некоторые припадали на колено и торопливо стреляли из винтовок. Клочки пламени взблескивали по всей цепи. Стреляли они то куда-то правее, то прямо в них. Но ни одна пуля ни в кого поблизости не попала.

Вот тебе и вышли из окружения...

Пули вжикали над головой, рвали землю под ногами. Никто из бегущих к лесу на огонь немцев не отвечал. Эх, некому подать команду, лихорадочно соображал, Отяпов. Да и винтовки у него нет. Только горсть патронов в подсумке.

— Стой! — закричал Отяпов, уже не понимая, что делает. — Ложись! Приготовить оружие!

Несколько бойцов упали рядом. Захрустели затворы. Мелькнула, как девка во сне, надежда.

— Огонь!

Раздался нестройный залп, потом другой.

— Эх, мать вашу германскую разэтак!.. — весело матерился Отяпов.

Он и сам стрелял из винтовки, неизвестно как оказавшейся в его руках. Рядом лежал ефрейтор-связист и тоже вёл огонь по краю болота, где залегла немецкая цепь.

И тут из леса стали выскакивать серые шинели с длинными копьями винтовок наперевес.

— Наши!

Возле болота началась рукопашная. Но Отяпову и его товарищам было не до неё. Куда им в это месиво лезть? И не разобрать, где свои, где чужие. Можно и под свои штыки попасть.

Откуда-то взялась повозка с Лидкой. Лидка напуганная, в глубоко надвинутой пилотке. Лицо изгваздано грязью и кровью. В повозке по-прежнему лежал, болтался на ухабах пьяный комбат, бился головой о грядку.

— Постой, Лидушка! Сил моих боле нет! — И Отяпов сгрузил в повозку, прямо на комбата, свою ношу. — Вези, доченька. С богом.

И они, всем своим случайно сбившимся в кучу подразделением, навалились на грядки, чтобы поскорее вытолкнуть повозку из поймы на горку, в лес.

В лесу комбат пришёл в себя и начал выбираться из повозки. Его мутило.

— Эх ты, шваль подколёсная, — вслух думал о нём Отяпов. — Сколько нынче хорошего народу побило, а тебе хоть бы что... Вон сколько харчей перепортил. А тут маковой росинки во рту не было уже сутки.

Надо было отвернуться, чтобы не смотреть на позор своего командира. И он отвернулся. Это он сейчас такой, подумал Отяпов, а завтра протрезвеет, осмелеет и опять ими командовать кинется, орлом заходит...

Из поймы в сторону болота, куда отошли немцы, бежали бойцы. Тащили пулемёты. Ездовые гнали повозки, нагруженные миномётными трубами и ящиками с боеприпасами. Командовал отрядом худощавый капитан, тот самый, который торопил их на рассвете перед переправой. На плече он держал чёрный трофейный автомат. Теперь в автомате торчал длинный рожок. Капитан подошёл к ним, заглянул в повозку.

— Капитан Титков? — Взглянул на Лидку, которая ни жива ни мертва сидела, поджав ноги, на грядке. — Что с ним? Пьян?

И Лидка, и Отяпов, и бойцы, оказавшиеся рядом, молчали. Словно позор капитана Титкова, будто из отхожего ведра, выброшенного к ногам, обгадил и их.

— А ну-ка, ребята, ставь его к сосне! — Капитан резко опустил автомат и оттянул затвор. — Ставь, ставь! Согласно приказу номер двести семьдесят... Как там приказывал товарищ Сталин? — И капитан пронзил холодным блеском остановившихся глаз Отяпова. — А товарищ Сталин приказывал: если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. А потому товарищ Сталин очень правильно приказал: трусов и дезертиров...

Но не успел он договорить, как несколько мин с металлическим хряском обрушились на дорогу и полянку, где накапливались выходящие из поймы бойцы и повозки.

Отяпов и бойцы попадали кто где стоял. А когда подняли головы, ни капитана, ни его подчинённых ни возле повозки, ни поблизости нигде не увидели. Только голос его, хрипловатый, с тугой металлической окалиной рокотал где-то внизу, в стороне переправы.

Все в лес, подальше от этой проклятой реки, подумал Отяпов, а этот назад пошёл, и людей своих повёл. Вот кому сам чёрт не брат. Вот это капитан. С таким и умереть не страшно. Нет, братцы, не всё ещё пропало, засмеялся он через силу, есть и в нашем войске смелые и гожие для хорошей войны люди.

Они затащили на повозку своего комбата. Исполнять приговор капитана не стали. Кто стрелять в своего комбата будет? Лидка протёрла клочком соломы, выдернутой из подстилки, его заблёванную шинель.

— Вези, Лидка, — махнул рукой Отяпов. — Что ж делать. За него ведь, и такого, с тебя спросят. Да парня не брось. Спасибо за перевязку. Даст бог, выживет. Вези скорей. Выходишь — жених тебе будет. Смотри, какой парняга…

Возле дороги строили вышедших. Командовал лейтенант в кожаной куртке и ярко-рыжей, как на парад, новенькой портупее.

Отяпов с ефрейтором и другими, кто не отставал от них, тоже стали в строй. Хорошо, Курносов вынес его винтовку. Сейчас бы лейтенант этот, с рыжей портупеей, и ему тоже постучал бы в лоб наганом:

— Где винтовку бросил, сучье отродье! Бегом марш! И чтоб через десять минут доложил о полной боевой готовности! — Так он внушал тем, у кого при построении не оказалось в руках личного оружия.

Лейтенант ходил перед строем, как ворон, готовый клюнуть. Револьвер он держал в руке.

— Наша задача — не дать противнику захватить переправу! Оттеснить в болото… Сейчас подвезут боеприпасы. По банке консервов на брата и по три сухаря. Патронов можно брать до двух боекомплектов.

— Ну вот, Отяпов, эти хоть покормят, — толкнул его ефрейтор Курносов.

Отяпов с облегчением вздохнул. Интересно, какие консервы, мясные или рыбные. Любые хороши. Лучше бы, конечно, мясные…

Лейтенант скомандовал «вольно». У кого имелась махорка, сразу закурили. Ждали обещанные консервы и сухари. Продукты действительно вскоре привезли на широкой армейской повозке. Лейтенант принялся делить пайки. А старшина, управлявший повозкой, открыл ящики с патронами и, улыбаясь щербатым ртом, сказал:

— Ну, налетай, кому пряного посола не хватило!

«Пряного посола» хватило всем. Скумбрия в масле — тоже вещь хорошая. У связиста Курносова откуда-то взялся немецкий штык-нож. Он тут же ловко, одну и другую, крутанул им крышки консервных банок. Облизал плоское лезвие, сунул его, чистое, за голенище.

Отяпов ловил пальцем скользкие рыбные кусочки, с тоской наблюдая, как быстро пустеет банка. Вскоре в серебристой посудинке остался только запах. Но и пустую её выбросить было жалко. И только когда Курносов поднёс каску, наполненную блестящими патронами, он бросил банку в кусты и расстегнул крайний подсумок. Патроны были уже в обоймах. Снаряжённые. Это хорошо. Меньше возиться с обоймами.

Рассовав боекомплект по подсумкам и карманам, Отяпов осмелел и подошёл к старшине.

— Тебе чего, папаша? — спросил старшина.

— Да вот… — И Отяпов указал на свой негожий ботинок, скрученный телефонным проводом. — Обужи сменной на вашем складе, случаем, не имеется?

— Имеется, — живо согласился старшина и указал за сосны, где были сложены в ряд убитые во время миномётного обстрела. — Любого размера и фасона. Можно даже подобрать трофейные — с железными подковками. Из самой Германии, биё-мать…

Эх, в рыло бы тебе, складскàя душа, подумал Отяпов, глядя на съеденные то ли махоркой, то ли чифирём редкие зубы старшины.

Вскоре начали строиться. И тут прибежал боец, которого лейтенант прогнал за винтовкой. Ему тоже выдали паёк и патроны.

— Ну что, Гусёк, нашёл свою судьбу? — окликнул бойца лейтенант.

Он всё ещё держал наган в руке, словно и вправду поджидал посланных за брошенными винтовками.

— Нашёл, товарищ лейтенант. Там, возле моста уронил… Обстрел начался, ну я и…

— Молодец! Даже если винтовка не твоя. Становись в строй!

Интересно, Гусёк — это фамилия или прозвище? Отяпов разглядывал бойца. Невысокий ростом, длинная не по росту шинель. Такие урезают на ладонь — на фитили для коптилок.

Пошли. Гусёк всё время держался возле Отяпова и ефрейтора. Связист помог ему откупорить банку с рыбными консервами. Гусёк буквально проглотил её содержимое. Масло текло по щекам, по дрожащим губам, и тот облизывал их и улыбался счастливой улыбкой. Как-никак, а всё же поел перед смертью.

— Расстрелял бы, — кивнул Гусёк на лейтенанта, который шёл впереди с наганом в руке. — Если бы винтовку не нашёл, как пить дать, расстрелял. Ротный не шутит. Он у нас такой…

— И правильно бы сделал, — не оглядываясь на бойца, угрюмо сказал боец, шедший вереди; лицо его, небритое, бледное, не выражало ничего, кроме крайней усталости.

— Да я ж нашёл! Вот она! — радостно оправдывался Гусёк и тряс в руках винтовку. — За что ж меня расстреливать?

Да, подумал Отяпов, ротный тут — личность свирепая. Где теперь его рота? Где старший лейтенант Безлесов? Почему он с чужим ротным идёт куда-то? А куда идёт? Видать, в бой. Немцы рядом. Их только отогнали к болоту. Там они. Там. В любой момент могут появиться.

Переправа снова заработала. Это было ясно по тому, как серый поток снова выплеснулся из поймы и несколькими дорогами, должно быть, только что и пробитыми, стал торопливо втягиваться в лес на восточном берегу Рессеты.

А куда вёл их этот самоуверенный лейтенант в кожаной куртке? Надо было уходить в лес с Лидкой и комбатом. Сейчас бы, может, уже возле кухни стояли, кашу бы из котелков дёргали. Отяпов с неприязнью вспомнил о комбате. И почему таким сволочам всё время везёт? Вот и капитан его не расстрелял. И на мосту под снаряды не попал. И немцев вовремя от переправы отбили. И сейчас, видимо, благополучно едет в тыл на мягком сене под присмотром этой дуры-Лидки. Бабы — они такие… Без разбору мужиков жалеют.

Впереди слышалась стрельба. Тарахтел «максим», делая небольшие паузы. Очереди длинные, такие делает неопытный пулемётчик. Или противника не видит, да и лупит наобум лазаря, чтобы только командир не бранился, что не ведёт огонь по противнику. Или, наоборот, противник весь, вот он, перед фронтом.

Из-за деревьев им навстречу выбежал ещё один лейтенант.

— Вот, кого смог набрать… Шестьдесят два человека при двух пулемётах. — Лейтенант в кожаной куртке махнул наганом, и Отяпову показалось, что он посмотрел на него. — Все с оружием. Даже Гусёк. Третью винтовку за сутки бросает. Пристрелить — патрона жалко. — И лейтенант засмеялся. Смеялся лейтенант вроде и не зло, но кто его знает, чужого командира.

Гуська трясло. Он водил по прицелу грязной протиркой, продувал намушник и украдкой поглядывал на лейтенантов.

— Сидят, не рыпаются? — спросил тот, которого Гусёк называл ротным.

— Пока сидят. Но, думаю, скоро полезут. — Второй лейтенант был помоложе. И одет попроще, в стёганую телогрейку и будёновку. В руке ППШ.

— Без поддержки миномётов или артиллерии не полезут. Ждут усиления.

— Сколько их там, неизвестно. Думаю, не меньше роты. Пленного взяли. Ребята из второго взвода поймали возле болота. Показал, что из полка «Великая Германия», что полк только что переброшен с северного участка фронта, с Варшавского шоссе.

— «Великая Германия»… Всё у них великое…

— Хорошо, что погода нелётная.

— Да. Туман. Хоть что-то… Всерьёз за нас взялись. «Великая Германия». Сидят в болоте и не рыпаются. Побольше бы людей да пару миномётов, и заставили бы эту «Великую Германию» здешнее болото ноздрями выхлёбывать…

Немного погодя лейтенанты разошлись. Лейтенант в кожаной куртке ушёл на левый фланг. Другой, сбив на затылок будёновку, оглянулся на них:

— Приготовиться к атаке. Штыки!..

Какие там штыки… Штыки давно уже побросали, лишний груз. Но Гусёк свой не бросил, прилаживал к стволу. Руки у него дрожали, и штык никак не защёлкивался. В конце концов он его бросил на землю и отшвырнул ногой в сторону.

— Дай-ка сюда. — И Отяпов ловко, одним движением насадил штык на ствол Гуськовой винтовки. — На, воюй по уставу.

— Пошли, — негромко и не по уставу сказал лейтенант, встал и, не пригибаясь, в полный рост пошёл вперёд.

Отяпов немного повременил, словно дожидаясь, когда немецкий пулемёт срежет храброго лейтенанта. Но тот вошёл в просвет между деревьями, оглянулся, сбросил с плеча ППШ. И Отяпова будто сорванная с пазов пружина выбросила из-за сосны и понесла вперёд, к болоту.

Такого командира бросать нельзя, к такому надо держаться поближе. Это Отяпов хорошо усвоил по предыдущим боям.

Болото заплыло туманом. Виднелись лишь сухие шесты ольх, будто воткнутые в снег.

Немцы почему-то молчали.

Лейтенант вначале шёл, а потом, поняв, что бойцы поднялись, побежал вперёд. Он бежал быстро, как мальчишка, которого невозможно догнать. Куда ж ты, лихой, навстречу своей смерти так спешишь, хотелось окликнуть лейтенанта Отяпову. Сержант едва поспевал за ним.

И тут произошло то, о чём потом вспоминали выжившие, и помнили всю войну, потому что такое, даже на передовой, случается крайне редко.

В тумане начали проступать какие-то столбики. Послышался смутный шум, похожий на движение многих людей.

Вот они, понял вдруг Отяпов и, испугавшись, что бежавшие рядом Курносов и Гусёк могут не выдержать и попытаться залечь или как-нибудь по-другому уклониться от неминуемой встречи, крикнул первое, что пришло в голову:

— Держи строй, ребята!

Немцы шли навстречу — ровной цепью с поразительно одинаковыми интервалами. Ни выстрела, ни крика команд. Они уже всё решили, как разделаться с их отрядом и двумя храбрыми лейтенантами.

Вначале всё делалось молча. Потом разом зарычали, завыли на левом фланге. Там, в тумане, видать, схватились те, кого вёл лейтенант в кожаной куртке. А уже через мгновение вихрем захватило и остальных.

Туман в один миг будто рассеялся. И они увидели, что ровные столбики, вышедшие из болота, движутся на них полукольцом, охватывая с флангов. А значит, их больше, с ужасом понял Отяпов, если решили окружать. Но теперь надо было думать уже о другом. А лучше вообще ни о чём не думать, чтобы не мешать ни себе, ни своим товарищам.

В какой-то миг Отяпов успел увидеть, как Гусёк обогнал его и, держа винтовку со штыком на вытянутых руках, чтобы она была длиннее, кинулся в расступившийся туман, но тут же упал, то ли споткнувшись, то ли сбитый с ног пулей или ударом немецкого приклада. И это его спасло от другого приклада, который немного запоздал и только чиркнул металлической накладкой по каске Гуська.

Отяпов боялся потерять винтовку. Он уже не думал ни о лейтенантах, ни о своих боевых товарищах Курносове и Гуське — винтовка стала его и командиром, и напарником. Он перехватил её одной рукой поперёк цевья, другой за шейку приклада и расчищал перед собой пространство, круша всё, что выступало из тумана и преграждало ему путь к переправе, к разбитому мосту, к лейтенанту, потерявшемуся в этой мутной смеси тумана и ужаса.

Рукопашная закончилась так же неожиданно, как и началась. Отяпов застал себя стоящим на коленях. Перед ним лежало тело человека, которого, должно быть, он сбил с ног минуту назад. Одето оно было в тёмно-зелёную шинель с погонами. Рядом лежала винтовка с примкнутым широким белым штыком, похожим на нож.

— Живой? — Кто-то знакомый наклонился к нему, заглянул в лицо, нелепо улыбнулся.

— Ну что ты головой трясёшь? Как конь перед бороздой… — сказал другой.

Кому это говорили? Неужто ему, Отяпову? Он потрогал свою голову. Ничего, голова была в каске, каска цела, значит, и голова тоже.

— Пошли, пошли…

А голоса хоть и знакомые, а доносятся будто издалека.

Вот и лейтенант. Тот, первый, злой, в кожаной куртке. Теперь у него в руке немецкий автомат. Смеётся. Довольный. Видать, повезло ему, по шее не попало. А где другой, молодой, с ППШ?

Под сосной складывали убитых. Знакомых среди них никого нет. Как нет? Вот лежит, голова разбита, затылок словно косой срезан. Вот он, твой лейтенант, сержант Отяпов. Тот, кто тебя в бой повёл. Кто первый в свалку кинулся. Кого ты искал в тумане, чтобы рядом с ним быть. И будёновки на нём уже нет. Видать, потерял свою командирскую шапку…

Болела спина. Болело плечо. Болела левая рука.

— На вот, переобуйся. Далеко ли ты, разутый, уйдёшь? — опять этот голос. Голос хороший, сердечный. А рассмотреть лицо человека, который так заботливо разговаривал с ним, Отяпов не мог. Перед глазами плавал разноцветный туман. Как будто бабочки с диковинными крылышками порхали в жаркий июльский полдень над сырой лесной дорогой. Такие дороги он любил — едешь на телеге вдоль оврага, сено с лесного покоса везёшь, а они кругом летают, на холодную от пота рубаху садятся, на руки, цепкими лапками кожу щекочут…

Он сел и начал переобуваться. Новая обувка пришлась ему впору.

— Твой трофей. Заслуженный. Носи.

Голос он узнал. С ним разговаривал Курносов.

— А где моя винтовка? — спросил он Курносова.

— Винтовка тут, — ответил Курносов. — Гусёк несёт.

— Живой? — обрадовался он, что жив этот мальчишечка, который, как ему казалось, никак не мог выжить в том аду, который они только что пережили.

— Живой! Герой, брат, наш Гусёк! Немца заколол!

— Неужто?

— Твоего перехватил. Лежать бы сейчас тебе, Нил Власыч, под сосонкой, если бы не Гусёк, — хвалил Курносов мальчишечку.

— Вот тебе и мальчишечка, — вслух подумал Отяпов. — Спасибо тебе, Гусёк.

Гусёк не ответил. Молча шёл рядом. Отяпов видел его тень.

— Не слышит. Спит, — пояснил Курносов. — Пускай поспит, пока не споткнётся. А спотыкаться ему не привыкать. — И Курносов устало засмеялся.

Глава третья
К ТУЛЕ

Уже стемнело. Накрапывал дождь. Вышли из леса. С просёлка свернули на пашню и пошли пашней. Потом пашня кончилась, под ногами загремела стерня. Не успели запахать, подумал Отяпов и потянул ноздрями воздух, пытаясь по запаху определить, что тут было сжато, овёс или рожь. Пространство пахло сырой шинелью да ружейной смазкой. Но хлебным духом откуда-то всё же веяло, и народ заметно заволновался. Хотелось есть. Отяпов по себе знал, что у голодного человека, как и у зверя, обоняние обостряется.

Зашли в деревню. Прислушались. Вроде тихо. На другом конце, за оврагом, гудели голоса.

— Немцы, что ль? — И боец, который приблудил к ним в пути, сдвинул каску набок, освободил ухо, прислушался.

Голоса затихли.

— Тебе, Тульский, теперь везде немцы будут мерещиться, — засмеялся Курносов.

— Будут, точно, — согласился Тульский.

На самом деле у бойца были другая фамилия, имя и отчество. Но когда он вышел на них в лесу и рассказал о себе, всем запомнилось главное, что он — тульский. А они шли к Туле. Какая такая надежда появилась у них с приходом в отряд Тульского, никто не мог понять определённо, но каждый из них в себе надежду эту чувствовал. Чувствовал и таил, и она согревала.

— И что, — переспросил его Гусёк, — из самой Тулы?

— Из самой. Из Заречья. Есть у нас в городе такой район, самый старинный. Живут там исконные туляки.

— Самоварники, — поддакнул Отяпов и подумал: вот бы сейчас кипяточку, покруче чтоб, да с чёрным сухариком…

— Нет, я с улицы Штыковой. У нас на Кузнечной слободе живут в основном оружейники.

— И что, в самом деле есть такая улица — Штыковая? — удивился Гусёк.

— Есть. И Штыковая, и Курковая, и Ствольная, и Пороховая, и Дульная.

— Забавный вы, должно быть, народ — туляки, — покачал головой Отяпов, слушая новоприбывшего. — Вот дочапаем до твоей Тулы, приведём тебя к отцу и матери живым и невредимым. Так ты нас тогда хотя бы покорми. А?

То, о чём не выдержал и сказал Отяпов, было частью их надежды.

Тульский задумался. Погодя сказал задумчиво:

— Мать щи с гусятиной по воскресеньям варит. А сегодня — какой день?

— Хреновый сегодня день…

Некоторое время шли молча.

Погодя Ванников, тоже приставший по дороге, вдруг сказал почти зло:

— Это ж почему только по воскресеньям?

— День такой, — сказал Тульский и улыбнулся, будто перед ним поставили тарелку щей с гусятиной.

— Хороший, должно быть, город, эта ваша Тула. Самовары у вас самолучшие. Пряники — тоже знатные. Пряник ваш, тульский, я раз как-то пробовал. Понравился. Ружья вон тоже делаете.

— Какие у них пряники?! — снова возразил Ванников.

— Ты, Калуга, мне просто завидуешь. У вас в Подзавалье хлеб с мякинами пекут. Так что помалкивай.

— Да пошёл ты!..

Ванников лиховал — Калуга была занята немцами. А у него там, в Подзавалье, семья — жена и трое малых детей. Задумаешься. Отяпов стал приглядывать за Ванниковым — как бы чего не натворил. В таком настроении человек сам не свой и ни за что не знает, на что его случай толкнёт.

Этот разговор у них случился в лесу. А теперь надо было думать о ночлеге и о еде. Об этом и думали. Зашли в деревню и вдруг спохватились: хорошо это или плохо? Не разведали. Может, в деревне немцы.

— А я бы сейчас хлебца с мякинами... С превеликим удовольствием! — И Отяпов мельком взглянул на Ванникова; тот ещё сильней нахмурился.

Гусёк вспоминал рукопашный бой. У него всё ещё тряслись руки и часто тянуло живот, хотя там ничего уже не было. В дороге раз пять отставал от отряда и присаживался под кустом. Что из него выходило, непонятно. Столько консервов он не ел.

Отяпов наконец выбрал дом, куда надо было стучаться. Именно от него веяло свежевыпеченным хлебом. И он не ошибся.

— Здравствуйте, хозяюшка, — сказал он, когда за дверью заскреблись и послышался вкрадчивый женский голос.

Женщина открыла и молча пропустила их в сенцы. Будто ждала.

— В хату не пойдём, — приказал Отяпов. — Располагаемся тут.

Он сразу сообразил: сенцы рубленые, тепло держат. Народу много, двенадцать душ, надышат быстро. К тому же есть вторая дверь во двор, а там — огороды, сад, риги на задах. Вроде и банька в кустах возле ручья. К ней тропинка. Всё это он присмотрел, когда выбирал дом.

Хозяйка сперва показалась старухой. Но потом, когда вышла с зажжённой лампой и прибранная, хоть и наспех, оказалась молодкой лет тридцати.

Тульский сразу заходил вокруг неё селезнем, забасил. И глаза у молодки заблестели. Вот молодёжь, подумал Отяпов, и война им нипочём!

— А может, в баньку сперва? — предложила хозяйка. — Кто у вас старший?

Все посмотрели на Отяпова.

Отяпов, правду сказать, уже уминал боками свежую пряную солому, сдержанно покашливал от её дразнящего хлебного духа и думал всем своим усталым и избитым телом только об одном — как бы поскорее залечь и ни о чём не думать. Даже есть расхотелось, так забирала усталость. Но узнав о том, что хозяйка в этот день топила баню и что баня ещё не выстужена, так и подпрыгнул.

— Давайте, давайте, мужички, — торопила их хозяйка. — А я пока поесть вам соберу.

Молодка заходила по комнате, обвивая их сладким духом. Поправила наглухо задёрнутые шторки на низких окнах, подошла к печи, вынула заслонку. А сама нет-нет да и поглядывала на Тульского. Тот тоже сторожил её вороном.

Эх, какая баня была у этой молодки! Видать, муж мастеровой этой бедовой бабёнке в жизни попался. И плотник, и печник. Парок ещё держался — будь-будь. Каменка стояла незалитой. Словно их ждала.

Вымылись. Словно паутину с себя сняли. И сразу вроде не так страшно жить стало. Отяпов окинул взглядом своё невеликое войско. Он уже твёрдо знал, что доведёт его до Тулы.

Хозяйка старалась так, будто среди них был её муж. Стол накрыла прямо генеральский. Варёная картошка, свойски хлебушек по хорошему ломтю на каждого брата, сало, солёные огурцы и грибочки. От солёных грибов так и веяло дубовой бочкой, прямо домом родным, так что плакать хотелось…

Праздник праздником, а часового Отяпов всё же выставил. Вынес ему угощение, даже от своей скибки крошку отломил и приказал:

— Уснёшь — штыком заколю. Так и знай.

Хозяйка принесла бутылку самогонки. Выпили. А потом смели всё со стола одним махом. Подчистую. И залегли. Отяпов, засыпая, слышал, как молодка шепталась с Тульским, как, вздохнув, повела его в хату… Эх, молодёжь…

Разбудил его Тульский. Он к утру заступил на пост, обошёл окрестность и всё разглядел. Сказал:

— Посмотри.

Только-только начало светать. Заря в октябре поздняя. Но такая же румяная, как в августе.

Отвёл шторку, а там картина: напротив, за ручьём, немцы из хаты выходят, вдоль дороги строятся в две шеренги. С полсотни. Два ручных пулемёта, ротный миномёт. Два бронетранспортёра на полугусеничном ходу, тоже с пулемётами — на турелях. Целое войско.

— Когда ж они пришли? — спросил Отяпов и посмотрел на свою винтовку, несколько дней не чищенную и порыжевшую в некоторых местах от его бесхозяйственности.

— Хрен их знает. Варя сказала, что вечером их не было.

Варя… Вот тебе и Варя…

— Проспали, чёртовы дети…

Немцы между тем построились, провели перекличку, погрузились на бронетранспортёры и поехали по дороге навстречу встающему солнцу. Именно там была Тула.

Отяпов поднял людей чуть позже, когда немцев и след простыл. Раньше поостерёгся — зашумят, поднимут гвалт со страха, и тогда пропали они. Против пулемётов…

Больше в деревнях не останавливаемся, твёрдо решил он для себя, когда шли уже лесом, вдоль дороги, на которой за березняком рокотал транспорт чужой армии. Транспорт двигался в том же направлении, что и они. Вся война в те дни двигалась к Туле.

Глава четвёртая
ТУЛА

На шестой день, оголодавшие и измученные скитаниями по лесам и болотам, они вышли на большак, по которому, на их счастье, двигался на восток санитарный обоз одной из дивизий 50-й армии.

Обозом командовала женщина с петлицами капитана медицинской службы.

Отяпов доложил о прибытии.

Она некоторое время устало смотрело на них. Потом спросила:

— Раненые есть?

— Нет.

— Больные?

— Все здоровые, товарищ капитан. Только сильно голодные и от усталости с ног валятся.

— Потерпите немного, — сказала она. — Скоро места на повозках освободятся.

Отяпов уже знал, что означали свободные места на санитарных повозках.

И действительно, не прошли и километра, санитары сняли троих умерших. Тут же, при дороге, закопали. Неглубоко. Разгребли снег, листву, заглубились в талый грунт на два штыка и — готовы могилы. Отяпов помогал санитарам. Не потому, что имел какую-то корысть, а просто так, по привычке что-то делать вместе со всеми. Чтобы не так душа ныла, думать не мешала. А думать ему теперь надо было за весть его отряд. Командир не командир, но что-то вроде старшего. Как ни как всё же сержант.

Для него место на повозке освободилось перед самой Тулой. Закапывая умершего бойца с петлицами артиллериста, он подумал, что уже и сам бы дошёл, своими ногами.

Возле шоссе зенитчики окапывали свои длинноствольные орудия.

— Такие, должно быть, любой танк насквозь прошивают, — сказал раненый, сидевший впереди. — А нас бросили с одними бутылками. Докинь до него бутылку, когда он все окопы перед собой из пулемёта простреливает…

— Так надо подпускать. Поближе. — Зашевелился и другой раненый, у которого была плотно забинтована голова и только для рта и носа были сделаны узкие продухи.

— Поближе, — огрызнулся сидевший впереди. — Ты вон подпустил…

— Я подпустил.

— И где твоё отделение?

Забинтованная голова ничего не ответила, только вздохнула.

Вечером они, все двенадцать душ, сидели за просторным столом в доме на Кузнецкой слободе в Заречье и, не веря своим глазам, ели наваристые щи с гусятиной.

До того Отяпову понравились эти тульские щи, что он про себя решил: вот вернусь с войны, обязательно гусей заведу. Если, конечно, живой останусь…

После еды завалились спать.

Но спали недолго. Прибежал сосед, четырнадцатилетний Гришка, который всё это время не отходил от Тульского, растолкал его и сказал, что комендантский патруль собирает окруженцев по всему городу. Патрули с винтовками заходят во все дома. Сгоняют куда-то к стадиону.

— Двоих расстреляли. Я сам видел. Патруль расстреливал. Вывели и шлёпнули. Видать, шпионы. Или дезертиры. — Гришка на одном дыхании выложил свою новость и внимательно смотрел на Тульского.

Отяпов сел и начал обуваться. Сапоги у него теперь были добрые. В таких ещё можно не один десяток километров отмахать. Хоть по грязи, хоть по снегу. Но, видать, идти далеко теперь не придётся. Зашевелились и другие.

Новость не радовала.

Начали обсуждать своё положение. А положение было не ахти каким весёлым.

— Пришли к своим, дрит-твою…

— А куда ж нам было идти, — оправдывал сам себя сержант Отяпов.

В город они прошли мимо постов. Вёл их Тульский. Свернули с шоссе ещё возле окопанных зениток и дальше — огородами. И вот теперь сидели и решали, что делать дальше. Кто-то предложил пойти в комендатуру или выйти и доложить о прибытии первому встречному патрулю.

— Ну-ну, — хмыкнул Ванников, всё видевший в чёрном цвете. — Далеко вас патрули не поведут. К ближайшей кирпичной стенке…

Выход неожиданно предложил Гришка:

— Вам надо идти к Рогожинскому посёлку. Там наши оборону строят. Заводские. И отец мой там, и братья. Я вас проведу.

— Мы не ополченцы, — робко возразил Гусёк. — Нам надо искать свою часть.

— Где она теперь, своя часть… — наконец сказал Отяпов.

Все замолчали. Отяпов стал для этих людей не только командиром, но и тем человеком, который может спасти, вытащить из смертной прорвы. А она теперь, та прорва, везде — справа и слева, спереди и сзади. Хуже чем перед болотом на переправе. Рассуждать можно всяко, но решение принимать должен самый мудрый и опытный.

— Надо идти к ополченцам. Там теперь передовая.

— Опять к чёрту в пасть!

— Оборвались, обносились… — зароптали бойцы.

Отяпов поднял руку. Ропот сразу стих.

— Мы тут из разных частей. Кто будет разбираться, чьи мы и с чем пришли сюда. Немец всё время шёл за нами следом. А значит, не сегодня завтра, он будет здесь. Искать свои полки будет потом. Собирайтесь, ребятушки. Давайте почистим оружие и пойдём на позиции. А с таким ржавым железом мы не бойцы.

— Там, видать, тоже особый отдел есть, — сказал Ванников.

— Будем молить бога, чтобы нам там поверили. — И Отяпов расстелил перед собой плащ-палатку, вынул из вещмешка маслёнку и протирку,

выщелкнул из винтовки затвор, вытащил шомпол. Всё это разложил перед собой на плащ-палатке. Поплевал на руки.

Его примеру тут же последовали все, у кого было оружие.

Спустя несколько часов они стояли ровной шеренгой перед командиром роты тульских ополченцев. Тот выслушал доклад Отяпова, внимательно осмотрел новоприбывших, их оружие. Потом достал из полевой сумки блокнот и начал переписывать фамилии и номера частей. Переписав всех, сказал:

— Вот что, товарищи бойцы регулярной Красной армии, я должен доложить о вашем прибытии и желании воевать вместе с нами командиру полка. А пока на довольствие вас поставить не могу.

Оружие у них забрали. Сложили возле блиндажа командира роты.

— И куда ты нас привёл? — покачал головой Ванников. Лицо его было бледным, руки дрожали.

Ночь они переночевали в одном из домов, куда их отвёл ополченец, вооружённый французской винтовкой времён Первой мировой войны.

— Где ты её отрыл? — Ванников кивнул на диковинное оружие, оснащённое длинным штыком, похожим на шпагу.

— Что бы ты понимал, — ответил ополченец. — Она бьёт на два с половиной километра.

— Да ну! — покачал головой Ванников. — Хорошая фузея.

Проснулись в полночь. Разбудил их всё тот же ополченец с винтовкой Лебеля.

— Ротный вызывает, — коротко сказал он.

Ещё не рассвело как следует, когда со стороны шоссе, которое узкой сырой полосой угадывалось левее возле леса, прибежала разведка. Туман понемногу начал рассеиваться. Видимость становилась лучше. В окопах сразу началось оживление, брустверы зашевелились. Народ забегал туда-сюда. Ротный куда-то пропал. Потом появился с другой стороны. Увидел их и, видимо, вспомнив, что и с ними надо что-то делать, сказал:

— Разбирайте винтовки. Кто у вас старший?

— Я. Сержант Отяпов. — И Отяпов неуклюже махнул у обреза каски опухшей от холода ладонью.

— Приказываю вам, сержант, со своими людьми занять вон то крыло. — Он указал в туман. — Окопы там отрыты. Будете прикрывать зенитный расчёт со стороны леса. А сейчас получи́те патроны и по буханке хлеба. Другого пайка на вас не предусмотрено. Огонь открывать по моему приказу. Дальше действовать по обстоятельствам. Ваша задача, повторяю, не пропустить немецкую пехоту к орудиям со стороны леса.

Патронов им дали много. Сколько смогли взять, столько и нагребли в карманы и подсумки. Выдали по бутылке КС и три противотанковых гранаты. Гранаты, как и хлеб, надо было поделить. Одну Отяпов взял себе, другую поручил Тульскому, а третью Курносову.

Когда разобрали винтовки и получили патроны, повеселел и Ванников. Он посматривал на лес и полоску шоссе, черневшую на фоне заснеженного поля, и говорил самому себе:

— Сейчас мы им… Или грудь в крестах, или голова в кустах. Надоело уже бегать.

Потом, глядя, как ловко, снаряжая обоймы, управляется с патронами Тульский, сказал:

— Смотри, Тула, гранату не потеряй.

Тульский в ответ засмеялся:

— Не потеряю, Калуга. А ты, я вижу, вроде как малость отжился. Как воробей с мороза…

Ванников в ответ только усмехнулся.

Они заняли пустые окопы рядом с запасными позициями зенитчиков и начали готовиться.

Ефрейтор Курносов поглядывал на небо, крутил головой, будто принюхивался. Наконец сказал:

— Погода хорошая. Постояла бы, такая, подольше.

— Это так, — согласился Отяпов, — низкая облачность, туман — самолёты не полетят.

— Так и наши не полетят, — отозвался Гусёк.

— А где ты видел наши самолёты? — тут же вмешался в разговор Ванников. — Разве что сбитые.

Ни Гусёк, ни связист больше не промолвили ни стола. А Отяпов молча решил, что погода и вправду хорошая. Иначе бы или «рама», или «костыль» уже кружили бы над их позициями.

Зенитка стояла немного поодаль, ближе к домам. С длинным, опущенным вдоль земли хоботом, она походила на хищного зверя, готового клюнуть любого, кто вылезет к ним из тумана.

Разведка принесла весть: по Орловскому шоссе движется колонна бронетехники и крытые грузовики с пехотой.

Немного погодя из леса, наполовину скрытого туманом, вылетела, будто перепуганная птица, сигнальная ракета. Она косо прочертила серое небо над чёрной стеной неподвижного леса и исчезла, сгорев и оставив едва заметный чёрный след.

— Идут.

Отяпов оглянулся на своих бойцов: Курносов, Гусёк, Тульский, Ванников, дальше двое из отдельного разведбата, прибившиеся к ним перед самой Тулой. С другой стороны замерли остальные, кого он знал и кому доверял, потому что слабые ушли по пути сюда. Куда они делись, гадать теперь было трудно, да и некогда. Может, в плен, может, по домам. Отяпов знал: такие настроения — по домам — тоже одолевали бойцов, оставшихся без командирского пригляда.

— Ну что ты, Гусёк, дрожишь, как целочка перед первым разом. — Ванников нервно мял в зубах докуренное до последней степени колечко самокрутки. — Ты уже умирал. Ты не должен бояться.

— А я и не боюсь, — ответил Гусёк. Лицо его было серым. Но решительным. В нём, в Гуське, сейчас что-то происходило. Что-то новое, чего он сам ещё не понимал.

Отяпов посмотрел на него и отвернулся. Надо было сказать людям перед боем какие-то нужные слова. Командир должен что-то сказать своим бойцам перед боем.

— Ребята! — крикнул он. — Что бы ни случилось, держаться своей позиции! И друг друга! Раненых не бросать!

Это бы его первый боевой приказ. Он вдруг почувствовал, что руки его согрелись и что спина вспотела так, как будто где-то рядом топилась печь.

В лесу уже слышалась стрельба. Захлопали частым заполошным боем мосинские винтовки. Потом полыхнул немецкий пулемёт. Отяпов его сразу узнал. Снова зачастили винтовки. Разведка, понял Отяпов, или боевое охранение — мотоциклисты. Наскочили на охранение ополченцев.

Так оно и случилось. Через несколько минут в поле замелькали фигурки бегущих со стороны леса. Они быстро пересекли обмысок белого поля и исчезли в противотанковом рву.

— Охранение отходит.

- Неужто танками попрёт?

— На телегах поедет… — хмыкнул Ванников.

В стороне шоссе зарокотало, сперва одиноко, с перерывами, потом стало сливаться в единый вибрирующий гул. Казалось, проснулся лес и начал жить какой-то своей неведомой и зловещей жизнью, враждебной и городу, и им, притаившимся в своих окопах, и сейчас он стронется и поползёт на них всей своей несметной силой.

Туман всё ещё держался понизу, и Отяпов подумал, что он им поможет. Как никак, а танкистам, да ещё в незнакомой местности, ориентироваться и вести огонь будет куда сложнее, чем нашим артиллеристам.

Отяпов оглянулся на позицию зенитчиков. Расчёт уже замер у орудия, изготовившись к стрельбе прямой наводкой.

Глава пятая
БОЙ НА ОКРАИНЕ ТУЛЫ

Гул разрастался, захватывал всё пространство перед ополченцами, артиллеристами и бойцами группы Отяпова, проникал через шинельное сукно и холодил тело. Печка сразу перестала топиться…

Отяпов знал, что многих сейчас трясёт. Его тоже начало знобить и выкручивать суставы. Самое худшее в бою — ждать начала. Поскорей бы…

Танки сошли с шоссе и развернулись для атаки. Пехота машин не покидала. Грузовики замедлили ход и растянулись по дороге. Иногда их скрывал косяк тумана, но потом пространство снова очищалось, распахивалось в глубину, и в окопах становилось жутко: до чего ж большая сила пёрла на них.

Вскоре танки начали маневрировать. Они выстраивались группами. Первая, семь стальных угловатых коробок, пошла вперёд, вдоль шоссе. Три отвернули к домам, остальные шли прямо.

Ну и выдержка у этих ребят, подумал Отяпов и оглянулся на позицию зенитчиков. И в это время бахнуло, и над окопами боевого охранения пронеслась, упруго шурша, струя раскалённого воздуха. Второе орудие тоже произвело выстрел.

— Мимо.

— Артиллеристы, в гроб их душу…

— Наплачешься с такими стрелками. Кровавыми слезами наплачешься…

Стало совсем страшно. Неужто, подумал Отяпов, зенитчики стрелять не умеют? Может, и не умеют. По наземным-то целям — совсем другая стрельба, и они ей, по всей вероятности, просто не обучены.

Танки, не сбавляя скорости, продолжали двигаться в первоначальном направлении. Они сразу открыли огонь. Из коротких хоботов их пушек часто вспыхивало пламя. Но стреляли они не прицельно, и ни одного снаряда ни на позиции зенитчиков, ни в окопы пехоты не попало.

— На арапа берут, — сказал кто-то из бойцов.

Ещё один трассер резанул над полем мутную хмарь и на этот раз ударил точно в башню переднего танка. И тотчас сильный взрыв встряхнул железную коробку, отделил башню от шасси, и столб багрового пламени встал вертикальной колонной и некоторое время стоял так, подпирая серое небо, тоже, казалось, готовое упасть и разрушиться. Вот это был выстрел!

В окопах одобрительно закричали.

— Готовсь! — скомандовал Отяпов, чувствуя, как азарт охватывает всё его разом помолодевшее тело.

Тем временем немецкая пехота начала выскакивать из грузовиков и взводными гусеницами рассыпаться по полю.

Заработали пулемёты. Сразу несколько «максимов» — то короткими, то длинными очередями. Патронов не жалели.

— Огонь! — закричал Отяпов и тут же нажал на спуск.

Первый выстрел он сделал так, больше для шума, не целясь, и пуля полетела куда попало. Бойцы припали небритыми щеками в ложам своих винтовок. По первой обойме расстреляли в один миг. Потом огонь поредел. Отяпов это знал — начали целиться, аккуратней стрелять.

Из других окопов тоже вели огонь. Дробно застучали автоматы. Где-то правее, из-за противотанкового рва, резко били бронебойки.

Чем ближе подходили танки, сопровождаемые пехотой, тем плотнее и яростнее становился огонь из окопов. Артиллеристы начали стрелять чаще и точнее.

Горели уже три танка. Один, с сорванной гусеницей, осел набок и зарывался в землю. По нему вели огонь бронебойщики. Добивали. Его развернуло бортом к позициям бронебойщиков. Экипаж машину не покидал. Пушка его начала отвечать. Чёрные кусты взрывов мгновенно выросли за

противотанковым рвом. Но и танк задымил. Открылся боковой люк. Оттуда что-то выбросили наружу, потом ещё. Похоже, выбрасывали стреляные гильзы. Танк по-прежнему вёл частый огонь в сторону противотанкового рва. Потом из люка вывалился человек и скатился вниз.

До подбитого танка было метров двести. Отяпов дрожащими от разбуженного азарта пальцами передвинул хомутик на прицельной планке. Прицелился. Немец копошился возле танка. Похоже, он был ранен. Дым всё гуще тянул из открытого бокового люка. Но башенное орудие продолжало вести огонь. Наконец оно затихло. Ещё один танкист выполз из люка. Вылезал он медленно, будто не верил, что его боевая машина уже горит. Отяпов выстрелил. Немец повис вниз головой. Отяпов знал точно, что попал именно он.

Бой шёл весь день. Танки отходили, перестраивались и снова атаковали. Пехота теперь передвигалась под прикрытием бронетранспортёров. С бронетранспортёров длинными очередями вели огонь пулемёты. Но ничего у них особо не получалось.

Двоих убитых уже оттащили в боковое ответвление и прикрыли сверху плащ-палаткой, на которой ещё недавно они чистили винтовки. Трое были ранены. Какое-то время раненые сидели на дне окопа без дела, но потом, так и не дождавшись санитаров, вернулись к своим стрелковым нишам и продолжили огонь. Санитары по-прежнему не появлялись. Отяпов понял, что никто к ним не придёт. Он приказал перевязывать друг друга самим. Раненых взялся перевязывать Гусёк. Получалось у него неплохо. А Отяпов подумал: Лидку бы сюда, она ловкая и бесстрашная, а главное, по медицинской части справляется не хуже, чем расчёт зенитки с танком.

После полудня затихло.

Пришёл посыльной от командира роты и сказал, чтобы составили донесение о потерях. Чуть погодя вернулся:

— Выделите двоих человек для получения горячей каши.

Есть хотелось. Но ещё сильнее хотелось спать. Отяпову казалось, что они не спали несколько ночей.

С поля тянуло гарью. Подбитые и сгоревшие танки чернели вдоль противотанкового рва и возле дороги. Их было порядочно. Раза три Отяпов пытался сосчитать их. Но каждый раз сбивался. Не потому, что их там, в поле, было так много. Досчитывал до пяти, семи, и начинал так волноваться, что в глазах рябило, набегала слеза, он сползал с бруствера и несколько минут смотрел на затоптанное дно окопа, на стреляные гильзы, на раздавленные их дульца, обмётанные пороховой гарью. В конце концов решил: надо готовиться к новому бою и людей готовить. А танки пускай считают те, кто их сжёг. Это их трофеи.

Глава шестая
ГОСПИТАЛЬ

О том, что он ранен, Отяпов узнал через несколько часов после того, как его ослепила вспышка разорвавшейся на бруствере мины.

Ранение оказалось лёгким — мелкими осколками посекло лицо и руки. Но контузия была куда серьёзней. Вначале Отяпов ничего не слышал. Потом в ушах зашумело и снова, как в окопе, пошла кровь. Она текла из ушей и из носа. Он подумал, что умирает, и попросил вынести его на свежий воздух, хотя бы в коридор. Но никто его никуда не понёс.

Сосед по койке сунул ему докуренную до половины самокрутку. Отяпов затянулся несколько раз и успокоился. Он ждал, когда придёт смерть, но она что-то тянула, не приходила. Её он не чувствовал даже вдали. Хитрит, гадюка, подумал он и прислушался. Шум в ушах менялся. Он то накатывал, то отступал. Наверное, так шумит море, подумал он, хотя на море никогда не был, не видел и не слышал его даже издали. Потом сквозь шум моря начал пробивать какой-то стук. Через некоторое время стук превратился в грохот. Уж его-то Отяпов узнал. Он напряг все силы своего ослабевшего тела, приподнялся и посмотрел на окно. Да, понял он, танки всё же прорвались, смяли их оборону на Одоевском шоссе и теперь приближались к госпиталю. Даже марлевые занавески, как ему показалось, дрожали. Вот так. Не удержались ни зенитчики, ни его ребята, которых он собрал в лесах на Рессете и под Белёвом. Он машинально пошарил возле себя руками. Гранаты нигде не было. Да и руки слушались плохо. Где ж граната? Он же оставлял себе одну.

— Ну что ты всё воюешь, — услышал он тихий, спокойный голос человека, который совершенно не боялся гула приближающихся танков. — Всё воюет и воюет… Отвоевался теперь. Полежи спокойно. И другим дай полежать в тишине и покое.

Отяпов указал на окно.

— Ну, что там такое? Синица прилетела. Долбит в окно. Видать, к ночи мороз ударит.

— Танки! — выдохнул Отяпов. — Они прорвались. Там мои ребята…

Человек засмеялся.

— Танки… Во попал ты под них, как ягнёнок под волка… Теперь век бласти́ться будут. Говорю тебе, синица в раму клюёт. Летних мух выбирает. К зиме дело…

— Танки…

Танки ни в тот день, ни в следующий, ни потом через позиции, которые удерживали они вместе с зенитчиками и тульскими ополченцами, не прошли. Когда унесли в тыл раненого и контуженного Отяпова, два танка проскочили левее, попав в мёртвое пространство, где артиллеристы их достать уже не могли. Они остановились и начали вести огонь по позициям зенитчиков.

Первую противотанковую гранату, выданную им на отделение, взял Тульский и пополз к ближнему танку. Как он до него добрался, никто толком

не видел. Думали, что он убит или ранен и лежит в поле, в бурьяне, заметённом снегом. Уже собирались ползти за ним, искать. Дымом заволокло всё пространство перед окопом. И ориентировались они лишь по выстрелам танковых пушек и зенитки. То немец в дыму полыхнёт, то наши ответят. И те, и другие, видать, мазали и продолжали свою изматывающую дуэль. Но вскоре там, где затаился танк, загрохотало и высоко вскинулось пламя.

— Дополоз! — сказал радостно кто-то из бойцов. — Это наш его накрыл. Гранатой.

— Вот молодец, пряничная душа, — похвалил Тульского и Ванников.

Тульский сделал своё дело, и никому из них уже не надо было ползти туда, в смертное поле, со второй гранатой.

Немного погодя, когда второй танк, отстреливаясь, ушёл назад, к лесу, Ванников и Гусёк притащили раненого Тульского. Положили на солому на дно окопа.

— Не тормошите его, — сказал сержант Курносов. — Отходит.

Так, не приходя в сознание, Тульский и помер.

Через два дня со стороны города подошла смена: рота пехоты и батарея противотанковых орудий.

«Сорокапятки» разместили в разных местах, в глубину, уступом к шоссе. А бойцы охранения заняли окоп, где оборонялся отряд Отяпова, и начали окапываться дальше, углубляя ходы сообщения.

Рота была свежая, с лейтенантами. Бойцы одеты в белые полушубки. Уцелевшие смотрели на них, как на ангелов, спустившихся с небес.

— Где ж таких только взяли…

Отяпову жилось хорошо. Слава богу, думал он, глядя в свежий потолок, видать, недавно покрашенный известью, хоть отдохну под крышей, в тепле, на чистой койке. Ни тебе стрельбы, ни осколков над головой, ни пуль, ни ветра, ни холода. Командиры не матерятся. Их тут просто нет. Говорят, их, командиров, лечат в другой палате. Вот и хорошо, от них тоже отдохнуть надобно — надоели. Врачи и медсёстры спокойные, обходительные. Сосед Отяпову тоже попался хороший. Отяпов давно, ещё когда брели лесами к Туле, заметил, что на людей ему на войне везёт. Народ и соседом в окоп, и на марше, и так, когда драпали по лесам, и на отдыхе ему попадался хороший, покладистый, не особенно хитрый — так чтобы на чужом горбу покататься, — уважительный и в бою стойкий. Не сказать чтобы уж очень храбрый, но надёжный, в беде не бросали. Героев на фронте он пока не встречал. Разве что зенитчики. Ловко пожгли танки. Хорошо стреляли. И держались, надо сказать, геройски. Порой совсем их снарядами засыпало, а глядишь, опять стреляют. Разве не герои? Да и те лейтенанты, которые у болота повели их в атаку, вспомнил Отяпов, тоже герои. Нет, подумал он, это и есть настоящие герои. Так что и героев он на войне повидал.

Соседа звали Кузьмой. Лежал он в госпитале уже порядочно, с середины октября. Обгорел в танке на Рессете, когда прорывались на Хвастовичи. Там, под селом Красным, у моста, его Т-26 подбил немецкий танк.

— Из засады стрелял, — рассказывал Кузьма; говорил он спокойным, тихим голосом, как будто о чём-то главном в своей нынешней жизни всё время сожалея. — Две болванки пролетели мимо. Первой германец промазал. Видать, заторопился. Увидел меня на дороге — вон какая цель хорошая на прямой наводке! — и сплоховал от нервов. Германец, что ж, тоже существо живое, нервное.

Отяпов полюбил Кузьму не только за его разговоры, которые, должно быть, и самого танкиста успокаивали и мирили с тем, что выпало ему на войне, но и за то, что тот приносил ему из курилки «сорок». Украдкой совал ему в руку колечко недокуренной самокрутки, и Отяпов жадно затягивался несколько раз. Сразу кружилась голова, и становилось легче и спокойней, как дома. Пережитое куда-то уносилось, таяло, как то болото в тумане, а ранение казалось пустяком, о котором и думать не следует.

Думалось только об одном — о доме.

Но что думать о доме? Дома сейчас немец. Хозяйничает в его деревне, на колхозных полях, в лесу, на речке. Всё теперь пошло под чужую власть. Ладно, ладно, погоди, вот поднимусь с койки на костыль, а там, может, и ровнее пойду…

Отяпова одолевала злая надежда на то, что он не совсем отвоевался, что вернётся ещё к своим товарищам, в окопы, что рано или поздно Красная армия соберёт силы и начнёт наступать. Ведь били же они их, проклятых, на Рессете. Эх, как лихо они тогда атаковали! Даже Гусёк героем ходил, немца повалил. Хороший бой был. Победный. Хотя ни в какие донесения и приказы он, конечно же, не попал. Не названы в том несуществующем приказе имена лейтенантов и других отличившихся бойцов. Гуська, например. Да и его, сержанта Отяпова.

Он вспомнил своего убитого немца и подумал: даже если калекой теперь останусь, я своё дело на войне сделал. Родину оборонил.

— Первый мимо пролетел. От второго я ушёл, в сторону машину бросил. Знал, что он упреждать будет. Так утку стреляют, с небольшим упреждением, чтобы сама на заряд налетела… А третий ударил прямо под башню. Загорелись. Башнёра — наповал. Колька Лучников, из Тамбова, хороший был парень. Гармонист. Так и сгорел вместе со своей гармоней.

Вот, кольнуло в самое сердце Отяпова, а мы своих тамбовских над ямкой постреляли…

В какой-то момент слушать Кузьму становилось тягостно. Отяпов и сам навидался всей этой крови и грязи, и слушать чужую боль было невыносимо. Оставалось одно — терпеть. Иначе как? Товарища надо было понимать — душа просила выхода. Вот он его, Отяпова, и выбрал в слушатели. И Отяпов терпеливо слушал всё подряд.

— Как ты думаешь, — спрашивал Кузьма, — какой мне теперь танк дадут? На «тридцатьчетвёрку» бы попасть. Вот это машина! Экипаж четыре человека. Угол наведения… Мотор — дизель, пятьсот лошадей… Наклонная броня…

— Ты и эту сожжёшь, — подал голос забинтованный с головы до пояса ополченец. — Технику любить надо. Беречь. Под огнём надо уметь

маневрировать, а не лезть на рожон. Видел я, как вас возле Одоевского шоссе били. У них — одна пушка, а набила вас, всю дорогу запрудили…

У пехоты всегда претензии к танкистам, артиллеристам и лётчикам. А танкисты и пушкари всегда бранят пехоту. Эту историю Отяпов знал. С танками, да при поддержке артиллерии, отбиваться от немцев было куда легче. Случалось, и контратаковали. Но танки могли прекратить атаку перед самыми немецкими окопами и вернуться назад. А артиллерия не всегда умела подавить огневые точки, и немецкие пулемёты оживали в самое неподходящее время, когда пехота высыпа́ла в поле и не имела никакого укрытия. Другое дело, зенитчики. Эх, молодцы ребята! Как они жгли немецкие танки!

Отяпов несколько раз спрашивал о них, живы ли? Может, кто тут лежит? На излечении? Никто ему ничего толком ответить не мог. Какие зенитчики? Какие герои? Нет тут никаких героев…

В конце концов он даже расстроился. Как же так, думал он, ребята город спасли, немецкие танки возле самых тульских домов остановили, а никто об их подвиге не знает.

В начале декабря в палату пришли ефрейтор Курносов, Гусёк и Ванников. Отяпов увидел их, глазам не поверил, а когда догадался, что это не контузия ему икается, а самая доподлинная явь, обрадовался и чуть было не заплакал. Так его тронула забота товарищей. Не забыли, навестили калеку, консервов вон принесли, сала и хлеба. Целый кулёк всякого довольствия. Небось от своего пайка оторвали мне на гостинец…

Самым бравым и подтянутым выглядел Гусёк. Он щеголял в белом, ещё не выгвазданном ни сажей, ни окопной грязью овчинном полушубке и высоких необмятых валенках. На плече висел такой же новенький ППШ а на ремне штык-нож от СВТ. Видать, на махорку выменял, подумал о своём бравом гвардейце Отяпов.

Он сразу кивнул на шанцевый инструмент и сказал:

— Освоил новую матчасть?

— Так точно, — улыбаясь, ответил боец.

Хороший парень, про себя похвалил Гуська Отяпов. Хорошо, что вывел его с Рессеты. Цепкий оказался, не смотри, что на вид хлипкий и всё время дрожал. Вот уж вправду сказано: страх — это волк; одного придавливает, как овечку, так что та уже и не мекает, а другого героем делает.

— Залежался ты на чистых простынях, Нил Власыч, — сказал Курносов. — Когда на выписку?

— Да уже скоро, — признался он. — Видать, что-то за городом затевается. А? — И он заговорил тише, чтобы слышали только свои: — Выписывать народ стали больше. Слыхал от санитаров такое: маршевые роты формируют, войска на передовой свежими силами пополняют.

Долго им в палате сидеть не разрешили. Попрощались. На всякий случай сказали, где искать их полк, и пошли.

Когда они ушли, Кузьма, вернувшись из курилки со всегдашним «сороком» в рукаве, кивнул на дверь:

— Товарищи? Я так и понял. Хороший народ. Боевой. Такие ближе всякой родни.

— Это да. Я с ними всего повидал. Рад, что живы. — И вздохнул. — Живы, да не все.

— А ко мне никто не придёт. Все погорели. — И вдруг Кузьма объявил: — Завтра мне на медкомиссию. Буду проситься в свою бригаду. Где она теперь? Начальство знает. Механиков-водителей не хватает. Есть приказ, что нашего брата после госпиталей направлять только по прежней специальности. Как думаешь, «тридцатьчетвёрку» мне дадут?

— Дадут, Кузьма. Конечно, дадут. Ты парень ходовой, знающий. — Отяпов задумался. — А мне винтовка всегда найдётся. Хоть со склада, хоть из-под снега…

Глава седьмая
НАСТУПЛЕНИЕ

В середине декабря 1941 года вперёд пошёл и левый фланг Западного фронта — 50-я и 10-я армии.

Из штаба фронта в штаб 50-й армии пришёл приказ: глубоким ударом на узком участке фронта выйти к Калуге и к 20 декабря овладеть городом. Задачу должна была выполнить ударная группировка, куда вошли несколько дивизий и отдельных частей. Отходящие на линию реки Оки войска 2-й танковой армии Гудериана сплошного фронта уже не имели. Лишь в крупных населённых пунктах и городках стояли немецкие гарнизоны. Однако путь на Калугу ударной группировке приходилось пробивать с боями.

Отяпов всё время посматривал на артиллеристов. Вот чёртовы дети, бранил он про себя «сорокапятчиков», которыми командовали два молоденьких лейтенанта. Те копошились в снегу вместе с расчётами, что-то кричали ездовым. Но ездовые, устав нахлёстывать лошадей, которые совсем выбились из сил и теперь почти беспомощно дрожали облепленными снегом боками, командиров, похоже, не слышали.

На самом деле командовал всей здешней артиллерией пожилой старший сержант. Невысокий ростом, коренастый, в белой каракулевой шапке, он подскакивал то к одной запряжке, то к другой, давал какое-нибудь короткое распоряжение или просто делал едва заметный жест, и расчёт дружно налегал на щит орудия, хватался за постромки, помогал лошадям осилить подъём.

Шли они уже несколько часов. Рота двигалась взводными колоннами. Тащили с собой обоз — несколько саней с боеприпасами и ротным имуществом. С ними шёл взвод «сорокапяток».

В голове колонны несколько раз вспыхивала стрельба. Но тут же всё затихало. Передовое охранение уничтожало какой-нибудь немногочисленный немецкий гарнизон в очередной деревне. Немцы вместо того, чтобы уйти, встречали колонну пулемётным и автоматным огнём. Их тут же сметали ответным огнём. По всему было видно, что противник не ждал прорыва на этом

направлении и принимал авангарды группировки за мелкое подразделение или разведку противника.

В бой рота пока не вступала. Бойцы лишь видели в снегу на обочинах полузаметённые снегом трупы немецких солдат и полицейских. Рассматривать убитых было некогда. Вот сволочи, думал Отяпов, всего-то месяц-другой, как немец здешние просторы занял, а уже желающих ему служить — орава! Неужто и у них в Отяпах кто-нибудь из местных повязку надел? А что, очень даже может и такое случиться. Он начал перебирать в памяти всех мужиков, кого не успели забрать на войну, и не мог найти ни одного такого, на кого можно было бы подумать, что он пойдёт служить немцам. Но всё же представил, какая жуткая жизнь, должно быть, в оккупированных деревнях, и снова тревога за своих охватила его.

Командиры всё время поторапливали.

— Давай, давай, ребята! Шибче! Шибче! — сердито пробасил сквозь забитые снегом густые усы старший сержант на своих артиллеристов и повелительным жестом махнул оказавшимся рядом пехотинцам.

Левая пристяжная упала на колени и испуганно заржала. Опяпов схватил её за узду и потянул на себя:

— Ну, милая, давай, тянись, недолго нам уже осталось. Светает вон, значит, скоро остановимся.

Потом начался спуск. Артиллеристы, как дети на горке, тут же застопорили кольями спицы колёс, повисли на длинном стволе «сорокапятки», ухватились за щит, задерживая её движение, чтобы орудие своей тяжестью не придавило передок с зарядными ящиками и не поломало ноги лошадям. Послышался смех. Опяпов, тоже ухватившись за заиндевелый наклонный щит, увидел одного из лейтенантов. Тот широко улыбался. Полушубок его был расстёгнут, потемневшая от пота гимнастёрка парила. Ишь, разгорелся, подумал о нём Отяпов, как всё равно к тёще на блины едет... Видать, ещё не попадал, в настоящее-то дело. Ну, скоро будет ему и тёща, и блины, и мёрзлая глина в нос...

То, что рядом, в ротной колонне, шли артиллеристы, успокаивало. Пушка — это тебе не винтовка. Шарахнет — и танк неживой...

Они ещё не наступали. За всю войну, с самых летних боёв, ни разу. Была одна шальная контратака на Рессете. Но и она, считай, закончилась не совсем хорошо. Вроде и победа, и не победа. Потом снова отступали.

А тут — настоящее наступление. Говорят, несколько дивизий двинулись вперёд. Кавалерия. Танки. Артиллерия. На санях везли миномёты и ящики с минами. Где-то в хвосте колонны двигались и «катюши». Какое ж наступление без «катюш»? Бойцы только и говорили, что про «катюши» и новые танки. Начальство это обязательно предусмотрело и позаботилось о нашей пробивной силе, с надеждой и даже уверенностью, думал Отяпов. Как стреляют «катюши» он видел. Сила! Под Тулой как заревели — дым, огонь, снежная пыль столбом! Пехота из окопов выскочила и — ходу в лес! Из окопов же не видно, куда из этих кузовов снаряды летят. Потом долго смеялись. И миномётчики, и бросившая свои позиции пехота.

Рядом хрустел снегом и покашливал Гусёк. Гуську, как бывалому воину, перед маршем выдали несколько гранат и два запасных диска к ППШ. Начальство его уже заметило. Что ж, заслужил делом. Отяпов видел, как тот раза два снимал рукавицу, ощупывал дымящимися пальцами свой автомат, выковыривал из-под спусковой скобы и рычажка перевода огня набившийся снег. Молодец, матчасть соблюдает в чистоте и готовности. Надо ж, какой солдат получился! А сколько таких ребят полегло, сколько в плен пошло, тут же затосковал Отяпов. Не вывели, не сберегли для Родины и Красной армии своих надёжных бойцов. Отяпов вспомнил и капитана Титкова. Где-то тут, рядом, опять командует батальоном капитан Титков. Сволочь такая…

Рассвет их застал в поле. Только что миновали деревню. Бойцы с тоской и надеждой посматривали на дворы. Хаты стояли нежилые, с выбитыми окнами и сорванными дверями. Выстуженные. Хлева тоже пустые. Германец похозяйничал, определил Отяпов. Но ладно хоть не пожёг. Заткнуть сеном оконные проёмы, навесить двери, протопить печи и — завалиться на отдых… Самое время. Днём-то продолжать марш опасно — не ровён час самолёты налетят. Но деревню они миновали в том же темпе. Командиры молчали. Теперь оставалось надеяться, что на днёвку их остановят в лесу.

Дорога впереди была прочищена. Но снег валил и валил, позёмка гнала косяки снежной крошки по полю и оседала здесь, как туман в противотанковом рву. Белые тугие барханчики росли буквально на глазах. Колёса орудий вязли в них. Лошади совсем ослабли, и ездовые попрятали кнутья, кнут был уже бесполезен.

Наконец и поле осталось позади. Дорога пошла чище, легче. А ветер уже не так трепал солдатские шинели и полушубки, не сёк ледяной крошкой по глазам, не жёг щёки, с которых будто содрали кожу.

И вот в голове колонны родилось и радостной птицей пронеслось по заполненной войсками дороге:

— Стой! Принять в сторону! Привал!

Принять в сторону можно. Полезли в снег. Местами проваливались по пояс. Вокруг елей обтаптывали сугробы, ломали лапник и тут же валились на охапки и засыпали, даже не сняв вещмешков и не отряхнувшись от налипшего в поле снега.

Подошла ротная кухня. Старшина начал раздавать горячую кашу. Перво-наперво накормили артиллеристов. Бойцы стояли с котелками наготове и терпеливо ждали, когда пройдут «сорокапятчики».

— Ну, ребята, — сказал лейтенантам Отяпов, — вы ж, глядите неперёд, и воюйте не хужей, чем на кухне.

Те засмеялись. Эх, дети, подумал Отяпов. Такие не погубили бы орудия. Без орудийной поддержки роте в бою — беда.

Только успели ложки облизать и рассовать их по укромным местам — кто за голенище, кто в нагрудный карман, кто куда, — прибежал ротный:

— Отделение Отяпова и сапёры! Ко мне!

Вот тебе и привал. Похоже, Отяпов, накрылся твой честно заслуженный отдых.

Ротный нахватал их пятнадцать человек. Из штаба полка прибыли лыжники, тоже человек пятнадцать. С ними старший лейтенант. Разведка. Все при автоматах. Кое у кого трофейные. Разведчики с трофейным оружием щеголять любят, этот форс Отяпов давно заметил.

Артиллеристы быстро отвинтили и с осей колёса одной из пушек сняли бронещит. Пушку приладили на сани, притянули проволочными скрутками. И — вперёд.

Задачу старший лейтенант из полковой разведки поставил уже в пути: впереди деревня, немцев в ней немного, человек двенадцать, но при зенитной установке и двух пулемётах, и этот чёртов гарнизон необходимо было взять любой ценой. Из лазарета прислали две санных повозки с санитарами. В одной из санитарок Отяпов сразу разглядел Лидку Брусиленкову. Та тоже махнула ему рукой, радостно улыбнулась. Опять им выпала доля хлебнуть чего-то непонятного и вовсе не радостного. Хотя встреча с роднёй — а какая она ему родня? — Отяпова обрадовала.

Шли около часа. Свернули в лес. Затихли. Ездовые соскочили с саней, гладили заиндевелые морды лошадей, чтобы те не заржали и не выдали отряд.

Деревня рядом. В ней тихо. Может, ушли? Германец, он хоть и смел, и хороший вояка, а всё одно умереть от пули боится. А тут на него такая силища прёт.

Вернулась разведка. Нет, не ушёл. Значит, придётся атаковать.

Старший лейтенант задумался. Позвал артиллерийского лейтенанта. Начали совещаться. Отяпова тоже к себе позвали. Он всё время молчал, вопросов не задавал, чтобы не досаждать командирам решать самое главное. Кто он им — пехотный сержант?

Распрягли коней. Вывернули оглобли, чтобы не мешали в лесу. Сани с «сорокапяткой» потащили к опушке.

Вон он, зенитный автомат, спаренные стволы торчат над снежным валом. Не обманули разведчики. Там же, над валом, виднеется фигура часового. Немец закутан в какое-то пёстрое тряпьё. Видать, совсем замёрз, бедолага. Ветер тянет от деревни. Значит, немецкий часовой их не слышит. Старший лейтенант команды отдаёт шёпотом.

Самая непростая задача, как всегда, у пехоты: как только отстреляется расчёт «сорокапятки», атаковать юго-западную окраину и захватить три крайних дома.

Лыжники уходят раньше. Они войдут в деревню с северо-востока и перекроют дорогу на восток одновременно с атакой отделения Отяпова и сапёрной группы. Это чтобы из деревни ни одна душа не ушла.

Вначале всё шло удачно, как задумывалось. Артиллеристы отстрелялись точно. Сразу подавили зенитную установку. Отяпов поднял своих. Добежали до первой хаты. И тут ударил пулемёт. Он бил откуда-то из глубины проулка, из метели. Упало несколько человек. Захрипел Ванников, загребая под себя снег. Отяпов ухватил его за ремень и оттащил за кладушку дров. Залегли. Пулемёт не умолкал. И Отяпов сразу забеспокоился о тех, кто остался лежать на снегу, в проулке, под огнём.

— Нил Власыч, я заметил, откуда он стреляет. — Гусёк дрожащей рукой очищал от налипшего снега свой ППШ. Протёр, проверил диск и вытащил из кармана полушубка гранату, зачем-то подышал на неё.

Нервничает, понял Отяпов.

— Давай, Гусёк. Правее обходи. Вдоль сараев. Спасай нас всех. Вся надёжа на тебя.

Гусёк исчез в проулке. Метель поглотила его мгновенно.

Отяпов полез в карман Ванникова, чтобы найти его медицинский пакет. Но вдруг понял, что уже ничего не надо — Ванников не дышит и начал быстро остывать. В Калугу шёл... Домой. Надеялся своих повидать. Повидал...

В глубине проулка лопнула граната, потом другая. Немного погодя вернулся Гусёк. Он тащил пулемёт. Тянулась по снегу лента с длинными, как карандаши, патронами. Дырчатый кожух с шипением дымился, издавая приятный металлический запах.

— Вот, Нил Власыч, трофей прихватил.

— Ванников помер, — ответил Отяпов.

— Что, наповал?

— Наповал. Вот тебе и Калуга...

Гусёк забрал из карманов шинели Ванникова гранаты. Припорошил снегом лицо. Снег уже не таял. Сказал:

— Похоронить бы...

— Местные похоронят, — махнул рукой Отяпов.

Вскоре пришли лыжники. А за ними — связной из штаба батальона с приказом: атака деревни отменяется, срочно возвращаться назад.

Отяпов с Гуськом вытащили тела убитых к дороге. Оружие забрали с собой. Раненых увезла Лидка. Хоронить своих товарищей им было некогда. Местных жителей никого не видать. Ни души. Должно быть, все ушли в лес. Или немцы угнали. В дома заходить не стали. Не до того.

Оказалось: батальонная колонна меняла маршрут движения. Деревня им теперь была не нужна, её они обходили стороной. Разведка нашла другую дорогу, более пригодную. Пришёл приказ: мелкие гарнизоны обходить, боем себя не связывать, оставлять их вторым эшелонам.

Глава восьмая
БОЙ ЗА ДЕРЕВНЮ

В Калугу Отяпов не попал. Полк обошёл город с северо-запада. Шли маршем, без остановок и боёв. Всё уже было сделано. Вдоль дорог стояли уткнувшиеся в кюветы громоздкие немецкие грузовики, наши ЗиСы и полуторки с выгоревшими кабинами и обгоревшими, осевшими скатами, будто обглоданными каким-то неимоверным и жадным зверем.

— Хороший город, — сказал Курносов. — Я до войны тут бывал.

— Пожгли сильно. — Отяпов смотрел на дымчатую кромку горизонта, которую обрамляли плотно наставленные дома незнакомого города, той самой

Калуги, о которой столько говорили все эти дни и откуда родом был Ванников.

— Да, пожарищем пахнет сильно.

Вскоре повернули левее и вышли к крайним домам. Домишки здесь стояли так себе, не лучше, чем у них, в Отяпах. Правда, все крашенные в голубой или в зелёный цвет. И наличники резные, в затейливых узорах. Такого художества у них в деревнях не водилось.

Отяпов шёл и любовался наличниками. Каждый следующий дом был украшен узором, который совершенно отличался от предыдущего. Мудрёный, видать, тут народ живёт, подумал Отяпов, завистливый. Вон как своё от соседского отгораживает. Вот такой и Ванников был, царствие ему небесное. Не дошёл до своего дома. Тоже, должно быть, с узорами да затейством... Дети сиротами остались.

Возле дороги лежала полуобгорелая лошадь, задрав кверху заиндевелые копыта. Её уже свежевали две старухи и мальчонка. Старухи рубили топором куски мёрзлого мяса, а мальчик складывал их на санки, стоявшие в чёрном затоптанном снегу, обмётанном копотью. Топор у старух был, должно быть, туп, и у них получалось плохо. А может, труп лошади сильно застыл. Ротный сказал, что ночью давануло до тридцати пяти. Ну, ничего, в такой одёжке, в какую обмундировали их перед наступлением, пережить и не такой мороз можно.

Мальчик смотрел на идущую колонну и рассеянно улыбался. Должно быть, голодный, подумал Отяпов. Но его опередил пулемётчик Гридников. Он перескочил через кювет и сунул мальцу кулёк. Что у него там было, неизвестно. Может, сахар да сало. Что им ещё выдавали перед маршем? По банке рыбных консервов и гороховый концентрат. Гридников — человек добрый, он последнее отдаст, не пожалеет.

А малец чем-то на Власика похож. Только, может, ростом поменьше.

Отяпов оглянулся. Но колонна шедших сзади уже закрыла обочину дороги, где старухи и малец разрубали убитую лошадь.

К вечеру вышли к деревне. Деревня целая, дома стоят все, не пожжены, не побиты снарядами.

За деревней шла стрельба. Пока палили из винтовок да изредка дёргал морозный звонкий воздух наш «максим». Басовитый его грохот раскатисто стлался по вымерзшей лощине, где лежали несколько убитых. Чьи там лежали убитые, пока было непонятно.

Расположились за домами и сараями. Ротный сказал, что предстоит атаковать ту сторону лощины. Там засели немцы. Неужто придётся лезть через лощину в лоб, без артподготовки?

Отяпов высунулся из-за угла, чтобы получше осмотреть местность, где им через минуту придётся умирать. Лощина неширокая, перескочить можно в один мах. Несколько стёжек протоптаны на ту сторону. По ним, должно быть, и бежали те, что лежат теперь, припорошенные снегом. Один лежал совсем близко, за колодцем. Отяпов присмотрелся: немец! Так тебе и надо, чёртов сын, подумал об убитом Отяпов.

Рядом шевелился Курносов. Он устраивался поближе к фундаменту.

— А ну-ка, подвинься, — сказал Отяпов и толкнул его валенком в бок. — Убери-ка свой лафет в сторонку.

И точно, вскоре и их очередь подошла.

Вначале «максим» прошёлся очередью по березняку и верхушке пологой горки на той стороне лощины. Было хорошо видно, как пули поднимали снежную пыль и секли по сучьям молодых деревьев. И тотчас оттуда ответил немецкий МГ. Несколько пуль шлёпнули по брёвнам дома, звякнуло разбитое стекло.

Появился ротный. Начал смотреть в бинокль в сторону горки, откуда часто молотил немецкий пулемёт.

— Приготовиться! — крикнул он.

Но немцы поднялись раньше.

— Господи! Иисусе Христе! — выдохнул Отяпов и оглянулся на товарищей, прижавшихся к стене дома в ожидании своей участи.

Но тут захлопали миномёты, и лощину, противоположный склон с фигурками в грязных коротких комбинезонах, березняк и трупы немцев заволокло гарью и снежной пылью.

— Понеслась кривая в баню, — хохотнул Курносов и вытащил из-за пазухи сухарь.

Некоторые осколки на излёте добрасывало до самых дворов. Они шлёпались поодаль, прожигали затоптанный снег и исчезали, как нечистая сила.

Через несколько минут опять появился ротный. В руках у него был новенький ППШ. Он что-то кричал. И Отяпов понял, что надо выходить и бежать туда, по лощине в гору, где всё было расковеркано минами и где гарь всё ещё оседала на седой испорченный снег.

Окопы немцы отрыть не успели. Сделали норки в снегу, снизу застелили еловым лапником. Пулемётчики устроились более основательно. Натаскали досок, выложили бруствер и присыпали снегом. Расчёт уйти не успел. Двое лежали прямо возле пулемёта, уткнув головы между коробок с патронами. Осколками изрубило именно головы. Третий поодаль. У третьего головы и вовсе не было.

— Хорошо отработали миномётчики, — стиснув зубы, сказал ротный.

Они потоптались вокруг убитых пулемётчиков и пошли в сторону леса, куда продвигался весь батальон.

Возле леса были сложены раненые. Во время боя их стаскивали сюда. Примчались санитарные сани, потом ещё двое. Начали грузить раненых. Отяпов помогал санитарам поднимать на сани раненых и всё смотрел в поле, не подъедет ли на своём сером коне Лидка. Но Лидки не было.

Зато появился капитан Титков. Его Отяпов узнал сразу. На белой лошади. Бравый. В хорошо подогнанном полушубке и в белой кубанке с красным верхом и золотым галуном. Прямо орёл степной, казак лихой. Встретились глазами. Отяпов отвернулся. Узнал ли его капитан Титков? Должно быть, узнал. Не такой уж он и пьяный был тогда, на Рессете, чтобы не помнить бойца, который хотел скинуть его с повозки.

— Ну что, ребята? — крикнул Титков весело, как будто привёз полевую кухню с горячей кашей и звал всех к котлу. — Много трофеев нахватали? Тащи всё в деревню!

Трофеи были. Несколько пулемётов, два миномёта, мотоцикл, повозки и лошади. Лошадей, правда, тут же старшины расхватали по ротам. Их в список трофеев не впишут. Не такие дураки командиры, чтобы ради лишнего ордена коня в чужой обоз отдавать. Ордена ещё будут, а конь нужен сейчас.

Кухня и вправду уже ждала их в только что захваченной деревне. Вот молодец старшина! День выдался хороший. Даже, можно сказать, весёлый. Все живы. Раненых быстро отправили в тыл. Жалко только, что в Калуге не побывали. В Туле вот довелось. Щами с гусятиной угостили. На всю жизнь запомнится. А тут — не довелось. С другой стороны, что им было делать в Калуге? Город разбит. Народ голодный. Можно было бы отыскать семью Ванникова. Но что сказать его жене? Что не уберегли её мужа от немецкой пули? Рассказать-то, конечно, надо было. Где убит. Как воевал. Как о них тосковал…

Каша была вкусная. Гусёк так и хватал с ложки большими кусками. Задыхался, кашлял, шлёпал жадными губами, измазанными сажей. Без конца закидывал за спину свой ППШ. Приклад автомата он уже где-то порядком ободрал.

— Что ты, — сделал ему замечание пулемётчик Гридников, — как гончий кобель после охоты…

Гусёк только засмеялся и отвернулся, чтобы кашлять в сторону. Ел он всегда много.

Прошли мимо миномётчики. Несли трофейный пулемёт и немецкие ранцы.

— Пригребай, ребята, к нашему котлу! — позвал их старшина. Своих он покормил, можно было угостить и соседей, так выручивших роту во время боя.

Солнце уже зачерпнуло снега в дальнем поле, золотило густым уходящим светом соломенные крыши. Уцелела деревня. Уже и жители откуда-то появились. Ребятишки сновали среди бойцов. Их старшина тоже приказал кормить до отвала.

Вот бы и свою родную деревню так войти, подумал Отяпов, глядя на ребятишек. Покачал головой, но никому об этой своей мечте не сказал. Он знал, что на войне о таком лучше молчать.

Отяпы были далеко. Но туда они уже шли.

Глава девятая
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ

Полк разгрузился на заснеженной станции.

Артиллеристы выводили из вагонов испуганных лошадей, скатывали по бревенчатым помостям дивизионные пушки. Орудия на резиновых колёсах мягко скатывались вниз, в снег, покачивались из стороны в сторону, словно живые.

В голове состава разгружалась санитарная рота. Там тоже стояла суматоха и гвалт.

Роты выгрузились быстро. Сложили на сани своё армейское добро: ящики с гранатами, цинки с патронами, какие-то мешки, от которых пахло съестным — не то сухарями, не то воблой. И через полчаса уже шагали взводными колоннами по натоптанному просёлку прочь от станции.

— Куда ж нас, братцы, гонят? — спросил боец из недавнего пополнения, прибывшего из Калуги.

В их полк влили несколько маршевых рот. Артиллерийский дивизион получил тут же, на станции, несколько новых орудий. Каждой роте выделили два пулемёта — из ремонтного фонда. «Максимы», брошенные по лесам и дорогам ещё во время осеннего отступления и собранные комсомольцами, отремонтировали на калужских заводах и распределили по ротам. Роты получали их как награды. Политруки даже короткие митинги провести успели: так, мол, и так, за успешную атаку населённого пункта такого-то и примерное выполнение приказов командования… Пулемётчики поклялись отомстить за погибших товарищей.

Один пулемёт достался Гридникову. Ему сразу же присвоили младшего сержанта и дали двоих бойцов из калужан. Один из них теперь тащил тяжёлое тело «максима» с ребристым кожухом, другой — станок. Гридников нёс покрашенный известью щит. Перехватил его трофейным ремнём, перекинул за спину и двигался в строю, как бронепоезд. Коробки с лентами, пользуясь своим новым высоким чином, он заботливо распределил среди бойцов взвода, так что ни одно из отделений не осталось без ноши.

Одна из коробок была поручена отделению Отяпова. И вначале её бережно нёс сам отделённый. Наконец Отяпов окликнул шедшего рядом Гуська и сунул ему в руки тяжёлую металлическую коробку. Её тоже кое-как, наспех, обмазали густой известью, она не успела высохнуть и замёрзла.

Маскировку наносили уже в эшелоне. Взводный принёс ведро с известью и приказал покрасить всё, что можно. На всё извести, конечно, не хватило. Но самое главное — каски и пулемёт — покрасили.

Шли уже несколько часов. К вечеру мороз начал прижимать. Особенно в поле. Так и жалил открытые места, давил на лоб и виски.

Вскоре впереди увидели холмы, которые грядой уходили вдоль шоссе на запад. У подножия холмов всё было запутано проволокой. Темнели следы танковых гусениц. В лощинке стоял сгоревший лёгкий Т-60. Корма у него была взорвана, видать, сдетонировали боеприпасы. Он уже порыжел от ржавчины, а сверху его прикрыло высокой снеговой шапкой.

— Вот тут, видать, и остановимся на постой, ребята, — невесело сказал Отяпов, оглядывая окрестность.

А окрестность и вправду была безрадостной.

Линия окопов тянулась по опушке реденького леса, иногда по чистому пространству среди одиноких кустов ивняка. Позади, судя по чёрным шишкам куги и зарослям камыша, болото. Там чернели свежие полыньи от разорвавшихся снарядов и мин. Полыньи были разного размера.

Не доходя до линии окопов, спустились в глубокий ход сообщения. Приказали нагнуть головы. Нагнули. Пошли на полусогнутых. Кому охота снайперу под пулю голову подставлять.

Отделению Отяпова достались тридцать метров неглубокой траншеи со снежным бруствером. Кое-где, где были устроены стрелковые ячейки, снег облит рыжеватой водой и заморожен. Под ногами зыбало и чавкало — болотина. Траншея мелковата, но копать глубже нельзя, вот и намораживали их предшественники бруствер.

— Вот, командор, и попали мы, — сказал Лапин и начал по-хозяйски устраиваться в ячейке.

Бойцы своим новым окопом, да и всей позицией, доставшейся им по жребию войны, были явно недовольны.

Лапин ещё в лесу наломал сосновых веток и нёс их под мышкой. Теперь старательно укладывал их под ноги. Каждую веточку поправлял по нескольку раз. Кто-то, глядя на его старания, пошутил:

— Ты, Лапин, уж больно стараешься. Баба так постелю не стелет.

В ответ Лапин только усмехнулся. На вид ему было лет тридцать. Сухощавый, живой, как подросток. На тыльных сторонах ладоней густые аляповатые татуировки: на одной восходящее или заходящее солнце с надписью «Север», на другой череп с серпом и молотом на лбу и надписью «Печора». Видать, парень бывалый, поглядывая на своё пополнение, примечал Отяпов. Ну ничего, тут нам не гладью вышивать. Бойцы Лапина сразу прозвали — Расписной. Тот не обиделся.

Ячейка, которую занял Отяпов, пахла мочой и болотиной. Под ногами валялся кусок кровавого бинта. Вмёрзший еловый лапник дышал и сипел. Иногда казалось, что стоишь на кочке среди болота и вот-вот ухнешь в прорву. Но это — когда одолевала дрёма и гиблые мысли. А так ничего, можно было терпеть. Позиция как позиция. Не они её выбирали, командование выделило. На войне солдату позиция — как долька на сенокосе: какая досталась, ту и коси.

Пришёл взводный и приказал выделить троих человек для строительства землянки.

Отяпов тут же занарядил троих калужан, старшим назначил Лапина.

— Ладно, мне незападлó и на кума поработать — согласился тот. — Для разнообразия жизни, так сказать. А где будем эту самую блатхату созидать? Да, камандор, и вот ещё что: на круг всё же работать будем, доппаёк не предусмотрен?

Отяпов вытащил из кармана сухарь и сунул Лапину. Но тот отвёл его руку, засмеялся и пошёл по ходу сообщения за взводным.

Непростой ему попался человек, этот Расписной Лапин. Взводный приказал присматривать за ним особо: мол, бывшие уголовники перебегают на ту сторону, чуть что — руки вверх... Вот не было заботы Отяпову, когда простым бойцом был, без должности. Только и отвечал что за свою винтовку и за свой окоп. Невеликое было хозяйство, и его Отяпов всегда содержал в образцовом порядке. А теперь.. На ж тебе, солдат, три «секелька» в петлицы и ответственность за целое отделение. Смотри за ними, обучай владеть оружием, приглядывай, чтобы самострел не сделали. Морока...

К ночи землянка была готова. Взвод потянулся на отдых. В окопах остались только наблюдатели и дежурные при пулемёте. Вот ещё и пулемёт...

Расчёт младшего сержанта Гридникова напрямую подчинялся командиру взвода, но взводный включил его в отделение сержанта Отяпова.

Гридников со своими калужанами отрыл ещё один окоп — в зарослях кустарник, во впадине, где начиналась лощина, уходящая в сторону леса. Лощина та шла немного наискось, так что в случае необходимости он со своим расчётом мог свободно, не обнаруживая свой манёвр, перетаскивать пулемёт левее и прикрывать стык с соседним взводом. Там же окопались бронебойщики, оба расчёта.

Когда отделение ушло в землянку, Отяпов пошёл по ходу сообщения, чтобы ещё раз убедиться, что всё ладно.

Уже смеркалось. Левее, примерно, в километре гремело и перекатывалось эхом в глубину леса и по всему болоту. Там, видать, либо наши наступали, либо контратаковали немцы.

Прошёл мимо наблюдателя. Тот стоял, привалившись плечом к столбу, и жевал сухарь.

— Что, Никитин, сладок сухарь?

— Ещё как, Нил Власыч.

Все, кто шёл с ним от Рессеты и Тулы, называли его по имени и отчеству. Пополнение тоже постепенно перенимало порядки и неписаные законы, сложившиеся в отделении. Нил Власыч. Всё правильно. Какой он им «товарищ сержант»? Сержант... И слово-то какое-то не наше, не русское, а больше германское или французское...

— Всё тихо?

— Тихо, — ответил Никитин, кутаясь в полушубок.

— Затвор-то не примёрз?

— Да нет.

— Дай-ка посмотрю. — И Отяпов отвёл затвор винтовки Никитина. Винтовка не новая, уже, видать, побывала в бою. Патрон был в патроннике, и Отяпов, убедившись в готовности бойца и его винтовки к самым решительным действиям, осторожно толкнул боеприпас на место. Затвор ходил мягко. Смазку Никитин, как он им приказал ещё в эшелоне, протёр насухо. Калужане оказались людьми покладистыми и в военном деле сноровистыми. Не хуже тульских. Но те, пожалуй что, победовей.

— Смотри вон за тем склоном. Там у них окопы. Совсем близко.

— Да я уже понял. Мелькали там, котелками гремели. Сейчас затихли.

— Тоже наблюдают. Вот ты, Никитин, стоишь, и за германцем наблюдаешь. А он, германец, тоже там стоит и за тобой наблюдает. Вон, ракеты начал пускать. Ты голову-то, пока она горит, убирай. Снайпер может работать. Если будет какое сомнение, кинь гранату. Понял? Только подальше. Чтобы своих не зацепить. Да и сам: кинул — и окоп... Граната хоть и своя, а тоже не разбирает, где свой, а где чужой.

— Спасибо, Нил Власыч, я всё понял, — кивнул Никитин.

Ночью отделение Отяпова подняли по тревоге. Ничего такого тревожного не оказалось. Просто из роты отряжали взвод на переноску боеприпасов, и несколько человек Отяпов отправил на неурочные работы.

Носили мины для тяжёлых миномётов. 120-мм. Здоровенная, тяжёлая чушка.

Тропинка была проложена прямо по Шатину болоту, через лес. Там, в лесу, находился склад боеприпасов, хорошо замаскированный в оврагах среди вековых елей. Чтобы не демаскировать склады, днём туда никто не ходил, не ездил. Снаряды, мины и прочие огнеприпасы на позиции артиллеристов и миномётчиков доставлялись в тёмное время суток. Ночь в феврале дольше дня, и до рассвета бойцы успевали сделать по Шатину болоту от складов на позиции по три-четыре ходки.

Тропинка под ногами прогибалась. Особенно когда возвращались назад, с двухпудовой ношей. Мины перевязывали за хвосты ремнями, перекидывали через плечо или через голову и — вперёд. Дистанция десять шагов.

Хруп-хруп зыбкий ледок под ногами. Впереди идущий вытягивает шею из-под врезавшегося в плечи ремня, смотрит в глубину белого болота, покрытого пятнами от попаданий снарядов и мин. От них тянет тухлой болотиной. Чёрные полыньи парят, мороз им нипочём, словно изнутри их подогревает сама нечистая сила, прилетевшая сюда с Зайцевой горы.

Отяпов поправил сползшую вниз левую мину, за одно пощупал, ладно ли затянуты узлы. Подумал, тоже поглядывая в белое поле: летом, должно быть, тут полно утей. Гнездятся. Выводят утят. Корма полно. Укромно. Кустарник. Камыш. Узлы на хвостах мин надо было проверять постоянно, не развязались бы…

Впереди идущий начал сбиваться с ноги, вихлять и замедлять ход.

— Стёпин! — окликнул его Отяпов. — Не спи, гад ты такой! Угробишь себя и нас!

Разговаривать на тропе запрещено. Но Стёпин, идущий впереди, явно задремал и в таком ненадёжном состоянии может наделать беды куда хуже.

Стёпин оглянулся, махнул рукой: мол, всё в порядке, не сплю.

Не сплю…

Стёпин тоже калужский.

Стёжка начала отворачивать влево. Обходили полынью, из которой торчали покрытые инеем жерди. На жердях обрывки тряпья. Начальник склада, когда проводил инструктаж, рассказал: три ночи тому назад задремал на ходу боец, упал, мины ударились одна о другую и произошёл взрыв.

Отяпов посматривал за идущим впереди до самого конца болота. На твёрдом догнал бойца и ударил его кулаком между лопаток:

— Ты что, чёртов сын! Петляешь, как пьяная курица!..

— Виноват, Нил Власыч. Больше не повторится.

— Смотри…

До общего подъёма успели пару часов поспать. Спали не разуваясь. Зарылись в солому в углу землянки и тут же дружно, как сыны от одной матери, захрапели.

И приснился Отяпову сон. Будто идёт он по гречишному полю. Гречиха цветёт белым цветом. На вишнёвых стебельках тяжёлые гроздья цветков. Эх, какой урожай будет, думает Отяпов! А солнце над полем такое жаркое,

доброе, на всё хватает его тепла — и на гречишное поле, на цветы, на лес, мреющий среди зноя тёмно-зелёными соснами и бархатистыми осинами, на его, Отяпова, чтобы он не мёрз посреди февральского болота. Но это ещё не весь сон. Самое радостное в нём было то, что краем поля, только с другой стороны шла женщина. Отяпов смотрел на неё и вроде бы узнавал, а вроде бы и нет. Решил окликнуть по имени. Имя он вроде как тоже знал. Набрал в грудь воздуха, чтобы осилить крик… Но тут его толкнули в бок. Разбудил какой-то гад распоследний из отделения…

— Вставай, Нил Власыч. Каша пришла.

Тьфу, подумал с досадой Отяпов.

Но каша тоже дело неотложное. Надо подниматься. А в глазах стояли, холодили веки слёзы. Так жалко, что сон не досмотрел.

Только успели управиться с кашей, зашевелился весь полк. Доскабливали котелки уже в ячейках.

А на гряде высот, по гребню и скатам, уже поднимались чёрные столбы взрывов. Неужели артподготовка? Вон для какого дела они мины всю ночь носили. Сердце у Отяпова заколотилось. Он оглянулся на своих. Лица у всех посерели, вмиг осунулись. Поняли, что сейчас будет.

Артиллеристы и миномётчики ещё покидали снарядов и мин по гребню высоты. Взводный выскочил на бруствер, поскользнулся на обледенелом скате, упал, выронил свой пистолет. Тут же торопливо поднялся, снова полез на бруствер. Пистолет ему подали.

— Вз-зв-во-од! — закричал он, не теряя решительности. — За мно-о-о!..

Левее, натужно ревя моторами, шли три танка. Две «тридцатьчетвёрки» мощно пробивали в снегу глубокие туннели. За одной из них, немного отстав, шёл Т-40.

Лейтенант бежал впереди и часто оглядывался на бойцов, которые барахтались в снегу позади него, широко растянувшись по полю.

— Гусёк, Лапин! Давай за мной! — И Отяпов перевалился через снежный отвал и побежал за «тридцатьчетвёркой» по рыхлому гусеничному следу.

Он знал, что сейчас, когда немецкие противотанковые пушки начнут стрелять по танку, на линии огня окажутся и они. Но ползти по глубокому снегу, а потом перебираться через заграждения из колючей проволоки, было ещё опаснее. Сапёры ночью ползали на нейтралку, снимали мины и резали проволоку. Немецкие дежурные пулемёты их отпугивали. И неизвестно, где сапёры сняли мины, а где нет.

Немецкие противотанковые орудия заработали в тот момент, когда «тридцатьчетвёрки» подошли к линии проволочных заграждений. Одна трасса прошла над танком выше, даже не задев его. Другая чиркнула по башне и, изменив траекторию, прошуршала над головами бойцов, бегущих за танком. Они инстинктивно попадали в снег. Но тут же поднялись и побежали дальше. Третье попадание оказалось более точным. Трасса рассыпалась брызгами электросварки на наклонной лобовой броне. Танк вздрогнул, будто на всём ходу наскочил на камень, прятавшийся под снегом, но продолжал идти вперёд. «Тридцатьчетвёрка» то зарывалась в глубокий сугроб, то вскидывалась,

разбрасывая блестящими гусеницами куски наста, словно в своём порыве хотела взлететь над землёй и поскорее добраться до немецкой траншеи.

Лёгкий Т-40, шедший позади, делал короткие остановки и стрелял из обеих пулемётов. Особенно отчётливо слышался басовитый стук крупнокалиберного ДШК. Башенный стрелок, должно быть, засёк позицию ПТО и теперь молотил из пулемётов в одном направлении. И орудие вскоре замолчало.

Треснули столбы, и «тридцатьчетвёрка» протащила вперёд проволоку, потом развернулась и пошла левее, по лощине. Теперь огонь противотанковых пушек, стоявших на прямой наводке на склоне высоты, ей был не страшен. Она оказалась в «мёртвом» пространстве.

Отяпов оглянулся, и холодный пот побежал по позвоночнику под ремень: вторая «тридцатьчетвёрка» и лёгкий пулемётный танк пятились назад. Они вели частый огонь и уходили по своему следу к окопам, откуда начинали атаку. Пехота слева тоже стала нырять в снег и вскоре исчезла. Осталась только их рота и правофланговый батальон. Батальон уже карабкался вверх и вёл автоматный огонь.

— Давай, ребята! Вперёд! — что есть силы закричал Отяпов своим бойцам, чувствуя, что все ждут его команды. — Если тут заляжем, пропали!

Немецкий пулемёт повёл огонь вдоль наступающей цепи, больше захватывая порядки соседнего батальона. Но Отяпов знал: как только они начнут подниматься по склону верх, к первой немецкой траншее, он перенесёт огонь на их линию. А пока для немцев, обороняющихся на склоне высоты, они были менее опасны.

Перед тем как подниматься вверх, залегли. Отдышались. Пулемёт молотил вверху и немного левее.

— Кто пойдёт к пулемёту? Нужны двое. С гранатами.

Бросать гранаты в отделении умели не все. Некоторые гранат просто боялись. Отяпов даже не был уверен, все ли взяли их с собой.

Бойцы молчали. Слышен был только кашель и хриплое дыхание.

Тогда Отяпов позвал двоих — Лапина и Никитина.

— Не бойтесь, ребята, — сказал он им, перекладывая гранаты из вещмешка в карманы. — Я пойду с вами.

Когда они поднялись по склону выше, Отяпов оглянулся: внизу лежало ослепительно-белое пространство, чистое, широкое, как поле за его родной деревней, испорчено оно было несильно и только в некоторых местах — копотью редких свежих воронок, которые ещё не прикрыл снег, и бороздами танковых гусениц. Там и тут бугрились серые холмики убитых. Возле некоторых уже копошились санитары. Танки уползли за окопы и маневрировали в перелеске. Только «тридцатьчетвёрка», прорвавшаяся в лощину под скатом горы, не бросила их и вела частый огонь по высоте. Снаряды рвались точно, по гребню, где проходила немецкая траншея.

Подползли совсем близко.

— Ну, командор, кто ему рога ломать полезет? — спросил шёпотом Лапин.

Отяпов посмотрел, как затянуло тоскливой пеленой глаза Никитина, и ворохнулся было вперёд, но Лапин остановил:

— Как масть ляжет, так и будет. Я — первый.

После, когда ворвались в траншею и в короткой схватке выбили немцев из первой линии, Лапин, задыхаясь от неостывшего азарта и кашля, рассказывал, как он справился с немецким пулемётчиком, а потом собирал трофеи в захваченном блиндаже:

— Ну, тут я ему акулу под ребро… Повалил оленя, покрапил снежок красненьким… А там у них барахла всякого…

— Ловкий ты парень, Расписной! — хватили его бойцы.

— Фартовый! Или как там у вас…

Лапин, явно польщённый похвалой, рассказывал дальше. Все его с удовольствием слушали, будто сами только что были не здесь, не в месиве рукопашной, а где-то далеко, где ни стрельбы, ни немца, ни пуль над головой.

— Ну, тут я гляжу — тормоз в конце хода. Аг-га! Я его — на себя. Гранату вперёд, на гостинец. И — весь хабар, что там был, мой! Один олень ещё живой. Ну, я ему прикладом, как вон Нил Власыч учил. Подмотал вату и — ходу. Вот всё, что честно добыто, так сказать, в доблестном бою… — И Лапин пнул носком сырого валенка немецкий ранец. — На всю хевру, конечно, не хватит. Но можно и ещё пошмонать.

— Документы соберите, — приказал Отяпов.

Атакой он был доволен. Особенно Лапиным. И вправду парень фартовый. И подумал: надо бы взводному доложить, кто уничтожил пулемётный расчёт и кому они обязаны, что ещё живы.

Начали устраиваться. Выбросили трупы немцев. Рядом, на брустверах в сторону второй немецкой линии, выложили своих. Им теперь всё равно. Через час-другой застынут, никакая пуля не возьмёт. И послужат ещё…

Спустя некоторое время внизу, возле проволочных заграждений, появилась «тридцатьчетвёрка», та самая, которая ушла по лощине влево и которая так помогла им во время атаки. Теперь она уходила назад. Видимо, отозвали. У неё командование было своё.

— Ушли наши танки, — сказал кто-то из бойцов.

— У танкистов своя работа.

— Это так. Попукали и ушли.

Бойцы материли танкистов. Но вскоре успокоились. Кто раскладывал в нише трофейные гранаты, кто курочил немецкий ранец, кто грыз свои сухари. Ждали контратаки. И не напрасно.

Немцы контратаковали уже в сумерках.

Глава десятая
«ТАНКИ!»

Вначале обработали из миномётов. Да так, что тела убитых и раненых выбрасывало из окопов. Тяжёлые мины ложились парами.

Когда начало трясти землю, Отяпова затошнило. Хорошо, что ничего не ел, подумал он, сплёвывая под ноги горькую желчь тягучей слюны. Зашумело в ушах. Контузия, сволочь такая…

Он пришёл в себя оттого, что кто-то с силой тряс его за плечи. Пелена перед глазами рассеялась, и он увидел искажённое ужасом лицо Гуська. Случилось что-то страшное, понял Отяпов и попробовал встать. Все суставы болели. Руки-ноги дрожали.

— Танки! — услышал он голос Гуська.

Через них перепрыгнул лейтенант. Тут же резко ударила бронебойка. Обдало снегом и мёрзлой землёй.

Началось... Ничего, сейчас встану и я... Отяпов навалился грудью на бруствер. Затолкал в магазин новую обойму. Уже понесло по траншее пороховой дымок. И этот запах, почти родной, как махорочный дух, заставил Отяпова внутренне встрепенуться, взять себя в руки.

Снова ударила бронебойка. Отяпов оглянулся. Первый номер в расстёгнутом полушубке стоял на коленях в снежном ровике и, плотно сжав губы, тщательно прицеливался — туда, вдоль склона, где, должно быть, и происходило самое страшное.

Выстрелил и Отяпов. Теперь он видел, в кого надо стрелять.

Немцы атаковали тем же манером, что и они. Танки шли впереди. Пехота, небольшими группами, до отделения, не больше, продвигалась под их прикрытием.

Отяпов стрелял, выцеливая синие в вечерней мгле фигурки немецких пехотинцев, мелькавшие за коробками танков. Иногда, меняя обойму, оглядывался в глубину траншеи, приглядывал за своими, стреляют ли. Грохот стоял кругом. Стреляли все.

Танк, шедший прямо на их окопы, неожиданно резко развернулся и осел на правую сторону, выбрасывая из-под себя снег и мёрзлую землю.

— Патрон! Быстро! — крикнул бронебойщик своему второму номеру.

Вот молодец Тимир, с благодарностью подумал о бронебойщике Отяпов.

Танк развернуло боком к их окопам. Теперь в него стреляли все. И вскоре он задымил. Открылся верхний люк и из него кубарем выкатился танкист, спрыгнул по броне вниз и исчез в снегу.

Ловок... Жить охота... Второго Отяпов не пропустил. Немец повис на броне, потом сполз на корму. И вскоре начала дымиться, а потом загорелась его одежда. Танк охватило пламя, начались рваться боеприпасы.

Два других танка остановились, сделали по нескольку выстрелов и стали пятиться назад. Пехота залегла, открыла огонь. Перестрелка длилась минут пять. Потом погасла. Немцы короткими перебежками отходили во вторую линию своих окопов. Не вышло у них с контратакой, и они отошли.

Ишь, как воюют. Осторожно. Не то, что мы. Так думал Отяпов, выглядывая из окопа и определяя, откуда может прилететь пуля или мина. Но ничего опасного, кажется, не заметил. Можно было отдохнуть.

Об убитых и раненых траншея молчала. Не потому, что бой прошёл без потерь, а просто об этом принято было молчать, пока взводный не затребует у командиров отделений список убитых и раненых. Взводному, видать, было не до того. Пробежался по траншее и пропал где-то в стороне НП командира роты.

Ночью бойцы ходили к танку — греться. В окопах было холодно, но пуще холода бойцов одолевало любопытство. Многие чужие танки видели только на листовках, которые поучали бойца Красной армии не бояться танков противника и указывали их уязвимые места. Спасибо бронебойщикам. Если бы танк долез до траншеи, наделал бы много беды.

Отяпов тоже хотел сходить, посмотреть, как его, чёртова сына, раздуло от внутренних взрывов. Но усталость разламывала всё тело, клонило в сон, да так неодолимо, что, кажется, захворал, и это хвороба захватывала его такой неодолимой силой, так корёжила и мучила ослабевшее, беспомощное тело, что он едва сдерживался, чтобы не застонать в полусне. Уснуть тоже не мог. Проклятая контузия…

Утром, когда наступил артиллерийский рассвет, прилетели самолёты. Никто их не отгонял, ни истребители, ни зенитки. Пикировщики выстроились гигантским колесом и парами бросались на отбитые окопы.

Как ни странно, но бомбёжку Отяпов вынес легче.

Самолёты заходили снова и снова. Когда очередной «лаптёжник» зависал над линией окопов и от него отделялась, будто помёт, бомба, казалось, что она-то вот сейчас и прилетит к нему. Но спустя мгновение бомбу сносило куда-то в строну. И опять жизнь продолжалась. Не так-то просто было попасть в узкую, как жилка траншею.

Самолёты улетели. Наступила тишина. И что стряслось, откуда прозвучала эта команда, а может, никто и не подавал никакой команды, а с людьми, сразу со многими, произошло нечто, что заставило их выскочить из окопов и бежать сломя голову вниз по склону, к своей линии.

Напрасно лейтенант размахивал пистолетом, выскочив наперерез бегущим. Его сбили с ног и, наверное, затоптали бы, если бы не Отяпов. Он подхватил лейтенанта под руки, поставил на ноги и толкнул вниз. И через мгновение тот уже бежал, спасался вместе со всеми тем же резвым аллюром.

В окопах их встретил комбат Титков. Он стоял на бруствере и, выбирая из оравы бегущих кого-нибудь одного, тщательно прицеливался из револьвера и нажимал на спуск.

— Трусы! Мать вашу!.. — матерился он и снова тщательно прицеливался, чтобы ни одна пуля не пропала зря.

Револьвер прыгал в его руках, как механический молоток, которым он уверенно забивал гвозди в бегущие ему навстречу тела. Когда патроны кончились, он открыл барабан и начал его торопливо заряжать. Но в это время бегущая лава хлынула в окопы, и комбата Титкова сбили с ног. Кто-то вырвал из его рук револьвер и отбросил в сторону, за бруствер. А что произошло через мгновение, толком никто так и не мог потом вспомнить.

Глава одиннадцатая
ОКРУЖЕНИЕ

В полдень по ходу сообщения ходил командир полка. Пожилой, постарше Отяпова, полковник с седыми усами, в белой каракулевой шапке. Его осунувшееся лицо, казалось, не выражало ничего, кроме усталости.

— Что ж вы, братцы, натворили, — приговаривал он, заглядывая в лица бойцов. — Что ж вы, ти-вашу-разъети…

Бойцы при виде полковника вытягивались в своих тесных ячейках, прижимая к бокам винтовки, будто боясь, что сейчас тот потребует показать ему штык и скажет: «Вот он!»

Комбата нашли в траншее с пробитым боком и стреляной раной. Кто-то из бежавших бойцов всадил ему штык и одновременно выстрелил. Если бы только выстрелил, может, сошло бы за пулю с той стороны. Но штык, пропоровший Титкова насквозь… К тому же тело комбата было измазано глиной и грязным снегом, будто по нём топтались.

Отяпов знал капитана Титкова давно. И о том, что с ним случилось, нисколько не сожалел. Подумал: место тебе, чёртов сын, на дороге, возле Рессеты надо было ещё… Скольких он положил из своего револьвера, полковник почему-то не считал и о них не сожалел. Вот о них-то, безвинно попавших под пули комбата, Отяпов горевал. Ладно б в бою…

О случившемся во взводе помалкивали. Молчали и рота, и батальон. В штабах, среди офицеров, может, и растолковывали гибель капитана Титкова на те или иные лады, пытаясь понять, что же произошло, но в окопах молчали. Хотя, по лицам было видно, думали все.

Вместе с полковником в роту пришли два младших лейтенанта из штаба дивизии — дознаватели особого отдела.

Отяпов посматривал на Лапина. Тот не подавал виду. Но притих. За всем, что происходило в траншее, будто со стороны наблюдал. Глаза так и бегали. Всё делал осторожно, даже ходил и садился на ящики осторожно. И больше слушал, чем сам говорил.

Когда ввалились в окопы и начали разбираться, где свои, а где чужие, из других взводов, когда ещё не разошёлся слух об участи капитана Титкова, Отяпов видел, как Лапин менял штык. Сдёрнул штык с винтовки убитого, а свой снял и сунул под еловую подстилку.

— Слышь, командор, — шепнул Лапин Отяпову, — как думаешь, кто хозяина заколбасил?

Отяпов ничего не ответил, даже не взглянул в сторону Лапина. И тот заметно заволновался. Снова зашептал:

— Никак следаки пришли? Как думаешь, шмон будет?

— Ты штык-то поглубже припрячь, — отмолвил ему Отяпов и посмотрел в глаза так, чтобы тот больше не заговаривал о том, о чём все молчали. — А лучше прикопай. И обойму дозаряди. Понял?

Лапин взгляд выдержал. Ухмыльнулся.

— Понял, командор. Понял, не дурак. А кроме тебя, кто-нибудь видел?

— Кто видел, тот будет молчать.

— Ну-ну, — ухмыльнулся Лапин. — Командирам следует доверять…

Младшие лейтенанты начали по очереди вызывать бойцов в землянку. Но после второй пары в роту прибежал повар Улыбин и сказал, что в лесу он напоролся на колонну танков и грузовиков с солдатами. Немцы ехали со стороны Варшавского шоссе в сторону Юхнова. Коня и котёл он бросил и сам насилу вырвался живой.

— Чтоб ты сдох! — сказал пожилой бронебойщик.

Больше Улыбину никто ничего не говорил.

Все скорбели о котле с кашей. О выбывшем коне никто, кроме повара, не вспоминал. Но появление немецкой колонны в тылу обеспокоило больше. Ротный тут же схватил Улыбина за ремень и потащил в штабную землянку. Командир полка был ещё на НП, слушал показания бойцов, которые в момент гибели комбата были рядом или поблизости. Когда ротный доложил о немецкой колоне в тылу, полковник побледнел, а дознаватели тут же выгнали допрашиваемых из землянки и засобирались в штаб дивизии.

Выслали разведку. Разведка ещё не вернулась, а левофланговый батальон уже вступил в бой с перевёрнутым флангом, отбивая атаку немецкой мотопехоты.

Бой длился до самой ночи. Ночью рота отошла к болоту. А утром пронеслось: «Отрезаны».

Когда отходили к Шатину болоту, осколком мины ранило Гуська. Автомат он отдал Курносову. Гуська перевязали и увезли на санитарной повозке. Повезли его по единственной дороге вокруг болота, которая пока ещё оставалась в их руках. Раненых возили в лес. Говорили, что там, в оврагах, рядом с артиллерийскими складами, был развёрнут полевой госпиталь.

Остаток ночи прошёл без сна и покоя. Зарево полыхало повсюду. Кругом гремело. Бывалые бойцы сразу определили, что работает тяжёлая артиллерия. А это означало, что происходило что-то серьёзное. Но больше всего настораживало то, что раненых перестали вывозить в тыл.

Утром стало известно, что немцы рассекли порядки армии на две части и одну из них, около трёх дивизий с частями усиления, а также тыловые службы и учреждения, окружили.

Отяпов знал, что такое окружение и чем это обычно кончается.

Бойцы сгрудились возле своего лейтенанта. Тот молчал. Он и сам знал не больше других. Но бойцы с надеждой смотрели на него. Ждали, что вот-вот начнётся прорыв. Командиры повыше взводного тоже молчали. Куда-то ездили на лошадях, кричали друг на друга. Матерились. И видеть это, особенно тем, кто в окружении уже побывал и понимал, что в таких случаях будет через час-другой, становилось невыносимо.

Прошли ещё сутки. Рота оставила просёлок и ушла по тропе через болота в лес. Из-за болота было видно, как по дороге двигались немецкие танки в бело-полосатом камуфляже с жёлтыми крестами.

Вскоре заговорили о прорыве. Но точных сведений по-прежнему не было: когда, где, на каком участке и какова при этом будет задача их роты и батальона.

Наконец в ночь назначили прорыв. Приказали изготовиться.

Почистили оружие. Приготовили гранаты. Старшина раздал сухари и сушёную воблу. Костров разводить не разрешали. Пожевали воблы с сухарями. Запили вонючей болотной водой.

Наступление почему-то задержалось — начали только к утру, когда стало светать. И сразу же первые эшелоны попали под миномётный и артиллерийский огонь. Ничего не вышло. Народу на опушке и в оврагах, по которым передвигались колонны первого эшелона, оставили много. Долго оттуда доносились стоны и крики раненых.

Санитары несколько раз пытались вернуться, чтобы хоть более или менее надёжных вытащить, но их отгоняли немецкие «кукушки», которые расселись по деревьям и открывали огонь по любому движению или шороху. Санитары рассказывали, что немцы ходят по оврагам и добивают раненых штыками.

Лапин теперь не отходил от Отяпова. Он знал, что отделённый уже бывал в окружении, что вышел и вывел людей. Инстинкт человека, не раз побывавшего на краю, безошибочно подсказывал ему, что на командиров надежда плохая, а этот неказистый с виду сержант знает то, чего не знают многие, что вдобавок ко всему он человек фартовый и что его фарт и опыт помогут ему и, возможно тем, кто окажется рядом с ним, и на этот раз.

Однажды Отяпов вышел к дороге, а навстречу Лидка гонит санитарные сани. В санях раненый, до глаз замотанный бинтами. Бинты промокли, сочились кровью.

— Дядя Нил! И ты тут?

— А где ж мне быть, милая! Где беда, там и я. Гуська, автоматчика моего, не видела?

— У нас он. Операцию сделали. Осколок вытащили.

— Ну как он?

— Лежит.

— А покормили ж вы его хоть? Или голодный погибает? На-ка, Лидушка, передай ему гостинцы. — И Отяпов протянул Лиде свёрток, где хранился остаток его сухпайка — кусок воблы и несколько сухарей.

— Не надо, дядя Нил. У нас кухня своя. И концентраты пока есть.

— Ну, гляди. Парня мне не погуби. Передай от меня ему поклон.

День прошёл в скитаниях по лесу. Куда шли? Кто их вёл? Что их ждало в конце пути? Уже никто не заботился о том, что роту надо кормить, пополнять подсумки патронами, а раненых и больных отправлять в лазарет. Старшина куда-то пропал. Ротный с санинструктором и связистами тоже ушёл в голову колонны, где, говорят, двигался штаб полка.

К вечеру на них налетели самолёты. Та же стая пикировщиков. Посыпались бомбы. Когда запас бомб иссяк, самолёты заходили и атаковали вновь и вновь, простреливая лес и овраги из пушек и пулемётов. Народ разбегался по лесу. Многие так и не вернулись назад. То ли побило их, то ли разбрелись, уже не надеясь на командиров.

Не досчитался и Отяпов в своём отделении троих бойцов. Вписал их фамилии в бумагу, выданную старшиной роты, а тот внёс в список

безвозвратных потерь. Все трое остались на высоте, там их упокоили немецкие пули. Гусёк — в полевом госпитале. Так что Отяпов сразу осиротел. Привык к Гуську, к тому, что этот весёлый и простоватый парень всегда под рукой. После боя на высоте остался с Лапиным и Курносовым. Вот и всё его отделение.

На ночёвку остановились в глухом овраге. Хорошо, что разрешили разжечь костры.

Пришёл ротный, посмотрел на них, сидящих возле костерков, покачал головой и снова куда-то пропал. Хорошо, что хоть взводный всегда был рядом.

Вокруг лейтенанта их оставалось двенадцать человек. Вместе с противотанковым и пулемётным расчётами. Ни ружья, ни пулемёта взвод не бросил, хотя бегали много. Второй расчёт погиб — мина попала прямо в их окоп, когда сидели на высоте.

На третьи сутки пришёл незнакомый полковник и сказал, что он будет их выводить и что в группу прорыва нужны автоматчики. Увёл из роты троих автоматчиков, в том числе и Курносова.

Группа прорыва начала строиться на южной опушке леса. Остальным приказали ждать. Как только они прорвутся — за ними.

Прибежала Лида:

— Раненых приказано оставить. — Глаза заплаканные, губы то ли растрескались до крови, то ли искусала.

— Как оставить?! — Отяпов чувствовал, что что-то должно произойти такое, что, пожалуй, похуже окружения и гибели в этих проклятых болотах и чего на войне он ещё не испытывал.

— А ну-ка, рассказывай, как туда пройти.

— Куда ж вы пойдёте, дядя Нил? Там, может, уже немцы.

— Далеко от складов они лежат?

— Рядом. Западнее, первый овраг. — И словно подтолкнула его: — Гусёк ваш там. Там он, дядя Нил. Я его видела.

Опяпов бежал так, как даже от немцев не бегал. Стёжка к госпиталю была хорошо натоптана. Даже не одна. Он бежал по санному следу и вскоре увидел то, что осталось от артиллерийских складов. Боеприпасы, видимо, все вывезли. Пока сидели в окружении, артиллеристы израсходовали остатки запасов. Кругом валялись пустые ящики, несколько конных передков без колёс. А дальше санный след превращался в серое, в кровавых бинтах, месиво, скопище ползущих и ковыляющих людей. Одни двигались по дороге. Другие расползались по лесу. Это были раненые. Стоял невообразимый стон, крик, брань и проклятия.

— Гусёк! — закричал Отяпов. — Ты где, Гусёк?

Лица, которые нескончаемой чередой мелькали перед ним, были чужие, заросшие щетиной, злые.

Господи, ужаснулся Отяпов, да как же это раненых-то бросили…

Кто-то ухватил его за валенок. Отяпов машинально отдёрнул ногу. Господи, что ж это… Где Гусёк?

— Гусёк! — снова закричал он, раздирая морозным дыханием горло.

Вокруг хрипели чужие голоса.

Он спрыгнул в овраг. Раненые здесь лежали правильными рядами на подстилке из еловых лапок. Сверху прикрыты одеялами и шинелями.

Гусёк лежал возле большущей ели. Сучья у ели были обрублены снизу. Видимо, пошли на подстилку.

— Гусёк! Что ж ты лежишь? Надо уходить!

Гусёк плакал. Слёзы бежали по его грязным щекам блестящими дорожками и дымились.

— Ты за мной, дядя Нил?

— За тобой, за тобой, сынок.

Отяпов освободился от винтовочного ремня, перекинутого через голову.

Рядом с Гуськом лежал пожилой боец с артиллерийскими петлицами. Ноги его были укутаны. Сквозь одеяло сочилась кровь.

— Что, за сыном пришёл? — сказал он тихо.

— За сыном.

Слава богу, Гусёк был жив. Лида сказала, что осколок вынули. А значит, была операция. Отяпов знал, что после операции тревожить человека нельзя. Но как же тут не тревожить?

— Слышь, браток, ты меня... такого... не оставляй. — Артиллерист смотрел на него глазами человека, который уже знал свою судьбу до конца.

— Как же я вас, двоих-то, понесу?

— Ты неси его. Он молодой, ему ещё жить и жить. А меня... — Артиллерист указал дрожащим пальцем на винтовку, которую Отяпов сунул прикладом в снег и она теперь стояла послушно рядом с ним, как живая.

— Что ты? Я такое не смогу...

— Сможешь. Бросить нас смогли. А стрелять — легче. Поверь мне, легче. Я стрелял. В октябре, под Вязьмой. Так что давай.

— Да у меня и патронов-то нет, — стал отговариваться Отяпов, чувствуя подступающий ужас и власть неподвижного взгляда артиллериста.

— И меня, — вдруг послышалось из-под другой шинели.

— И меня...

— И меня...

Он завернул Гуська в одеяло, перекинул его через плечо и, опираясь на винтовку, как на посох, трюшком побежал вдоль оврага, назад, к артиллерийскому складу, к дороге. Голоса оставшихся в овраге ещё долго гудели в голове, догоняли его, стучали в затылок.

В стороне леса, где осталась рота и где незнакомый полковник собирал автоматчиков в группу прорыва, послышалась стрельба и хлопки гранат. Значит, пошли.

Отяпов пересёк дорогу и зашагал напрямую, по глубокому снегу. Так, казалось, ближе до южной опушки. Может, всего с километр.

Гусёк потяжелел. Похоже, он был без сознания. Но тёплый. Значит, живой, с надеждой думал о своём боевом товарище Отяпов. Через одеяло он чувствовал его живое тепло.

В стороне санной дороги заурчал мотор. По звуку, немецкая танкетка. Отяпов присел, прислушался. Так и есть — танкетка. Как бог его отвёл от дороги…

Там закричали нечеловеческим криком. Танкетка взревела мотором, понеслась в глубину леса. Давит гад, догадался Отяпов. Такое он уже видел, когда от Брянска бежали к Туле.

Силы ещё были. Он лез по глубокому снегу, тащил свою ношу и чувствовал, что этот километр он пройдёт без остановки и отдыха.

Так и вышло. Но когда он вернулся в знакомый лес, где оставил свой взвод и Лиду, никого живого там не нашёл. И лейтенант с остатками взвода, и рота, и полк — все ушли. В затоптанном снегу лежали только с десяток убитых. Рядом валялись их винтовки. Подсумки на убитых расстёгнуты и пусты.

Следы вели в одну сторону. Отяпов пошёл по ним. Куда ушёл полк, туда надо и им. Куда же ещё…

На опушке лежало ещё несколько трупов. Все — головой туда, куда ушёл в прорыв полк.

Дальше он решил идти не по лугу, а лесом, вдоль опушки. Так безопасней. Хотя глубокие и уже смёрзшиеся тропы в снегу манили тем, что передвигаться по ним было значительно легче, чем по целику.

Так он прошёл ещё с километр.

Стрельба уходила правее и дальше. А он, держа вдоль опушки, поворачивал в тишину. Впереди было тихо. И там же, впереди, светился прогал. Узкая поляна, уходившая в глубину леса. Видимо, лесной покос. Или просека. А может, дорога, воробьём встрепенулась в груди надежда.

Обходить её Отяпов не стал. Слишком далеко. Силы надо было беречь.

Когда он вышел на просеку, почувствовал, что он тут не один. За ним кто-то внимательно наблюдал. Чужой. Внутри похолодело. Отяпов оглянулся и посмотрел из-под своей ноши в глубину просеки. На густой сосне сидел человек. Сидевший был замаскирован сосновыми ветками и куском белой материи. Но опытный взгляд охотника разглядел его среди маскировки. «Кукушка». Снайпер. Или наблюдатель. Что тут делать наблюдателю? В белом маскировочном халате. Человек смотрел в бинокль. Смотрел на них. На то, как один тащит другого, опираясь на винтовку, словно на посох.

Когда же он выстрелит, напряжённо думал Отяпов. Вот сейчас… Сейчас… Самое время… Ещё шаг… Ещё два… До леса шагов пятьдесят, а по такому снегу — ещё больше. Сейчас…

Немцы так и не смогли запечатать «котёл» со всех сторон сильными отрядами с артиллерией и танками, как они умели это делать в подобных случаях. Часть окружённых числом до полка организовала прорыв, смела пехотный взвод с тремя пулемётами и ушла в сторону основной обороны.

Чтобы тем же маршрутом не воспользовались оставшиеся мелкие группы и одиночки, по периметру коридора были оставлены снайперы. На большее сил и средств пока не хватало.

Обер-ефрейтор гренадерской роты Норберт Франке занял свою позицию ещё утром, до появления русских. Когда иваны повалили сплошным валом через открытое пространство, он буквально за две-три минуты расстрелял обойму. Но другую заряжать не решился. Пять пуль он выпустил точно, без промаха. Пять иванов споткнулись, выпали из потока и теперь лежали на затоптанном снегу, медленно покрываясь сизым инеем. Вполне достаточно для того, чтобы сегодняшнюю охоту считать удачной.

И когда на просеку вышел ещё один иван со своим полуживым товарищем на плече, обер-ефрейтор задумался. Винтовку он зарядил. Но стоило ли добивать этих бедолаг, опоздавших в прорыв? Всё равно они далеко не уйдут. Замёрзнут в каком-нибудь ближайшем овраге. Остановятся на отдых и замёрзнут. Задремлют от усталости и потери сил и замёрзнут. Скульптуры отдыхающих иванов, пытавшихся выбраться из окружения и присевших в овраге на пару минут он видел уже не раз.

Норберт Франке поднял к глазам бинокль и начал внимательно рассматривать бредущих.

Раненого нёс коренастый красноармеец лет сорока. Раненый был завёрнут в одеяло. И это показалось старшему ефрейтору весьма трогательным. Такого он ещё не видел. Разведка сообщила: там, в лесу, иваны устроили госпиталь, раненых много, больше двух тысяч. Но санитарного обоза во время прорыва Норберт Франке не наблюдал. Значит, раненые брошены. Большевики делали это и осенью прошлого года. Жутко было смотреть.

А этот тащит. Должно быть, уверен, что дотащит. Кто они друг другу? Возможно, никто. В окопах месяц назад познакомились, стали товарищами. Обычная история.

Однажды Норберту тоже пришлось тащить на себе раненого напарника. Наблюдателя. Случилось это в ноябре, на Оке. С тех пор он ходит на охоту один. Раненого товарища бросить невозможно. Даже если у самого сил нет.

Коренастый словно что-то почувствовал. Начал оглядываться. Конечно, почувствовал. Вот оглянулся в его сторону, и Норберту Франке показалось, что взгляды их встретились.

Если сейчас он бросит раненого и схватится за винтовку, я прикончу их обоих, подумал обер-ефрейтор Франке. Тогда эти два ивана закроют ровно две дюжины. Хороший счёт.

Своего напарника он тогда донёс до лазарета. За что и был повышен в звании.

Нет, русский не думает стрелять. Должно быть, понял, что это бессмысленно. Неужели он рассчитывает на моё великодушие? Тащит, не бросает… Что ж, как видно, и иванам не чуждо чувство фронтового товарищества…

Обер-ефрейтор Франке продолжал наблюдать в бинокль за бредущими целями. Он всё ещё не решил до конца, как ему поступить.

Через несколько минут, когда русские исчезли среди берёз, он подумал уже о другом: внизу, под сосной, был прикопан в снегу его ранец, в котором лежали кусок колбасы, хлеб и термос с горячим кофе. Это теперь занимало больше. Такова сущность солдата. А Норберт Франке был солдат. И, как

он считал, хороший солдат. Именно такими, как он, был силён Рейх, и теперь весь мир трепещет перед его марширующими железными колоннами. Остановка перед Москвой временная. Конечно, временная.

Отяпов вышел к своим уже когда совсем стемнело.

Бредущих по дороге окликнул часовой. Отяпов ответил, что такого-то полка, что выходит из окружения… Часовой, к счастью, не выстрелил. А мог бы сперва выстрелить, а потом окликнуть. Оказалось, вышел на позиции соседней дивизии, которая в окружение не попала. Часовой был предупреждён, что на этом участке возможен выход мелких групп и одиночек. Потому и не выстрелил.

Ночью пришла санинструктор и осмотрела Гуська. Поменяла повязку. Сказала, что всё хорошо, но раненого надо отправлять в тыл как можно скорее.

Утром пришли сразу несколько человек. Отяпов помогал погрузить Гуська в санитарные сани. Попрощался. Сказал:

— Ты, Гусёк, давай, поскорее выздоравливал и — назад, в свою роту. Понял?

— Понял, дядя Нил, понял. Ребятам привет передавай.

— Передам, — ответил Отяпов, а сам подумал: хорошо, если кто-то остался…

Лейтенант, который тоже хлопотал на погрузке раненого Гуська, остался возле землянки. Санитар и санинструктор уехали.

— Ну что, сержант Отяпов, Нил Власович… Я правильно называю ваше имя? — спросил его лейтенант.

— Правильно, товарищ лейтенант. Я и есть: Отяпов Нил Власыч, сержант, командир первого отделения второго взвода седьмой роты…

— Пройдёмте, — перебил его лейтенант и кивнул в сторону землянки. — Пройдёмте для беседы.

— Для какой беседы? — спохватился Отяпов и вдруг всё понял: на лейтенанте были краповые петлицы с золотым кантом — особист.

Когда входили в землянку, Отяпов подумал: винтовку не отнял, значит, арестовывать не будут…

Он догадался, что лейтенант будет спрашивать о капитане Титкове, и уже приготовился врать правдоподобно, так что комар носа не подточит: ничего, мол, не видел, ничего не знает, а о комбате узнал, когда закричали, что он убит…

Но лейтенант его спрашивал о другом — о выходе из окружения. О том, кого из командиров видел живым или убитым и при каких обстоятельствах. О госпитале. О маршруте выхода и о том, какие немецкие части преследовали их. Исписал тетрадный лист, дал ему прочитать, а потом сказал, чтобы подписал, что, мол, с его слов записано верно.

— Всё? Подписали?

— Подписал, — послушно ответил Отяпов.

В голове гудело, словно от вернувшейся контузии: что ж я только что подписал, может, приговор себе?

— Ну, раз подписали, то пойдёмте.

— Куда? — И Отяпов вновь посмотрел на винтовку.

Винтовку не изымали.

— Наверняка проголодались, — сказал особист. — Тут недалеко полевая кухня. Каши горяченькой… И я с вами…

— Коли так, товарищ лейтенант, — осмелел Отяпов, — то я со всей красноармейской готовностью.

Надо ж, думал Отяпов, обжигаясь кашей, пахнущей тушёнкой и лавровым листом, до чего разные люди на войне попадаются…

Глава двенадцатая
В РАЗВЕДКЕ

К весне, когда полк встал в глухую оборону и роты успели отрыть полнопрофильные траншеи и землянки на каждое отделение, вернулся из госпиталя Гусёк.

Рёбра его срослись, нога тоже зажила. Так что вернулся он в роту весёлый и даже слегка поправившийся на тыловых харчах.

Вечером он пришёл в землянку, занял крайнюю лежанку. Бросил под голову свой вещмешок и тут же уснул, как засыпают дома, где твой сон оберегают близкие тебе люди, а стены вокруг нерушимы.

Утром всем третьим отделением они уже стояли возле штаба полка и слушали приказ.

Где-то за Варшавским шоссе, за рекой Угрой, выходила из окружения Западная группировка 33-й армии во главе со своим командующим генералом Ефремовым. По последним сведениям, прорыв группировки не удался. Часть войск повернула назад, к Вязьме, и сейчас плутает по лесам. Часть рассеяна в лесных массивах в районе Юхнова, Знаменки и Всходов. Это означало, что некоторые группы плутали и по их фронту, только с той стороны.

— Товарищи бойцы! — внушал им храбрость ПНШ дивизии по разведке капитан Маслаков. — Мы направляем вас, самых лучших и самых бывалых, за линию фронта. Необходимо разведать безопасные проходы, связаться с группами окружённых бойцов и командиров Тридцать третьей армии и выводить их по этим коридорам. Командиры групп получили подробные инструкции. Желаю успешного выполнения поставленной задачи и возвращения назад! Отличившиеся будут представлены к правительственным наградам!

То, что окружение — дело поганое, почти все они испытали на собственной шкуре.

За Варшавкой гремело с февраля. Несколько раз и их дивизия пыталась прорваться туда, чтобы выручить окружённых. Но немцы через шоссе их не пропускали. Не выпускали никого и оттуда. «Котёл», в котором оказалась Западная группировка 33-й армии и часть воздушно-десантного корпуса, немцы запечатали плотно. И вот, как оказалось, дожали они 33-ю…

Дивизия, в которой воевал сержант Отяпов со своими товарищами, занимала оборону вдоль Варшавского шоссе фронтом на север. Шоссе контролировали немцы. И вот штаб дивизии, должно быть, выполняя приказания вышестоящих штабов, посылал на помощь окружённым пять разведгрупп.

Поскольку из лейтенантского состава в роте остался только один ротный, разведгруппой поручили командовать Отяпову. К тому времени приказом по полку ему присвоили звание старший сержант и назначили на должность помкомвзвода. Взводного, младшего лейтенанта, присланного к ним месяц назад, убило во время последней атаки на деревню Заболонку. Немцы там держались крепко, построили несколько блиндажей, дома перестроили в ДОТы и жили себе не тужили, с лёгкостью отбивали очередную атаку и улучшали свою оборону. Вот там и оставил второй взвод седьмой роты своего последнего лейтенанта. Другого не присылали. И взводом временно командовал старший сержант Отяпов. Слава богу, в наступление на эту распроклятую Заболонку их больше не поднимали.

Но хрен редьки не слаще, и вот — в разведку.

Отяпов отобрал самых надёжных.

Где-то там, за Варшавкой, западнее Вязьмы, в Семлёвских лесах была его деревня. До неё они, конечно, не дойдут. До Отяп отсюда было километров шестьдесят-семьдесят. Даже если напрямую, через лес. А им приказ: глубже десяти-пятнадцати километров от линии фронта не заходить. Кружить по ближнему тылу, так как окружённые, по данным авиаразведки, были распылены мелкими группами именно здесь, в непосредственной близости к фронту.

Заболонку и окопы немецкого опорного пункта они обошли правее, оврагом. Там у них был брошенный ДОТ. Зимой он контролировал овраг. Но месяц назад соседняя восьмая рота добралась до того ДОТа. Пулемётчиков забросали гранатами, а сапёры взорвали само сооружение. И немцы больше его не восстанавливали. Похоже, и у них тоже после зимних боёв народу в ротах поубавилось порядочно. А поскольку пополнения не наблюдалось, они сжимали свою оборону вокруг опорных пунктов.

Так что линию фронта разведчики прошли благополучно.

Три группы входили правее Заболонки, две — левее. Все прошли тихо, без стрельбы.

Через километр, в лесу, разведгруппы разошлись — каждая по своему маршруту.

Кусок карты лежал, аккуратно сложенный вдвое, за отворотом телогрейки. Днём во время инструктажа командиров групп капитан Маслаков хорошо отточенным немецким штыком прямо на столе разрезал карту и каждому вручил квадрат, на котором синим карандашом был отмечен маршрут действия.

Образование у Отяпова было не ахти какое — три класса школы крестьянской молодёжи. Да и учился через пень колоду. Одну зиму и вовсе пропустил. Когда помер отец, надо было отрабатывать трудодни... Хорошо, не исключили его тогда из ШКМ. Но карту читать умел. Хорошо ориентировался на местности и мог в два счёта нарисовать схему в масштабе. Этой

штабной премудрости научил его командир взвода, когда они стояли в обороне под Брянском. И вообще, как заметил Отяпов, военное дело давалось ему на удивление легко.

Владея этой командирской премудростью и куском карты, он был уверен, что, если его ребята нигде не сплохуют, он за сутки-другие проведёт их по намеченному капитаном Маслаковым маршруту и благополучно выведет назад. А уж если посчастливится разыскать окруженцев, то найдёт безопасную тропу и для них.

Первой деревней на карте значилась Ямщики. Её надо было обойти. Слишком близко она стояла к линии немецких окопов, отрытых зимой вдоль шоссе и до километра в глубину на север. Окопы имели несколько линий. Заняты были не все. Это Отяпов знал по прежним разведкам. Но кто его знает, может, сейчас, когда под Вязьмой и Знаменкой им удалось наконец сдавить блуждающий «котёл» Западной группировки 33-й армии и десантников, немцы заняли и этот рубеж. Чтобы не выпустить окружённых, которые, понятное дело, из лесов на той стороне стремились прорваться на юг, к Кирову.

Снег в лесу ещё лежал. Ночью прижало морозцем. И — хорошо. Шли по проталинам, и следа за ними почти не оставалось. Если только внимательно присматриваться, можно было догадаться, что здесь в непонятном направлении прошли несколько человек — двое или трое, не больше.

Отяпов вёл шестерых. Сам — седьмой. Гусёк с автоматом шёл замыкающим. Иногда он догонял их, потом снова отставал, двигаясь то немного правее, то левее. Эту службу он знал хорошо. Ноги быстрые, глаз вострый, рука скорая, автомат почищен о трёх запасных дисках в вещмешке.

Вперёд Отяпов выслал двоих — Курносова и Лапина. Они в последнее время сдружились. Вместе в карты играли. То на патроны, то на портянки. Курносова вначале забрали в роту связи, но вскоре он оттуда вернулся. Вернулся не просто так, а с позором — разжаловали за мародёрство. Случилось вот что: поручили ему вести двоих пленных немцев до штаба полка. А он их дорогой хорошенько обобрал — сапоги, зажигалки и прочее. В штабе полка всё это дело выяснилось. Воевал теперь в пехоте рядовым бойцом.

Отяпов был рад возвращению Курносова в родную седьмую роту. Такого надёжного товарища на фронте редко встретишь. Но чувствовал, что эта командировка Курносова в стрелковую роту долго не продлится. Связист — специальность редкая. Подержат месяц-другой и заберут назад.

Гридников и двое калужских шли следом за Отяповым. Гридников нёс ручной пулемёт. Все остальные, кроме Отяпова, были вооружены автоматами ППШ. Отяпову тоже давали автомат, но он брать его не стал. Месяца полтора назад к ним на позиции с той стороны вышли кавалеристы. Шесть человек. На конях. Кони худые. Сами тоже выглядели неважно. Так у одного из них Отяпов за пачку табаку выменял карабин. Карабин был покороче винтовки, полегче, с ним было удобней ворочаться в траншее и ходить по лесу.

Вторым по пути следования был хутор Комариха.

Что за хутор, Отяпов не знал. Сюда они ни разу не заходили. Обычно разведка так глубоко не забредала. Переходили через шоссе, маскировались возле какой-нибудь ближайшей деревни или на пересечении дорог и вели пассивное наблюдение. Один раз брали «языка». Взяли часового на краю деревни. За него и получил ещё один «секелёк» в петлицы и несколько наградных пачек махорки. Одну потом и выменял на карабин. Так что личная польза Отяпову от того захваченного «языка» оказалась большой. Махорка постепенно разошлась, а карабин вот остался.

Хутор Комариха оказался небольшим, как и все здешние хутора. Три двора, три усадьбы. Стояли они особняком, просторно, одна от другой метров на пятьдесят-восемьдесят.

Когда Отяпов подошёл к ожидавшим его на опушке Курносову и Лапину и, раздвинув еловые ветки, посмотрел на Комариху, то, прежде чем сверить увиденное с картой, невольно залюбовался тем укромным простором, в каком жил-пребывал этот небольшой лесной хутор.

Дворы с надворными постройками расположились по склонам оврагов, которые сходись в середине, образовывая небольшое озерцо. По берегам озерцо густо заросло кудрявым дымчатым ивняком и камышом. А по склону от воды до огородов — берёзовая рощица. Молодые берёзовые сростки, снизу уже почерневшие, а вверху ослепительно-белые в утреннем мареве будто выбегали из воды ко дворам. Вокруг десятин сорок пашни. Часть пашни запущена под луг. Так бы и зажил на таком хуторе, захозяйствовал на воле…

Стали совещаться, кому идти на хутор. Решили так: на опушке остаётся Гридников с калужскими, при пулемёте, с задачей вести наблюдение за хутором и дорогой, ведущей в эту самую Комариху; в случае необходимости огнём прикрывать отход основной группы в сторону леса.

Шли оврагом. Стёжки здесь были уже натоптаны. Пахло весенней разбуженной землёй и близким жильём. Никакой войны здесь, в окрестностях этого хуторка, не чувствовалось и в помине. Даже далёкая канонада казалась чем-то невоенным — то ли раскатами грозы, то ли тяжёлыми работами, которые кто-то вёл за лесом в стороне Варшавского шоссе. Севернее же, к Вязьме, и вовсе стояла тишина.

— Стой. — Отяпов поднял руку. — Дальше я пойду один. — И он жестом указал им занять позиции за деревьями и наблюдать за крайним двором, к которому они подошли вплотную.

Отяпов прошёл вдоль берёзовой загородки, стараясь не ступать на подтаявший с утра снег. На лугу его следы были совсем не видны. Кое-где под ногой хрупал ледок. К полудню совсем отпустит, подумал он. Если бы ночами не прижимало, овраги бы уже превратились в реки, и тогда их путь значительно бы осложнился. Но разлив ещё не начался. Лес держал снег. Хотя поля уже чернели частыми залысинами.

Карабин он закинул за спину, по-охотничьи, стволом вниз. Так он был почти незаметен. Толкнул дощатую калитку, ведущую во двор, и нос к носу столкнулся с женщиной, как потом выяснилось, хозяйкой.

Она испуганно ойкнула и отступила в сторону, под навес, где рыжели остатки недобранного сена и торчали вилы с коротким, отшлифованным до костяного блеска навильником.

— Доброго здоровья, хозяюшка, — тихо сказал он и приложил палец к губам.

— Ну-ну, — не сразу ответила она. — Откуда ж ты такой? Не похоже, чтобы из лесу.

— Чем же? Не похож…

— Те, которые из лесу, бородатые да голодные, — уже вольнее и спокойнее заговорила хозяйка, — а ты вон, выбрит, одет хорошо. Да и на голодного не похож.

Как выглядят голодные, Отяпов знал по брянскому окружению. У голодного человека глаза блестят, как у зверя.

— А что, заходили? Из леса…

— Заходили. Они теперь везде бродят. В лес не выйдешь…

— Страшно, что ли?

— Страшно. — Она ещё раз внимательно окинула его взглядом и сказала: — Ну, проходи в дом. Начинаешь издали, значит, не на минутку забежал…

А баба смышлёная, подумал он, переступая порог.

В сенях пахло коровьим навозом и молоком. Было темно. Но Отяпов догадался, что корова стояла здесь же. Хлев был прирублен к сеням и подведён под одну крышу. Так делали только хорошие хозяева, у кого в доме был не только мастеровитый мужик, умевший держать топор в руках, но и достаток. У них в Отяпах таких дворов было пять-шесть, не больше. Остальные жили победней.

— Что, отелилась? — спросил он, заглядывая в закут.

— На прошлой неделе, — ответила хозяйка, и голос её вздрогнул и посветлел.

— Кого ж? Бычка? Иль тёлочку?

— Тёлочку, — усмехнулась она, но тут же насторожилась: — Уж не за ней ли ты пришёл?

— Тёлочку… Это хорошо. Если тёлочка, то, значит, скоро конец войне, — будто не поняв её беспокойства, сказал он.

— Как же… Что-то вы наступаете медленно. Полгода уже прошло, а всё гремите где-то за лесом.

— А ты как поняла, что я из Красной армии?

— Как поняла… Поняла. Есть-то будешь?

— Я не один.

— Понятно.

Эх, какой родимый дух охватил Отяпова, когда он оказался в горнице, в малой половине дома, где стояла русская печь, стол под наполовину занавешенной божницей, лавка у окна. Словно и вправду оказался вдруг дома. Закрой глаза, и из-за занавески выйдет Анна с горлачом свежего молока в руках… Да, вспомнил он недавнее, не зря сон тот снился, с женщиной.

С печи свесились детские головки. Лохматые, льняные. Числом четыре.

— Вот какой у тебя, хозяйка, отряд, — кивнул он и попытался улыбнуться.

Дети с любопытством и настороженно смотрели на него. По их глазам можно было понять, что от незнакомцев здесь добра не ждали.

— А муж где? — спросил он.

— Известно, где нынче наши мужья. Воюет тоже где-то. Ещё прошлым летом как ушёл, так ни письма, ни весточки…

— Кто ещё на хуторе живёт? Немцев нет?

— Немцев, слава богу, нет. Последний раз приезжали ещё зимой. За курями. А полицейский есть. Но он свой, зла никому не делает.

Вот так. Значит, с полицией живут в мире и согласии. Что ж, и такое бывает.

— Свой, говоришь? Местный? Или в зятьях?

— Свой.

— Где ж он сейчас?

Хозяйка подошла к окну и сказала:

— А вон он идёт.

Рывком отворилась дверь, и в проёме показались двое: Лапин подталкивал вперёд здоровенного парня в чёрной шинели и кавалерийской портупее.

— Начальника привёл. Новая власть, — хмыкнул Лапин. — Что будем с ним делать, командор?

Хозяйка оттолкнула Лапина и сказала:

— Не трогайте его. Если бы не Игнат, казаки давно бы хутор сожгли.

— Отпусти его, — приказал Отяпов.

Полицейский одёрнул шинель, поправил портупею и подобрал с пола шапку. Оружия при нём не было.

— Винтовка где? — спросил Отяпов.

— Дома, — ответил полицейский и вдруг сощурился, спросил: — А вы кто? Красная армия? Или другая?

— Красная. Другая там, в Вязьме. Германская. Которой ты служишь.

— Я ей не служу.

— А повязку чью носишь?

Полицейский, видимо, понял, что положение его сложное. Во-первых, не понятно, кто они. Разведка с той стороны шоссе? Казаки? Окруженцы? Партизаны? Нынче кто угодно может забрести на хутор Комариха.

— Ладно. Поговорили. Пойдёшь с нами. — Отяпов встал, закинул за плечо карабин. И заметил, что полицейский не сводит глаз с его петлиц.

— Ксюш, ты им про полковника ничего не говорила? — сказал вдруг полицейский.

— Нет, — ответила та.

— Тогда пойдёмте. Надо сказать.

Пошли.

Полицейский привёл их на соседнюю усадьбу. Кивнул в сторону бани, стоявшей на задах:

— Там. Ему нужен врач. Срочно. Ни немцы, ни казаки сюда носа не суют. Участок мой. Но без врачебной помощи он долго не протянет. При нём медсестра. Или фельдшер. Но от ней толку мало. Так, перевязать, обиходить — да. А полковнику срочно нужна операция.

В бане, накануне, видимо, протопленной, пахло умирающим.

Человек, которого полицейский называл полковником, лежал на деревянном топчане, застеленном каким-то тряпьём.

На печном плече стояла керосиновая лампа с осколком стекла. Свет от неё шёл скудный. Но немного погодя вошедшие привыкли к подслеповатой темноте банного пространства и разглядели и лежащего в углу на топчане, и сидящую над ним женщину в армейской гимнастёрке. Женщина встала навстречу, поправила гимнастёрку и ремень.

— Вот, — указал на неё полицейский, — предлагали ей переодеться, а она — ни в какую.

На её гимнастёрке Отяпов разглядел петлицы лейтенанта медицинской службы.

Полицейский отодвинул лавку, приподнял половицу и вытащил из подпола мешок с какими-то вещами. Лапин перехватил у него мешок, вытряхнул содержимое на пол: хромовые сапоги с высокими кавалерийскими голенищами, шаровары с малиновым кантом, гимнастёрка с четырьмя шпалами, кобура с ТТ.

— А вот, командор, и бирка его. Похоже, и правда полковник. — И Лапин подал Отяпову удостоверение личности.

— Товарищ полковник, — мгновенно выпрямился Отяпов, вдруг сообразив, что перед ним старшие по званию и положено доложить о прибытии, — разведгруппа в количестве... — Но осёкся и, видя, что раненый не открывает глаз, да и не слышит, должно быть, его доклада, посмотрел на лейтенанта медицинской службы и сказал: — Как вы сюда попали?

— Мы из сто шестидесятой дивизии, — ответила она. Глаза её тоже блестели блеском нездорового человека. — Западная группировка тридцать третьей армии. Слыхали о такой?

— Слыхали. За вами и пришли.

Она встрепенулась.

— Мы пробивались в сторону Варшавского шоссе. Надеялись найти партизан. Вот, Ивана Мефодьевича ранило на большаке. Основная группа ушла, а нас оставили. Сказали, что за нами вернутся.

— Сколько человек в группе? — спросил Отяпов. — И в каком направлении ушли?

— Двадцать семь человек. Повёл их капитан Забельский из артполка. Ушли в сторону шоссе. Три дня назад. Ивану Мефодьевичу с каждым днём всё хуже и хуже. Мне кажется, я не в силах ему помочь.

— Куда его?

Лейтенант отбросила одеяло. У полковника были перебиты обе ноги. Одна повязка была наложена выше колена, другая ниже.

— Как же мы его понесём, командор? Нам с таким в дороге — вилы. Смотри, косяк с ним не запори…

Вот тебе и косяк, подумал Отяпов. А нести полковника надо. Не бросишь.

День просидели на хуторе. Обстоятельства складывались так, что дальше на восток, куда им приказывала двигаться синяя линия штабного карандаша, идти было незачем. Капитан Маслаков, чертивший ту линию, во время инструктажа ясно дал понять: если во время движения обнаружится встречная группа из состава 33-й армии, тут же поворачивать назад и выводить её в расположение дивизии. В первую очередь спасать комсостав. Выносить документы и архив, если попадётся штабная группа.

Санинструктора звали Марией. Лет двадцати пяти, худая, с синими кругами под глазами. Несладко, видать, жилось им в окружении. С февраля — два с половиной месяца. Рассказала: последнее время питались в основном кониной, вытаявшей из-под снега. А перед прорывом каждому выдали последних сухпаёк: по горсти овса или пшеницы — кому что досталось. Раненых побросали в Шпырёвском лесу. Прорыв не удался. Прорвались только передовые группы. Где они теперь, неизвестно. Видимо, все погибли. А их — обозы, госпитали — отсекли, загнали обратно в Шпырёвский лес и начали добивать из миномётов. Потом по просекам пошли танки и пехота… Их небольшая группа, как рассказала Мария, человек пятьдесят, пошла на прорыв прямо на деревню. Деревню удерживали немцы. Но немцев было немного, и прорыв оказался удачным. Заняли деревню. Захватили полевую кухню. Пока бойцы очищали котёл, немцы контратаковали. Многие погибли именно в тот момент. Надо было сразу уходить, но голодные бойцы навалились на кашу…

— Думаю, что человек пятнадцать попали в плен, — рассказывала Мария. — Когда немцы вошли в деревню, они не могли оторваться от котла… — И вдруг спросила, глядя Отяпову в глаза: — Вы думаете, мы выйдем?

— Выйдем, Маша, выйдем, милая. Ты, главное, за полковником присматривай. Дорога разведана. Путь свободен. Ночью пойдём. Игнат-то… как он? Надёжный?

— Да если бы не он, товарищ сержант!..

— Ты зови меня просто — дядя Нил. Как вон Гусёк. Я ж тебе по возрасту — в отцы… И наш солдатский устав нынче такой — благополучно выйти к своим и живым доставить твоего командира в наше расположение. Так?

— Так, дядя Нил.

— Ну вот. А сейчас забирай наши лекарства, которые есть. Смотри, что надо, и пользуй больного. И ещё, Машенька… Такой уговор: в пути всякое может случиться, и ты тогда ребят без медицинской помощи, так сказать, не оставляй. Сумка с медикаментами будет при тебе. А Игнат, ты говоришь, человек надёжный…

— Надёжный. Он не выдаст. Пока мы тут жили, он два раза в комендатуру ездил. В Знаменку. По своим делам. Но ведь не выдал же.

— Я ему винтовку вернул. Пусть ходит с винтовкой. И патроны отдал. С нами он пойдёт. Вот что я решил. Но ему пока об этом не говори. И коня

его возьмём. На носилках полковника не донесём. Тяжело. Замешкаемся в пути. Опасно… Это я тебе сказал, чтобы ты была спокойна. Но пока не выступили, молчи.

После полудней на хутор прискакал верховой. Гусёк, дежуривший на околице и поднявший тревогу, разглядел всадника: в чёрной кубанке, в армейском полушубке и синих штанах с красным казачьим лампасом.

— Это — ко мне. Посыльной от атамана Урганова, — пояснил Игнат и кивнул в сторону бани: — Сидите там. Он долго не пробудет. Стакан самогона выпьет, закусит и — обратно, в Городню.

Немецкая комендатура находилась в Знаменке. Но ближе, в Городне, стояла казачья сотня атамана Урганова. Она-то и держала здесь власть и порядок. Раз в месяц Игнат возил в Городню баранью тушу или связку кур. Последний выход обошёлся полупудом сала. Так и откупался хутор Комариха от уроженцев Луцка, Черновцов и Тернопольщины — салом да самогоном.

— Откуда ж тут казаки, Игнат? — поинтересовался Отяпов, когда посыльной ускакал с хутора.

— Да кто откуда. Из концлагерей. Из Вязьмы да Издёшкова. Командует ими донской казак Урганов. Зовёт себя атаманом. Набрал хохлов из концлагерей. И гуляет теперь. Его даже немцы побаиваются. Стараются сюда не соваться. В феврале возле хутора Ивановского перестрелку с ними затеял. Приехали фуражиры, откуда-то из-под Смоленска. Там всё пограбили, народ голодный, так сюда приехали. Думали поживиться. А атаман Урганов такой порядок держит: партизан здесь, в Городнянской волости, не будет, но что б и немцы — ни ногой. Знаменский комендант согласился. У них какой уговор. Урганов тут живёт вольным атаманом. Две бабы с ним. Тоже из лагеря. Ездят на тачанке. Одна — за пулемётом. Другая — под боком. Чтобы не замёрзнуть на своём посту, меняются.

— Хорошо вы тут живёте, — усмехнулся Отяпов и подумал о своих. — А не слыхал ли ты, как живёт народ в Семлёвских лесах?

— Там партизаны власть держат. И конники, которые зимой Вязьму пытались брать, тоже туда откочевали. Там советская власть. Там народ голодает.

— Ах ты, твою-капитана!.. — взвился Отяпов. — А тут, под немцем, что, не голодаете?

— Мы тут не под немцем, — поправил его Игнат намеренно спокойным тоном. — Мы тут с атаманом Ургановым. Я ж тебе сказал, какой тут порядок.

— И ты в его сотне служишь?

— Я не в сотне. Я в самообороне. И моя задача — мост охранять на Городнянском большаке. Вот я его и охраняю. Каждый день туда должен ездить и порядок блюсти. Вот на прошлой неделе поехал и привёз оттуда полковника… Красная армия своего командира бросила, а я его подобрал.

Игнат так и подпирал его своими рассуждениями, так и придавливал, как хоря ухватом к стенке. Что с ним спорить, решил Отяпов. Но и поддакивать не стал. Недолго ему тут, пускай и такому хорошему, с повязкой по хуторам ходить. Двум властям служить не будешь…

Перед самым вечером, когда уже заслезился в оврагах туман, затягивая окрестную даль и горизонт, над хутором пролетел самолёт. Летел он низко, равномерно и не натужно урча мотором.

— И что он тут потерял? — проводил его взглядом пулемётчик Гридников.

— Известно что. Разведчик. И в нелётную погоду летает. — Отяпов раздавил возле переносицы слезу. — Вроде бы наш. А там кто его знает…

Весь Западный фронт в эти дни беспокоило одно — Вяземская группировка 33-й армии. Командующий войсками фронта генерал армии Жуков отдал приказ: разведывательной авиации армий, стоящих фронтом к Вязьме, полётов не прекращать; кто обнаружит штабную группу командарма Ефремова, будет представлен к званию Героя Советского Союза. Одновременно десятки разведгрупп 49-й, 43-й, 50-й и 10-й армий, а также Восточной группировки 33-й армии, занимавшей фронт в районе Износок, прочёсывали леса в ближайшем немецком тылу в поисках штабной группы генерала Ефремова.

Некоторые разведгруппы так и вернутся ни с чем. Некоторые выведут разрозненные немногочисленные отряды. Некоторые погибнут в стычках с немецкими заслонами, полицейскими подразделениями и карателями, которыми были буквально наводнены в те апрельские дни районы предполагаемых действий. У всех был один приказ — ликвидация остатков блуждающего «котла» 33-й армии и воздушно-десантного корпуса.

Ничего этого ни старший сержант Отяпов, ни его разведчики, ни санинструктор Мария, ни полицейский Игнат, конечно, не знали. Они шли по весеннему лесу, уже наполненному птичьим гомоном, и думали только об одном — что там, впереди, за тем оврагом, за ельником, за полем, которое они огибали по березняку, за ручьём, разлившимся за минувшие неполные сутки так, что их вчерашние следы потонули под метровым потоком соловой воды.

Весенний лес покуда ещё берёг их.

Глава тринадцатая
ПОГОНЯ

В головном охранении шёл сам Отяпов. С собой он взял Гуська и приказал ему держаться немного позади, шагах в десяти-пятнадцати — правее или левее. Это чтобы в случае чего им, двоим сразу, не оказаться на линии огня.

Стало темнеть. Сизый сумрак вначале заполнил овраги, потом, казалось, плотнее сдвинул деревья вокруг, а вскоре заполнил и небо.

И в это время сзади, где двигалась основная группа, послышались голоса. Вначале громкие, потом затихли.

Отяпов сделал Гуську знак, чтобы продолжал движение, а сам пошёл назад.

Ещё издали в густеющих, но ещё прозрачных сумерках он увидел двух лошадей. Лошади ловили друг друга губами, видимо, радуясь встрече. На одной из них, такой же гнедой, явно не рабочей, кавалерийской, сидела Ксюша. Теперь хозяйка показалась ему значительно моложе той, которую он

встретил на хуторе. Она сидела в кавалерийском седле как влитая, раскрасневшаяся. Подшальник на плечах. Конь тоже парил сырыми боками.

— Вот, Нил Власыч, история… — сказал Курносов. — Погоня за нами. Казаки.

Вечером на хутор пришёл отряд атамана Урганова. Тридцать человек. Все верхами. Разделились на три группы. Одни подались на Поповку, другие — на Коростели. А шестеро заночевали в Комарихе.

— Его ищут, — кивнула Ксюша на полковника, которого они кое-как, на досках, приладили к седлу и замотали плащ-палатками, чтобы не растрясти в дороге. — Кого-то из их группы захватили в плен, тот что-то рассказал. На хуторе всё перерыли. Ничего не нашли. Мы сказали, что люди из лесу приходили, но ушли. И с ними раненый пожилой командир. А что было делать? Атаман — человек злой. Если что, и детей не пожалеет. Остановились в нашей хате. Я детей к тётке Арине увела. А сама оседлала Кобчика и — вас догонять. Самогонки им принесла. Пьют-гуляют. Ещё обещала принести. Но больше к ним не пойду — приставать будут.

— Про меня спрашивали? — спросил Игнат.

— Спрашивали. Урганов первым долгом про тебя и спросил: где, мол, Игнат, на мосту его не видели…

Лицо полицейского даже в темноте казалось белее снега.

— Нюрка, старшая моя, — пояснила Ксюша, — такой разговор слышала, что ждать они вас будут утром на Вороно́вской дороге и на старом Гурьевском тракте. Нюрку я послала за одеждой. Они ж нас сразу из хаты в баню выгнали. Хозяйва́! Вот пока Нюрка там, за печкой, копалась, у них заседание шло. Из Поповки они собираются ночью на Вороно́вскую дорогу повернуть. А те, которые на Коростели подались, к утру должны вас караулить на Гурьевском тракте в лесу. Эти, шестеро, остались здесь. Ну, всё. Мне надо назад ехать. А то хватятся. Про тебя, Игнат, тётка Арина сказала, что, мол, как на мост днём уехал, так и не ворочался. Имей в виду.

— Поверили?

— Да кто ж их знает…

Карту Отяпов помнил наизусть. Днём разглядывал, читал названия населённых пунктов и урочищ, запоминал дороги и русла речек и ручьёв. Соображал, какой дорогой возвращаться, где овражки могут разлиться и не пропустить их или задержать плохими переправами.

— От Поповки до большака сколько километров? — спросил он Игната.

— Километров пять. Если лесом, то меньше.

— Выходит, они нас заперли. Часа через три, а то и раньше, они перекроют дорогу.

— Что, командор, вилы? — подал голос молчавших до сих пор Лапин.

— Да погоди ты. Дай сообразить.

Игнат перехватил повод Ксюшина коня:

— Погоди-ка, Ксюш, уезжать. — И сказал Отяпову: — Вот какое дело, сержант: по Вороно́вской дороге пройти мы не сможем, они нас там успеют запереть, а вот если выйти на Гурьевский тракт… Есть там в лесу дорога одна,

малоезжая… Летом народ сено возит, зимой дрова. На сам тракт не соваться, а проехать этой дорогой. Но там, на перекрестье Гурьевки и Вороновки, стоит ДОТ. Наши ещё строили, в сорок первом, летом, когда оборону здесь собирались держать. Зимой там немецкий пост был, но потом и они ушли. Кругом лес, до ближайшей деревни пять километров. Дальше, если на восток, Заболонка. А там и до шоссе рукой подать.

— Не успеем. Если только на лошадях.

— На лошадях и поедем. — Игнат дёрнул за повод. — Ксюш, слезай. Коня приведу. В целости и сохранности. Если сам живой вернусь.

— Кто ж мне нивку пахать будет? Детей мне чем кормить? — закричала женщина, отталкивая стременем Игната. — Ты моих детей кормить будешь?

— Буду, Ксюш. Буду кормить твоих детей. Даст Бог, всё обойдётся.

Женщина ловко спрыгнула в снег, швырнула повод Игнату и пошла по тёмной талой стёжке в сторону оврага, откуда они только что выбрались.

— Ну, сержант, теперь сымай полковника, и пусть твои разведчики вяжут носилки. А нам скорей надо на Гурьевский тракт. Чтобы ДОТ раньше Урганова занять. Кого со мной отрядишь? Пулемётчик нужен. Или сам поедешь? Ты, я вижу, не особо-то мне доверяешь.

— Я в разведке. За людей отвечаю. И за выполнение приказа. А что касается тебя, Игнат… Не в той ты армии служишь. Вот о чём я думаю.

— Ты видел, в какой я армии служу. Пять баб и двенадцать ребятишек. Как? Хорошая армия?

— Ну, ты на ребятишек не нажимай. Я тоже детный, но этим меня не разжалобишь. Гридников с тобой поедет. С пулемётом. Да и ты автомат возьми.

Условились действовать так: Игнат с Гридниковым сразу же сворачивают в строну старого тракта и там выбираются на лесную дорогу; следов прятать не будут, чтобы они, идущие за ними, не заблудились.

— Увидите ДОТ, он обочь дороги стоит, справа, посвистите. Три коротких. Я отвечу так же. Коней мы привяжем в лесу. Там рядом лощина есть. Своего, так и быть, вам отдам. Будет возможность, потом вернёте. А Ксюшиного жеребца заберу. Там, у ДОТа, пути наши разойдутся.

Когда они переложили полковника на носилки, тот застонал. Отяпов подумал: слава богу, живой ещё…

Понесли. Отяпов разбил группу на пары. Сам взялся на ручки носилок первым. Сзади хрипел и чертыхался Лапин. Чуть погодя Лапин не выдержал:

— Слыхал я, как этот Игнат тебе варганку крутил. Я думал, он так, валет из местных, а он мужик калёный. И ты ему, командор, поверил?

— А ты мне, Лапин, подскажи в помочи кого-нибудь получше этого полицая, и я тогда тебя послушаю. А нет, так помалкивай.

Лапин хмыкнул, покрутил головой и больше не докучал.

Иногда им казалось, что они потеряли след. Но погодя, пройдя шагов двадцать-тридцать, на подмёрзшем снегу снова находили тёмные лунки лошадиных копыт и куски разбитого льда. Полковник то приходил в себя, охал, стонал, то снова проваливался в бред, что-то бормотал, скрипел зубами, командовал.

Что стоит в такой темени полицейскому ускакать от своего напарника в лес, где ему знакома каждая кочка? Нырнул в какой-нибудь овраг — и поминай как звали. Но следы лошадей свидетельствовали о том, что Игнат и пулемётчик Грибников шли одной тропой. И постепенно Отяпов стал успокаиваться и верить в то, что Игнат его не обманул.

Выбрались на дорогу. Как объяснял Игнат, от этого поворота и ручья, который пришлось переходить почти вплавь, до ДОТа оставалось два километра. Народ уже заметно устал. Спотыкались, часто останавливались, садились в снег.

Неожиданно левее впереди началась стрельба. Отяпов вспомнил карту: стреляли в стороне Коростелей. Он приказал остановиться. Затихли.

Стреляли из винтовок. Изредка вступал автомат, по звуку наш, ППШ. Не может быть, чтобы Гридников и Игнат оказались там, возле хутора Коростели. Дорога, которую Игнат называл Старым Гурьевским трактом, шла прямо и выходила на другой большак — Вороно́вскую дорогу.

Он выслал вперёд Гуська и одного из калужских. Сами пошли медленней, с частыми остановками. Слушали лес и то, что приносил им ветер, который, к счастью, дул навстречу.

Стрельба в лесу левее маршрута их движения прекратилась.

Конечно, думал Отяпов, группа выполнила приказ лишь наполовину. Разведку провела неглубоко, весь маршрут, который ей было предписано исследовать, не исследовала. Да и окружённых отыскала слишком малое количество. За такое ни в штабе батальона, ни, тем более, в штабе полка по головке не погладят. Он надежду вселяло то, что они выносили не кого-нибудь, а полковника. С документами. При оружии. И подчинённая при нём.

Но полковника надо было ещё вынести. И самим выбраться. Судя по рассказам Игната, этот атаман Урганов настоящий зверь. Местных держал в полном повиновении, продналогом обложил все окрестные деревни, каждый двор. Всё у него было поставлено на учёт и под постоянный контроль. Партизаны в здешних лесах не прижились. Казаки Урганова всякий раз выживали их с местных баз, выдавливали за пределы волостей, подконтрольных казачьей сотне. За те полгода, которые Урганов атаманил в Городне и окрестностях, они устроили три показательных казни. Один раз расстреляли захваченных в лесной деревне семерых красноармейцев. Накануне неподалёку от той деревушки нашли утопленного в болоте казака с разрубленным сабельным ударом головой и споротыми с шаровар лампасами. Вот за него и мстили. В другой раз — двоих партизан. Последним был расстрел своего — за мародёрство и насилие. При всей свирепости атамана его власть сносили терпеливо — в подконтрольных сотне деревнях и хуторах немцы почти не показывались. За одно это местные прощали ему и его ватажникам многое.

— Если ты, Игнат, не крутишь мне бейцалы, как говорит наш боевой товарищ Лапин, то человек ты, выходит, незлой. А вполне даже хороший. Только немного запутавшийся. Что ты делать будешь, когда наши в район придут? С немцами уйдёшь?

— Ну, во-первых, никакой я не запутавшийся. В октябре нас на Десне пуганули. Из роты пять человек осталось. Кто убит, кто в плен пошёл. Мы с мужиками — по домам. Все отсюда призывались. А вскоре Урганов объявился: пойдём ко мне в сотню, коня дам, саблю и хутор. Коня я своего привёл, на нём в Комариху и приехал. Сабля... На кой она мне, та его сабля. Разве что для форсу. Землю-то ею пахать не будешь... А хутор у меня свой, родной. У Урганова тут такой устав: сотня на постое находится в Городне. Живут казармой, в тамошней школе. Занимают колхозную конюшню. Туда и сено свезли со всех полей, из поймы. Народу разрешили взять только остатки колхозной соломы. И в каждом населённом пункте — по человеку. Навроде участковых. Так и держит свою власть. Всё у него переписано: кто сколько поросят держит, кто сколько овечек, и даже курям счёт имеется. И никто не смеет без его разрешения ни поросёнка забить, ни курёнка. А тут стали в Знаменке в самооборону народ набирать. Подумал я и решился: всё же не к этим разбойникам на службу идти, а мост охранять, поддерживать его, так сказать, техническое состояние. Да и казака с хутора атаман Урганов вынужден был отозвать. Он, Гришук, иногда к нам наведывается. И сегодня был. Самогона стакан закинет и — поехал дальше службу справлять. Вот, сержант, и вся моя история. И никакой тут путаницы нет.

— Да нет, брат, это только её первая часть. Как в книжках пишут.

— Это так. Что дальше будет, не знаю. Хутор не бросишь. На кого? На Урганова? На немцев? Мигом разграбят. Повидал я картин всяких. И таких, где дети от голоду мёрли. У себя в Комарихе не допущу.

— Экой ты председатель колхоза, твою капитана-мать!.. Я тебе — про другое! Немцев рано или поздно, а всё одно прогонят. Куда тогда пойдёшь со своей повязкой? Думаешь, и советская власть тебя при мосте оставит? Ты в особом отделе свою сказку расскажи, они сразу поверят...

— А я с вами пойду, — неожиданно сказал Игнат и засмеялся.

Смеялся он впервые. Невесело. Смех его быстро потух. Отяпов промолчал. И подумал: некуда тебе, братец, идти, вот и смеёшься... Посмотрел на Игната и сказал:

— И петух порой кукарекает, когда его голову на пенёк кладут...

— Ничего, сержант, ничего. А хутор пока покараулю. И от немцев, и от казаков. А с советской властью, может, как-нибудь договорюсь. Никакого преступления за мной не числится. Народ подтвердит.

Отяпов тащил носилки, и в голове у него стоял тоскливый звон: то ли контузия окликала, то ли беспокойство, что всё же зря полностью доверился полицейскому, что не оставил для группы никакого запасного пути — только туда, к ДОТу.

На ДОТ у дороги они почти наткнулись. Бетонные амбразуры узкими чёрными щелями смотрели на запад, юго-запад и северо-запад. Подавать сигнал было уже поздно. Из-за насыпи показалась высокая фигура в капюшоне. Отяпов сразу узнал Гридникова. Слава тебе, Господи...

— Туда. Тропа — там. — Гридников указал рукой на юго-запад, куда смотрела одна из бойниц, и сразу же исчез в узком дверном проёме.

И тотчас слева на дороге, отчётливо белевшей узкой полосой нерастаявшего снега, послышалось лошадиное ржание.

— Быстро! Быстро! Уходим к лесу! — торопил разведчиков Отяпов, толкая их в спины.

Они покатились с насыпи вниз. Побежали по лугу к лесу.

Полковника несли калужские. Втянув головы в плечи, они бежали прямиком к березняку, начинавшемуся за широкой полоской луга, поросшего редким кустарником. Кустарник их и спасал — он закрывал обзор с дороги.

В ДОТе было сыро, промозгло. Пахло мочой и гнилым табаком. Похоже, что прежние жители этого сооружения и курили, и оправлялись в одном углу.

— Сколько до них, как ты думаешь? — Гридников упёрся широко расставленными ногами в земляной пол, сгорбился, подтянув приклад к плечу.

— Не спеши. Рановато ещё. Вон, видишь, берёзка белеет? До неё шагов сто двадцать.

— Понял. Как с ней поравняются, тогда и начнём.

— Гляди, кажись, заметили... Заметили наших.

И правда, строй ехавших по дороге стал рассыпаться. Несколько всадников повернули влево, их кони легко перескочили кювет и заскользили вдоль зарослей кустарника. Там послышались команды. Свернувшие с дороги двигались точно наперехват разведгруппы, которая ещё не достигла лесной опушки.

— Пора, Игнат!

Гридников сперва чиркнул над дорогой двумя короткими пристрелочными, потом запустил очередь подлиннее. И перевёл огонь влево, где среди кустарника мелькали всадники, отделившиеся от основного строя.

Встреченные внезапным огнём, казаки тут же повернули в лес. Там они спешились и начали отвечать одиночной винтовочной стрельбой. Несколько раненых лошадей бились в кустарнике, испуганным утробным ржанием пугая рассветную мглу.

— Надо было повыше брать, — сказал Игнат.

Гридников менял диск. Над раскалённым раструбом пулемёта плавился воздух.

Казаки, потеряв двоих человек, залегли в лесу. Изредка постреливали из винтовок. И уходить не уходили, и атаковать побаивались. Но вскоре осмелели и начали обходить ДОТ со стороны леса. Игнат подкараулил их и дал несколько очередей. И ещё одного казака поволокли в лес его товарищи, подхватили обмякшее тело за ремни и исчезли в березняке.

— Всё. Теперь долго думать будут. Отчинили мы им лампасы. Будут знать, чубатые...

ДОТ на развилке дорог держался долго. Два раза казаки атамана Урганова кидались в атаку и оба раза вынуждены были отойти назад в лес. Во время последней атаки Гридников положил ещё двоих, пытавшихся подползти со стороны лощины. И крикнул Игнату:

— Уходи! Если тебя, убитого, здесь найдут, пропали твои на хуторе! Уходи! И коней уводи! Только автомат оставь!

Игнат молча выскочил из ДОТа и пополз к оврагу. Там отвязал коней, вскочил в седло и помчался оврагом прочь от дороги. Вскоре овраг перешёл в неглубокую лощину. Здесь Комариха каждое лето косила сено. Игнат осадил коня, прислушался. Басовито и неторопливо стучал ровными короткими очередями ДП, потом, словно в помощь ему, заходился ППШ. Гридников ещё воевал, ещё не подпускал к себе казаков. Судя по тому, что за Игнатом никто не увязался, его ухода из ДОТа казаки не заметили. Вовремя, вовремя он ушёл. Спасибо пулемётчику. Невесёлую судьбу он себе выбрал. Игнату было жалко и пулемётчика, и себя.

Теперь надо было спрятать следы.

Он повернул коня левее. Кобчик, привязанный за повод к седлу, послушно бежал следом. Началась дорога, которую знали только местные. Здесь Игнат дал коням отдохнуть. Всё пока складывалось хорошо. Кроме одного: он остался без винтовки. Винтовку у него забрал Отяпов, когда поменял её на автомат. Начал лихорадочно вспоминать, не оставил ли чего в ДОТе или в овраге, что может навести казаков на его след. Вроде ничего. А винтовка — дело наживное. Он знал, где найти её. Жалко было Гридникова. Пулемётчик стоял в его глазах и повторял: «Уходи...» Долго ли он там, в ДОТе, в одиночку продержится? Пока есть патроны, будет отстреливаться. А там...

Проехал с километр, впереди услышал шум и тут же свернул в ближнюю лощину. Затаился за кустами можжевельника.

Чуть погодя за деревьями замелькали красноармейские шинели. Послышалось чавканье разбитых сапог и валенок. Он сразу определил: окруженцы. Выходить к ним было нельзя — увидят полицейскую форму и запросто пустят в расход. Кто их вёл, кто командовал, было непонятно. Валили сплошной толпой на юго-запад. Направление, видать, знали — к Кирову. Значит, кто-то вёл, знал карту и маршрут. Человек сто двадцать, может, больше. Все с оружием. Много носилок.

Хорошо, подумал Игнат, — затопчут следы лошадиных копыт. И казаки, если даже будут его искать, ничего не найдут.

Некоторое время пробирался по осиннику вдоль дороги. Потом вернулся назад и по своему же следу выехал на утрамбованную тележными ободами колею.

Проехал с полкилометра и возле разлившегося овражка увидел носилки, в них закоченевшее тело. Умерший был раздет до белья. Ни сапог, ни шинели, ни шапки. Всё правильно, теперь одежда ему была ни к чему. А кому-то она сейчас спасала жизнь. Война так и ходила — по самому невозможному в человеке, будила в нём то, о чём он в себе мог только догадываться, и то с неприязнью и ужасом. Но и хорошее поднимала. И Игнат снова подумал о пулемётчике. Вот кто он ему? Полицейский с хутора, которого можно было и за баню отвести, шлёпнуть, недолго разбираясь. Детей пожалел, понял Игнат. Это ж он моих детей пожалел...

Игнат привстал на стременах и осмотрелся. То, что он надеялся здесь увидеть, лежало шагах в десяти возле самого ручья на краю разлива. Приклад винтовки был уже в воде. Ствол с высоким намушником торчал вверх. Винтовка оказалась без затвора. Обычная история: затвор вынули и забросили в другую сторону. Хуже, если в ручей. Он снова сел на коня, сверху было видно лучше и дальше. Затвор действительно валялся в противоположной стороне, в зернистом ледяном снегу. Игнат очистил его, продул пазы и вставил на место. Патронов в магазине не было. И магазин, и затворная рама и даже патронник были вычищены и поблёскивали лёгкой смазкой. Видимо, боец был человеком аккуратным и об оружии заботиться умел.

Он объехал стороной носилки. Решил так: если всё обойдётся, похороню его потом. Толкнул коня в бока, и тот послушно начал заходить в ручей. Ручей был неглубокий. Игнат это знал. Выбравшись на другой берег, пустил коня краем берега. Знал: днём ручей прибавит, и следы уйдут под воду.

Глава четырнадцатая
ЧАСЫ НА СЕРЕБРЯНОЙ ЦЕПОЧКЕ

— Стой! — И Отяпов поднял руку.

Они уже вышли к шоссе. Впереди, за узкой полоской леса, яснел простор широкой дорожной просеки. Гусёк уже вернулся из головного охранения и доложил, что дорога свободна, никакого движения не наблюдается, что место для перехода удобное — лес близко подступает к шоссе, и можно переходить. Судя по карте, до своих окопов оставалось километров пять. До немецких — ближе.

— Вот что, ребята, — собрав разведчиков, объявил Отяпов, — сейчас переправим полковника и Машу на ту сторону, а сами вернёмся к дороге. Гридникова и этого… Игната… надо выручать. Что ж мы их бросили? Они нас взялись прикрывать. Можно сказать, спасли. А мы…

Разведчики в ответ молчали. Новый приказ сержанта Отяпова их не радовал. Их лица уже посветлели, они уже понимали, что нелёгкая их дорога пошла на убыль, что скоро окажутся дома… Только Гусёк, всегда готовый ко всему, кивнул и осторожно посмотрел на товарищей.

— Гридникова и Игната надо выручать, — повторил Отяпов и плотно сжал рот. — Кто не хочет возвращаться, останется с полковником и Машей. Никого не неволю. Кто остаётся?

Никто не шевельнулся.

— Остаётся Гусёк, — неожиданно приказал Отяпов.

Гусёк встрепенулся.

— Отдай Лапину и Курносову запасные диски и гранаты. Себе оставь одну. И один диск.

Отяпов знал, что возвращаться к ДОТу — дело гиблое. Но и оставить, по сути дела, бросить Гридникова он не мог. Не несли его ноги домой без пулемётчика, оставленного на дороге. Как он потом будет смотреть в глаза

товарищам? А Гуська он просто пожалел. И все это поняли. Гусёк был самый молодой из них. По всему выходило: приказ старшего сержанта Отяпова был правильным.

Через шоссе они перешли благополучно. Взяли носилки вчетвером и бегом пересекли просеку. Углубились в лес на полкилометра, нашли подходящий овраг и оставили там полковника, Машу и Гуська.

Сами бегом вернулись назад.

А ведь уже стар я бегать по лесу, подумал Отяпов, прислушиваясь к хриплому дыханию своих разведчиков. Устали и они. Особенно спотыкался Лапин.

— Что, Расписной, — подначивал его Курносов, — ухряпался? Это тебе не по форточкам лазить.

Лапин сморщился наподобие улыбки, показывая ряд мелких, съеденных чифирём зубов, и ничего не ответил. Он был не форточник, но спорить с товарищем не стал. Надо было беречь силы.

Стрельба возле ДОТа ещё продолжалась, когда они пробрались к перекрёстку дорог.

Помочь Гридникову они не смогли.

Казаки, не справившись с пулемётом, вызвали подкрепление.

Разведчики лежали на опушке леса и наблюдали, как по насыпи из леса вышел танк. Остановился. Повёл коротким хоботом пушки и сделал два выстрела. Фугасы разорвались под самым основанием ДОТа. Амбразуры затянуло дымом. Но пулемёт продолжал вести огонь. Тогда танк подошёл ближе и почти в упор начал расстреливать ДОТ. Казаки, осмелев, высыпали из леса, и, сдвинув кубанки на затылки, закурили. Пулемёт замолчал.

— Вот сволочи, — сказал Курносов и оглянулся на Отяпова. — Что будем делать, Нил Власыч?

— Ворочаемся, — отдал приказ Отяпов и, не отрывая глаз от дороги, где дыбился чёрный дым над смутным приземистым холмом ДОТа, откинул капюшон, снял шапку и украдкой, одним пальцем, перекрестился.

Они отползли от опушки в лощину и гуськом, соблюдая интервал в десять-двенадцать шагов, побежали на юго-запад.

Отяпов бежал замыкающим. Время от времени останавливался, оглядывался. Там ещё рвались снаряды. Не жалели немцы боеприпасов. Бетонный дот взять было не так-то просто. Опасались, что Гридников и Игнат ещё живы, что могут открыть огонь, вот и дожигали свечечку до полочки…

Отяпов горевал по своему пулемётчику. Как не горевать? Близкий человек был. В бою всегда рядом. С самой Тулы вместе. Вспомнил, как тот угощал голодного мальчонку в Калуге. Да и Игнат оказался человеком хорошим. На смерть пошёл ради них. Вот тебе и полицейский. Как теперь хуторским без него?

Варшавское шоссе перешли не сразу. По дороге двигался обоз — десятка два подвод, запряжённых парами. Кони крупные, с куцыми хвостами, одинаковой гнедой масти. Потом, в обратном направлении, пролетел мотоцикл с одиночным мотоциклистом. Подождали ещё минут пять и перебежали просеку. Перебегали парами. Последним — Отяпов.

В лесу, когда уже отыскали Гуська с полковником и Марией, Отяпов сверился с картой. Примерно определил место, где они находились. До окопов оставалось совсем ничего, может, с километр-полтора. В этом месте линии траншей близко подходили к шоссе. Где-то правее должна находиться Заболонка. Отяпов решил выходить немного восточнее тропы, которой они входили сюда. Если вчера или сегодня утром немцы обнаружили их след и догадались, что это входила разведка, то будут поджидать их на выходе. Такое уже случалось.

Гусёк вскоре вернулся радостный:

— Там, дядя Нил, за полем деревня, — указал он на просвет среди осин. — Заболонка. Наша тропа чуть правее. А здесь, как ты приказал, я разведал лощину. Можно по ней пройти. Там ни души. Я прошёл до самого ДОТа и назад.

— Значит, луг и грейдер никак не миновать?

— Никак, дядя Нил. Правее, за ДОТ, я не пошёл. Там могут быть окопы.

— Правильно. Что ж, пойдём через грейдер. Рискнём ещё раз.

Руины ДОТа виднелись справа в березняке. Расщеплённые, обгорелые брёвна и куски смёрзшейся глины. Взрывчатки сапёры не пожалели. ДОТы здесь стояли повсюду. Одни занимали немцы, другие — наши. Некоторые, как тот, на дороге, были брошены.

Полянку, которую контролировал когда-то гарнизон ДОТа, они решили перебежать всей группой. Через полянку, рассекая её вдоль от леса до поля, проходила дорога — довоенный грейдер, видимо, недостроенный и брошенный. Кругом кучи сдвинутого бульдозером песка, небольшие котлованы, штабель подтоварника, наполовину разобранный. Видимо, на строительство ДОТа.

Они сосредоточились в березняке на опушке. Отдышались. Перебежать полянку — две-три минуты. За нею уже начинался лес. Леса на той стороне уже можно было не бояться. Им владели боевые охранения и передовые дозоры их дивизии. Немцы туда уже не совались.

Носилки взяли вчетвером. Мария, придерживая раненого полковника, бежала рядом. Гусёк — впереди. Отяпов — замыкающим.

Когда подбежали к грейдеру и начали подниматься по каменистой насыпи, Отяпов услышал какой-то шум. Вначале подумал, что от перенапряжения пробило пробку в ушах, вот почему грохот их сапог стал таким громким. Но вдруг увидел, как метнулся вправо Гусёк и мгновенно пропал за оплывшим песчаным гребнем с той стороны, потом покатился по откосу насыпи вниз, что-то закричал. Туда же хлынули и остальные, пригнувшись и втянув в плечи головы. А левее, шагах в десяти, навстречу им из-за насыпи так же бегом двигалась группа одетых в камуфляжные куртки «древесных лягушек».

Отяпов выскочил на грейдер и оказался лицом к лицу с рослым немцем. Тот тоже остановился и смотрел на него из-под низко надвинутой каски, обтянутой такой же защитной материей, продранной, будто износившейся в некоторых местах. Глаза немца лихорадочно бегали по сторонам. Отяпов мгновенно оценил ситуацию, которая не обещала ничего хорошего ни им, ни

немецкой разведгруппе, и опустил карабин. Немец тоже сунул подмышку автомат и поднял руку. Отяпов некоторое время разглядывал его грязную перчатку, потом ухватил боковым зрением своих и чужих: свои уже спускались с насыпи, и Гусёк с колена целился в сторону немцев; немцы так же стремительно и так же втянув головы в плечи прыгали и скатывались по противоположному, северному откосу грейдера и один из них, вскинув автомат, целился в Гуська.

Отяпов тоже поднял руку. В первую очередь для того, чтобы упредить действия Гуська, который мог открыть огонь в любое мгновение. Но тот, видимо, всё понял. И, привстав на корточках, провожал «древесных лягушек» стволом своего ППШ.

Немец продолжал неподвижно смотреть на Отяпова. Теперь глаза его были спокойней. Он тоже отвечал за всю группу, и ему тоже хотелось всех привести домой живыми и здоровыми.

Немец повернулся первым. Он закинул автомат за спину и быстрым шагом пошёл к обрыву. Он был уверен, что в спину ему не выстрелят.

Проводив его взглядом, повернулся и Отяпов. Карабин его висел на плече по-охотничьи, стволом вниз.

Разведчики уже добежали до березняка. Он видел, как некоторые из них испуганно оглядывались на грейдер, на него, своего командира, спускающегося с грейдера по каменистому откосу, на немцев, бегущих такой же испуганной стаей к другому лесу на другой стороне поляны.

— Твою-капитана… — только и сказал Отяпов, догнав своих разведчиков, которые, сбившись в кучу, ждали его в можжевеловых зарослях. — Курносов, сверни-ка мне папироску потоньше, — попросил он, — а то у меня пальцы, как ножи на жнейке…

Курили всей группой. Первым голос подал Лапин:

— Алмазно мы через насыпь перемахнули! А, командор? Штаны-то сухие? — И показал свои мелкие чифирные зубы.

— Да ты, Расписной, быстрей всех до леса добрался!

— Как? — возразил Лапин. — Я вместе со всеми. Никто носилки не бросил. Когда, товарищ старший сержант, будете писать представление на заслуженную награду, прошу так и отметить.

— Вот что, ребята, — дотягивая цигарку, сказал Отяпов, — про этот случай — никому. Маша, и ты молчи. Иначе затаскают. По уставу мы должны были открыть огонь. Да и через грейдер бежать не гамузом, а как положено. Рассредоточенно. С прикрытием и так далее.

— А те как драпали! — не унимался Гусёк. — Только подковки мелькали!

— Тоже разведка. Пустые пошли.

— И хорошо, что пустые. Иначе бы, просто так не разошлись.

— А их вроде побольше было. Человек десять.

— И все с автоматами. И пулемёт.

— Мы свой пулемёт потеряли, — вздохнул Отяпов.

— А тебя, Гусёк, замыкающий долго на мушке держал.

Гусёк в ответ только засмеялся.

Вскоре они вышли на боевое охранение. Их окликнули с опушки. Когда узнали, что разведчики, приказали, чтобы шли по два. В ответ Лапин обложил их матюгами. И они пошли всей группой. Спрыгнули в траншею. Гусёк сразу уснул, пристроившись на ящиках из-под какой-то армейской надобности.

Отдыхали они в траншее у охранения недолго. Съели остатки консервов, запили кипятком из термоса — пехота угостила.

Пришёл в себя полковник. Открыл глаза, спросил:

— Какое сегодня число?

Ему ответили. Мария приложила к его потрескавшимся губам фляжку. Он сделал два глотка и снова спросил:

— Где мы?

— Уже у своих, Иван Мефодьевич. Вышли. Вот, дядя Нил... Товарищ старший сержант Отяпов нас вывел.

— Сейчас направим вас прямиком в лазарет, товарищ полковник. Тут недалеко уже... — обрадовался Отяпов, что полковника вынесли всё же живым, в чём он какое-то время сомневался. Но вот — живой, и даже разговаривает.

— А где капитан Забельский? Где лейтенант Катенёв? Где все остальные?

Мария пожала плечами.

Когда полковника донесли до санчасти и за ним из землянки выбежали санитары, тот поймал руку Отяпова, пожал её и сказал:

— Примите, старший сержант, от меня. — И сунул ему карманные часы на серебряной цепочке.

Отяпов вначале отвёл его руку и положил часы на плащ-палатку, которой были обмотаны раненые ноги полковника.

— Возьмите, — уже не поднимая головы, повторил полковник. — От всей души. За то, что не бросили нас с Машей.

— Бери, командор, — толкнул его в спину Лапин. — Знатные баки.

И Отяпов принял подарок полковника. Если разобраться, подумал он, то подарок он получил вполне заслуженный. Радовало и то, что полковник оказался человеком хорошим. Хотя кто его знает, может, потом будет сожалеть о том, что отдал дорогую «луковицу» какому-то случайному разведчику. Отяпов послушал, как часы с тихим и размеренным шумом тикают в своём благородном, из резного серебра корпусе, расстегнул нагрудный карман гимнастёрки, бережно опустил их туда, потом так же аккуратно застегнул пуговицу и приложил ладонь к шапке:

— Служу трудовому народу.

— Служи, солдат, служи... — И полковник прикрыл усталые веки, которые уже светились воском.

И правильно, что взял, провожая взглядом полковника и Марию, подумал сержант Отяпов, всё равно за нашу разведку медали вряд ли дадут. А ребятам из своих запасов махорки побольше отсыплю. Гуську — хороший кусок сахару.

Владимир Михайлович Обухов — искусствовед, художник, писатель. Выпускник отделения истории искусства МГУ. Автор искусствоведческих книг и альбомов, поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей, вице-президент Академии аналитического искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ЗВЁЗД ИЗВЕЧНЫЙ ТРУД

* * *

Что за прелесть — эта старость!
Груз забот летит за борт.
Всё со мною проще сталось.
Что осталось — высший сорт!
Время душу мне омыло.
Ясно вижу жизни дно.
Всё на свете стало мило
и немножечко смешно.

* * *

Грош цена тому, кто молод.
Но растёт его цена.
Да и сексуальный голод
подгоняет пацана —
заставляет делать дело,
двигать горы, вброд моря
проходить легко и смело —
и по делу, и зазря.
Так и я ж лишь близким дорог…
Но душой весьма весом.
Стар уж заниматься вздором.
Да и тяжек на подъём.
Быть кого-то краше, выше
мне давно уж ни к чему.
Всё ясней суть жизни вижу —
пусть порой и не пойму,
рожи вижу или лица,
ночь ли, тень ли, темь ли дня…
То ли голова кружится —
то ли мир вокруг меня.

* * *

А мне бы жить в глухой деревне,
в тиши, в кругу родных своих,
не признавая разделенья
людей на мёртвых и живых,
как бы не зная грани некой
меж сном и яви миражом,
ведя беседы то с Сенекой,
то с деревенским алкашом, —
чтоб, изощрив и слух, и зренье,
увидеть звёзд извечный труд,
услышать, как растут деревья,
как тучи и века идут.

* * *

Вышел из тебя — человек?
Вышел из себя человек?
Это что? Из себя — побег?
Или это росток-побег?
Человек не равен себе.
Человек не равен судьбе.
Человек весь век на суде,
если счастлив и если в беде:
долог путь — неоплатен долг.
Человечество — сад и ад.
Человек человеку — волк,
друг, товарищ и брат.

* * *

Навеки закрыты кавычки,
расставлены точки, тире –
и только слова по привычке
старинной, как лес на горе,
теснятся, гудят, шевелятся,
живут себе, черти, живут!
Какою великою властью
им право даётся на труд
и отдых? Откуда всё это —
дыхание мысли и чувств,
кишенье, смешение света
и тени? Мне, право же, чужд
школярской поэтики пафос,
но кажется всё ж, что вот-вот
подымется лист, словно парус,
тетрадь от меня отплывёт.

* * *

Человек, как известно, бессмертен,
даже если порой умирает.
Человек, как и всё на свете,
не имеет конца и края.
У души ни богатств, ни прописки —
ничего за душою нету.
Так бродяга, судьбу пропивший,
вольно бродит по белу свету.
Пусть отчасти мы часто калеки,
в нас беспечная вечность мечется.
Раскрываются люди, как клетки.
И, как птица, летит человечество.

* * *

Проходи, прохожий, мимо
жизни, смерти, ночи, дня.
Мимо дома. Мимо дыма.
Мимо дымного огня.
Проходи же мимо, мимо,
уноси в себе себя,
то, что жутко, то, что мило,
ненавидя и любя.
Не гляди на эти рожи —
синь сияет впереди.
Проходи вперёд, прохожий.
Прямо в небо проходи.

* * *

Я уже обустроил Россию.
Пусть не всю и пока не совсем.
Пусть об этом меня не просили.
Пусть не ведаю даже, зачем
так старался. Но вышло-то во как!
Вот — Россия. И ведь не во мгле.
Вот какие-то несколько соток
рая, созданного на Земле.
Как же яблонька эта красива,
как же сладко вороны кричат —
как стройна и прекрасна Россия,
обратившаяся в сад!
Невелик этот рай, конечно.
А однако же наверняка
все ж Россия моя бесконечна.
Ведь растёт она вверх — и в века.

Вера Чижевская

Вера Августовна Чижевская родилась в Белоруссии. Пятьдесят лет живёт в городе Обнинске Калужской области. Работала в городской газете «Обнинск» секретарём-референтом, где попутно вела ежемесячную поэтическую страницу «Шестое чувство», работая с молодыми авторами, при этом пропагандируя свободный стих — верлибр. Стихи публиковались в журналах «Студенческий меридиан», в журналах «Крещатик», «Дети Ра», «ЛиФФт», «Журнале ПОэтов» и «Плавучий мост», «Миражисты», в альманахах «Истоки» и «День поэзии», в «Антологии русского верлибра» и «Современный русский свободный стих». Некоторые верлибры переведены на сербский язык. Автор книг «Чеканка», «Во имя причала» и многих других. Член Союза писателей России.

Я ВЫШЛА ИЗ ИГРЫ…

Угловая дорога

Мной выигранный пятак верчу и так и этак.
В игре который год и месяцы, и дни.
Никто не оставлял заметных, ярких меток,
где можно избежать умелой западни…

— За медный за пятак далёко ли уедешь? —
мне говорил дружок, собравшийся на юг.
— Уеду, — говорю, — тому, кто наг и беден,
и море по колено
и сотня вёрст не крюк.

Тому, кто всё добро просаживал до нитки
и много раз хотел прожить своим умом,
нетрудно собирать последние пожитки,
и ветхое жильё легко пустить на слом.

Я вышла из игры, зажав пятак убогий…
Сдаются карты вновь, но только без меня.
Заждался мой рассвет на угловой дороге,
где только пыль одна да колкая стерня.

Игра «жизнь»

Кто уснул этой ночью? Кому суждено поутру
выходить из пещер сновидений
в кромешное солнце?
То зажмурив глаза, то на ощупь продляя игру,
не гадать и не знать, как она в этом мире
зовётся.

Кто не спал в эту ночь? — у кого
ни двора, ни кола…
Ось земная скрипела, светилась луна
вполнакала.
Накренилась Земля, но низвергнуть
людей не смогла —
возвратилась на место, как будто
ни в чём не бывало.

Как тяжёл человечества груз для
бедняги Земли!
(Но Она позволяет ему на себе прокатиться).
И плывёт как Летучий Голландец…
как все корабли, потерявшие якорь…
И не за что Ей уцепиться.

Посох и камень

Страдать? — Ещё недоставало!
Ирина Кузнецова

Игра, конечно же, игра!
Заглядывая в злую бездну,
пойму: в любви я — полный бездарь!
Меня прогнали со двора.

Но не останусь у ворот
неисправимой попрошайкой.
Пусть быль гуляет глупой байкой.
…Проходит всё и всё пройдёт.

Я стану красочно — не зло —
припоминать и «лёд и пламень»,
и посох, и вдогонку камень:
то, что свело и развело.

Но камень с посохом потом
заброшу в лопухи с размаху.
Была игра!
…Покрылись прахом
былые песни ни о чём.

И то и это — поделом.

Поддавки

Я выбираю время напрокат
и возвращаю чистым, неизмятым,
самой себе умело ставя мат,
минуя все квадратные заплаты.

Но, изучив потом черновики,
я слабые ходы свои замечу:
играет Высший Разум в поддавки,
но никогда не ставит на́ кон вечность.

Падать нельзя

Плещут ли звуки под вашим окном?
Как вы устроились в мире своём
и в неземном государстве?

Что вы просили у Бога вчера?
Как завершилась на небе игра:
миром, тревогой, коварством?

Или в помине там этого нет?
С вами обшарпанный старый спинет,
знающий грозного Баха?

Тяжкие ноши на небе легки?
Музыка плачет в четыре руки,
возобновляясь из праха?

Сможет она до земли долететь,
чтобы её не похитила смерть?
Падать нельзя — разобьётся!..

Мне как живётся?
Я, слушая вас,
не признаю вопиющий контраст
неба с землёй!

…Не живётся.

Юрий Холопов

Юрий Васильевич Холопов родился в 1957 г. Окончил филологический факультет Калужского педагогического института им. К. Э. Циолковского. Работал в школе, областных и межрегиональных газетах, специалистом пресс-службы губернатора Калужской области. В настоящее время методист Калужского государственного института развития образования. Автор трёх поэтических и семи историко-краеведческих книг. Лауреат областных, общероссийских и международных конкурсов. Член Союза российских писателей.

УРОКИ ПЛАВАНИЯ

Он приезжал аккуратно раз в месяц. Светлану Петровну нервировала эта пунктуальность, но запретить встречаться дочери с отцом она не могла. Её бывший муж, с которым она, прожив четыре года, тихо и достойно развелась, был удивительно заурядным человеком. Казалось, природа специально создала его лишь для того, чтобы подтвердить только ей одной понятный, но никому больше не нужный ГОСТ.

Его сутуловатая фигура, виновато моргающие белесые ресницы, тихий глухой голос — всё это уже на второй год их совместной жизни стало потихоньку бесить Светлану Петровну. Не радовала и заурядная зарплата инженера, которую он каждый раз, как бы стесняясь, вручал ей.

Развод облегчил, хотя и стоил немалых нервов, поскольку обвинить мужа в чём-либо было трудно. Но когда приехала мать Светланы Петровны и забрала на лето к себе Анечку, показалось: вот она настоящая-то жизнь!.. Появились незамужние подруги, вместе с ними интересные мужчины. И после двух турпоходов с ночёвками по местам интимной славы Светлана Петровна плотно подружилась с офицером-афганцем, служившем в десанте, который на шашлыках крушил сухие сучья своими тяжёлыми кулаками.

Сначала её приводили в грешный восторг его могучие мышцы, но потом она, привыкшая к скромной обходительности бывшего супруга, стала замечать, что герой не очень-то внимателен и о серьёзных взаимоотношениях вообще не думает. В конце лета он зашёл к ней во всей красе своей парадной формы, вручил три красные розы, лихо отдал честь и растворился в боевых сводках армейской прессы.

Она заскучала. Однако вскоре вернулась от бабушки Анечка, подросшая, загорелая, выучившая наизусть множество детских стишков. После навалилась работа, споры с администрацией района по поводу отвратительного ремонта спортивной детской школы, где работала Светлана Петровна, и стало не до личной жизни.

Приглядываясь к лёгким и грациозным девочкам, приходившим к ней в секцию художественной гимнастики, она с горечью в душе отмечала: дочка пошла не в неё — высокую, длинноногую с лебединой шеей, а в отца.

— Не сутулься! — покрикивала она дома на дочь и несильно хлопала её ладонью по спине. — Расправь плечи! Вот так! Встань на цыпочки…

Анечка безропотно слушалась, но на её голубые, как у отца, глазёнки наворачивались слёзы. Она не понимала, зачем с ней так…

— Плавать учи, — посоветовала как-то знакомая пловчиха, — тогда и осанка станет хорошей.

— И то правда… — подумала Светлана Петровна и повела дочь в городской бассейн «Нептун». Но там тренером детской группы оказался её бывший одноклассник, пижон и бабник, к тому времени уже дважды разведённый. Он иронично посмотрел на Анечку, стал вспоминать далёкую юность и как бы между прочим назначил свидание.

— Нет, уж дудки! — решила Светлана Петровна. — Учить плавать начнём позже и не здесь…

А муж, переселившийся после развода в соседний город, всё приезжал и приезжал. Она бы прекратила эти свидания, но видела, что Анечка каждый раз не по-детски серьёзно ожидает папу, что-то вырезает для него из цветной бумаги или старательно рисует цветными карандашами, чтобы потом показать. Как правило, они шли гулять в старый парк, и, глядя из окна на дочку, крепко державшуюся за отцовскую руку, Светлана Петровна чувствовала, как под сердце что-то подкатывало, но раскисать себе не позволяла.

В заботах пролетела осень. Новый год с Анечкой встретили у бабушки, матери Светланы Петровны, а перед Восьмым марта позвонила подруга и предложила познакомить на праздничной вечеринке с одним известным поэтом. Тот оказался большим оригиналом.

Он знал массу стихотворных тостов в честь женщин и, доводя за столом до зубовного скрежета мужчин, державших рюмки, всё декламировал и декламировал, сравнивая женщину то с душистым цветком, то с бурливой рекой, то с верблюдицей, которая обязана перевезти мужчину через пустыню жизни. Последнее сравнение Светлане Петровне не понравилось, и она про себя окрестила поэта верблюдом, поскольку тот был длинноногим и горбоносым.

В нём, видимо, текла горячая южная кровь. Провожая после вечеринки Светлану Петровну домой, он всю дорогу читал ей свои переводы с восточных языков и вдруг, прервав какой-то стих о соловье и розе, грубо схватил её за талию и как-то зверски, со стоном, больно поцеловал в губы. Светлана Петровна оттолкнула поэта, стукнула его сумочкой по голове и убежала. Дома, упав на диван, она долго давилась хохотом, но после разревелась и до утра не могла уснуть.

Потихоньку подобрался жаркий июнь, согнавший на городские пляжи весь город. Летний отпуск было решено провести с дочкой у тётки в деревне, куда в своё время любил приезжать бывший муж. Тётка держала корову и гусей, давно вдовствовала и, узнав о разводе племянницы, очень расстроилась.

С первых же дней жизни в деревне Светлана Петровна и Анечка стали ходить на речку Чешму, где было полно кувшинок и фиолетовых стрекоз. Радостно повизгивая, Анечка носилась по бережку за стрекозами и бабочками, но воды боялась. Едва, взяв дочку за руку, Светлана Петровна начинала заходить в воду, как дочь начинала упираться и кричать: «Мамочка, не надо!»

— Хорошо, что здесь никого нет, — думала Светлана Петровна, озираясь, — на городском пляже опозорилась бы с ней…

У тётки они облюбовали веранду её большого деревянного дома, под потолком которой сушилось множество целебных травок. Их мягкий аптечный запах успокаивал, навевал дрёму, вероятно, поэтому Анечка, выпив вечером парного молока, сразу крепко засыпала. А Светлана Петровна много думала, вспоминала… Часто её мысли приходили к дням замужества. Вот здесь, на веранде они с мужем спали, иногда забирались на чердак, где было уложено свежее сено и, дурачась, боролись… Она неизменно побеждала и заставляла его просить пощады.

Это, наверное, так сильно пахнет душица, которую он любил собирать на косогоре над Чешмой. Он знал травы, мог часами ползать по буграм, за что местные мужики прозвали его Мичуриным.

Мичурин… Бедный Мичурин… Бесхребетный и ломкий, как пересохшая травка, послушный и предсказуемый, молчаливый и неинтересный, преданный, но не созданный для этого сволочного мира, где домой надо приносить не зарплату, а добычу, где выживают сильнейшие…

Наконец капризы дочери и её боязнь воды осточертели Светлане Петровне. Утром, взяв с собой, как обычно, покрывало и махровое полотенце, они пришли к омуту. Не дав Анечке опомниться, Светлана Петровна, схватив дочь в охапку и, чувствуя, как затрепетало от страха детское тельце, зашла глубоко по грудь. Оторвав от себя дочь, толкнула её к берегу и вдруг увидела, что та не барахтается, как ожидалось, а, окунувшись с головой, медленно уносится течением, скрывается под водой. Рванувшись вперёд, Светлана Петровна схватила Анечку, и в ту же секунду зелёная вода хлестнула снизу по глазам, обдала холодом макушку — яма! Дочь судорожно дёрнулась, повернулась, и её руки насмерть обвились вокруг шеи. Светлана Петровна закричала, забила ногами, ища дно, с ужасом чувствуя как, разрывая болью бронхи, хлынула в лёгкие вода…

— Ма-моч-ка, — медленно сказала в тишине чужим голосом Анечка, повернув к Светлане Петровне своё зеленоватое личико с широко открытыми глазами, — ма-моч-ка, не на-до…

Инна Теплова

Инна Вячеславовна Теплова родилась в Костроме. Выросла в Калуге, где и начала писать стихи. Несколько лет жила в Санкт-Петербурге, принимала участие творческих встречах поэтов города. Сейчас живёт в Калуге, занимается поэтическим творчеством, является вокалисткой и автором текстов песен группы Aylostera. Её стихи публиковались в литературных альманахах «Натали», «Зерно», а также в печатных сборниках крупных поэтических соцсетей. Автор сборника стихотворений «Неслучайно», вышедшего в 2018 году.

Я ПРИВЫКАЮ ЖИТЬ

Указательный — безымянный

Устала дорогу указывать.
Захотела остаться странной.
Я не стану больше навязывать:
«Указательный — безымянный».

Как ни страшно, ещё не пресытилась
Я твоею улыбкой пряной,
Но на пальце полоска вытерлась:
«Указательный — безымянный».

Ты — платочек, не наспех завязанный
На душе моей нежной, драной.
Ты — огонь мой, когда-то предсказанный:
«Указательный — безымянный».

Серебро я своё наугад взяла.
Вместо золота — ты, долгожданный.
Удивляюсь, как я до тебя жила,
Указательный мой, безымянный.

Мой век

Пока морозен колкий воздух, пока не дарит небо снег,
Идёт размеренно и просто по берегу реки мой век.
Идёт, ни на кого не глядя, идёт, ни на кого не злясь,
Шагами пишет, как в тетради, и за поля выходит вязь.

Идёт, куда не ходят люди, идёт, куда не пустят их,
Туда, где никого не будет, где ветер беспокойно тих.
Его следы то невесомы, то будто налиты свинцом,
Он словно вышедший из комы старик с испуганным лицом.

Качели

Она не за то обожала качели,
Что делали небо синее и ближе.
И не за свободу кричать «ненавижу»
Всё громче и громче, на самом пределе.
Она потому так любила качели,
Что ввысь уносили до дрожи в коленках,
За холод внизу живота, еле-еле
Вмещавшийся. Также за сотни оттенков,
Которыми плавились ленточки радуг.
За чувственный жар, за хмельное блаженство,
За близость важнейших на свете разгадок,
За радость прощения несовершенства
Земного, обычного, ставшего топью,
Болотной трясиной, зыбучей неволей.
Качели — лекарство от всех меланхолий,
От спрятанной где-то под рёбрами боли.

Она потому так любила качели,
Что позже, внизу, становилось всё новым.
Туз пик в рукаве обращался червовым,
И клёны по-новому так багровели.
Она не за то обожала качели,
Что делали небо синее и ближе.
Ей после качелей своё «ненавижу»
Кричать не хотелось четыре недели.

К карандашу

Спешу расстаться с неприличной мыслью.
Такой, что гаже сора из избы,
болезненнее сорванной резьбы,
скверней всего, что я обычно мыслю.
Невидимое липкое пятно
не смоется само, и я спешу,
навязчиво тянусь к карандашу —
он то недостающее звено
меж чистой мной и осквернённой мной,
здоровой мной и тяжело больной,
меж тем, что не было, и тем, что совершу…
И я пишу.

Всем, кто не прочтёт

Послушай ты, мой собирательный…
Ну или как там называть тебя,
Пока меня ещё трясёт и рвёт словами?

Врач говорит, я искалечена
Тобой и всеми, что не встречены,
А я лицо лишь закрываю рукавами.

Мой мир, он полнится уродцами,
Шутами и первопроходцами.
Как хорошо, что больше всё-таки последних.

Ты сквозь него не по касательной,
Навылет шёл и назидательно
Ломал хребты моих мечтаний малолетних.

Теперь всё так темно и медленно,
Остывшая душа безветрена,
Покрыта коркой льда и слоем снега.

Лишь ветер помнит пули путь
И снова разрывает грудь,
Ломясь в меня неистово, с разбега.

Я здесь

Как будто минус двадцать пять,
И снег лежит, прикидываясь пухом.
Мне нечем в комнате дышать,
Я лучше выйду подрожать во двор.

Особенная благодать —
Понятная лишь детям да старухам —
Коснулась лета. Что сказать…
С природой не сложился разговор.

Пряду связующую нить
Меж августом и крепнущим морозом,
Отчаянно хочу курить,
Хочу крутить, переставлять слова.

Я здесь, я привыкаю жить
С депрессией и авитаминозом
В иззябшей типовой глуши,
Всё глубже пряча мысли в рукава.

Хранитель

За моей спиной прохладно, милый ангел,
Ты набрось себе на крылья пальтецо.
Ты какого будешь чина или ранга?
Вот бы мельком заглянуть в твоё лицо…
Хоть отчасти догадаться, сколько суток
Ты, мой славный, не смыкал небесных глаз.
Любопытно, над какой-нибудь из шуток
Ты смеялся ли заливисто хоть раз?
Может, вам, посланцам Божьим, не знакомо,
Как пронзительна бывает тишина
Стен бессмысленно покинутого дома?
Может, вам и полнобокая луна
Не несёт разлада вкупе с непокоем,
Не велит писать безудержных стихов,
Не приводит вереницей, ровным строем
Сотен страхов, снов, сомнений и грехов?
Может, может… Что же это я болтаю!
Ты позволь мне просто верить, что ты здесь,
Что ты есть и лично зрил ворота Рая.
И прости мне человеческую спесь.
Я устала, милый ангел, так устала,
Что готова не поверить и в себя.
Спеси много, много страха, веры — мало,
И живу, день ото дня с плеча рубя.
Понимаю, за моей спиной прохладно.
Не теряйся, вот, держи моё пальто.
И скорее отведи меня обратно
В место то, где всемогущий Кое-кто.

Владимир Карпенко

Владимир Николаевич Карпенко родился в 1968 году в посёлке Знобь-Новгородская Сумской области. Публиковался в альманахах калужского литклуба «Галерея» и в областной газете «Весть». Выпустил малым тиражом книгу «Птица в рукаве», за которую получил премию имени М. И. Цветаевой для молодых авторов. Живёт в Калуге.

ВИДИТСЯ СВЕТ ИНОЙ

Поздней осенью

На дне моего сердца
Пахнет поздней осенью,
Последним лучом уснувшего солнца,
Заледеневшей простынью.
Там деревья поют хоралы,
Их никогда не коснётся топор.
Чтобы любимые не умирали,
Становись в хор.

Голуби

В сером шинельном городе
Жили белые голуби.
Их ветер носил над площадью,
Над всадником и его лошадью,
Над выхлопами машинными,
Над делами мышиными.
Их кормили старушки смешные
И чудаки иные.

Мать

Всяк человек — сосуд.
И тебе ли не знать:
У пришедших на суд
Адвокат — мать.
Там защитит она,
Не постоит за ценой…
Спи, за крестом окна
Видится свет иной.

Нерождённые дети

Нерождённые дети небо целуют в висок,
Чудаку непременно в глаза попадает песок.
Удивительно, странно, какой-то невидимый сор.
Набегает слеза, и неба туманится взор.
Ах, родители бедные, там высоко, высоко
Нерождённые дети кипячёное пьют молоко.
Высоко, а быть может, и выше, ангелы свет кипятят.
Молоко это чудное всякое любит дитя.

Кумачовое солнце

Утро. Небо полощет кумачовое солнце.
И оно становится звонче.
Луна, будто след копытца,
Зовёт из него напиться.
Замер. Параллельно бегут
Муравьи минут, муравьи минут…

Местечковое

Сны голубиные
Неба бездонного,
Дни воробьиные,
Крошки батонные.
Славные жители —
Дети, старушки ли?..—
Будто летите

В небо макушками.
Милый мой город,
Мир безыскусности.
Барышни гордые
Прошлого, юности.

Ночью

Ночью травы вызывают странные ассоциации,
Была права мама, вышедшая в одной комбинации
Выплакаться в одиночестве в ночное безветрие.
Здесь её испугала мрачная геометрия,
Многомерность не Евклидова, состоянье особой хрупкости,
В нём порой открываешь двери в другие окружности.
Ночью стебли похожи на маленькие распятия,
Сон лукаво предлагает свои объятия.

По реке

В бумажном колпаке,
В бахиле голубом,
Везу я по реке
Стишок под языком.
Плыву вниз по реке
На лодке небольшой,
Спускаюсь налегке,
Полжизни за душой.
Жизнь — детская матроска,
Стишок как дождик тих.
Жизнь в синюю полоску,
Осенний, белый стих.

Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Работал врачом. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом», имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

Новоафонская пещера так громадна, что не веришь глазам своим — не может быть! А ещё и обустройство сложное смущает и запутывает душу — узкоколейки, вагончики её полу игрушечные, подсветка разнообразная, подвижная, трепетная, музыка возвышенная, но ведь подземная, на волю просящаяся… Толком и не поймёшь, то ли ты в сокровенной глубине природы вдруг оказался, то ли вполне рукотворной, карнавальной какой-то обстановке… Но в душе среди всей этой сумятицы замрёшь, поражённый, увидев стремящиеся друг к другу сталактит и сталагмит. Сталактит сосулькой огромной свисает с потолка пещеры, с конца его острого капли падают мерно и быстро, попадая на остриё сталагмита, растущего снизу, навстречу, со дна пещеры. Целые миллионы лет, может быть, сталактит и сталагмит наращиваются капелью из раствора насыщенного и тем тянутся друг к другу, чтобы встретиться в конце концов ещё, возможно, через миллионы лет. И понимание тяги этой взаимной осознаётся, переживается тобой с сочувствием мгновенным. Это ж любви некой первичной набросок в минеральной, мёртвой природе. Да и мёртвой ли?

* * *

Габриэль Гарсиа Маркес, автор знаменитого романа «Сто лет одиночества», нобелевский лауреат, встретил двенадцатилетнюю девочку Мерседес, когда ему не было тридцати. Влюбился, дождался возраста возможности вступления в брак, женился на ней и прожил всю жизнь. В конце жизни страдал полной потерей памяти (болезнь Альцгеймера) и узнавал только её. Она и приходила ежедневно в клинику с утра, садилась на видное ему место и сидела там весь день, уходя домой на ночь. И так годы целые. Как грустно завершение этой любви и как прекрасно!

* * *

Девочка лет десяти еле-еле по асфальту бредёт на роликовых коньках, растопырив для равновесия руки. Потом с асфальта на травку перебирается, по ней шагает гораздо увереннее... Вспомнилось, как я впервые на коньки встал — в комнате, где мы жили. Долго ходил, пошатываясь, из угла в угол, истинный восторг испытывая при этом — я на коньках! Какая же сила воображения быть должна, чтобы такой прогулкой восторгаться?! Разве что любовь на подобное способна, делая красавицу из дурнушки...

Коньки третье в нашей ребячьей жизни занимали место после лыж и велосипеда. С горок, а то и с целых гор обледенелых мы на них «гоняли», за задние борта грузовиков цеплялись проволочными крючками, проезжали «на прицепе» сколько могли, по первому льду, трещащему и прогибающемуся, проскакивали на речке с берега на берег. Я сквозь лёд и провалился однажды, хорошо, на неглубоком, по грудь, месте. Помню удивление, с которым бежал домой — было гораздо теплее, чем должно было бы быть. И второе удивление помню — матушка не ругала меня, а хлопотала вокруг с причитанием. Догадался, что это от испуга — утонуть ведь мог...

* * *

В первую студенческую зиму пошёл на каток впервые, взял напрокат коньки с ботинками и жестокое разочарование испытал. Ботинки не валенки, к которым мы в детстве коньки привязывали накрепко. Коньки с ботинками вихлялись с непривычки, голеностоп начинал болеть через несколько минут, и приходилось на снег выходить, стоять, отдыхая.

А каток был хорош — девушки, огоньки мигающие, разноцветные, музыка... Одну песенку до сих пор помню: «“Догони, догони!” — ты лукаво кричал мне в ответ...» Хорош был каток, но больше на него я так и не пришёл. Стыдно было вновь учиться катанию на коньках после своих детских подвигов...

* * *

Каждому, конечно, выпадают ночи особенно тяжкие и одинокие. В болезни, в горе большом, неизбывном. Вот в такие ночи, как в окопах, атеистов, скорей всего, нет...

* * *

«Если есть “Троица” Рублёва, значит, есть Бог». Флоренский. Сказал это не художник, в художество своё погружённый, а математик, физик, экспериментатор, богослов... И ведь веришь сказанному как-то мгновенно, до размышления ещё, лишь вспомнив «Троицу» и тем более глядя на неё. А потому, что свет от неё исходит Божественный, гармония, покой... Не мог человек лишь сам по себе, один, т а к о е создать. Боговдохновенная она, «Троица», что и понимаешь с полной очевидностью.

* * *

Какая двойственность огромная в слове «никогда». Прекрасное слово, подходящее ко всему плохому и ужасное — ко всему хорошему. «Никогда не будет так больно и одиноко», — одно и «Никогда больше не встретиться нам» — совсем, совсем другое.

И второе, плохое, действует гораздо сильнее. «Никогда не встретиться...». А в мире ином? Надеяться лишь можно робко...

* * *

Узнал недавно, что у католиков душа человека, в ад попавшая, остаётся там навсегда, а у православных есть надежда и возможность освободить её оттуда, вымолив близкими, болеющими о ней, людьми. Разница огромная, и сколько споров богословских наверняка было по этому вопросу. Но и ещё есть вопрос — приближает ли изучение богословия к Богу, даёт ли веру, укрепляет ли её? Сомнительно. Можно предположить даже, что как раз наоборот. Вдруг тут по известной пословице «Чем дальше в лес, тем больше дров» получается? И на месте найденного ответа на вопрос два новых возникают? И представляется, что вера, как таковая, в сути своей одной и той же быть должна — и у богослова, утончённо-глубокого, и у простеца, про богословие даже и не слыхавшего. Вера, она вера и есть, в конечном счёте и от степени ума или образованности не зависит.

Тут притча вспоминается, в районе Белого моря бытовавшая. Жили три древних старца на маленьком острове, и была у них одна молитва: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Приплыл к ним на корабле священник, узнал про такое и научил их «Отче наш» читать. Долго старцы её учили и наконец выучили. А когда корабль от острова стал отплывать, священник увидел вдруг, что все три старца по воде, аки посуху, вслед бегут, корабль догоняют. Оказалось, забыли молитву, напомнить просят. Поразмыслил священник, да и сказал, чтоб молились прежней своей молитвой, что этого им вполне достаточно.

Вот и у Толстого в старости сильно ослабела память, но он этим не очень-то и огорчился. Записал в дневнике, что это даже к лучшему, неважное забываешь, остаётся один настой. Мысль для всех стариков утешительная, пожалуй, только вот качество «настоя» этого не толстовского разлива...

* * *

Воронеж, зима, пригородный парк, постепенно в лес переходящий. Бежал на лыжах прямо на закат, который был такой мощи и красоты, что остановиться пришлось, посмотреть на всё вокруг, поподробней и повнимательней.

Солнце искрит сквозь стволы, снег розоватый, тени глубокие, чёрные с добавкой синевы... Прекрасно всё так, что даже тяжело становится и особенно как-то одиноко. Отковырнул бездумно кусочек зеленоватой коры с осинки, пожевал, поёжился от терпкой, свежей горечи чудесной. И стало так, будто словом с кем-то перемолвился...

Полсотни с лишним лет это было, а вспомнилось, как вчера.

* * *

Стою ранней весной на железнодорожной насыпи, а впереди поле белое, снежное и две на нём проталины рядом — чёрные, как глаза земли, открывшиеся вдруг. А над полем небо облачное и в облаках синие, яркие просветы, неба глаза. Вот и встретились наконец после зимней разлуки долгой. Много им сказать друг другу нужно и много сделать совместно до новой, к зиме, разлуки.

А если человеческие глаза, чёрные и голубые, встретятся вдруг и начнётся — пойдёт с первого этого взгляда любовь — любовь? Сколько же тут будет всего, по больше, пожалуй, чем у неба и земли! И разлука будет когда — ни будь, не до весны следующей, а навсегда…

* * *

Из сора всякого-разного растут стихи, по мудрому слову Анны Ахматовой. А мудрость в том, что «сора» с научной, физико-химической точки зрения и нет совсем в природе. Есть тот же физико-химический состав всех предметов и веществ Вселенной. И прекрасная, голубоватая, мерцающая звезда любви Венера состоит из тех же молекул, атомов и элементарных частиц, что и содержимое мусорного бачка. Разве что в бачке набор атомов и молекул будет побогаче… И в жизни душевно-человеческой нечто подобное. Очень близки, а в самой-самой глубине одинаковы чувства царя и пастуха, полководца и солдата. И суждения о сущности природы человеческой, высказанные великими мудрецами и учёными, равно касаются всех, всех, всех. А уж перед Богом все равны тем более. Есть в этом некая высшая справедливость и утешение глубокое, последнее, несокрушимое.

* * *

Есть поразительная съёмка, сделанная с космического аппарата, улетающего за пределы солнечной системы в глубины космоса. Снимается непрерывно Земля по мере её удаления. Вот она в экран ещё не вмещается, рукой, кажется, подать. И так в ней всё знакомо, так же почти, как знаком тебе твой город, улица твоя, дом твой… Моря, озёра, реки, горы, равнина… И начинает казаться, что ты везде жил-был, настолько всё близкое и родное. Но уходит и уходит оно, это всё, уменьшается, сливаясь одно с другим, очертания теряя. И всё, что было на ней, родной Земле нашей, уходит вместе с ней. И твоя жизнь и жизнь каждого на ней человека, живущего сейчас и жившего когда-то. Все радости и горести, все поражения и победы, вся ненависть и вся любовь… И наскальные изображения уходят, и Пирамида, и Мадонна вита, и Сороковой концерт, и «Война и мир», и «Медный всадник»… А вот Земля становится лишь кружочком голубоватым, а вот просто точкой светящейся, но исчезает и она…

Хорошо бы этот уход, этот «улёт» от нас нашей Земли видеть всему человечеству каждый день. В напоминание и назидание. Большая была бы от этого для души и дел человеческих польза. Спасение даже, может быть…

* * *

В послевоенные годы особенно много было в обиходе фольклорного, народного и, к сожалению, нецензурного, чаще всего; песенки и песни, стишки и стихи длиннейшие, баллады целые; шутки-прибаутки, изречения мудрые, сдобренные матерком. Всё тут было — смешное и трагическое, забавное и похабное, дурацкое и горькое. Целая жизнь народная, народом же и запечатлённая. Кое за что сказанное-спетое и посадить могли на серьёзный срок, да и сажали. «Ой, Семёновна, баба хитрая, любила Сталина, а потом Гитлера...». Или озорные, с перцем: «Мою милку ранили посреди Германии, вместо пули .... задули, в лазарет отправили». А вот начало долгого рассказа про загубленную жизнь: «Хоть я слепой, но вас я вижу, у вас копеечку прошу...».

Поездив потом по России, взрослым уже человеком, увидел, что весь этот фольклор блатной, теперешний, уголовный, полуподпольный, в самых разных, далёких друг от друга местах, был примерно одинаковым, доходившим до самых глухих мест, вроде моего родного Тима. Как получилось это великое его шествие по громадной стране? В тетрадках-бумажках, из уст в уста? Разумеется, но как-то этого маловато кажется для мощного такого размаха-охвата. Нечто чудесное начинает представляться тут и пословица подходящая приходит на ум: «Слухом земля полнится». Может, и полнилась, особенно тогда, помогала народу выразить плач свой, и смех свой, и душу свою...

* * *

Экстрим теперь в моде, и мне это вполне понятно — прыгал в студенчестве на лыжах с трамплина. После первых прыжков ждал очередной тренировки, как свидания любовного ждут. Причина тут в кайфе, который эндорфины, внутренние наркотики, дают, их выброс в кровь в экстремальной ситуации. Вот и «подсаживаются» на это люди, как наркоманы на иглу. Многое, предельного физического и эмоционального напряжения требующее, этот эффект кайфа даёт. Даже в деле литературном нечто похожее есть. Написал быстро и азартно хороший, вроде бы, кусок текста и словно грамм сто водки натощак выпил — весел и дурашлив становишься.

Зачем же устроено так Богом или природой? А для поощрения поступков смелых и трудных. Сделал — и награду тут же получил. Да и оргазм любовный тут тоже рядом стоит. Акт продолжения рода совершаешь, в нём уже и награда тебе в конце припасена...

Есть во всём этом что-то печальное, оскорбительное даже для человека, словно все мы на крючке удовольствия поощрительного висим-болтаемся. А без него если? А без него в иную, высшую, духовную сферу надо подниматься-уходить, из рабства у «химии» освобождаться. В молитве, в созерцании природы чистом и безмятежном.

* * *

Бунин писал Телешову, что он «стар, сух, сед, но ещё ядовит». Прочитав, подумал, что «ядовитость» относится к его характеру, восхитился даже откровенностью такой. Но, конечно, нет! К способности сохранившейся писать,

творить это относится. Говорят же о человеке, с иссякшим талантом, что он теперь, как змея, пережившая свой яд. А Бунин, стало быть, свой «яд» ещё не пережил, о чём и сообщил старому приятелю. Не без гордости, пожалуй. И ясно так представляется, насколько же он потери «яда» этого боялся! Как смерти почти. Да так оно и быть должно для каждого истинного художника.

* * *

Три маленьких чуда детства.

Божьи коровки с их милой кротостью, овальностью аккуратной тельца, спинками красными или жёлтыми в крапинку. Вот ползает она, коровка, по ладони, чуть ощутимо щекоча кожу лапками, вот по пальцу вверх-вверх поползла, на самом его кончике оказалась. Замерла, и вдруг спинка её выпуклая треснула вдоль, и появилось нечто тончайшее, серенькое, развернулось в крылышки. На них-то она и улетела, исчезнув мгновенно. Куда? А на небо, куда ж ещё… Мы ведь ей так говорили перед полётом: «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки. Им по ложке и себе немножко». Вот это «и себе немножко» нечто совершенно удивительное, ангельское прямо-таки. Мы словно догадывались смутно, что такое милейшее существо себе может ничего и не взять…

Кузнечики серенькие, маленькие, а ещё и большие, зелёные — кобылки. В кобылках и впрямь было что-то лошадиное, в ногах задних мощных, голенастых. Они упрыгивали, едва откроешь ладонь, и так далеко, что не уследить, не найти потом было. Придержав же кузнечика, приговаривали: «Кузнец, кузнец, дай дёгтя». Иногда он и давал — коричневую такую капельку… Чуть разожмёшь пальцы и кузнечик исчез, упрыгнул-улетел, но не на небо, конечно. Не было в них ничего «небесного», в отличие от Божьих коровок…

Стрекозы — серые, синие, розовые. В руки они редко попадали и как-то разочаровывали особенной хрупкостью крылышек, тельцем червеподобным… Зато смотреть на них в полёте можно было подолгу. То останавливались они, как вклеенные в воздух, то вдруг «стреляли» далеко в сторону, останавливались и там. Или просто летали, как придётся, завораживая синевой своей, бирюзой, и трепетом крыльев. Некоторые парами даже летали подолгу, сцепившись каким-то неведомым нам образом. А мы и не знали, что это у них любовь…

* * *

В начале 50-х годов прошлого века эротические сцены или не снимали в кино, или вырезали, если фильм был иностранным. Даже поцелуя толком увидеть было нельзя, он или в воду «опускался» с рябью на ней или картинка менялась при сближении губ.

И вдруг польский фильм «Под фашистской звездой». Герои на травку присели, а потом и прилегли, не касаясь друг друга. Перебивка, и тут же женская кисть на траве крупным планом. Шарит, ищет что-то, потом пучки травы жадно захватывает, напрягается медленно, потом ещё, ещё сильней — и выдёргивает траву из земли. И расслабляется, распускается блаженно ладонью вверх… И всё.

Запомнилось так подробно и едко, потому что впервые в жизни я не просто нечто откровенно эротическое, а именно акт плотской любви словно бы увидел и пережил глубже, может быть, чем, если бы его целиком показали. Какая же сила в таком вот штрихе, намёке! Что-то даже вообще для искусства принципиально важное тут есть.

Потом пришлось повидать много уж такого откровенного, но кисть женская, белая на зелёной траве так и осталась по воздействию едва ли не сильней всего.

Или о том, но из поэзии, из Тютчева: «...и меж опущенных ресниц угрюмый, тусклый огнь желанья». Какая точность, какая правда! И как действует тонко и глубоко!

* * *

«Что войны, что чума, конец им виден скорый, им приговор уже произнесён, но как нам быть с тем ужасом, который был «бегом времени» когда-то наречён? Анны Ахматовой прекрасные стихи, только вот с приговором войнам она сильно, к сожалению, промахнулась. Какой уж там приговор! Новый виток их идёт, набирая силу. И как бы пострашнее предыдущего, не дай Бог, не оказался в конце концов.

* * *

Многих поразил небывалый, рекордный по посещаемости, успех выставки картин Валентина Серова в Третьяковке. Обсуждали его, причины искали, а главная, конечно, в том, что люди устали от выдумок натужных, от уродства и юродства, от наглости безразмерной и прочих прелестей так называемого «современного искусства», изобразительного в том числе. Вот и рванулись прямо-таки, как к глотку свежего воздуха, к живописи, показывающей счастье жить в мире, каким он нам Богом дан. К «Девочке с персиками» рванулись. К собственной, в сущности, жизни, прекрасно изображённой в лучшие её минуты...

* * *

День сегодня такой красоты, такой гармонии и совершенства, что это смутное чувство неловкость вызывает и даже вину по разнице резкой с собственным телесным и душевным состоянием. Не по чину честь! А если представить себе, что мы творим с природой, то впору и сквозь землю провалиться...

Недавно авиакатастрофа произошла с гибелью всех летевших, и в расследовании её причин одной из главных предположили сильнейший порыв ветра. Сдуло самолёт с неба, попросту говоря, и есть в этом что-то символическое...

* * *

Мужичок средних лет на первом «взводе», попросил закурить. Закурил и посмотрел счастливыми, со слезинкой, глазами.

— Молодец, батя!

— Чем же?

— Старый, куришь и живой!

Посмеялись дружно.

— А я дом строю, и всё конца нет…

— Достроишь, и помирать будет пора?

— Да ты что?! Долго строю, долго и жить в нём буду. А как же! Иначе ерунда получится на постном масле.

— Тогда курить бросай.

— Ишь ты какой! А сам-то?

— Не всем так везёт.

— Это да, это ты правильно сказал…

Затянулся глубоко, дым выпустил густо и отошёл, подмигнув.

* * *

Стою у магазинного крыльца с банкой пива в руке, отхлёбываю изредка. Старушка идёт, и что-то из детства послевоенного в ней вдруг почудилось. Да, валенки белые с галошами, я такие носил… Приостановилась вдруг, на меня посмотрела, потом в сумке порылась и протянула что-то. Глянул и глазам не поверил — пятьдесят рублей.

— Возьмите, вот…

— Зачем? — спрашиваю изумлённо.

— Так вы ж просите…

— Спасибо большое, только вы ошиблись, я просто так стою.

Очень хотелось старушку обнять, но где уж там. Не решился. А потом смутился запоздало — что во мне такого уж нищенского? Ничего, вроде бы… Разве что седая борода и банка, которую перед грудью держал, старушку эту чудесную запутали. И ведь много от себя отрывала, по валенкам и остальной одежде судя…

* * *

Стала ранняя весна разворачиваться, и тут во всей силе своей зима вернулась. И, кажется, что была оборвана в самом начале чья-то любовь, и в ней начало как раз самое лучшее, пожалуй, и есть. Когда розовый туман вокруг, и боль, и надежда. Точней всего определил это состояние мой родственник, колхозный тракторист: «Стоит Нинка в глазах, и хоть ты тресни…» На ней он и женился, и жизнь долгую, благополучную потом прожил. Вовремя женился, пока ещё стояла она в глазах…

* * *

Сексуальность — большая и важная часть человеческой жизни, значит, соответственно и изображать её необходимо в литературе, но сделать это по-настоящему художественно удаётся редко кому. Маркесу очень удавалось с помощью какого-то таинственного, метафизического поворота. Его великий роман «Сто лет одиночества», интимная близость героев и вдруг: «Ей очень хотелось узнать, что это за оранжевые шары по ту сторону смерти». Вот это секс!

* * *

Много во время великого поста погоды вот именно, что «постной». И нынче такой день, третий уж подряд: температура нуль, небо равномерно серое, низкое, ветер упорный беспрерывный, снег сероватый кругом, сыро, зябко… Ничто вокруг не радует, не бодрит. И в душе как-то похоже — помесь смирения, грусти и тоски. Везде пост стоит, и в душе, и в природе, и только пара соек перепархивает в саду, неожиданной яркой пестротой своей словно напоминая о том, что всё может быть и обязательно будет совсем иначе…

* * *

Стоит у меня перед письменным столом, на подоконнике маленькая статуэтка Будды. Руки вскинуты вверх, на лице радостная, от уха до уха, улыбка. Возможно, скульптор изобразил его в тот именно момент, когда самая суть его учения, уход в нирвану, открылась вдруг ему. Тогда он, по преданию, и воскликнул: «Радуйтесь, освобождение от смерти найдено!» Тут нельзя не подумать, что нирвана-то как раз очень смерти близка, до слияния почти. Смущает и то, что Бога у буддистов нет, а какая же религия без Бога? Главный вопрос человеческий — кто создал мир и в чьей воле он находится, тогда неизбежно остаётся без ответа.

И всё-таки есть в буддизме нечто очень привлекательное. Может, предпочтение явное созерцания перед действием? Созерцать-то куда как приятнее и легче, чем действовать.

Удивительно влияние буддизма на народы, его исповедующие, — они радостны и очень бедны. Бедность — то понятна, созерцая мир, не разбогатеешь, а вот радость откуда берётся? От той же созерцательности, возможно, которая резко уменьшает заботу и ответственность, главное бремя человеческое. Кстати, мудрость одна наша народная весьма буддизму близка: «Аки наг, аки благ».

* * *

В старости мыслей становится всё меньше, пустеет понемногу голова. И это грустно и даже горько. Если же по-буддистки постараться на это посмотреть, то как раз хорошо. Пустея, с миром сливаешься полней, к той самой нирване приближаешься…

* * *

С какой мощью кричит-поёт крупный, зрелый петух! Сколько в его песнекрике бодрости, энергии, призыва даже какого-то боевого. А если бы с такой же громкостью, мощью и напором соловьи вдруг запели? Трудно такое представить, но и заманчиво. Если место соловьиное, то в мае и жить, глядишь, пришлось бы чуть по-другому. Получше, может быть…

* * *

Всю жизнь тянет смотреть в небо как можно чаще. Красиво там, живо, интересно. Но ведь и ещё что-то испытываешь в глубине души, в подсознании

даже… А странное, необъяснимое, отделённое от разума чувство, что Бог где-то там, в небе. Вот и конец «Исповеди» Толстого, сон о том же: вверх, в небо смотришь и хорошо тебе, спокойно, надёжно. Вниз посмотрел, а там бездна ужасная, вот-вот в неё упадёшь. Чем-то похоже на собственный опыт смотрения в небо, да и у других подобный опыт, вполне возможно, есть. В сущности, пытаешься заглянуть в мир «иной», Божественный, райский, где хочешь и оказаться в конце концов. Если возьмут…

* * *

Не счесть проблем-задач у человека, постоянно, всю жизнь сменяющих друг друга и подогнанных едва ли не вплотную. Одни разрешаются, другие уходят просто так, неразрешёнными, новые возникают тут же. И большие и не очень, совсем крохотные — и так без конца. Но есть одна проблема, постоянно, как некий фон существующая и никогда не находящая разрешения — сама жизнь с её напряжением, бременем, радостью и болью. И, что бы ты ни делал, не предпринимал, она остаётся неизменной, лишь становится весомей и ближе с годами. И начинаешь постепенно (или вдруг) понимать, что разрешение этой проблемы одно-единственное — смерть. По-разному можно к ней относиться от ужаса и ненависти до полного принятия и даже призыва. Прочитал где-то: «Матерь смерть. Хорошие слова, успокаивают душу в самой-самой глубине. А как-то и иное совсем, неожиданное поэтому же поводу услышал: «Ничего, дружок, умрём не хуже людей». Тут и улыбнуться можно благодарно за такую мудрость простецкую.

* * *

«Пока живу, надеюсь». Вот и Чехов с Булгаковым, врачи, понимавшие, конечно, неизбежность своей скорой смерти, всё-таки надеялись на чудо вопреки рассудку. Умиравший Чехов хотел переехать из Германии на юг, где пожарче, очень надеясь на перемену климата, и даже белый костюм для этого себе заказал, а Булгаков, отказавшись от общепринятой медицины, стал лечиться у гомеопатов, ожидая от этого решительного улучшения. Вот и у них, врачей и людей очень трезво всё видящих, сердце, вечно глупое сердце человеческое, в смерть не верило, веря только в жизнь…

* * *

Видел по ТВ совокупление самых больших и тяжёлых (до 300 кг) черепах. Жуткое дело! Кажется, даже невозможно, но ведь делается в конце концов как-то… Да только ли черепахи в таком положении? А слоны, бегемоты, киты… Долго перечислять можно. И это притом, какое внимание огромное уделяет природа делам добычи и защиты у всех живых существ. Чудеса прямо-таки настоящие творит! А тут, в самом важном для продолжения рода деле, совокуплении, словно махнула рукой небрежно — да обходитесь, как хотите… Влечение к этому в вас вложено сильнейшее, а значит, как-нибудь, разберётесь. И ведь разбираются!

* * *

Совершенно чудесен цикл «кратких рассказов» Бунина. Порой всего несколько строк. Вот «Петухи». Герой рассказа на охотничьем привале, курит на пороге избы. Хозяйка выглядывает в окно:

— Что это вы, барин, не спите? Ведь уж не рано, петухи о п е в а ю т ночь.

Стихотворение из трёх, в сущности, слов: «Петухи опевают ночь». А, может, заодно и жизнь чью-то отпевают, как знать…

* * *

«Всё суета сует и томление духа» — Экклезиаст. И человек как между двух огней — суета противна и тяжела, а без неё томление духа, что не легче. Из «томления» возможен выход в веру, к Богу, а из суеты куда? В то же томление, что рангом много выше.

Кстати, есть у Томаса Манна мысль о людях такой неистребимой суетности, что не веришь, что они когда-нибудь умрут и приобщатся к великой тайне смерти. Не до смерти им, дел слишком много… Ничего, вроде бы, в этом плохого, но ведь есть грех много опечительства, от которого уходили иногда монахи из монастырей в дальние скиты…

* * *

Поразительной душевной силой обладал Василий Васильевич Розанов. Незадолго до смерти, лёжа в параличе, диктовал дочери продолжение своего «Апокалипсиса нашего времени», приговаривая при этом: «Ну, ещё на рубль напишем, ну ещё!» А лет, примерно, в 50, когда тяжело заболела жена, которую он нежно любил всю их долгую жизнь, записал: «О, как не хочется теперь ничего. О, как не хочется!» Поразительно — сделать т а к у ю запись с такой энергией! Умирая же, весь в холодном поту, сказал, как истинный художник: «Это воды Стикса, я узнаю их…».

* * *

Редкое по мощи в этом году цветение садов. Смотришь на яблони, и кажется — улететь в небо могут вот-вот, как воздушные шары.

У нас на Курщине говорят по такому поводу — как бы не к войне. Вот уж въелась она, война, в душу народную, если даже до такой красоты небесной добралась…

* * *

На прогулке вечерней с Луи встретили красавицу колли. Вся белая, с подпалинами редкими, небольшими. Шерсть ухожена и расчёсана так, словно это волосы женские.

Луи прореагировал вполне по-человечески — замер зачарованно, ни движения не сделав в её сторону — не по чину честь. Она же приостановилась чуть и важно прошествовала мимо. А за ней и хозяйка — простенькая, серенькая, скромненькая…

* * *

Всё труднее ходить на похороны, а они всё чаще. Раньше (не так и давно) думалось, глядя на покойника — ох, жаль! Но мы-то ещё, глядишь, поживем-поживем… А теперь так не думается. Теперь представляются ясно те считанные годы-шаги, которые до такой вот ямы остались…

А сегодня на похороны даже и не пошёл. Причина уважительная вполне, но и написанное выше сыграло некоторую роль…

Смерти не боюсь, боюсь умирания долгого и мучительного, как и большинство людей в таком возрасте, пожалуй. И жизни жаль, привыкаешь-таки жить грешным делом…

* * *

«Я хочу жить, как бедный, но иметь деньги». Пикассо. Как просто и как мудро! Да он так и прожил, пожалуй, всю свою долгую жизнь. Работал, не покладая рук, до самого конца. Вот и Гейтс, американский миллиардер, компьютерщик, з а р а б о т а в ш и й свои миллиарды, думал похоже: «Если бы я разорился, то жил бы так же, как и живу». И детям решил оставить всего 5 процентов капитала, а остальное отдать на благотворительность. Оно и понятно — детей пожалел…

* * *

Узнал вдруг, да издалека, из Канады, о смерти близкой своей подруги студенческих лет. Кольнуло как-то, и подумалось — вот и нет её на свете… И ещё что-то похожее помелькало, но спокойно, формально, словно для отчёта перед кем-то.

Вот и всё. Да и что ещё могло быть, если со времени общения нашего прошло полвека, а виделись мы в последний раз четверть века назад. И такая чащоба житейская между нами наросла, непроходимая и непроглядная…

Утром же, едва проснулся, первая мысль о ней. И вспомнилась, как живая. Вот она — руку протянуть. И почти целый день потом провёл с ней и на вспоминалось на целую маленькую жизнь. Вот тебе и чащоба, непроходимая и непроглядная!

* * *

Хорошо помню, как под вечер, в день тридцатисемилетия, вышел во двор покурить. Небо серенькое, но высокое, и журавли в нём летят-улетают. И подумалось почему-то, что возраст у меня теперь вот как раз пушкинский. С тех пор и стал иногда отмечать — на десять лет мне больше, на двадцать… А теперь вот на сорок почти. А что, если б Пушкину кто-нибудь сказал (гадалка, положим), что он проживёт столько? Обрадовало бы его такое? И ведь не скажешь с уверенностью — конечно! Скорей всего, отмахнулся бы, как от чего-то невозможного, да и ненужного. Куда мне беремя такое, сказал бы. Что делать буду? Рука отсохнет бумагу марать. А долгов сколько накоплю, и детей, внуков? Деваться будет некуда! И расхохотался бы тут…

* * *

В старости чувство самости, «я» своего постепенно ослабляется, теряя чёткие границы. Смотришь вокруг и ощущаешь невольно, что ты и вон та бабочка порхающая, и кошка пробежавшая, и молоденькая берёзка под ветром. И даже вон то, дальнее, белое облачко круглое… Чувство приятное, но чуть и тревожное. Куда ж это я, такой для себя важный, уходить словно бы начинаю? А туда, в природу, пока не сольёшься с ней вполне. Что-то буддистское в этом есть, но ведь и христианское: тело в землю, а душа к Богу…

* * *

«Я думаю о вечности и о том, чтобы починить крышу». Слова настоятеля буддистского монастыря. Как хорошо! Такое и для православного монаха годится. Да и для любого человека вообще, даже и для атеиста. Глядишь, путь к Богу с этого и начнёт…

* * *

Не так и давно, в «новые» уже времена, появилось понятие «ценный старик». Или старуха, разумеется. Именно так и говорится — «ценный». И в обиходе житейском, и особенно в медицине. Причина «ценности» проста, как огурец — пенсию большую такие старики и старушки получают. Потому и отношение к ним особенно внимательное — и со стороны родственников, и со стороны медперсонала. Отношение родственников, по-моему, в объяснениях не нуждается, а персонал насторожен и внимателен из-за них же, особенно въедливо-придирчивых и требовательных в таких случаях. Всё очень понятно и по-житейски даже оправдано, но всё-таки грустно, грустно, грустно…

Кстати, вот ещё причина дополнительная долго работать и много зарабатывать — «ценным стариком» можешь стать…

* * *

Иду по тротуару вдоль новых домов. Вот газон готовый, плотно зелёный, подстриженный. А вот тут ещё травка вольная самосевная: ромашка, клевер, полынок серебристый, цикорий голубой, розоватое что-то, знакомое, но безымянное для меня… И вот это всё, разное, пёстрое, милей, живей видится, чем газон ухоженный. И кустарник, аккуратно подстриженный, унылым кажется. Пусть бы рос сам по себе, подрезать же нужно бы лишь то, что ходьбе мешает.

А вот если видишь поле заброшенное, бурьяном или даже березняком молоденьким зарастающее, то в душе горчит, скребёт. Не справился тут человек, ушёл, бросил. Может, вернётся? Даже само поле, чудится, этого ждёт…

* * *

Всем уже, наверное, известно, что есть во Вселенной такие «чёрные дыры», в которых исчезает безвозвратно всё. И вся Вселенная в них в конце концов улетит-провалится и исчезнет. И вдруг сообщили, что открыто некоторое, хоть и слабенькое совсем, из этих «дыр» излучение. И Нобелевская премия

за это открытие дана. Узнав про такое, я оживился и едва ли не обрадовался: не всё, значит, потеряно, есть ещё надежда! И тут же, конечно, посмеялся над дурью своей — истинно, нет предела глупости человеческого сердца... Святой глупости, может быть?

* * *

Почти совпало перечитывание «Улисса» Джойса и просмотр «Зеркала» Тарковского. Обнаружил с удивлением похожесть своего состояния в обоих случаях, послевкусия такого. Показалось, что и голову, и душу неким ветерком продуло, свежее стало, просторней и бодрей. Возможно, это следствие прямого, без рассуждений и объяснений, показа жизни и в романе, и в фильме. Оттуда дует-продувает этот самый «ветерок».

И ещё об «Улиссе», отдельно: ясно увидел, что автор при всей беспощадности показа своих героев, разоблачении, обнажении полном, любит и жалеет их в глубине души. Склоняется как бы над ними скорбно: мои бедняги...

* * *

Пятьдесят пять лет полёту Гагарина. Хорошо помню этот прекрасный, солнечный апрельский день. Вышел из института, иду неспешно, по сторонам глазею, и вдруг крик сзади: «Человек в космосе!» Вернулся, а перед институтом уже толпа небольшая, кричат, руками машут, лица у всех с безуминкой восторженной...

Когда же о гибели узнал, то первая мысль была: «Да не может быть!» Многие, наверное, так же подумали. И ещё говорили одинаково: «Надо же, не уберегли!»

А сейчас думаю, да и тогда мелькнуло — какая смерть хорошая, мгновенная, солдатская, как в бою... И всю его жизнь она правильно как-то зациклила, героически вполне. Не годится, конечно, так думать, кощунственно даже, а всё равно думается. Был он, Юрий Алексеевич, явлен нам, как чудо-человек, да и взят потом. «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

* * *

«Иметь слабость» к кому-то, «питать слабость». Странноватые выражения, а ведь это о любви, в сущности, говорится. Но почему же «слабость?» А потому что слаб человек перед тем, кого любит, открыт, беззащитен. И возможно использовать это в целях вполне эгоистических. Не заметит человек по «слабости», а если заметит, то простит. Кто-то и пользуется такой «слабостью», конечно, и как же это нехорошо, низменно, подловато...

* * *

Толстой в поздней старости, не всегда сразу узнававший сидящих за завтраком внуков, относился к этому удивительно спокойно. Записал в дневнике, что забывается второстепенное и остаётся самое главное: «Один настой».

И случавшееся время от времени нежелание писать «художественное», встречал так же спокойно и покорно, употребляя при этом словечко: «откупался». Есть тут нечто от народного отношения ко всему тяжёлому и неожиданному: «Что Бог ни делает, всё к лучшему». Нелегко такое принять, но всё-таки возможно. А для глубоко верующего даже и неизбежно в конце концов.

* * *

Сомнение в истинности своей веры в Бога беспокоит многих, если не большинство. Тут мысль того же Толстого может несколько успокоить и утешить: «Искать Бога, значит, уже иметь его». И Чехов, подобные сомнения знавший, ему вторит: «Надо верить в Бога, а если веры нет, то надо её искать, искать, и искать, одиноко, один на один со своей совестью». Из письма к Миролюбову, но это и ко всем-всем можно обратить... Вера не отметка в биографии — вот теперь верю — а усилие бесконечное. И опять Чехов помогает: «Между верой и неверием лежит громадное поле, которое всю жизнь проходит истинный мудрец». Вот только бы не ослабеть, не упасть на долгом этом пути...

* * *

Начинаешь замечать, что в каждом прожитом дне появляется некий набирающий силу привкус — привкус вечности. Сегодня было, как вчера, и завтра будет, как сегодня. И так далее... И что-то приятное, спокойное в этом привкусе есть, но и что-то тревожное одновременно. Всё уже было, может лишь повториться в худшем, скорей всего, варианте. И поэтому пора, пора — туда, в полное уже однообразие вечности...

Кстати, нечто похожее было и в детстве, в огромности, почти безграничности каждого дня, и в желании их повторения однообразного и бесконечного...

Так вот и зацикливается жизнь в разные для каждого сроки. Тогда и думаешь — приехали...

* * *

Вдруг, без всяких видимых причин: угрюмый, злой с пробужденья. И не снилось, вроде бы, ничего плохого и вчера все было хорошо. А теперь всё плохо — и в душе, и в жизни окружающей. Сухо, напряжённо, перекошено как-то, вот-вот разваливаться начнёт... Худо-худо, и причин никак не найти. Не с той ноги встал? Ну это так, отговорка житейская. Бесы путают? А вот с ними бороться надо, отгонять как-то, к Богу обращаться: прости и помоги! И проходит в конце концов чернота эта душевная, то ли с Божьей помощью, то ли сама по себе...

* * *

Старых людей в новые наши времена встречается всё больше, особенно старушек. И вообще их намного больше, и привычка на пол прекрасный внимание обращать влияет, пожалуй. В основном беднота пенсионная,

в одежонке дочерей и внучек, и вида потому то забавного, то жалкого. Но есть и принаряженные, за модой даже, кажется, следящие. Изредка попадаются совсем уж барыни: ухоженные, прекрасно одетые, повадки важно-значительной. При хороших деньгах, стало быть, живут. Увидел недавно: села одна такая за руль машины дорогой, развернулась лихо и покатила. Вот молодец, вот пусть и будет таких побольше…

* * *

В первые послевоенные годы, помню, была процедура, ритуал важный: «заключиться на сорок». Двое цеплялись мизинцами, а кто-нибудь третий разбивал сцепку и что-то вроде подписания договора получалось.

Вариантов было два: на «сорок семь» и на «сорок восемь». С такой расшифровкой: «сорок семь — дели всем», и «сорок восемь — половину просим».

Вот и выходил кто-нибудь из дома к компании со съестным в руках, ему и кричали то «сорок семь», то «сорок восемь». И надо было съестное это (чаще всего кусок хлеба, посыпанный солью или сахаром) делить соответственно договору.

Вот вспоминаю до мелких подробностей, и что-то такое милое, наивное, братское во всём этом есть, умилиться впору. А чуть поглубже взять, такое горькое и суровое…

* * *

Во многих истинно талантливых стихах можно ощутить нечто Боговдохновенное, Божественное, потому и чтение их, хоть вслух, хоть про себя, близко стоит к молитве. Душа по-молитвенному настраивается. Вот и хорошо, и надо в подходящую минуту вспоминать, читать их и так молиться. Хотя бы косвенно, чуть-чуть…

* * *

Поколение моё уходит всё очевиднее. Поколение людей, которые основную, самую деятельную часть жизни прожили в Союзе, при власти советской. А к иной, новой жизни многие так и не приспособились, не привыкли по-настоящему. Вот и живут, словно десант из тех времён в теперешние заброшенный.

Есть у нас в городе несколько кафе и пивных, которые содержатся на прежний, такой давний уже, советский лад. Всё там явно похуже, чем в обычных теперешних заведениях, но зато как-то родней. Посидел на днях в таком, чувствуя себя помолодевшим лет на тридцать. Даже обслуга выглядела и вела себя по-старинному, как «тогда». Возможно, что всё это делается и подбирается специально, для привлечения именно «десантников» советских.

Но одна уступка новым временам в пивной всё-таки была — туалет работал. Раньше такое довольно редко бывало, попил пивка всласть, а отливать иди за угол…

Много было плохого и просто ужасного при советской власти, но много и хорошего, и очень хорошего даже. Для меня самым лучшим было

ощущение семьи. Страна — семья, народ — семья. Есть в этом и теневые, тёмные стороны, но света всё-таки больше.

Вернуть всё? Да я бы первый не согласился. И всё-таки так жаль великой, небывалой той страны, подобной которой никогда и нигде больше не будет.

* * *

Первые фиалки у нас в овраге появляются из года в год в одних и тех же местах. В том, как они видятся на крутом склоне среди серой прошлогодней травы есть что-то таинственное, сумеречное, предвечернее даже в полдень. И что-то женственное, мысль о свидании вызывающее. Ты уже пришёл, и о н а должна прийти вот-вот ...

Не раз приходилось читать о «фиалковых» глазах, а в жизни я такие видел только у Ивана Трифоновича Твардовского, брата поэта. И пора была самая фиалковая, конец апреля, и место удивительное — родной его хутор Загорье, который он возрождал на месте сожжённого в войну. Такие были у него глаза, что не верилось — не может таких быть... Но как-то и к месту и ситуации они оказывались, напоминая о фиалках на старом, давно заброшенном пепелище...

Мы (небольшая писательская компания-делегация) застали Ивана Трифоновича в столярке за сколачиванием ящиков под помидорную рассаду. И внучка лет пяти была с ним, светлоглазая и не отходившая от него ни на шаг.

В углу на фанере виднелась аккуратная и довольно большая горка земли, и Иван Трифонович пояснил, что живёт здесь первую весну, хорошей земли для рассады под рукой нет, а у соседей просить неловко, едва тут появившись. Вот и набрал земли из-под ёлок в лесу — как раз то, что нужно.

И в столярке, и за осмотром возрождаемого по его рисункам-чертежам хуторе, и за обедом потом он поражал особенным каким-то благородством облика, повадки, сдержанностью и краткой точностью речи.

О младшем брате Александре говорил с бережной грустью, с паузами, глядя куда-то мимо нас фиалковыми своими глазами. Рассказал, в частности, что брат как-то признался ему, что порой жалеет, что стал поэтом, а, к примеру, не столяром, как он.

По одному этому можно было понять, как же ему бывало трудно и жить, и писать. Но ведь и судьбе брата-столяра трудно было позавидовать — раскулачивание, высылка на Север, война, плен, лагерь...

Несколько лет спустя я прочитал воспоминания Ивана Трифоновича о жизни своей и о знаменитом брате своём — прекрасная, талантливая проза. И вспомнился он живо, такой особенный и значительный. Особенно глаза как знак избранности и писательского дара...

* * *

Моменты счастья. Какие разные они! Вот один, который вспоминается почему-то всю жизнь: завод, ночная смена, вышел из цеха отлить на волю. Запах железа на лёгком морозце, влажные звёзды, апрельская чудная ночь, скоро домой поеду, Ирину (жену теперешнюю свою), увижу. Вот что тут

сошлось? А ночь, погода, предвкушение встречи, предвкушение всей жизни впереди…

И ещё из той же поры: засыпаю, как всегда ночью, зверски голодным и вдруг, словно дуновение счастья: скоро, вот-вот, будет утро, заводская столовая и я возьму винегрет, два вторых и два стакана алого киселя…

Из самого простого делается лучшее счастье чаще всего. А если из чего-то «повыше», то в нём уже некая зыбкая ненадёжность возникает…

* * *

Пьеса сына «Сёстры» прошла с успехом у нас в городе и даже на гастролях в белорусском Бобруйске. Странно, что мне никогда и в голову не приходило пьесу написать. Даже и не представлял себе, что написанное тобой на бумаге может вдруг ожить, в живых людей воплотиться, задвигаться, заговорить… Если бы вдруг, неожиданно совсем, такое увидеть, то впечатление было бы ошеломляющим: то ли сон, то ли бред…

А теперь вроде бы и жаль, что не попробовал написать пьесу, могла бы вполне неплохой получиться. Диалоги, во всяком случае, давались мне легко и получались живыми. Поздно спохватился, дружок. Поздно, поздно — частое теперь для меня словечко, горьковатое такое…

* * *

Как много в дневниках позднего Толстого записей, в которых он обличает свою греховность. И в выражениях по этому поводу совершенно не стесняется. «Ну и гадина ты, Лев Николаевич», — например. Такое и записывать неловко… То ли дело герой его великого рассказа «Хозяин и работник» Никита. Тот, замерзая и готовясь умереть, подумал: «Известно, грехи. Да что же разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал». Неплохо бы и Толстому от такого отношения к грехам взять хоть немного, полегче бы ему стало. Только вот грех-то у его Никиты был по-настоящему всего один — запои редкие. А в остальном — святой жизни был человек, чего про Толстого не скажешь…

* * *

Совершенно поразителен взгляд правнучки Анюты, младенца грудного. Смотришь ей в глаза и оторваться не можешь. Не говорит ещё, ничего почти о мире не знает, но, кажется, знает и понимает всё. И, думается, что во взгляде её именно тот «свет разума» есть. Именно в нём очевиднее всего выражена Божественная природа человека. С возрастом этот свет Божественный тускнеет постепенно, у всех по-разному, житейским и бытовым налётом покрываясь, но совсем не исчезает никогда. А у некоторых, очень редких людей держится в полной почти силе до конца…

Вспоминается возрастное изменение взгляда у внуков. Замена знания «всего» на знания частные, конкретные. Необходимая для жизни замена, но ведь и какая грустная. Словно ангел постепенно исчезает из дома, и хочется его как-нибудь придержать…

* * *

Впервые побывал с невесткой Соней и правнучкой Анютой на воскресной службе в нашей ближней, недавно построенной, церкви Вознесения Господня. Очень она подходит Калуге с её репутацией космической и стоит на хорошем месте.

Церковь была полна, но без тесноты. Молодёжи неожиданно для меня оказалось едва ли не большинство. И очень много детей. Радует это задушевной, глубинной какой-то радостью, как признак благополучия в городе, народе, стране. А ещё и стены, и купол церкви изнутри безупречной, снежной белизны, и хор звучит сверху, с неба как-будто…

И постоял я с Анютой на руках, запах её младенческий, запах жизни самой, чувствовал, личико её видел почти на расстоянии ресниц, хор сверху слышал, и всё это было, как чудесный сон.

Есть поверье, что хорошо на большой православный праздник умереть — на Пасху, на Рождество… Ну а если в церкви, во время службы — ведь случается и такое. Тоже, пожалуй, не худо, только вот службе помеха, и людям окружающим хлопоты…

* * *

Фильм по ТВ: волчье логово, волчица, истощённая крайне, волчата, чуть живые от голода, а потом погоня волчицы за таким же истощённым песцом. Север, льдины у берега, по которым они и бегут, обрываясь временами в воду. Схватка за жизнь смертельная…

Показывают подобное нередко, и всегда сочувствуешь тому, кто пытается спастись, а тут какая-то ошибка получилась: болеешь за обоих одинаково. Типичная, до предела обнажённая, трагедия бытия. И у людей так — компромиссного выхода нет, и кто-то должен погибнуть. Кто? А тут уже не сами люди решают, а рок, судьба, Бог…

* * *

Несколько раз сообщалось в СМИ, что в недалёком будущем появится лекарство от старения. Будем жить и умирать в расцвете сил, молодыми: от болезней, от случаев несчастных, по воле собственной… Есть и животные не стареющие, киты, например, так что дело это вполне реальное. Казалось бы, ничего лучшего и не придумать, а мне вдруг, совершенно неожиданно стало грустно. Старость нелегка, слов нет, но ведь есть в ней нечто и хорошее, необходимое даже. Облегчение от выплаченных долгов перед близкими, родными людьми и обществом в целом, покой (относительный, конечно), свобода располагать собой, как хочется, да и просто возможность беззаботно погулять и на лавке посидеть где-нибудь, в сквере или в саду собственном. Каждому, пожалуй, в житейской, рабочей запарке и такого, и иного ещё, хотелось, и вот теперь всё это может ускользнуть, исчезнуть. Будешь молодым и в 80, и в 90 лет и дольше. А значит, дела, заботы, желания, влечения, страсти плотские и душевные будут тебя по-молодому всю жизнь сопровождать. И терзать, конечно. Вот это-то и худо, потому, как

нужна перед смертью некая переходная, буферная полоса. Дух перевести надо, оглядеться, прожитое вспомнить неторопливо, оценить его по возможности. Да и мало ли что ещё… И вот этого всего лишиться? Конечно, грустно и жаль. Но ведь можно и не употреблять волшебное это лекарство или бросить его, когда быть молодым невмоготу станет. Уверен, что такие люди найдутся, и немало…

* * *

Чего только не придумано людьми в области удовольствий — наслаждений любовных! Если собрать описания их и изображения, целая библиотека получится. И все они, по-моему, перекрываются одной строчкой Фета: «В моей руке такое чудо — твоя рука».

* * *

«Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви». Чудесные стихи! И как свободно сказано про «слёзы первые любви», словно это было в те, блоковские, времена совершенно понятным, едва ли не обыденным делом. А теперь? Бывают ли теперь т а к и е слёзы? Посомневался, а потом вспомнил, что количество надписей «Маша, я тебя люблю» на стенах, заборах, асфальте за полстолетия наблюдений не уменьшается, и решил, что бывает. Должны быть, иначе дела наши плохи…

* * *

Томимся мы на свете, всем такое знакомо. Сказано об этом и в литературе не раз, и в Библии, Экклезиастом: «Всё суета сует и томление духа». И чисто материально, физиологически мы тоже «томимся», то есть очень медленно горим без огня, превращая пищу в энергию жизни.

Но ведь и вспыхивает в нас огонь временами и горит-горит: в любви и творчестве. Вот тут-то томление наше наконец прекращается, но лишь на время. Тогда и думается — не лучше бы сгореть…

* * *

В который уже раз перечитываю «Анну Каренину» и, похоже, в последний. Впервые ясно представилось, что некоторые так называемые «проходные» места романа мог бы не хуже написать и другой талантливый писатель, но есть узловые места, посильные лишь Толстому, да и то с Божьей помощью. Сцена примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны, например. Боговдохновенный текст, да и суть его глубоко христианская. Недаром Достоевский восхищался этой сценой и считал её истинным концом романа. Ну а Толстой поступил по-толстовски и ещё почти столько же написал. И любимую свою Анну не пожалел, послал в конце концов под колёса… Сцена эта тоже Боговдохновенная, но с каким отблеском мрачным, красным и страшным, как пожар в ночи…

* * *

Нет ничего таинственнее, многозначнее и притягательнее человеческого взгляда, если завеса обыденности вдруг сорвана с него. Даже страх он вызывает, словно ты на краю пропасти вдруг оказался и ожжёшь в неё упасть. Откуда это? А именно от тайны человека бездонной, которую никогда до конца не разгадать. И от чувства границы между людьми, которую ни при какой близости окончательно не перейти.

Что ж, два микрокосмоса встречаются, и как же всему этому не быть.

* * *

Говорят, что человек «выслуживает» себе лицо. То есть, как ты жил-был, какие дела делал, всё это найдёт отражение на лице, отпечатается так или иначе. Есть тут правда, но ведь и какие отклонения удивительные бывают. Лицо начальника Генерального штаба Герасимова, например. Грустное лицо элегического поэта. Вот как его можно было сохранить, сделав такую огромную военную карьеру? Тайна, о которой сам носитель её вряд ли что знает.

* * *

Изменения, которые постепенно приносит человеку старость, очень напоминают то, к чему буддисты стремятся многими, долгими усилиями: пассивность, созерцательность, умаление страстей и желаний, нарастающая отрешённость от окружающего, от интересов его и дел. И главная, конечная цель буддиста, нирвана, весьма близка к смерти, которую в конце концов получает каждый старик и каждый человек. Да и каждый человек, прошедший уже вершину своей жизни, спускаясь с неё, идёт путём буддистов, даже и не догадываясь об этом.

Многим близок буддизм и христианству: любовью ко всему сущему, человеку, смирением, терпением, незлобием… Узнавать всё это хорошо, душеполезно по чувству единства всех людей на земле, независимо от веры их.

* * *

Таинственная буддистская н и р в а н а… Ближе всего к пониманию сути её подошёл Толстой в гениальном по глубине описанию смерти князя Андрея, сделанном так, словно тот не умер, а именно в н и р в а н у ушёл. И ещё Лермонтов, с его: «Я б хотел забыться и уснуть! Но не тем холодным сном могилы…» Дальше описание не жизни и не смерти, а некоего промежуточного, третьего состояния, сна волшебного, в котором и «сладкий голос», поющий о любви и шум дуба под ветром… Может, она, нирвана, такова и есть?

* * *

Говорят — «золотая старость». Что ж, есть, наверное, и такая и прожилки её и в обычной, рядовой вполне, старости присутствуют. У каждого тут свой набор, но есть и общее, главное: «Тирания долженствования», по определению психологическому, исчезает или резко смягчается. А просто

сказать — невелик спрос социальный и иной со старика. Легче становится жить, но есть тут и горечь — не нужен стал…

Но ведь и иначе говорят — «собачья старость». Вот тут, если за старой, бездомной собакой понаблюдать, то и ясно станет до боли, о чем речь…

* * *

Пришла ко мне Старость и сказала:

— Здравствуй, голубчик!

— Моё почтение, — говорю. — Странно слышать, что Старость здоровья желает.

— А почему нет? От малых недугов никуда нам с тобой не деться, а большие можно и придержать при поведении твоём хорошем.

— Трудное дело, — говорю.

— Ну, это смотри сам. Под твою, как вы говорите, ответственность.

— Слушай, а нельзя ли с тобой договор заключить? Маленький такой договорчик? Давай, я буду сам по себе, а ты сама по себе. Идёт?

Помолчала, пожала плечами с сомнением и исчезла.

А я думаю, что возможно нечто подобное попытаться сделать. Да и начал потихоньку уже…

* * *

Окраина наша активно застраивается в последние годы, и среди строителей много мигрантов из Средней Азии, таджиков и узбеков. Всегда смотрю на них с особенным интересом — совсем иной, далёкий, в общем-то, народ. И вот за всё долгое время наблюдений ничего плохого с их стороны не замечал. Всегда трезвы (один только раз хмельного видел), вежливы, постоянно играют на нашем стадионе в футбол, крича при этом почти беспрерывно, как грачи весной. Даже мило. Редко-редко наши русые или белокурые головы среди их чёрных, мелькают, что отмечаешь с некой даже тревогой, болью почти…

Некоторые из них убирают магазины, дворы, улицы и делают это прекрасно. Даже стык между бордюром и асфальтом дороги бывает аккуратно прочищен, чего не видывал до них никогда.

Пришлось наблюдать и кое-что необычное и даже трогательное. В одном бойком, людном месте узбеки, молодая пара супружеская, похоже, устроили лоток для торговли фруктами, а рядом с двух сторон деревца, довольно уже рослые, посадили для красоты и уюта. Учитывая грунт и толчею людскую, шансов на выживание у саженцев не было никаких, что и подтвердилось вскоре. Но ведь посадили! Меня даже действие это их наивное согрело как-то.

Сын, поездивший по Узбекистану, впечатления о людях тамошних, местных, привёз самые лучшие, а видел он много и очень разное. Пожилые узбеки часто спрашивали, не возродится ли Союз? Тоже наивность милая, напоминающая посадку деревьев. А может, мудрость народа древнейшего?

* * *

Молитва оптинских старцев не только глубока, мудра, внушительна в религиозном смысле, но и в смысле медицинском, психотерапевтическом тоже. При разнообразных невротических состояниях должна хорошо помогать, в чём я, психиатр и психотерапевт с большим стажем работы, совершенно уверен. Да и являет она собой психотерапевтический шедевр, и автор её неизвестный должен был огромным даром врачевания словом, обладать. Скорей всего, он был один, а назвали молитву общей по близкому, общему духу оптинских старцев. Да просто и не могли они сложить её сообща, сменяя друг друга в течение многих лет. В сущности, всё это и не важно, был бы текст молитвы Боговдохновенным, а это как раз и есть…

* * *

«Птицы небесные не сеют, не жнут, но Отец их кормит их». Вспомнилась библейская эта фраза, когда за большим чёрным дятлом сегодня понаблюдал. Без малой даже заминки, отдыха бьёт и бьёт клювом, кору с засохшей берёзы сбивая. Так и летит она в стороны и вниз клочьями. Замах и удар головой такой, что в пору не птице, а молотобойцу. Да он и чу́дится начинает, если долго и неотрывно на дятла смотреть. Другие птицы, помельче, синицы и воробьи в основном, корм чаще всего разыскивают, перелетая, рыская по округе, семена выплёвывают, ягоды клюют. Тоже работа не из лёгких и беспрерывная почти, особенно зимой. Да, не сеют они, не жнут, но пропитание добывают всё равно в больших трудах, как и мы, грешные…

* * *

Дали нам соседи огромную, чуть ли не в обхват, оранжевую тыкву. И так вдруг ярко вспомнились мне тыквы детства, которые прямо таки светились на осеннем, почти убранном уже огороде. Как волшебные какие-то фонарики, издалека если смотреть, птицы из заморских райских краёв прилетевшие.

И решил я эту подаренную, «прилетевшую» к нам в дом тыкву, где-нибудь в подходящем месте поместить, да жена воспротивилась — и там нельзя, и тут не годится… В конце концов пристроил я её в своей комнате на выступ в книжном шкафу. И так хорошо она там стала, к книгам впритык. Оказалась пища телесная с духовной рядом. А ещё и светит она мне, тыква, и душу греет. Не знаю, долго ли простоит, защищать её придётся…

Кстати, тыквы в наших курских краях были в послевоенные годы третьей, пожалуй, по значимости, едой после хлеба и картошки. А «хвостик» у нашей тыквы весь в морщинах продолговатых, извилистых и такой толщины и мощи, что матёрую виноградную лозу чем-то напоминает…

* * *

Всегда при случае смотрю и слушаю по ТВ митрополита Иллариона. Удивительный человек! Ещё молод для своего сана особенно, красив, умён редкостно и всегда просветлённо спокоен. Да ещё и композитор, какой талантливый!

Недавно на вопрос, был ли Бунин истинно верующим человеком, ответил утвердительно и в подтверждение прочитал наизусть с чувством бунинское стихотворение: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» Несомненно, любит он его, что меня приятно поразило — и моё оно из самых любимых. Даже в душе потеплело от такого совпадения…

* * *

В оценке литературного текста для меня всегда было и есть первое и оно же главное — живой он или мёртвый. И определяется это довольно быстро с десятка страниц. Бывает, правда, что мёртвый текст вдруг оживать начинает, но очень редко.

Удивительно, что и с оценкой людей нечто похожее — живой перед тобой человек или тянет от него какой-то мертвечиной. И чувствуешь это тоже довольно скоро, словно по запаху какому-то. У первого он всегда индивидуальный и бодрящий, а у второго угнетающий, застоявшийся, от которого и сам вскоре начинаешь впадать в уныние и тоску.

Люди и тянутся ко всему живому, хоть литературный текст это, хоть человек.

У актёра Виктора Сухорукова, например, жизни столько, что в нос и голову бьёт, как хорошее шампанское…

А со стихами иное. В настоящих стихах некая тайна есть в самой их сокровенной глубине. Душа невольно напрягается в попытке разгадать её и никогда до конца не разгадывает. Как и тайну жизни самой.

Анна Ахматова в воспоминаниях о ней, не помню чьих, сказала, что Твардовский — очень хороший поэт, но без тайны. Нет и нет! Он предельно конкретен, въедливо точен до самых-самых мелочей, и вот за этим-то как раз и чудится та самая тайна. Вот, к примеру, начало поэмы «Страна Муравия»:

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырёх сторон
И сверху облака.
Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, а что тут на земле,
Не знают журавли…

Разве нет тайны в двух последних строчках, от которых даже сердце щемит? Написано — «не знают журавли…». И ведь мерещиться: да и хотят ли знать? А вдруг знают, только мы об их знании не знаем… Если же не знают и не узнают никогда, то почему от этого так грустно-грустно…?

Ну это случайно, вдруг, вспомнилось и подумалось, а ведь подобных мест у Твардовского не счесть…

Есть и у людей нечто похожее на тайну стихов. Достоевский ещё сказал: «Человек есть тайна». И отношения между людьми — тайна не меньшая. Любовь с первого взгляда, к примеру. Как, почему, откуда? Тайна и тайна! Для самих, так полюбивших, прежде всего…

* * *

Как ярок и глубок окружающий мир в детстве и какая тайна влекущая в нём! И в юности от этого многое ещё остаётся, а потом начинает тускнеть и мельчать. И тайна уходит, всё понятным кажется и не очень-то интересным поэтому. Лишь вера в Творца способна вернуть то давнее, детское восприятие мира. Не сам по себе, просто так, существует он для верующего человека, а создан Творцом и уже поэтому прекрасен. И тайна в нём великая есть по слову Творца: «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».

Поэты и вообще художники в широком смысле этого слова могут и не считать себя верующими людьми, но ведь и они неизбежно верят — хотя бы в свой талант, дар, который дан же именно им и который позволяет видеть мир в его глубине и тайне, требуя воплощения этого в работе.

* * *

Ничто, наверное, не меняет так резко окружающее, как первый, ночной, обильный снегопад. Отдёрнешь штору, а за окном вместо пестроты с большим уклоном в серость, всё безупречно белое — земля, деревья, кусты, провода... Чудо, конечно! Ежегодное, знакомое, уже почти и привычное, но всё-таки чудо. Обновление, чистая жизни страница, творения первый день...

Правнучка Анюта, которой на днях исполнился год, увидев всё это, замерла, поражённая. И все мы, и взрослые, и старые, вот так же когда-то в первый раз замирали, точно так.

А впереди у Анюты целая большая зима, которую она впервые, как следует, почувствует-рассмотрит. По снегу походит и попадает в него, в руки возьмёт, снежок крошечный слепит, на вкус попробует. Как все мы когда-то, все...

* * *

Анюта уже и ходит, и бегает, но говорить не начинает пока. А характер, натура уже просматриваются понемногу. Улыбчивая, добрая, любимое занятие — игрушки окружающим приносить-раздавать. Но бывает и напористо требовательной, упорной, упрямой. Неплохое, в общем-то, сочетание. А в глазах света разума становится всё больше, что поражает, словно он, разум, живёт и растёт в них в некоем отдельном, самостоятельном, обнажённо-чистом виде.

Кажется, что от матери она пока не отделилась, чувствуя себя с ней единым существом. Но не за горами и отделение, осознание самости своей, отдельности, в чём чудится мне нечто даже трагическое, как изгнание из рая...

* * *

В который уже раз присуждение Нобелевской премии по литературе поражает своей, мягко говоря, странностью. Вот теперь её Бобу Дилану, рок-музыканту и вроде бы поэту, присудили. И какой он молодец! Уже месяц Нобелевский комитет не может с ним связаться и о своём великом решении сообщить. Какую оплеуху комитет этот получил и, похоже, заслуженную.

Да что там премия, с литературой дела плохи, вот беда. Читают повсюду всё меньше, а качество книг становится всё хуже. Новое, вторичное уже какое-то, одичание наступает понемногу, так, что ли?

Россия же после ухода из жизни Валентина Распутина впервые за многие-многие годы без великого писателя живёт. И без поэта. Тоже беда из того же ряда, и не меньшая…

* * *

От многих религиозно-философских книг, прочитанных в последнее тридцатилетие, остаётся в душе и живёт в ней постоянно совсем мало. Щепотка и даже меньше, две фразы всего. Бог есть. Бог есть любовь. Необходимо и достаточно.

* * *

Наш шнауцер Луи мне почти ровесник, если по собачьей мерке судить. Вот и ходим мы парой такой классической, не раз и в литературе изображённой: старик и старая собака.

Луи и ведёт себя теперь иначе, чем когда-то. Более дружески, что ли… Подходит непременно по утрам, чтобы я по голове его потрепал, держится на прогулках поблизости, приказам подчиняется быстрей. Недавно, спускаясь по крутому, довольно заснеженному склону, мы и упали почти одновременно — сначала он, а потом я. Глядишь, и уходить в таком порядке будем. А у него ещё и риск добавочный — машины, на которые он что-то вяло реагировать стал…

Да ещё незаметно для себя я, рассказывая дома о чем-нибудь, случившемся на прогулке, новый речевой оборот употреблять всё чаще стал: «Идём мы с Луи…» Чем не дружба?

Вдобавок он к встречающимся на прогулках сукам (их все «девочками» почему-то теперь называют) интереса проявляет всё меньше, а вдруг я ловлю себя на том, что мне от этого грустно…

Стоят у меня в рабочей комнате на подоконнике перед столом три фигурки подаренные: роскошный снегирь, сделанный невесткой Еленой, изумительный кот с сигаретой в лапе, которого жена внука (внучатая невестка?) смастерила, и Будда из магазина. Славная компания, ничего не скажешь.

Будда полуголый, с большим животом, грудями почти женскими и с воздетыми вверх руками. На жирном лице улыбка широченная, ликующая, счастливая. Очень уже давно он у меня стоит, и я, нет-нет, а и подумаю, что кого-то он мне мучительно напоминает. И вдруг вспомнил на днях. Фотографировался как-то на паспорт в маленькой фотозабегаловке и, ожидая своей очереди, фотографии на стене рассматривал. Перед одной так и застыл надолго: мужик крестьянского вида, в ватнике рабочем, на голове шапка-ушанка, одно ухо вниз, другое вверх. За спиной крылечко и груда ящиков пустых деревянных. Лицо мужика меня поразило так, что глаз оторвать не мог. Если можно изобразить полное счастье, то вот оно как раз и сияло на лице мужика, особенно в глазах с лёгкой такой слезинкой. Било

прямо-таки как свет фары. Худое лицо, морщинистое, рабочее и вот — такое на нём…

Сообразил вскоре, что мужик минут пять-десять назад водки стакан выпил и закусил, как говорится, рукавом…

Спросил у фотографа, что это у него за чудо такое? Всё просто оказалось — щёлкнул случайно мужика у сельского магазина, а потом премию за него на большом каком-то фотоконкурсе получил. Я и порадовался и за себя, и за жюри конкурса — молодцы, оценили!

А вот теперь смотрю на своего Будду, мужика того вспоминаю, и чудится мне, что мужик-то, пожалуй, посчастливей выглядел. Жаль, что ненадолго, на самую, может, минуту съёмки…

* * *

Идёт по ТВ цикл передач «Уроки русского. Чтения». Подольше бы он продлился…

Смотрю на днях — о Твардовском передача, и на экране (глазам не поверил) — Юрий Нортштейн. Режиссёр-мультипликатор, автор «Сказки сказок», «Ёжика в тумане», обладатель крупнейших мировых наград в этом киножанре.

Прочитал он главу «Гармонь» из «Василия Тёркина» и несколько стихотворений (как на подбор, из моих самых любимых). Прочитал так, что лучше и нельзя. И порассуждал о поэзии Твардовского вообще. И тоже — лучше не скажешь. Сказал, что Твардовский — великий поэт, которого в последние десятилетия отодвинули как-то в сторону, в тень, и что это не просто потеря, а почти культурная катастрофа — так он важен теперь для России. И ещё сказал, что Бродский и Кушнер не считали его большим поэтом, что слишком он «частушечный»…

Так и подумаешь — какие всё-таки разные бывают евреи! А русские — тем более…

* * *

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели…
Кругом шиповник алый цвёл,
Стояли тёмных лип аллеи…

Огарёва чудесные стихи.

Есть у нас рядом с домом нечто вроде больничного парка с длинной, прекрасной аллеей из матёрых лип и редких среди них берёз. Часто, возвращаясь с прогулки, курю напоследок в её конце и иногда стихи эти вспоминаю. Почему? А потому, что в них о вечной, великой ценности в жизни человеческой говорится, которая даётся в юности почти всем и почти все её быстро забывают. Хотя, возможно, я и ошибаюсь грубо — помнят почти все…

* * *

В одном из шедевров Николая Заболоцкого, стихотворении «В этой роще берёзовой», предельно трагическом, меня больше всего «достают» две строчки: «Спой мне иволга песню пустынную, Песню жизни моей». Да и для всех они важны и верны, пожалуй. Все мы сироты одинокие в самой глубине души, и жизнь наша «пустынна», пока Бога не найдём…

* * *

Есть у нас соседка по дому, рядом с которой полстолетия почти уже живём, да ещё и наши садики-огородики при доме тоже рядом. И работали в одной больнице лет двадцать. Особенная такая женщина, с повадкой то ли принцессы, то ли королевы даже, красивая, одетая со вкусом всегда…

Все эти долгие-долгие годы мы с ней лишь здоровались, не сказав больше друг другу ни слова, буквально так. И вдруг на днях разговорились, встретившись на углу дома. Да и так оживлённо, с взаимопониманием полным. Посмеялись даже. Наконец-то лёд сломан, подумал я удовлетворённо. Одно грустно — прощаясь, она сказала со сдержанной гордостью, что через три месяца ей исполняется 90 лет…

Видится в этой маленькой частной истории нечто от нашего национального характера, мы и открыты, и закрыты одновременно как-то. Опаска в нас живёт, настороженность друг к другу такая врождённая. Да и было от чего её приобрести, историю свою если припомнить. А чуть отодвинь это, выпив, к примеру, и душа нараспашку. Может, и пьём потому больше, чем следует, хотя бы отчасти…

* * *

Достоевский считал, что настоящий, «правильный» конец толстовского романа «Анна Каренина» есть сцена примирения Каренина с Вронским у постели умирающей Анны. Мнение вполне в его духе. Сцена истинно христианская, по-христиански развязывающая весь страшно тугой узел между всеми тремя героями романа. И она с редкой даже для Толстого силой и убедительностью написана.

Публикация романа в журнале «Русский вестник» была оборвана на смерти Анны (причины объяснять не место), и последняя часть была выпущена отдельным изданием. Прочитав об этом, подумал вдруг, что, возможно, смерть Анны и есть «правильный» конец. Тут же представились и причины совершенной невозможности этого и среди них «ужасность» конца, чувство, что на этом обрывается сама жизнь. Не может автор так закончить великую свою работу. Не имеет морального права…

Конец «Тихого Дона» близок по трагичности такому концу, но там Григорий всё-таки ещё жив и держит на руках сына…

* * *

«Да» и «нет» — важнейшие слова, а может, и самые важные. И в частной жизни так, и в делах общественных постоянно выбирать приходится между

этими коротенькими словами. Порой выбор крайне труден из-за равенства примерного аргументов в пользу того или другого. Тогда нужно, по-моему, говорить «нет», потому что существующее положение имеет большую весомость уже потому, что существует. Завоевало, так сказать, на это право. А вот что покажет резкое его изменение, всегда довольно туманно. В крупнейших сдвигах социальных это особенно видно, приводя порой к катастрофам.

Возраст, кстати, играет в этом выборе существенную роль, меняя у людей постепенно взгляды крайние на умеренно консервативные, эволюционные. Пушкин этому — яркий пример.

* * *

Впервые побывал в Оптиной пустыни с другом студенческих лет в начале 70-х прошлого века. На удивление ярко запомнились развалины храмов, груды битого кирпича, припорошенные снегом, тоска смертная от того, что никогда и ничего здесь не изменить…

Потом посидели в ресторане «Огонёк» в Козельске, удивляясь обилию девушек за столиками, сидевших парами. И вдруг всё объяснилось — офицерьё нахлынуло из соседней с Козельском части ПВО, лейтенанты в основном… Потом, к ночи уже, шли в гостиницу и пели про «белой акации гроздья душистые». А на другой день опохмелялись среди заснеженных сосен водкой из горлышка и закусывали сосновыми иглами…

В жизни дальнейшей пришлось бывать в Оптиной многократно — и по поводам разным, и без них. Даже в присутствии Патриарха Алексия II сподобился обедать…

Изменилась Оптина за эти, с первого посещения, годы, словно чудом каким-то, да так оно, пожалуй, и было. Отстроена и отреставрирована безупречно, и даже храм новый появился, Ивана Воина…

Ну а мы с другом, с которым общаемся до сих пор, как? Изменились ли в лучшую сторону? Бог весть… Во всяком случае песен по ночам больше не распеваем и водку не пьём, сосновыми иглами закусывая…

* * *

Марков Дмитрий Дмитриевич, Дим Димыч, «адмирал». Адмирал из-за внешности благородно-внушительной и службы в морской авиации когда-то давно.

Знаю я Дим Димыча лет тридцать и не устаю восхищаться его натурой — неизменно, несокрушимо доброй, светлой и тёплой. Это притягивает к нему людей, как магнит. Кажется, что побудь с ним рядом просто-напросто, и легче тебе станет, если было тяжело. Ангельского чина человек, так я его для себя определяю.

Встречаемся мы не так и часто, но регулярно, и даже внуки к столу непременно приходят — с Дим Димычем побыть.

«Сел» он когда-то на три года за распространение антисоветской литературы, повести «Собачье сердце» Булгакова в том числе. Освободился в 1986 году и уже через пять лет был полностью реабилитирован. Некоторые

люди, кстати, всё ещё отбывали срок за «Собачье сердце», когда повесть была уже опубликована, сам об этом читал…

Антисоветчиком он никогда не был, просто обладал редкой тягой к знаниям. Вот и читал, что поинтереснее и поважнее, в том числе и запрещённое, и другим читать давал. Пострадал, что называется, «безвинно-напрасно».

Когда же вышел на свободу, никакой озлобленности на власть в нём не замечалось. Было и было, и прошло. Хотя было-то очень тяжко, после трехмесячной «пересылки» в лагерь из СИЗО 40 кг весил…

Недавно вышла его книга «Нет, весь я не умру» — о роде Марковых в пятнадцати поколениях (!) и о его собственной жизни. Прекрасная книга, а по качеству автобиографического текста проза настоящая. И вторая книга вышла одновременно — «Размышлизмы». А правильнее сказать, размышления серьёзные и глубокие о жизни и смерти, о Творце миров и человеков, о справедливости, о евреях, о музыке… Особенно о музыке хорошо получилось, прочитаешь иной абзац и задумаешься надолго…

Читал я книги Дим Димыча, его живо представляя при этом, и вспомнил вдруг аж Исаака Ньютона, который написал, что всегда чувствовал себя ребёнком, играющим в камешки на берегу океана. Вот и Дмитрий Дмитриевич Марков мог бы, по-моему, о себе то же самое сказать…

Да, родился он на берегах Лены, детство и юность там повёл. И золотишко мыл, и мытарства там претерпел многие и трудные. Заядлый «крымчак», нашедший в Крыму по его словам, «вторую Родину». Знает Восточный Крым так, как не знает, пожалуй, окрестности Калуги, живя в ней много лет. Ездит в Крым лет уже сорок, иногда два раза в год. Даже дача у него крымского какого-то оттенка. Любит виноделие (виноград зимостойкий выращивает) и, особенно, винопитие. Вино у него фирменное, «Барон де Марко», чудесное…

Что ещё? Архивист, окончивший Московский историко-архивный институт. Азартен, крепок и вынослив в походах и вообще в физической работе. И сын Андрей (мой сын) с ним не раз по Крыму ходил, и даже внуки.

А закончу я этот портретный набросок старого друга, последними строчками его книги: «Старость подкралась к 87-и годам как-то неожиданно. Старость как упадок энергии и физической силы… И от такой старости спасает только смерть. Но прав и Оскар Уайльд: «Страшно не то, что мы стареем, страшно то, что мы остаёмся молодыми…»

* * *

«Живи да радуйся» — устойчивое народное выражение, пословица, в сущности. И какая глубокая! Самый центр, смысл жизни в ней обозначен, вполне доступный, пожалуй, лишь верующему человеку. Радуйся, что Бог, Отец и Творец, мир создал и тебя в нём — для любви. А вот тому, что мир и ты существуют просто так, ни для чего не очень-то порадуешься…

* * *

Услышал на днях, как молодой лось к стоящей на дороге машине подошёл и стал «выхлоп» из выхлопной трубы нюхать. Так и нюхал, пока машина не уехала.

Вот и мы в детстве примерно так же делали. Когда, редко-редко, появлялась на поселковой нашей улице машина, то бежали ей вслед, запахом выхлопных газов наслаждаясь. Да и вообще техника тогда была у нас в большой чести и славе, особенно военная, в кино увиденная: танки, пулемёты, «катюши»…

Помню, пошёл по посёлку слух: «Игрушки в магазин привезли». Впервые после войны такое случилось. Ну и побежали все их покупать, и матушка тоже. Купила лучшее, что я только представить мог: пушку, пушечку. Зелёную такую, тяжёленькую, настоящую, ж е л е з н у ю… В первую ночь я и заснуть долго не мог, всё щупал её под подушкой…

А природы прекрасной вокруг мы как-то и не замечали почти, потому что частью её себя чувствовали…

* * *

Наконец-то открыли музей усадьбу Фета в Воробьёвке, на родной моей Курщине. Очень редкий, уникальный даже он был человек среди больших поэтов по сочетанию тончайшей, нежнейшей лиричности стихов с могучей деловой, хозяйственной хваткой. Да и в армии дослужился до высокого офицерского чина, это тоже надо было суметь. Вот тебе и «Шёпот, робкое дыханье, трели соловья…».

Толстой, долго находившийся с ним в оживлённой дружеской переписке, однажды получил от Фета стихотворение, написанное на обороте хозяйственного бухгалтерского счёта, и был этим восхищён. Счёл такое одним из признаков истинного поэтического таланта…

Будучи ярым поклонником Шопенгауэра, Фет много лет его переводил. И вот читаю я как-то этого философа, тоже из любимых, и чувствую, что качество текста вдруг меняется, художественней становясь. Оказалось, что Фет это место перевёл. Тоже сочетание со стихотворством редчайшее.

* * *

Приходилось когда-то рецензировать рукописи — сложное это дело, ответственное, требующее некоей особенной честности и перед автором, и перед самим собой. Тут соврать — как перед Духом Святым соврать, грех большой…

Теперь, и очень давно уже, не рукописи оцениваю, а вещи опубликованные, и только для самого себя. И чувствую, что к прежней оценке главной: талантливо или бездарно, присоединилась ещё одна, не менее важная: полезно для души или вредно? Потому что лавина прямо-таки вредного на нас рушится многие уже годы, погребая души человеческие под собой. А вот душеполезное, светлое, доброе мелькает лишь изредка…

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…

Именно это Пушкин в «Памятнике» на первое место поставил, а уж он-то знал что почём…

* * *

Жил я давно в Москве, в Институте повышения квалификации врачей на курсах долгих учился. И как раз книга моя в издательстве «Молодая гвардия» вышла. Купил я её в магазине на Калининском проспекте, натолкал в сумку, сколько влезло. Вышел, закурил в сторонке от людей, на солнышке — хорошая была минута! И книга хорошая — тяжёленькая, толстенькая, в прекрасном переплёте. А тираж такой, какого теперь и во сне не увидишь, сто тысяч.

Что делать дальше, не медицине же учиться ехать? И поехал я в подмосковную Черноголовку к троюродному брату в гости. Родство далёкое, но по жизни мы были довольно близки, со школы ещё.

Поехал на такси, как богатый. День мартовский, солнечный, шофёр приёмник включил, и песня «Русское поле» по кабине тихонько разлилась. Совсем чудесно!

И вдруг, в состоянии таком размякшем, про брата подумал. Он-то тоже пишет упорно рассказы с юности, а напечатал всего один в коллективном сборнике. Хороший рассказ, по-настоящему хороший... Вот каково ему будет книгу мою такую увидеть? И стало мне так, что хоть назад поворачивай. И жалко его, и даже стыдно, словно перед ним в чем-то виноватый...

В конце концов подумал, что работает брат в Институте физики твёрдого тела Академии наук, работа, по его словам, творческая, и завидовать ему по большому счёту некому и нечему. А если и позавидует, то и это не беда. По мысли Пушкина: «Зависть — сестра соревнования и, значит, хорошего роду».

А та «минута» у магазина очень, конечно, была хороша! Только редки эти минуты и немного в нашей душевной жизни определяют. Другое определяет, простое, повседневное: работа, природа — погода, люди вокруг, такие разные, сочувствие или даже любовь, дрогнувшая вдруг в тебе по вполне незначительному, казалось бы, поводу...

* * *

Нередко случается: пристанет стишок, или строфа, или строчка даже и прокручивается в тебе снова и снова — день, неделю... Вот теперь из Заболоцкого всё повторяю:

> Крикнув бешеным вороном, весь дрожа, замолчит пулемёт.
> И тогда в моём сердце разорванном, голос твой запоёт.

(Иволги голос имеется в виду).

Или, недавно, чем-то глубинно похожее: из Мандельштама:

> Не кладите вы мне, не кладите остро ласковый лавр на виски,
> Лучше сердце моё разорвите вы — на синего звона, куски.

Трагические стихи и таинственные. И почему ко мне пристают, на это самое сердце ложатся? Бог весть. Пытаться понять только можно...

* * *

Был у нас в ракетном полку начальник штаба майор Сергеев, очень мне приятный — за юмор, за редкую в армейской среде естественность и свободу поведения. Служебные обязанности я выполнял нормально, а в остальном вёл себя довольно разгильдяйски, за что и получал от майора очередной «разнос».

Откричался он на этот раз, помолчал, а потом сказал вдруг задумчиво: «Не пойму, кто у нас тут служит — лейтенант Убогий или убогий лейтенант». Я засмеялся невольно, услышав такое, и он усмехнулся тоже. Тёплая такая случилась вдруг минута…

И ещё чем-то отдалённо похожее. Стою по вызову перед командиром дивизии генералом Вишенковым. Тут же и командир полка, и начштаба. Понимаю, что обо мне был у них разговор.

— Почему двух пуговиц на кителе нет? — спрашивает генерал, морщась.

Не нахожу, что ответить, плечами пожимаю.

— А если я на брюках ваших пуговицы прикажу срезать, как военнопленному?

— Я не военнопленный, товарищ генерал!

Мы встречаемся взглядом, и в глазах генерала такая усталость, такая брезгливость и презрение, что меня просто обжигает стыдом.

— Идите, даю вам последний звонок…

Следующего за «последним звонком» увольнения из армии, в которую я попал «добровольно-принудительно», мне как раз и надо было, но, разгильдяйство своё, я всё-таки прекратил. Взгляд генерала подействовал. Нельзя допускать, чтобы на тебя так смотрели…

* * *

Идёт подготовка к пуску по полной программе, лишь пуска самого не будет. Ночь, мороз под сорок, ракета и заправщики в свете прожекторов, громкая связь, приказы, ругань… Пар густой от гептила и серной кислоты в местах шланговых стыков, запах, такой уже знакомый, рабочий…

Сижу в кабине медицинского УАЗика чуть в стороне от ракеты, и всё происходящее представляется мне то реальностью, то сном. Вдруг дверца кабины резко откидывается, и в проёме красное, ошалелое лицо комсорга полка.

— Доктор, заметку напиши, а?!

— Какую заметку?

— В боевой листок, выпускаем срочно!

— Н е-е-т, — кручу я головой. — Этого мы не умеем…

— Позарез надо, хоть что-нибудь!

Молчу, и комсорг, разглядев что-то в моём лице, отчаянно машет рукой и убегает.

«Что за игры детские, — думаю я, ухмыляясь. — Листок, заметка…»

Да и вообще, армейская жизнь представляется мне громадной какой-то игрой, в которую играют взрослые люди, и я в том числе…

Игра-то игра, а в ту же ночь в соседнем полку разорвало на старте ракету. Хорошо ещё, что горючее уже слили, рванули лишь газы, и жертв поэтому не было. А дружок мой Слава Липкинд, тоже врач, благодарность за смелые и умелые действия получил…

* * *

Очень морозно и ветрено (редкое сочетание на Среднем Урале), иду под луной вдоль состава с танками незачехлёнными на платформах. Запах металла от танков, такой явственный на морозе, и так от него тревожно и напряжённо. И Твардовский вспоминает:

Как прохватывает ветер, как луна теплом бедна,
И как трудно всё на свете, служба, жизнь, зима, война…

Войны, к счастью, нет, а всё остальное, как у меня в эту минуту…

* * *

Из армии я всё-таки уволился. Очень уж несовместимой с моими литературными делами она оказалась. Видел потом приятелей по общему «призыву» на институтских встречах — подполковников и даже полковников. Все были довольны — служба ясная и простая, впереди хороший пенсион и не старые ещё годы. Что ж, кто любит арбуз, а кто арбузные корки, есть такая пословица. Писательство для меня ближе к «коркам» стоит: дело тёмное, зыбкое, одинокое, душу изматывающее. Но любимое…

* * *

Не по мне пришлась армейская служба, а вот психиатрическая больница, работа в ней многолетняя психиатром и психотерапевтом вполне оказалась впору.

И слышал, и читал, что некоторые, редкие, конечно, люди, впервые попав в монастырь, очень быстро понимают, чувствуют, что хотели бы здесь и остаться, и жить-быть. И монахи таких выделяют своим намётанным глазом. Рассказывала одна знакомая, что ей в монастыре так было и сказано: «Ты наша». Она согласилась искренне, но в монастырь всё-таки не ушла…

Вот и я, студентом ещё впервые попав в психиатрическую больницу, почувствовал, что именно здесь и хотел бы работать. Душу больным лечить, а не тело.

Современных эффективных лекарств тогда не было, и больные выглядели весьма живописно и вели себя весьма вольно. Мягко говоря.

Помню больного в мании, который, увидев нас, студентов, встал в кровати и начал, как на митинге, нечто вроде лозунгов выкрикивать. Кое-что запомнилось дословно: «У свободы крылья велики, но не сладят с ними дураки… На станцию Воронеж — второй пришёл эшелон лаптей! Дар напрасный, дар случайный, всё равно их носить не будут!»

Больной-то больной, а говорит остроумно, подумал я…

Никогда потом не жалел, что стал психиатром и психотерапевтом. Да и писательству это чем-то помогало, пожалуй, тайно, глубинно и косвенно…

Вообще говоря, психиатрия — интереснейшая и удивительнейшая область медицины, дававшая миру не только великих врачей, но и врачей-философов, таких, как Фрейд, Юнг, Адлер. Да и писатели ею нередко весьма интересовались — Толстой, Достоевский, Чехов…

* * *

Первая редакция, в которую я вошёл, уволившись из армии, была редакция журнала «Новый мир». Волновался, конечно, самого Твардовского можно было встретить и ещё многих, многих…

Уютно мне там показалось — деревянная лестница на второй этаж, старушка на диване, спросившая, кого мне надо, редактор Инна Борисова, сидевшая у настольной лампы с серым вязаным платком на плечах… В приоткрытую в соседнюю комнату дверь был виден такой же полумрак и человек, склонившейся над столом у настольной лампы. По стенам шкафы с толстенными папками, такие же папки на столе, на стуле в углу. И совершенно тихо, только страницы перелистываемой редактором рукописи шуршат.

Вот тогда я, второй раз в жизни, после посещения психиатрической больницы, почувствовал, что это всё — мой мир тоже. Здесь я хотел бы уж если не быть, то хотя бы бывать…

Редактор прочитала мой рассказ прямо при мне и оставила «для дальнейшего рассмотрения», пообещав сообщить о его судьбе. А судьбу его я сам узнал месяца через два, на лыжной прогулке в лесу от соседа — поздравил с рассказом в газете «Труд» и с премией за него. Мне это в первый момент показалось бредом, но всё совпадало: имя, фамилия и заголовок рассказа. А через час примерно я уже и газету в руках держал (предновогодний номер!) и рассказ свой читал — первую публикацию в жизни…

Спасибо Инне Борисовой, отчество, к сожалению, запамятовал, огромный какой она мне сделала подарок, да ещё к Новому году!

А потом жил я целых 15 лет в двух моих «параллейных» мирах — психиатрическом и литературном, с женой и любовницей, по-чеховски, если сказать…

Понятие же «мой мир», «мой человек», «мой поэт», «мой город»… так и осталось для меня на всю жизнь важнейшим. И нет больше, тяжелей и опасней ошибки, чем принять чужое за своё…

* * *

Посмотрел дом внука, почти уже готовый для жизни в нём. Ближний пригород, прекрасная природа и дом прекрасный, просторный, с «запасом» на рост семейства сделанный. Чудо-чудное, хоть снаружи, хоть внутри.

К концу осмотра, повосхищавшись искренне, и вслух, и молча, вдруг спросил себя: хотел бы я жить в таком вот доме? И вынужден был ответить — нет, не хотел бы. Самому странно, диковато даже это показалось, но потом понемногу и понимание пришло. Не по Сеньке шапка, если кратко это понимание выразить. Не привыкли мы, наше поколение, к таким домам,

а привыкли к домишкам, «углам», комнаткам, вмещавшим две кровати и тумбочку между ними. Родной мой дом-домишко, например, состоял из комнаты, кухни и коридора. А жили в нём то вдвоём с матушкой, то вчетвером, а одну зиму даже и вшестером. И никаких неприятных воспоминаний во мне эта теснота не оставила, даже ссор не припоминается. Наоборот, было что-то приятное в этой тесноте, душу греющее. И в общежитиях потом, в больших комнатах, буквально кроватями набитых, я совершенно от этого не страдал, воспринимая многолюдье как некий театр интереснейший. И сколько о людях узнал очень важного из-за этой тесноты!

Любопытно, что начав получать в 70-е годы квартиры при массовой хрущёвской застройке или собственные, основательные уже, строя дома, люди часто не могли «освоить» всю их жилплощадь, оставляя комнату, «залу», в парадно-нежилом виде. Вроде музейчика такого, напоказ, для гостей. Много раз такое видел. А ещё видел фотографию землянки семьи Гагариных в деревне под Гжатском. Всё там было сделано из брёвнышек и жердей довольно умело. И на Курщине моей после войны землянки не были редкостью. Принимала к себе, грела людей земля-матушка. И Юрий Гагарин сначала в домишко из землянки перебрался, а потом аж в космос залетел…

* * *

Ум и мудрость близко стоят, но всё-таки отдельно. Ум — аналитик и, встречая проблемы и задачи, решает их одну за другой, всё глубже в суть вещей проникает, не получая последнего, окончательного результата и ответа никогда. За каждой решённой задачей новая встаёт неизбежно. Дорога такая бесконечная получается, от простого к всё более и более сложному. Конус света это напоминает, теряющийся во мгле.

А у мудрости, которая близка к интуиции и почти сливается с ней, другой путь, какой-то обратный. Сложность проблемы и задачи надо стиснуть, как в горсти, и отжать до самой сути и простоты. Или иначе — уловить эту суть в глубине и извлечь на поверхность.

Работа ума может быть отслежена и понята, а работа мудрости и интуиции так и останется тайной. Тут сразу постигается и даётся ответ на вопрос, минуя промежуточные, «умственные», этапы.

Интуиция чаще проявляет себя в науке и искусстве, а мудрость — в делах человеческих: от житейски-обыденных, до социально-политических…

* * *

Снежное поле искрится под солнцем, в воздухе колкая смесь морозца и тепла, небесная синева такой силы и плотности, что её хочется потрогать. Впереди припорошенный снегом высокий и длинный стог, и я иду к нему на лыжах — постоять рядом, привалившись, отдохнуть.

Когда же подъехал, место затишное, солнечное выбрал, прислонился плечом, спиной к нему, глубоко передохнул, то как в хату нашу курскую вошёл, в запах её, соломенно-хлебный. Теперь расслабиться нужно так, словно ты не в поле, а в доме родном. Добрался наконец…

Дремать можно и с закрытыми глазами, в красноватой под веками теплоте, но и с открытыми тоже. Белое, искристое поле, неба синева, соснячок зелёный напротив неподалёку, солнце, греющее бережно и мягко, не мешают дремоте, а даже помогают ей. Раскрываешься как-то навстречу всему этому и в него понемногу уходишь, становишься им… В конце концов не только задремал, но, кажется, и заснул с открытыми глазами, ушёл-улетел куда-то далеко-далеко, со всем родным вокруг перемешался…

Очнулся оттого, что падать стал, еле ногу успел в сторону падения выставить. Осмотрелся очумело и какое-то мгновение не мог понять, что со мной и где я только что был? В краю каком-то райском?..

* * *

Четверть, примерно, калорий, которые мы вводим в себя с пищей, расходуется мозгом. Как возможно такое, если он, мозг наш, лежит себе спокойно в черепной коробке, работает сам в себе, никакими внешними, заметными действиями эту работу не проявляя. Да ещё и забирает на эту работу столько энергии — четверть от этого вот куска хлеба, этого вот куска мяса… Забирает и преображает её, энергию, в нечто умственное, душевное, духовное: в формулу, в стихотворение, в музыку, в молитву. В чувство любви, наконец, к Богу и человеку…

Наука, наверное, даёт какие-то ответы на этот вопрос, но мне как-то не очень хочется их и узнавать. Пусть это останется тайной и чудом. Чудом единства глубинного материи и духа…

* * *

На днях собралась вся наша большая семья за новогодним столом. Именно вся-вся, что редко бывает. Вот и хочется написать про всех, хотя бы кратко.

А началось 62 года назад с нашей с Ириной, для обоих первой, любви. Я даже повесть написал об этом, опубликованную, кстати, в «Нашем современнике»: «Ангелы на велосипедах». Ангелы — это мы как раз и есть, только ангельского в нас ничего уже, пожалуй, и не осталось, обросли грехами за такой-то срок. А любовь, как ни странно, цела, только изменилась сильно в лучшую, по-моему, сторону. Любовного эгоизма в ней теперь нет.

Главная черта характера Ирины — помощь и служение ближним — как была в ней с самого начала, так и осталась, разве что возросла. Пятьдесят почти лет служила она семье и пациентам как врач, а теперь только семье служит, если не считать случайных консультаций. Внешне за время нашей общей жизни изменилась мало, постарела разве что…

Сын наш Андрей — хирург и писатель. Или писатель и хирург, можно и так сказать. Как он находит время и силы для совмещения двух таких тяжёлых и серьёзных дел, для меня тайна. Да и для него самого, может быть…

Коллеги мы с ним и по делу врачебному, и по писательскому, а ещё и старые, близкие друзья. Хорошо, слов нет, но и трудновато — зона близости очень уж велика. Что ж, за всё приходится платить, даже и за это…

Самое лучшее для меня — посмотреть на сына, человека в годах, и вспомнить вдруг головастого, серьёзного мальчика лет девяти: то «дядю Баха», лёжа рядом на диване, слушаем, то суслика из трехлитровой банки на волю на тимской нашей горе выпускаем…

Было время, когда Андрей писал ранними утрами в соседней комнате. Проснусь, увижу полоску света под дверью, и так мне сделается спокойно и надёжно: «Солдат спит, а служба идёт». Да и засну опять…

Внук Дмитрий. Мужчина во цвете лет, если сказать по-старинному. Учился на хирурга, учитывая интернатуру и ординатуру, девять(!) лет. С учёбой работу массажистом много лет совмещал, последнее место такой работы — московский фитнес-клуб «Марк Аврелий». Интересно, многие ли члены клуба знали, что это за «Марк» такой?

Есть у нас птица деревянная, под потолком на нитке висящая. Маленький Дмитрий любил, сидя у меня на руках, «гонять» её, как мы с ним говорили. Он дул изо всех сил, а она при этом качалась и кружилась, к нашему общему удовольствию. Как-то сидим с ним недавно, я птицу эту взглядом зацепил и подумал, что теперь впору ему меня поднять, да к птице и поднести. Я бы и подул с удовольствием…

Как-то жена Дмитрия Соня сказала мне, что он по натуре трудоголик. Тревожно так сказала. Я согласился с этим, утешил её, как мог. Да, весь он во врачебной своей работе по уши, и это хороший способ жизнь прожить. И людям нужный, и Богу угодный…

Внучка Дарья вслед за братцем по жизни идёт, на вторую половину учёбы в Смоленской медицинской академии перевалила недавно. И тоже массажистом попутно стала, только работает пока медсестрой, дежурит по ночам в больнице. Учится так усердно и успешно, что я даже придерживать её в этом пытаюсь, хотя в душе доволен. За что же ещё и держаться в жизни, как не за работу, которая и интересна, и нужна.

Славная она девица, видная собой, как говорится. Настоящая русская краса!

А ведь не так и давно и в садик, и в школу мы с ней вдвоём ходили, и птицу нашу «гоняли» с азартом…

Невестка Елена, жена сына, из классической рабочей семьи, о чём догадаться трудно, потому что и выглядит, и держится, и говорит она так, словно в пансионе для благородных девиц обучалась. Педагог, мастерица на все руки. В прошлом мастер спорта по акробатике, «верховая», что особенно опасно. Холодновата по натуре, но меняется неузнаваемо, «тает» прямо-таки, когда внучку Анюту на руки берёт…

Невестка Соня, внука жена, эколог и великая любительница лошадей, как, кстати, и Дима. Даже на ипподроме бывает, где за чистку лошади (это тоже удовольствие) на ней же и поездить разрешают.

В Соне столько света и тепла, что на всех нас хватает и даже остаётся. Первое для неё дело — человека обнять. Кажется, дай ей волю, она бы и на улице всех подряд обнимала…

Анюта, дочь, в этом чем-то её напоминает — наберёт игрушек полные руки, а потом бродит по квартире и всем их раздаёт…

С правнучкой Анютой мы встречаемся каждую неделю, и меня неизменно удивляет перемена, «прибавка», которая возникает в ней за такой короткий срок. И вдруг думаю — а у меня «убавка», может быть, такая же? Что ж, хорошо, если так, для общего равновесия и гармонии жизни…

На этот Новый год подарили мне фотографию, Дмитрием сделанную, одну из самых главных теперь для меня вообще. Сидим мы в обнимку с Анютой, и такое блаженство на лицах обоих, райское прямо-таки!

* * *

Отстоял с сыном и внучкой пасхальную службу долгую. Оно и трудновато, оно и хорошо, этим как раз. Не только помолиться, но и потрудиться надо для Господа. Молитвенный труд, так именно.

Были моменты удивительные, когда чувствовал себя не снаружи, а внутри службы, словно на корабль некий выходил и плыл на нём вместе со всеми в какую-то влекущую, нужную, душу оживляющую сторону. Туда, где Благо Божье, плыл, так казалось. Потом такое вдруг обрывалось почему-то, и надо было усилием души вновь на этот невидимый корабль попадать и плыть на нём как можно дольше…

* * *

Тоска… То тоска быта, то тоска Бытия. Нет числа видам её и оттенкам, но есть всегда и общее — нехватка чего-то трудноопределимого, но важнейшего.

А ещё есть иногда в ней, тоске, сильнейший посыл к работе. Вогнать её в усилие рабочее надо, и тем, хотя бы на время, приглушить. Пусть она мотором или, точнее, горючим для мотора рабочего, послужит. Много хорошего с её посылок и на её энергии было создано людьми. Даже и творческого в том числе…

Владимир Набоков так о тоске написал: «На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объективной причины». А причина-то есть всегда, только прикрыта морокой повседневной бывает. Богооставленность это. Тоска Богооставленности, так скажем. То ли человек от Бога отвернулся, то ли Бог от человека — и вот она, тоска! Высший смысл всего сущего теряется, связи между предметами и явлениями рвутся, и всё заваливается в кучу ничтожного и случайного мусора. И вокруг человека, и в душе его. Вот это и есть главная причина и «портрет» тоски. Средство же против неё, кроме работы, и самое главное — молитва, связь человека с Богом восстанавливающая.

* * *

Много земли пришлось на долгом уже веку перекопать — и садово-огородной, и строительной, и иной. Люблю это занятие смиренное, а началась любовь с длиннейшей канавы, которую я в 15 лет на нашем поселковом

кирпичном заводе выкопал. Очень уж хотелось часы «Победа» купить, вот и подрядился. Оплаты как раз на покупку и хватило, а представление о том, как приду осенью в школу «при часах», весьма к этому делу подталкивало.

Канаве моей предполагалось быть в сторонке от завода, и это меня обрадовало, потому что сам завод показался настоящим маленьким адом, только в печи сажали не грешников, а кирпич-сырец, который раскалялся там до алости, почти прозрачной. Работали у печей одни женщины, и это совсем уж поразило — и дома они при них, и здесь, значит, тоже…

Копать огород было делом привычным, и на что-то похожее я рассчитывал и тут, но сильно промахнулся — после тонкого слоя чернозёма и песка пошла матёрая глина такой твёрдости, что лопата её почти не брала — только жалобно дребезжала, отколупывая лишь маленькие кусочки глины. Посидел я, подумал, да и пошёл на завод лом добывать.

Лом мне дали, а вдобавок ещё и рукавицы брезентовые. Спасибо тому мужичку щупленькому, который молча мне их сунул! Вот вспомнил это сейчас, и такую живейшую благодарность к нему вдруг почувствовал! Как-то он жизнь прожил, такой догадливый и добрый, и где лежит теперь, в какой земле-глине? Да в той же самой, которую я и копал, скорей всего, кладбище наше поселковое неподалёку от завода было…

Канаву я копал почти месяц, да так и не докопал — школа начиналась. А денег, странно, получил даже больше, чем рассчитывал. Часы «Победа» купил и пощеголял ими всласть, пока на стадионе из кармана сброшенных перед бегом штанов их не вытащили… Ну это уже другая история, а вот про канаву мне главное хочется сказать — полюбил я её к середине работы. Проснулся как-то утром и чувствую — радостно на душе, не весть почему. И понял вдруг причину с изумлением — сейчас позавтракаю и канаву свою копать пойду! Я как-то себе даже и не поверил, но подобное повторилось опять и опять. Полюбил, хоть никому об этом не рассказывал — засмеют…

А ведь работа весьма тяжёлая для подростка. Особенно с ломом, с глиной: нарубишь с натугой кучку её, отдохнёшь немного и за лопату — нарубленное выбрасывать, да подальше, чтоб назад не осыпалось. И снова всё повторяется, и опять. А солнце палит во всю, а ладони саднят распухшие, хоть и в рукавицах. Если же отдых подольше, с лежанием в тенёчке, то еле-еле встаёшь потом: такая в теле слабость и ломота… И всё это вместе было так трудно, и так странно хорошо!

С годами, копая землю снова и снова, я догадался таки о главной причине своей так внезапно возникшей любви. Она проста и состоит из сочетания физического усилия, всегда почти мне приятного, с пустотой в голове. То есть не полной пустотой, а возможностью свободно думать, о чём только хочешь. Хочешь об однокласснице какой-нибудь, думай, хочешь, прекрасное будущее себе сочиняй или даже стихи. И работа простая с землёй здесь не только не помеха, а помощь, мысли и картинки воображения растормаживает и подгоняет.

Вот и мог бы я в конце концов стать землекопом, грабарем по-старинному. Может, оно б и неплохо было, только вот вымерла эта профессия почти. Лишь бригады землекопов из Средней Азии появляются у нас порой,

и канавы под фундаменты получаются у них, как нарисованные, глаз не оторвать. Посмотришь, да и вспомнишь ту, мою любимую, послевоенную, похожую по небрежности на солдатский окоп…

* * *

А ещё с детства любил бег, воспринимал его таким же простым, естественным, почти незаметным делом, как и ходьба. Если надо было приятеля навестить, в магазин за хлебом заглянуть, до пруда добраться, то я, не задумываясь, туда и бежал. Рождён, похоже, был для бега, как рождаются для него борзые собаки или лошади.

Потом был долгий период спорта, и тут я тоже, конечно, бегал и даже некоторых успехов достиг. Думаю, если б всерьёз этим занялся, мог бы, пожалуй, и чемпионом каким-нибудь стать.

Когда же спорт кончился, продолжал регулярно бегать, «для себя», что называется. Больше пятидесяти лет бегал, и это была одна из важных радостей и опор в жизни. А если с сыном Андреем бежать приходилось (жаль, не часто), то и совсем уж был полный восторг.

Вот, к примеру, одна такая пробежка летом в нашем родном Тиму перед обедом. Погода самая любимая — зной с сильным ветром.

Тим высоко стоит, даже с крепостью Измаил в песне про него, про Тим, сравнивается. Большая заваруха тут в войну была…

Бежим понизу — с одной стороны гора, с другой речка Тим. А в промежутке длиннейшая, прихотливо изогнутая, сельская улица. Всё тут на виду — и домишки, и дворы, и сады-огороды и живность всякая-разная. То кур, купающихся в дорожной пыли, потревожим, то гусей, недовольно шипящих, оттесним в сторону. То мужичка встречного заинтересуем, и он крикнет вслед: «Динаму к ногам привязывать надо!» Догадываюсь, что это он из Райкина, из передачи недавней телевизионной нам выдал…

Андрей уже студент, да ещё и бегун-средневик хороший, и мне трудновато вровень с ним бежать. А не так и давно, когда мы только начинали совместные наши пробежки, всё наоборот было…

Дважды останавливаемся на минутку ополоснуться и глоток ледяной, чуть сладковатой воды сделать. Сначала у колодца с низким, над самой землёй, срубом. От него не то что уйти, взгляд оторвать трудно — так прекрасен он, с его брёвнами во мху изумрудном, с дном песчаным и шевелящимся, живым словно бы от множества фонтанчиков-родничков. Потом у водокачки задержимся, дивно заброшенной, с милым плесиком водозабора. Он мелок, с прозрачной, до невидимости почти водой и весь пестрит, сверкает россыпью разноцветных, мелких камешков на дне…

Дорога знакома до мелочей и воспоминаний вызывает так много, что даже бегу мешает, притормаживает. А то вдруг и мысль по поводу оставленной на столе работы мелькнёт дельная, хоть записывай. Одно время я даже хотел блокнотик и карандаш с собой брать, но так и не собрался — лишнее что-то в этом было и даже неприятное. Да и сам бег это испортило бы, самостоятельность и целомудренность его нарушив…

Деревня кончилась, и впереди высоченный, лобастый холм-курган показался, цель нашей пробежки всей. Взбежали на него с трудом, с натугой и ложимся-падаем на вершине. Земли здесь никогда не пахали, и растёт на ней почти один полынок низенький, серебристый и ершистый. Запах от него, особенно на горячем ветру, лучший, пожалуй, в мире — горечи и сладости смесь. Запах жизни самой. А земля не тронута вековечно и так тверда, что если сильно ударить по ней молотом, то загудит, как колокол, весь курган. Так чудится…

Потом прочитаю, что как раз по этим местам, по-над речкой нашей, которая местами внизу просвечивает сквозь приречную урему, проходил когда-то Муравский шлях, путь татар и ногайцев, на Москву. А не так и далеко отсюда, у села Красная Поляна, где я родился, битва с татарами и ногайцами была ожесточённая и кровавая в 1709 году. Красно-Полянская битва, которую местные краеведы с Полтавской сравнивают. Преувеличение, скорей всего, но всё равно приятно сознавать, что вокруг не только Родина, но и история её давняя и не очень, потому что кусочки мельчайшие Курской битвы в Великую нашу войну, я помню до сих пор…

Домой возвращаемся медленно, неся в себе ощущение, что мы не просто пробежались по родной земле, но и обнялись с ней…

* * *

«Бог есть любовь» — центр и основа христианства. Если так, то смысла жизни и искать нечего — он именно и состоит в увеличении любви и приближении этим к Богу. Сколько в тебе любви, настолько ты к нему и близок…

* * *

Иногда засмотришься на что-нибудь: облако, дерево, цветок одинокий, и словно бы уходишь не только в это конкретное, но и в мир вообще. И не думаешь в таком состоянии ни о чём, и думаешь как-то обо всём сразу. И хорошо тебе, легко, самозабвенно, ни времени нет, ни пространства, выпал из этого во что-то блаженное, настоящее только лишь… А выходишь из него то ли усилием собственным, то ли через толчок внешний. И укол сожаления, потери всегда при этом — ведь почти в раю побывал, не шутка…

* * *

Сидел как-то на лавке в сквере и вижу — девочка лет десяти, вся в белом, на роликовых коньках катит. Чудесная такая девочка, стройная, лёгкая и катит чудесно. Мелькнула мимо, как ангел, и скрылась за поворотом аллеи. Сижу, жду со странным интересом и даже нетерпением, когда, сделав круг, она вновь появится. А она — и вот она со всем её ангельским видом… Мелькнула, а вслед, почудилось, пацан мелькнул из времён давних-давних. В сером ватнике, в валенках с привязанными коньками, в чёрной ушанке, уши которой смешно болтаются на бегу. Мелькнул и исчез, а белая девочка всё ехала и ехала до своего правого поворота. Вот скрылась за ним, и я с лавки встал, пожелав ей во всём удачи…

Пётр Катериничев

Пётр Владимирович Катериничев родился в 1960 году в Калуге. Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического института им. К.. Э. Циолковского и Литературный институт им. М. Горького. Начинал литературную деятельность как поэт, писал песни на свои стихи. Автор многих военно-патриотических романов о борьбе с бандитизмом и расхищением достояния России, а также сценариев и пьес. По его роману «Охота на медведя» поставлен полнометражный художественный фильм «Медвежья охота». Рассказы и повести публиковались в журналах «Смена» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Радуга» (Киев). В настоящее время работает в КГУ им. К. Э. Циолковского.

ЧЕЛОВЕК ПО СУТИ СВОЕЙ — ЖИВОЙ

* * *

Безжалостней любви — лишь только смерть.
Когда тебя не любят — жизнь нелепа,
И катится с истошностью вертепа
Повозки истеричной круговерть.
Беспамятство лишь сладостно. Но вдруг —
И сон прервётся. Блёклый пир вокруг —
И жить — не то чтоб неохота, нет.
Жить — некуда.
Повсюду грязный свет.
И держит только то, что любишь ты —
Детей, деревья, море, долы, травы,
Когда душа замрёт до немоты,
На миг забыв, что дни пусты, лукавы,
Полны лихой, больной и тщетной славы,
Когда покоя нет, и — счастье — тлен…
Тогда приходит время перемен —
Смерть временна. И жизнь — дарует Слово.
И жизнь тихонько прорастает снова.

* * *

И осень вот как-то нелепо упала —
Как рубль на ребро,
И прошлое в проруби бредит устало,
И блещет ведро,
И щука шептала, да только ни звука —
Так рыба, что взять?..
И бродит в потёмках побитая скука,
Устала искать —
Щенков утонувших, атлантов уснувших,
Небесный ковчег,
И в сумерках луж в облаках промелькнувший —
Серебряный век.

Санскрит

1

Потерял ключи, и — хожу насквозь
через бездны, стены и города.
Мы частенько с любовью дышим врозь.
На полях стихи зреют вкривь и вкось
и — нетрезво брататься лезет беда.
На неё — аркан и витая плеть —
пусть тоску в победу преобразит!…
Оглянулся. Вокруг лишь нагая клеть
беспощадной болью забвенья грозит —
под закатным солнцем сгореть.
Солнце может согреть на краю земли —
средь камней, откуда никто не ушёл,
у закраины дней, по седой пыли,
там, где вечность давно в закон возвели —
и где правит пустошью чёрный могол…
Иль уже ни к чему бежать за лучом?
Раз живём — вполвздоха, да впопыхах!
Заедаем водку чёрным грачом —
завиваем горе петлёй впотьмах,
разговоры о том и о сём — о снах.

2

Наступает осенняя сука-ночь —
и сидишь один на исходе дел —
и гулять нет сил, и уснуть невмочь…
И рассвета ждёшь, воздух чёрно-бел…
Ночь прожил? Или — жизнь проглядел?

Над полями стихов — ворьё вороньём,
да нетрезво брататься лезет беда —
проживу один, коль нельзя вдвоём.
Ключевой водой ясный водоём —
манит ласково в ризу города —
там малинов звон золотых церквей,
там молитвою дышат и Чудь, и Русь!
Вольно бьют ключи — так иди насквозь,
я тебя вести не берусь…
Веры мало. Боюсь — захлебнусь…
Оглянулся. Вокруг лишь пустая клеть
беспощадною болью забвенья грозит
и забавит сказкой о том, как стареть
под закатным солнцем. Сгореть и согреть.
Говорят, так учит санскрит.

* * *

Порой говорят, что главное в жизни — вовремя сдохнуть;
от лет, отлетевших листвою жжёной, не глохнуть,
не маяться по отчизне, не выть на вчерашней тризне,
по жёлтой трясине пожухлым бельём не сохнуть —
водку глушить в харизме и в укоризне,
чтобы чертям было тошно, чтобы вздохнуть — не охнуть!
Порой говорят, что главное в жизни — побольше хапнуть;
набрать, наварить, навернуть, нахрячить, набрякнуть
тяжёлым почти золотым и свинцовым спудом,
рухлядью ценной — куниц, барсуков, изумрудов,
чтобы иудам в зависти биться — взвейтесь петлёю
синие ночи, чёрные бездны над красной зарёю!
А некоторые говорят — как просто пойти по тени,
вниз, в пламя и в холод глубин, где чётки ступени,
где звук шагов так выверен, шорох — жуток,
где время меряет каждый миг несбывшихся суток
болью и казнью, эхом, вязнущим в стонах
бледных убийц, в очах воспалённых и жжёных…
Порой говорят, что в жизни главное — вовремя выжить:
тихо княжить за книгами под тростниковой крышей,
чувства людей разуметь, мыслью стремиться в бездну,
и — застывать на краюшке, с полным огнём Небесным
сердцем. В бездне раскаянья, в таинстве сна и слуха
чувствовать руку Бога Отца, и Сына, и Духа.

* * *

Человек по сути своей — живой,
И потому — часто он грустен и безутешен горько,
И потому — противен ему вековой конвой,
И дней уходящих стук — пустой и немой,
Какими шёл он,— пьяно, черно, нестойко,
То — очарован плетеньем словес мудрецов,
То — смехом девчонок, их милой, юной бравадой,
То — пил и пел — в окруженье льстецов и лжецов,
И мир казался своим, он был — молодой и богатый
И — полный лета и радости. Только рогатый
Вежливый зверь стучал копытцами где-то за дверцей, рядом.
Он услужить тебе рад был и строил парадом —
То бутылочек звонкую гвардию, то — девиц неглиже
И ты уже пьян и доволен, и ты — чертишь уже
На крохе листа кровью,— порезал о скол бокала —
Подпись. И — всё. И жизнь, словно сон — пропала –
И ты сидишь в комнате — старый, угрюмый, серый,
И пахнет затхлою гнилью, ветошью, ватой, серой,
И рвёшься на свет, а света нет — пепелище,
И только бывший халдей в наклеенной бородище —
С собою манит до церкви — прикинуться нищим.
А ведь всего-то нужно немного бессмертья — ты только поверь!
Ведь человек по природе не вепрь, не зверь,
Ему не нужен конвой,
Человек ведь по сути — Божий,
А значит — живой!

Владимир Николаевич Кормильцев родился в 1958 году, калужанин. Окончил Московский государственный институт культуры. Занимается фотографией, видеосъёмкой, журналистикой, работает обозревателем газеты «ВЕСТЬ». Стихи и прозу пишет со студенческих лет. Произведения публиковались в местной периодической печати, на страницах литературно-художественного журнала «Траектория творчества», в литературно-художественном альманахе «Сорок сороков», журнале «Шишкин лес», сборнике «Радуга мечты», литературно-художественных альманахах «Пробуждение», «Арктида», «Искры юмора и смеха».

ЗЁРНА МАЛЫЕ СЛОВ

Атлантида

Незнакомы друг другу, чужие и разные с виду —
Все, наверно, мы родом из странной страны — Атлантиды.
Разбрелись по земле, на её затерялись просторе,
Только манит, как память, всё время к себе берег моря…
Всё, что было нам дорого, близко, что сердце любило —
В глубине своей сумрачной море холодное скрыло.
Оттого-то мы, пряча от всех, тайно носим с собою,
Те осколки, что вынесли к берегу волны прибоя.
Те кусочки, что в тёмных глубинах лежат в беспорядке —
Фотокарточки ломкие, старые письма, тетрадки,
Артефакты минувшего, как подтвержденье живое,
Что была Атлантида, была! Просто времени смыта волною.
Время немилосердное, что же ты делаешь с нами…
Ты губительнее, чем трясенье земли, чем цунами.
Все повержены будут тобой, даже кто до конца не сдаётся —
Навсегда в Атлантиду уйдёт. Ну а что на земле остаётся?
Остаются закаты над морем, что в небе бесследно сгорают,
И следы на песке — те, которые волны лениво стирают,
Да ещё — быстрый росчерк крыла белой чайки, свободно летящей
В мир невидимый, где наше прошлое было ещё настоящим.

Недостроенный небоскрёб

Недостроенный небоскрёб
Небо серое не поскрёб.
Вырос он, неукрытый крышей,
Не до неба, а чуть пониже —
До конца недовозведённый,
Неизвестно зачем рождённый
Разрастающейся Москвой
За дорогою кольцевой.
Он стоит, без дверей, без окон,
В запустенье грязном, убогом,
За чертою МКАД, за границей,
Сирота при живой столице.
Отдан ветру, дождям и стужам —
Больше он никому не нужен.
Обживают, крича, вороны
Башню нового Вавилона.
И горланит вороний хор
С высоты её: «Nevermore!..»

Собачий бог

Собачий бог разумен и двуног,
И так же всемогущ, как человечий.
Ему бы пёс молился, если б мог
Способности иметь к словесной речи.
Но только лаять, выть или скулить
Умеет пёс с печальными глазами,
И с ним нечасто хочет говорить
Его великий бог, его хозяин.
Бог, как всегда, прокурен и небрит,
Спиртным частенько пахнет перегаром,
Судьбою не обласкан, жизнью бит,
Суровым с виду кажется и старым.
Но пёс в него пожизненно влюблён!
Пинки, и ругань, и пустую миску
Хозяину легко прощает он,
Обид не принимая к сердцу близко.
Собачье сердце… Как тебя понять?
Откуда у приручённого зверя
Желанье — людям все грехи прощать,
В их милосердие и мудрость веря?
Загадка в глубине собачьих глаз.
Но, как бы ни был этот взгляд тревожен,
Пока ещё собаки верят в нас —
Род человеческий не безнадёжен!

Сон князя Игоря

Догорают ночные костры половецкого стана.
Улеглась над дорогою пыль от коней степняков.
Игорь спит — и не спит. Для побега ещё слишком рано,
И до Русской земли, что лежит за холмом, далеко.
Ты в плену, но не сломлен. Душой ты, как прежде, отважен,
И уверен, что сможешь вернуть славу русских знамён.
Что ж не спится тебе в эту ночь и что видится, княже,
В этом сне-полусне, что чуднее, чем явь или сон?
Может, видишь ты битвы грядущие, орды чужие,
Что с огнём и железом пройдут по просторам страны…
Или снится тебе, как мучительно рвётся на части Россия
В мутном мороке новой, далёкой гражданской войны?
Всё опять повторится, как ныне — и горе, и слава.
Снова сгинут в полоне герои, Отчизны сыны.
И, покуда в боях и в труде будет крепнуть держава —
Ярославнам рыдать у высокой тюремной стены.
Всё ещё повторится. И снова пойдёт брат на брата.
Будут горькими воды, и ясное солнце — черно.
Всё, что снилось, что грезилось, всё, что страшило когда-то —
Наяву воплотится, коль это Судьбой суждено.
Игорь спит, Игорь бдит. Знает он — на рассвете растают
Те сомненья, что были навеяны тьмою ночной.
Всё решит новый день, тот, который, конечно, настанет:
Завтра, иль — через век, или позже, в России иной.
Верь же, князь: не напрасно погибли друзья боевые.
Для грядущих великих побед сделал ты всё, что мог.
Не суди себя всуе — на это есть судьи иные.
Всех рассудит народ, и народное Слово, которое — Бог.

Собираю поэтов

Собираю поэтов. Не дома за круглым столом:
Что мой дом, и — кто я для высоких служителей Слова!
Собираю их тайно, чтоб с чьим-то заветным стихом
Незаметно от автора как-нибудь встретиться снова.
Собираю их строчки. Азартно тащу в закрома
Горсти четверостиший, верлибры, сонеты, поэмы,
Чтоб потом разобрать, где — лукавые игры ума,
Где — живые плоды размышлений на вечные темы.
Собираю их судьбы, привычки, поступки, слова,
В прозе жизни пропавшие без вести и без ответа.
Потому что не только искусные рифм кружева
Есть творение рук и наследье любого поэта.
Собираю их всех — словно травник, блуждая в полях,
Осторожной рукою срывающий стебли растений.
Чтобы, в память запав, и в моих прорастали стихах
Зёрна малые слов из собрания их сочинений!

Татьяна Бессонова

Татьяна Феликсовна Бессонова родилась в 1971 году в Калуге. Училась в Московском государственном университете культуры и в Литературном институте им. М. Горького. Главный хранитель фондов Калужского объединённого музея-заповедника. Автор исторических повестей, публиковавшихся как в литературно-художественных журналах и сборниках, так и отдельными изданиями. Лауреат литературной премии «Отчий дом» им. И. В. и П. В. Киреевских. Член Союза писателей России.

ЗАМОК ТУМАНОВ

«В лето 7020 прииде в другие из Казани на Москву царица Норсалтана Крымскаго царя Минлигиреева Темирева дочь. И князь великий сретил ея честно»… И тут вдруг электрический свет погас.

— Мотька, что случилось? — недовольно крикнул Багреев.

— Знать не знаю, барин, — отозвался Мотька, внося в комнату зажжённую свечу.

— Так пойди узнай.

— В темень-то? — ужаснулся Мотька. — Нипочём не пойду.

В свете золотого язычка глаза слуги-подростка казались ещё больше и испуганнее. Багреев сжалился над ним и отложил книгу:

— Ладно, сам схожу. Давай свечу.

Но Мотька не хотел расставаться с успокоительным огоньком.

— Другую себе зажги, — с усмешкой бросил барин, поднялся, лишил Мотьку света и направился в переднюю.

Во тьме, нарушаемой дрожащим пламенем свечи, квартира казалась забавной: стеклянные и эмалевые поверхности поблёскивали, а мебель словно выросла и приплясывала в такт огоньку. Багреев щёлкнул замком, распахнул дверь на лестницу и вдруг в полушаге от себя увидел незнакомое женское лицо. Тонкие, красиво очерченные губы резко выделялись на нём, глаза блестели отражённым светом. От неожиданности оба вздрогнули.

— Вас-то мне и надо! — воскликнула незнакомка и отвела руку, поднятую, чтобы стукнуть в дверь.

— Меня? — удивился Багреев.

— Совершенно ничего не видно. Я хотела огня спросить, чтобы спуститься.

Лестничные окна, выходившие во двор-колодец, в этот поздний час и в самом деле давали очень мало света.

— Я провожу вас, — любезно предложил Багреев.

Спускаясь, оба не проронили ни слова, — так были они поглощены старанием не пропустить каждую следующую ступень. А заботясь о пламени свечи, даже дышали как можно аккуратнее. Тем не менее Багреев уловил, что к запаху расплавленного воска примешивается аромат жасмина.

Как только дверь подъезда отворилась, ветер бесцеремонно задул огонёк. Но это была небольшая потеря, поскольку на улице горели фонари. Они позволили Багрееву отчётливее рассмотреть незнакомку, её жакет зелёного сукна с золотистой вышивкой и такую же зелёную юбку. Боа-шарф из пушистой чернобурки оборачивал шею дамы и через плечо свисал ниже талии. Из-под широких полей чёрной шляпы виднелись только губы цвета спелой вишни.

— Благодарю, — дама взглянула на провожатого, снова открывая ему нежный овал бледного молодого лица, большие, обведённые чёрными тенями глаза и прямой нос.

«Царица Казанская», — любуясь, отметил про себя Багреев.

А та, в свою очередь, едва ли не ещё более пристально глядела на него. Потом произнесла со значением:

— У вашей двери свет вдруг погас.

— Думаете, это я виноват? — засмеялся Багреев.

Она ещё более значительно промолчала и повернулась к Багрееву спиной, намереваясь сесть в ждавший у подъезда экипаж. Багреев опять удивился: дама из порядочного общества никогда не вышла бы вечером на улицу одна, а незнакомка производила весьма благоприятное впечатление.

— Прощайте, — произнёс он, поддерживая даму под локоть, пока та садилась.

— Кажется, следует сказать: до свидания… — задумчиво, скорее себе, чем Багрееву, проговорила незнакомка и велела кучеру трогать.

Багреев взглядом проводил её. Потом вернулся в дом, поднялся на второй этаж и только у своей двери заметил, что лестница уже освещена. В квартире тоже приветливо горели лампы. Мотька, сидя в передней, спокойно мурлыкал себе под нос и чистил щёткой хозяйское пальто.

Багреев прошёл в комнату, оставил на столе ненужный теперь свечной огарок, сел на диван и снова взял в руки «Летописец»: «…и отпустил царицу князь великий в Крым»… Перед мысленным взором тут же возникли черты незнакомки, и приятно щекотнуло внутри от её «до свидания». Багреев улыбнулся и углубился в события 7020 лета от сотворения мира.

По воскресеньям, после литургии, посещение которой в семействе Багреева было строго обязательным, родители в своём петербургском доме на Захарьевской улице устраивали званые завтраки. Являться на них считалось вторым обязательным делом воскресного дня для Багреева и четырёх старших братьев и сестёр с их семьями. Но вот уже более месяца родители находились в отъезде — отец лечился от ревматизма в Ааахене, — так что

очередное воскресное утро оказалось свободным от семейных встреч. Вернувшись из Преображенского собора, Багреев думал, чем бы заняться, когда раздался звон дверного колокольчика, и Мотька торжественно возвестил:

— Артемий Васильевич Савин.

В комнату вошёл молодой человек в новеньком вестоне из пушистого синего сукна и в чёрных башмаках с рыжим верхом.

— Каким ветром? Давно из Москвы? — обрадовался Багреев, крепко пожимая руку своему университетскому приятелю, который по окончании физико-математического факультета переселился в первопрестольную.

Сам Багреев учился на другом факультете, историко-филологическом, и с Савиным свёл знакомство случайно: однажды в университетской столовой они оказались рядом за столом и весь обед соревновались в остроумии, оценивая вкусовые качества блюд. Так и сдружились.

— Во вторник почтовым приехал, — ответил Савин, садясь на подставленный Мотькой стул. — Пришлось по делам… А ты не очень-то роскошествуешь. — Савин оглядел стены в полосатых обоях, пузатый буфет, бамбуковые стулья, кожаный диван и лампу со стеклянным абажуром.

— А зачем, когда я тут один? — улыбнулся Багреев.

— Один. Понятно, — деловито отметил гость. — Где служишь? Там же, в Сенате?

— В Герольдии. Старшим секретарём.

— А чин каков?

— Титулярный советник.

— И сколько жалованья получаешь?

Багреев рассмеялся:

— Ты что допрашиваешь, как в суде?

— Хочу всё знать про тебя, — ответил Савин.

— Жалованье — сто семьдесят пять рублей, — уступил и отрапортовал Багреев: — Других доходов нет. На жизнь хватает. Держу слугу. Хозяйство веду сам. Квартиру нанимаю, в три комнаты, в доходном доме, как видишь. Всё?

— И нравится тебе в генеалогиях копаться? — нашёлся Савин.

— Нравится. Хотя… Даже приятные обязанности всегда, знаешь, отдают принуждением.

— Вот он, вольный-то студент! Не изменился, — просиял Савин. — Хоть и двадцать девять уже. Верно я лета твои счёл?

— Что считать, когда тебе самому столько же, — ещё больше развеселился Багреев.

— Мне в прошлом месяце тридцать исполнилось, — уточнил Савин.

— Прими поздравления! Как ты-то живёшь, рассказывай. Написал, что женишься, потом как в воду канул.

— Расскажу непременно, — пообещал Савин, — только вот… — Он помедлил немного, и улыбка сошла с его губ. — Помнишь, я тебе сказывал?.. Давно, ещё в студентах… Семья моя воспитывала девочку, дочку друзей. Они ещё утонули. Помнишь? Она сбежала, когда мы последний экзамен держали.

— Помню, — кивнул Багреев.

Подробности, конечно, растворились во времени, поскольку ни родителей Савина, живших в Луге, ни тем более сбежавшую девочку Багреев не знал, но то, что приятель переживал какую-то неприятность, помнил.

— Так вот, нашлась! — с досадой сообщил Савин. — Дядя мне отписал. Видел её здесь, в Петербурге. С какими-то декадентами, что ли? И адрес узнал, где живёт. Посмотри, пожалуйста.

Савин вынул из кармана и протянул другу письмо. Багреев принялся разбирать дядины каракули.

— «В стороне от Выборгской дороги»? — вычленял он «адрес», — «за деревней Коломяги, где Каменка впадает в Финский залив»? Это в сторону Лахты? — Последний вопрос Багреев задал Савину, отрываясь от чтения, но тот только руками развёл и беспомощно спросил:

— Ты представляешь себе, где это?

— Очень смутно, — ответил Багреев. — А поточней узнать, как место называется, нельзя?

Савин пожал плечами:

— Никто толком не знает. Будь другом, давай вместе поищем, — жалобно попросил он.

— Так ты поэтому явился ещё до полудня? — догадался Багреев.

— Я надеялся, что ты со мной поедешь, — чистосердечно признался Савин. — Уже и лихача нанял. А по дороге я всё про себя расскажу. Поехали, а?

— Да удобно ли нам будет явиться в незнакомый дом? — засомневался Багреев.

— Удобно. С декадентами всё удобно, — успокоил его друг. — Мне ведь только поглядеть на неё да написать родителям. Ведь в беспокойстве уж который год живут.

— Изволь, едем, — великодушно согласился Багреев.

Савин вышел в прихожую, где к его костюму прибавились коричневое пальто, английский котелок, жёлтые лайковые перчатки и ореховая трость. Костюм Багреева не так блестел новизной, как вестон друга, и был выдержан в менее оживлённой цветовой гамме: пиджак — темно-серый, брюки и перчатки чуть светлее, но тоже серые, пальто, цилиндр и башмаки — чёрные.

Друзья вышли из подъезда и сели в ждавшую Савина коляску.

— Куда теперь изволите, барин? — осведомился важный кучер в чистом синем кафтане и сдвинутом на затылок низком цилиндре с пряжкой.

— Ты знаешь, где деревня Коломяги, братец? — вместо Савина заговорил Багреев.

— Это по Выборгской-то? Знаем, — настороженно кивнул кучер, как видно, не очень любивший ездить за город.

— Ну вот. А оттуда — к Каменке, — продолжал Багреев.

— Это куда ж? — подивился мужичек.

— Там где-то Каменка впадает в залив.

— Дак от Коломяг до залива-то ещё версты четыре будет, — сообщил кучер, — и дороги там нет. Не проедем.

— Там дом стоит, братец, и дорога должна быть, — уверенно проговорил Багреев, хотя сильно сомневался в собственном утверждении.

— Давай трогай. Хорошие деньги плачу, — напомнил вознице Савин.

— Ну, ежели дом стоит… — Кучер щёлкнул кнутом.

Лошадь потрусила по Сапёрному переулку, мимо лютеранской кирхи, через Литейный мост перевезла друзей на другой берег Невы, на Нижегородскую улицу, а там — на широкую почтовую дорогу к Выборгу.

— А помнишь, как мы на Островах пропадали?.. — мечтательно проговорил Савин, когда ехали по мосту. — Эх, было времечко!..

— Было… — так же мечтательно вздохнул Багреев. — Теперь-то что? Как ты в Москве? Как жена? — подмигнул он.

— Купеческого рода, с хорошим приданым, — с готовностью начал рассказывать Савин. — Живём — не тужим, две дочки у нас. Папаша её торгует ваксой, чернилами и всяким таким прочим товаром. Я в Купеческом банке служу, думаю собственный капиталец растить. Дочек-то замуж выдавать надо.

— Так-таки и надо? — переспросил Багреев. — Сколько им лет-то ещё?

— Три и год. Что веселишься? Старшую-то лет через тринадцать уже можно. А тринадцать лет — разве большой срок? Тебе едва за сорок будет. Может, я Ташу за тебя и отдам.

— Ну и заботы у тебя, — поразился Багреев.

— Заботы хорошие, — самодовольно продолжал Савин. — Дом свой на Цветном бульваре, знакомства. А как же? Мы ведь — не вы, вековые дворяне. Самим пробиваться надо, в люди выходить.

— Брось этот тон, если хочешь, чтоб я дальше с тобой ехал, — мгновенно сделался серьёзным Багреев.

— Прости, Бога ради, — спохватился Савин, — больше не буду. Это поездка вот с ума меня сводит. Дельце-то — не очень… С Лелей-то, к которой едем. Сбежала четырнадцати лет. Почему — неизвестно. Потом слух шёл, что с художником каким-то связалась, но тёмный слух, не проверить было… В общем, пропала и всё. Думали, сгинула. Нет, вишь, жива-здорова. Так хоть бы родителям весточку прислала, что да как. Не пишет. А они очень скандала боятся, всё-таки чужого ребёнка воспитывали. Матушка извелась вся. Просила слёзно: будешь в Петербурге, непременно разыщи да расспроси, как она нас считает? Опять же, как нам к ней относиться? Мне знакомство с ней ни к чему, ежели оно сомнительно. У меня дом честный. Понимаешь? Тут определённость нужна. Хотя Москва далеко, а всё ж не за Уральскими горами… Словом, непростое дело, понимаешь?

Багреев кивнул. Его родители предосудительных поступков и сомнительных знакомств не терпели и тоже были бы сильно огорчены, если бы кто-нибудь из домашних оказался замешан в скандальную историю. Сам Багреев относился к людям более снисходительно, за что в юности ему случалось выслушивать пространные назидания отца. Хотя бы вот за дружбу с каким-то Савиным…

Игнорируя напавшую на спутника задумчивость, Артём вернулся к рассказу о своём московском житье-бытье, правда, речь он вёл в основном о банковском деле, ввергая слушателя в растерянность подробностями учёта векселей

да выдачи ссуд под залог. Но Багреев всё-таки узнал, что Савин приехал в столицу забрать из Коммерческого банка оставленные на хранение там процентные бумаги. За разговором друзья и не заметили дороги до Коломяг.

— Дальше-то куда? — не то господ, не то самого себя спросил кучер, остановившись посреди деревни.

— А ты, братец, у кого-нибудь из здешних разведай, — посоветовал Багреев.

Кучер с высоты ко́зел оглядел местность с бревенчатыми избами да длинными заборами. Вдоль них с весёлыми криками бегали ребятишки. Из калиток с любопытством выглядывали по-воскресному нарядные мужики и бабы. Кучер подозвал крестьянина из дома поблизости. Тот подошёл, но по причине нетрезвости долго не мог понять, о чём его высокомерно спрашивает извозчик. Наконец сообразил и растолковал, что за деревней начинается дорожка до самой Каменки и ведёт та дорожка аккурат к дому у залива.

Савин осчастливил мужика серебряным пятаком, поскольку медяков в его кармане не оказалось, кучер начал с недовольным видом понукать лошадь, и недовольство это вскоре обрело причину. Указанная дедушкой дорога была малоезжею, плохо укатанной, так что камни и ухабы то и дело лезли под колёса. Кучер попридержал лошадь и заявил, что дальше не поедет. Тогда Савин пообещал заплатить вдвое против прежнего за всю поездку, и коляска снова двинулась в путь.

Трясясь в ней, друзья с любопытством разглядывали унылую местность, каменистую, со скрюченными, почти голыми деревьями, остролистой болотной травой и серым, затянутым тучами небом. Сырой ветер навевал Багрееву какое-то почтение к этой суровой округе. Он прежде никогда здесь не бывал, предпочитая более обжитое южное побережье залива: Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум. Теперь те места показались ему излишне блистательными. И Багреев чувствовал мощь, даже величие этого дикого северного берега. А Савин откровенно скучал, описывал неслушавшему Багрееву красоты Измайловского парка и Царицына, ругал чахлую Петербургскую природу, уже всецело подчинившуюся властному дыханию осени.

С правой стороны ивы и черёмуха сплотились, из чего Багреев заключил, что за ними течёт та самая Каменка. Дорога ещё с полверсты вела их вдоль прикрытого растительностью речного русла, потом повернула направо. Деревья и кусты расступились.

— Ну и берлога… — протянул Савин.

Прямо перед собой друзья увидели серый приземистый дом в новом стиле с большими округлыми окнами, которые вместе с завитками перил и веером козырька над крыльцом подчёркивали строгость ничем не украшенных каменных стен. Признаков жизни ни в доме, ни вокруг не наблюдалось.

— Подожди-ка нас, братец, — попросил Савин.

Друзья вышли из коляски, поднялись на крыльцо, и Артём дёрнул шнурок звонка. Им никто не открыл. Тогда Савин ещё раз позвонил и дёрнул дверную ручку в виде свернувшейся змеи. Дверь была заперта.

— Приехали… — проворчал он.

Друзья спустились, и любопытство повлекло обоих осмотреть безлюдное жилище со всех сторон. За домом, с берега открывался вид на водную гладь залива. Если смотреть вперёд, она упиралась в сизый противоположный берег, а справа и слева возвышались гранитные скалы. Друзья поглядели на тёмную воду, на строгую сушу вокруг и снова обернулись к дому. С этой стороны он имел сходство с маленьким замком, поскольку из стены выступала круглая башня с высокими стрельчатыми окнами.

Друзья вернулись на крыльцо, и Савин опять позвонил. Никого. Он вздохнул:

— Только время напрасно потратили. Неприятное какое место. Ни за что больше сюда не приеду. — И когда сели в экипаж, приказал извозчику: — Обратно в город, братец.

Багреев меньше жалел о поездке: дикая земля вселяла в его душу беспокойство и в то же время притягивала.

— Нужно чем-то затмить это досадное путешествие, — предложил Савин. — Пойдём в театр, что ли?

— Музыкальной драмы! Хочешь? Там новый спектакль, — подхватил Багреев.

— Ну, драмы так драмы. Хотя сейчас я предпочёл бы комедию.

— Тогда можно в «Буфф».

— Я там уже был вчера. Со служащими из Коммерческого банка, — хихикнул Савин. — Недурно. Но развлечения хороши разнообразием. Сегодня пускай будет Музыкальный театр.

Друзья отправились обедать в «Донон» на Английскую набережную. Икра, копчёные сиги, куропатки и графинчик водки заметно подбодрили их. Потом, расставшись, чтобы переодеться, они встретились вновь и поехали смотреть «Паяцев».

В шевиотовых фраках и белых жилетах Багреев и Савин отличались друг от друга меньше: ровесники, оба коротко стрижены и приблизительно одного роста. Только Савин был плотнее, отчего казался ниже. Его зелёные глаза светились довольством, в лице отражалось сознание собственной значимости, которое подчёркивала светлая бородка «Henri Quatre». Облик Багреева был резче из-за тёмных волос и серьёзного взгляда из-под густых бровей. А на губах под тонкими усиками играла лёгкая улыбка.

Места их были в шестом ряду партера. Друзья прошли туда под первые аккорды увертюры, да и во всём зале шорох совершенно стих, только когда поднялся занавес и взорам зрителей открылся пёстрый фургончик бродячего театра. Артисты запели. Багреев знал итальянский лишь немногим хуже французского, которым владел как родным, но не старался вслушиваться в слова и в программку с напечатанным либретто едва заглянул. Любовь, ревность, смерть — вся эта театральная классика обретала свои особенности лишь в звуке, в гармонии голосов, человеческих и инструментальных, а потому Багреев и не стремился дословно понять смысл пропетых фраз. И без того согласно выраженная музыкой и актёром ария бедняги Пьеро запала Багрееву в душу.

Занавес опустился.

— Какая Коломбина! — восхищённо поделился Савин. — Ну прям статуэтка саксонская.

— Похоже, — согласился его друг.

— А что в зале делается? — Савин принялся разглядывать зрительниц, сверкавших в лучах загоревшейся люстры. И вдруг дёрнул Багреева за рукав: — Да вон же она! Вон сидит!

— Кто? Коломбина? — не понял Багреев.

— Да Леля же! Мы за город таскались, а она вон! — И резким кивком головы Савин указал другу на балкон второго яруса.

По направлению взгляда Артёма на первом ряду там сидели две дамы: блондинка в голубом платье и брюнетка в желто-черном. В последней Багреев узнал вчерашнюю незнакомку, а в кавалере, что сидел подле блондинки, — юношу, живущего в его же подъезде, только несколькими этажами выше, — Багреев иногда встречал этого угрюмого соседа на лестнице. Рядом, облокотившись о перила, стояли ещё двое мужчин. Прочие зрители покинули свои места на балконе ради прогулки в фойе.

— Пойдём к ней, а то опять потеряется, — заторопился Савин.

Он встал и повлёк друга во второй ярус. Их появление вся компания встретила равнодушно. Одна брюнетка сначала с удивлением взглянула на обоих, потом на миг опустила глаза и усмехнулась.

— Вот я и нашёл вас, Лея Леонидовна, — с бóльшим уважением, чем ожидал Багреев, обратился Савин именно к ней.

— Зачем же вы меня искали? — спросила та довольно холодно.

Савин понимал, что театр — не место для объяснений, поэтому ограничился словами:

— А как же? Ведь вместе росли. Почитай, брат и сестра.

— Ну, может быть, — прежним тоном произнесла Лея. — А ваш спутник?..

— Мой товарищ по университету Григорий Павлович Багреев, — отрекомендовал Савин.

Вслед за этим Багреев узнал, что вторая дама, с бледно-белыми прямыми волосами и светло-голубыми глазами жительницы Скандинавии носит вполне подходящее ей имя Ольга, его соседа зовут Кирилл Алексеевич Стеклов, другого господина, по виду чуть старше Багреева, с пышными усами и бородкой вокруг плотно сжатых губ, — Владислав Андреевич Выгодский, а последнего кавалера, высокого, дородного, с густым басом, — Харитон Трофимович Ильюшин. Равнодушие всех этих господ в отношении новых знакомых граничило с презрением, что показалось Багрееву даже оригинальным, если принять во внимание их потёртые сюртуки и дешёвые места. Впрочем, дамы были одеты очень хорошо, в атлас и вышитую кисею.

— Где вы теперь живёте, Тёмочка? — поинтересовалась Лея, вдруг переменив тон на более любезный.

— В Москве. Уже давно, — ответил Савин.

— А в Петербурге где остановились?

— В «Неаполе».

— Надолго?

— Нет, в среду уезжаю.

Лея кивнула, и воцарилось неловкое молчание. Багреев подумал, что самое время откланяться, но Савин делать этого не собирался, — боялся упустить Лею, ни о чём не поговорив. Свет погас, началось новое действие.

— Поглядим ещё на господ декадентов, — шепнул Савин Багрееву, и оба уселись на свободные места там же в ярусе, в третьем ряду.

Оттуда сцену было почти не видно. Багреев жалел, что не может оценить по достоинству кровавой развязки спектакля, думал, что вполне мог бы уйти, но не двигался с места и чаще, чем на далёких актёров, смотрел на черневшие по жёлтому атласу арабески кисеи, на гибкую шею Леи, свободную от упругих кудрей, подобранных вверх на античный манер.

— Люди-то вроде бы даже приличные, — снова шепнул Савин на ухо Багрееву, имея в виду спутников Леи. — Никакие не лохмачи с лиловыми волосами да зелёными носами, как пишут газеты.

Последний аккорд потонул в аплодисментах зала.

— Раз все мертвы, нас больше ничто здесь не держит, — обронил Выгодский.

«Господа декаденты» поднялись, направились к выходу и переглянулись, не скрывая недоумения настойчивым присутствием новых знакомых. Но Лея, казалось, ожидала от них именно этого. Ильюшин расхохотался:

— Да ладно, чего там! Мы сейчас отправляемся ужинать в «Вену». Хотите с нами?

— С удовольствием, — согласился Савин.

Они, все вместе, вышли из театра и скоро оказались на Малой Морской. В ресторане было шумно и очень уютно. Горели разноцветные лампочки, сновали услужливые официанты, по стенам висели замечательные рисунки. Для вновь прибывшей компании сдвинули вместе два столика. За ними и расселись, кто где пожелал. Багреев оказался между Савиным и Выгодским, а Лея — напротив него. Явились блюда с навагой, говядиной а-ля Шатобриан, паштет из печени, бутылки янтарной мадеры. Багреев предпочёл бы красное вино, но из деликатности не стал заказывать себе ничего особенного.

Ильюшин, именуемый в компании просто Харитошей, довольно точно, но значительно слабее Пьеро пропел музыкальную фразу из его арии, и все их общество рассмеялось.

— Нет, право, жаль, зря голоса пропадают, — посочувствовал певец. — И отчего эти классические постановки из искусства уходят в искусственное?

— От потери естественного, — отозвался Стеклов, коего все звали Орфеем.

— Вот-вот, — согласился Выгодский. Он отставил тарелку, а вместо вилки вертел в пальцах карандаш. — Женщина, когда её режут, кричит. А там — поёт, да ещё этак мелодично, — он сделал жест рукой.

— В музыкальной драме все поют, — задумался Харитоша, но тут же снова просиял: — А каково бы было, если б посреди тревожной музыкальной гармонии зазвучал бы её пронзительный, резкий, полный ужаса и вовсе лишённый музыкальности вопль? Так?

Орфей кивнул. Выгодский уже водил карандашом по чистому обороту программки, а увлечённый Харитоша продолжал:

— И в декорации последнего акта я бы добавил больше красного, чтобы не только ум и слух, но и глаза воспринимали развязку. Задний план сделать красного цвета или пол застелить такой тканью?

Перед мысленным взором Багреева возникла «Смерть Сарданапала» Делакруа.

— Красное не помешало б. Но не так, а то выйдет скотобойня, — возразил Выгодский, не отрываясь от своего занятия. Его слова совпадали с движениями карандаша, и, казалось, не могли бы существовать без резких штрихов по программке. — Нужно использовать свет, рассеянный красный свет. Тогда предметы и в обычных прозаических тонах приобретут кровавый оттенок. Даже самый воздух выйдет как бы наполненным кровью, если уж ты хочешь усилить впечатление от развязки. А вы как думаете? — неожиданно обратился Выгодский к Багрееву.

— Свет — это интересно, это лучше, — искренне согласился тот, живо представив описанную атмосферу.

Теперь Багреев счёл возможным удовлетворить владевшее им любопытство и заглянул в рисунок соседа по столику: там скрючился Пьеро над мёртвой Коломбиной. Весь Пьеро был воплощение абсолютного страдания и отчаяния, в Коломбине — ни капельки жизни, и Багреев подивился магии простого карандаша. Выгодсткий не мешал смотреть, потом сказал:

— Вот что вы делаете с вашей свободой.

— Я? — удивился Багреев.

— Вы, большинство людей. Вы её убиваете. Я не о пьесе, забудьте о ней. Это вы, — он ткнул карандашом в Пьеро. Затем указал на Коломбину: — а это свобода. Маски, может быть, не удачны. Просто мы говорили про них. Но суть верна. — И Выгодский вручил рисунок Багрееву.

Тот принял подарок и решил не спорить на столь философскую тему в ресторане, а в свой черёд спросил:

— Вы художник?

— Художник, — подтвердил Выгодский. — А вы имеете какое-нибудь отношение к искусству?

— Никакого. Моё искусство — разбираться в родословных и в гербах.

— Вы были бы ценнейшим человеком в средние века, — заметил Выгодский.

— В те времена да где-нибудь в Провансе нам всем бы прекрасно жилось, — протянул Харитоша, потягиваясь.

— Едва ли, — вздохнул Орфей. — На земле нет места для прекрасного житья.

— Я знаю одно — «Замок Туманов». — Выгодский бросил быстрый взгляд на Лею.

Та молчала, и если Ольга, тоже не говоря ни слова, внимательно слушала сотрапезников, то Лея явно думала о чем-то своём и казалась отстранённой от происходящего. Савин жадно следил за ней и всё больше сердился на невозможность задать волнующие его вопросы.

— Как твои родители, Тёмочка? — лукаво наклонила голову Лея. — Всё так же расчётливы?

Савин надулся и отвёл глаза. Тогда Лея со своей многозначительной улыбкой обратилась к Багрееву:

— Орфей сказал, что электричество к вам быстро вернулось.

— Да, сразу, как вы уехали, — подтвердил Багреев.

— Вот-вот, — кивнула Лея, давая понять, что придаёт этому факту большое значение.

— Но зажжённые свечи, их живое тепло, запах мёда… Право, совсем недурно иной раз оказаться в стороне от прогресса, — продолжал Багреев. — Впрочем, вчера мне было б грустно сидеть при свечах одному.

— И вы были избавлены. Чем же вы занимались?

— Читал.

— Книгу? Какую? — живо спросила Лея.

— Наши летописи.

Лея, похоже, ожидала иного ответа. И от удивления она рассмеялась.

Савин напряжённо слушал их беседу и глядел на обоих. А вся остальная компания была поглощена спором со встреченным в зале всклокоченным приятелем, звучали стихи.

Ужин «господ декадентов» не затянулся, хотя обстановка в ресторане располагала к длительному пребыванию и свободному общению. Багреев заметил, что многие из посетителей знакомы друг с другом, одни что-то обсуждают, другие поют, третьи устраивают моноспектакли под рукоплесканья поклонников. Но компания, в которой оказался Багреев, не собиралась здесь задерживаться.

Окунувшись в прохладу ночной улицы, «господа декаденты» принялись раскланиваться с новыми знакомыми.

— До твоего отъезда есть ещё время. Увидимся, — пообещала Лея Савину и протянула руку Багрееву: — До встречи.

— Буду счастлив, — ответил он и, слегка склонившись, коснулся губами мягкой кожаной перчатки, в которую была заключена рука Леи.

«Господа декаденты» удалились в направлении Невского проспекта.

— Так ты с ней знаком?! — воскликнул Савин, когда счёл, что его не услышит никто, кроме Багреева.

— Вчера только впервые увидел. И то случайно. Даже не знал, как её зовут, — успокоительно ответил тот. — Право, забавно: и ты её разыскивать ко мне пришёл…

— Уж как забавно! Что, приглянулась она тебе, да?

Багреев нахмурился от такой бесцеремонности, и Савин поспешил задать новый вопрос:

— А как тебе её дружки?

Багреев пожал плечами. Артём продолжал:

— И разговоры все какие-то бредовые: «искусство, искусственное». К чему это?… Паяцы… Ладно, пора домой, завтра дела… Больше я за ней не гоняюсь, — решил он для себя. — Увидимся — хорошо, а нет — так и ну её совсем. — Савин махнул рукой с досады. — Неблагодарная и вздорная особа!

Они расстались. Артём пошёл на Вознесенский проспект, а по нему — к Екатерининскому каналу, — гостиница «Неаполь» была тут совсем недалеко. Багрееву пришлось взять извозчика, чтоб ехать к себе в Сапёрный переулок. Ложась спать, он думал о Лее. Побег из дома Савиных, — неужто с Выгодским? — и поздний визит без провожатых к Орфею говорили совсем не в её пользу, но так не вязались с аристократическим изяществом Леи и вовсе не вульгарной красотой. В компании их принят тон дружеский, а в роли Эвридики Багреев скорее заподозрил бы Ольгу… Что же, Багреев знал о Лее многое. И в то же время всё ещё не знал ничего.

Взошло солнце, настала пора собираться на службу. Багреев поднялся, умылся и вышел из спальни, когда Мотька уже вскипятил самовар. Крепкий чай с бергамотом приятно разлился по жилам, создавая благодушное настроение. Надев темно-зеленый мундир, шинель и фуражку, Багреев отправился в департамент.

Прихода старшего секретаря уже ждал немолодой канцелярист с папкой в руках.

— Доброе утро, Иван Данилович, — ответил на его приветствие Багреев, сел за письменный стол и спросил: — Что вы мне принесли?

— Дело о дворянстве, ваше благородие, — ответил Иван Данилович. — Только господин этот безземельный. Дворянское собрание Орловской губернии ходатайство его отказалось удовлетворить, и он прямо к нам обращается. По бумагам — дворянин несомненный. Что делать прикажете-с?

— Оставьте, я сам посмотрю.

Иван Данилович расстался со своей довольно объёмной папкой и удалился. Багреев принялся читать красивый писарский почерк: копии с подлинных грамот, патентов, послужных списков… Они доказывали вполне убедительно, что господин Борисов принадлежит к дворянскому сословию, ибо предки его служили «в приставах в приказной избе» при Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче, один имел чин коллежского асессора при Екатерине Великой… Багреев глянул на возраст детей господина Борисова. Ясно: пришло время их судьбу определять, поэтому понадобилась запись в дворянскую книгу. Только в какую его вносить, если записывают по губерниям, а он не владеет недвижимостью ни в одной из них?.. Отец Леи должен быть внесён по Петербургской губернии, если, конечно, владел чем-нибудь в Луге или в уезде. Но не просматривать же все шесть частей. Да и кого там искать? Не один же был Леонид на губернию. Можно бы расспросить Савина, только отчего-то не хотелось вновь обнаруживать при нём свой интерес к Лее. И почему она должна быть обязательно дворянкой? Савин же — из разночинцев… Багреев почувствовал, что сильно отвлёкся от дела и вернулся к бумагам, лежавшим перед ним на столе. Кстати, не все они собраны. А департамент готовит предложение в Сенат об учреждении общей для всей империи дворянской родословной книги именно для тех, кто не владеет имениями. Глядишь, пока будут представлены недостающие документы, будет и учреждена такая книга. Багреев пригласил к себе канцеляриста и распорядился:

— Отпишите господину Борисову, что нужны копии с метрических книг о законном рождении его самого и детей его. А дело это пока оставьте в нерешённых.

Ещё надлежало составить записку о ревизованных постановлениях дворянского депутатского собрания Тульской губернии. Багреев положил перед собой листок бумаги, макнул перо в чернильницу и задумался, формулируя общие итоги. Потом поймал себя на том, что портит лист, старательно выводя на нём то русскую, то латинскую букву «Л». Багреев смял листок, бросил в корзину. Взял новый и стал записывать на нём свои пока ещё отрывочные мысли.

Так присутственные часы и прошли. Багреев пешком возвратился домой и остаток дня посвятил «Летописцу», точнее — жестокой борьбе великого князя Василия с мятежным Шемякой.

Два последующих дня в департаменте оказались более плодотворными. Записка была составлена и отдана для переписки. Но о Лее Багреев по-прежнему не забывал и, отправляясь в «Неаполь» проститься с Савиным, решился всё же как-нибудь поосторожней выведать о ней ещё что-нибудь.

Поднявшись по лестнице и открыв дверь номера, в котором остановился его приятель, Багреев замер: у кровати стояла Лея. Одна. В том же самом зелёном костюме, что и в первую их встречу. Бледная, неподвижная, она держала в правой руке маленький револьвер и смотрела на него так, что Багрееву почудилось: Лея сейчас в себя выстрелит. Как мог тише и быстрее, Багреев приблизился и резко вырвал у неё револьвер, положил опасную вещь в свой карман, а дрожащую Лею усадил на стул.

— Есть здесь что-нибудь выпить? — через минуту спросила она.

Багреев оглядел номер: ничего похожего. Да и вообще комната выглядела уже необитаемой, а уложенный чемодан стоял у двери. Тогда Багреев обратился к услугам гостиничного ресторана, на свой вкус спросил и принёс бокал бургундского.

— Ну разумеется, именно красное. — Лея глотнула.

Подождав, когда она придёт в себя, Багреев поинтересовался:

— Откуда у вас револьвер?

— Под подушкой нашла, — ответила Лея, кивнув на кровать.

— Что, вышел неприятный разговор?

— С кем? С Тёмочкой?! Да я ещё не видела его. Он где-то ходит. — Лея отпила ещё вина.

— Зачем же тогда вы хотели?.. — вырвалось у Багреева.

Лея подняла на него блестящие глаза:

— Это же был знак, приглашение! Я нашла револьвер, значит… Неужели нужно объяснять?! — недовольно оборвала она.

— Нет, кажется, я понимаю, — проговорил Багреев и процитировал Тютчева:

И кто, в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений,
Самоубийство и любовь!

— Ну вот, сами всё знаете, а мучаете меня вопросами, — побранила Лея с такой же радостью, какую испытывает иностранец, вдруг заслышавший родную речь. Потом сама спросила: — Вы к Тёме проститься?

Багреев кивнул, отказываясь по-настоящему верить, что мысль застрелиться может возникнуть от одного только вида оружия. Тут вошёл Савин. Он с подозрением посмотрел на гостей, поскольку решил, что они пришли вместе, но всё же был рад видеть обоих.

— Вот хорошо. Заглянули. Самому было недосуг, — произнёс он и тоже оглядел комнату, проверяя, не забыто ли что. Заметив на кровати откинутую подушку, Савин торопливо ощупал карманы, вздрогнул и кинулся к ней.

— Не его ли, часом, потерял? — Багреев протянул другу револьвер.

— Надо же, оставил, — покачал головой Савин, пряча оружие за пазуху. — А ты хотел в меткости поупражняться?

— Да, мы большие любители пострелять, — отшутился Багреев, и Савина ещё больше насторожило это «мы». — Для чего он тебе?

— Как для чего? Я ценные бумаги вожу. Думаете, разбойники только у Шиллера водятся?

— Он боится разбойников! — развеселилась Лея.

Савин сдвинул брови и поглядел на часы:

— Мне пора.

— Так мы тебя проводим, — подчёркивая новое «мы», проговорила Лея.

Все вместе они прибыли на Николаевский вокзал и прошли на перрон.

— При виде поезда вам не хочется спрыгнуть на рельсы? — тихо спросил спутницу Багреев.

— Скорпион, — негромко бросила она в ответ.

Савин остановился возле синего вагона первого класса и молча уставился в землю, досадуя на решительную невозможность объясниться с Леей. Та с улыбкой потрепала его по щеке и нарочито ласково проворковала:

— Не печалься, милый Тёмочка, и больше обо мне не думай. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня, а та девочка давно умерла. Вот и всё.

— Иными словами, вы рвёте с нами все отношения, Лея Леонидовна? — поднял голову Савин.

— Они давно порваны, — продолжала Лея самым нежным тоном. — Ну, прощай, а то поезд уйдёт без тебя.

— Прощайте, — отозвался Савин, с заметным облегченьем принимая это решение вопроса.

Он обменялся крепким рукопожатием с Багреевым и скрылся за дверями вагона.

Прозвучал свисток, перрон заволокло белыми клубами пара, поезд тронулся. Глядя ему вслед, Багреев подумал, что остался теперь с Леей один. И хотя были ещё её друзья, значения это не имело.

— А Тёмочка, действительно, разыскивал меня? — спросила она и, не торопясь, направилась сначала к выходу из вокзала, затем — к Знаменской площади.

— Действительно. Мы даже ездили к заливу. Ему сказали, что вы там живёте, — ответил Багреев, шагая рядом. — Нашли большой пустой дом.

— Я там живу, — кивнула Лея. — Забавно. Без вас Тёма меня не нашёл бы.

— Когда это он успел вам сказать, что пойти в театр Музыкальной драмы — моя идея? — недоверчиво прищурился Багреев.

— Да? Ваша? Не знала. — Лея посмотрела на него.

Багреев уже стал привыкать к её серьёзному, внимательному взгляду в свой адрес. Это даже льстило ему.

— Тогда почему без меня не нашёл бы? — спросил он.

— Потому что мы с вами должны были встретиться, — просто ответила Лея.

— Я тоже начинаю так думать, — согласился Багреев. — Третий раз за неделю нас сводит судьба…

— Вот именно! — Лея вся вспыхнула. — Нам даже не нужно договариваться. Встречи неизбежны.

— Мне это нравится, — улыбнулся Багреев. — И что же дальше?

— Вы не устали задавать вопросы?

— Я только начал.

— Ой, нет! — Лея заткнула уши пальцами.

— Постойте, — Багреев преградил ей путь, взял её руки в свои и опустил их. — Давайте условимся, как делают в сказках. Я задам три вопроса, получу ясные ответы, и всё.

— И всё? — хихикнула Лея, освобождаясь и продолжая свой путь. — Разве же сказки на этом кончаются? Ну, задавайте.

— Почему вы не хотите знаться с Савиными? Чем плохо, когда есть люди, которых можно назвать родными? — начал Багреев.

— Потому что «мы свободны и одиноки». И лучше честно признавать это, чем обманывать себя и других.

Услыхав из её уст слова Мережковского, Багреев не удержался от нового вопроса:

— Это вас не пугает?

Лея поглядела на него как на очень близкого человека и просияла:

— Конечно, пугает. Не будем педантами в подсчёте вопросительных знаков. Спрашивайте в последний раз.

— Почему вы сбежали от Савиных? — решился Багреев.

Она не удивилась его осведомлённости и вздохнула, очевидно, жалея собеседника:

— Почему вы не слушаете, что вам говорят? Ведь уже не раз звучало слово «свобода». Разве могла я там оставаться? Разве могла я позволить им за кусок хлеба решать, как мне жить? Я, может быть, и родителям бы не позволила… — Лея заметно разволновалась и остановилась: — Довольно с меня вашего любопытства!

Багреев почувствовал себя виноватым и, чтобы скрыть смущение, окинул взглядом окрестность. Оказывается, они прошли большую часть Греческого проспекта, а впереди виднелся Таврический сад.

— Идёмте туда, — позвал Багреев. — Смотрите, какая погода.

День выдался ясный. Пышные кроны клёнов и лип ещё не совсем облетели и остатками сусального золота сияли на фоне голубого неба. Однако

Лея равнодушно отнеслась к такой «прощальной красе». И всё же согласилась пойти в сад. Там было на удивление мало гуляющих. Может быть, потому, что со стороны Николаевского вокзала, наверное, следом за Леей с Багреевым, быстро наползала большая туча. Скоро она накрыла и Таврический сад, притушила свет солнца, а ветер, порывами налетая на деревья, срывал листья и гнал их вдаль меж тёмных стволов. Эта картина осенней метели пришлась Лее более по сердцу.

— Великолепно! — воскликнула она при очередном порыве ветра, схватила Багреева за руку и потащила вслед за летящей листвой.

Они оказались в совсем безлюдном уголке сада. Щёки Леи раскраснелись, глаза опять сияли, выражая возбуждение и восторг. Туча становилась все чернее, ветер — яростней, и Лея закричала сквозь него:

— Хочу грозы! Хочу грома и молнии! И пусть меня убьёт этой молнией!

— Да что ж у вас за день такой сегодня? — так же громко посетовал Багреев. В его душе тоже росло восхищение грозной стихией, но думал он больше о спутнице, чем о надвигавшейся грозе. — Все ваши мысли сегодня — о смерти!

— А что ещё есть, кроме смерти? — весело спросила Лея.

— Жизнь.

— А что есть в жизни?

— Любовь.

— Вы хотите любви? Тогда вот вам!

Она бросила шляпу и боа на ажурную чугунную скамейку, сорвала с шеи Багреева шёлковый шарф и принялась говорить, кружась и изгибаясь в ритме собственного голоса, взмахивая руками, соединёнными зажатым в ладонях шарфом:

— Стану я, раба Лея, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из двора в ворота, пойду в чистое поле, в подвосточную сторону. В подвосточной стороне стоит изба, среди избы лежит доска, под доской тоска. Плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается. Так бы меня рабу Лею дожидался раб Григорий. Как рыба без воды, как младенец без материна молока не может жить, так бы раб Григорий без рабы Леи не мог бы жить, ни быть, ни пить, ни есть ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в обыден, ни в полдень, ни при частых звёздах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот рабу Григорию, разрастись и разродись по всем жилам, по всем костям ноетой и сухотой по рабе Лее…

При последних словах она снова накинула Багрееву на шею шарф, не выпуская, однако, из рук. Поддавшись сильному желанию, Багреев тут же обхватил колдунью и прижал её к себе.

В небе загрохотало. Лея выпустила шарф и оттолкнула своего кавалера. И тут на них обрушились струи дождя.

— Будем ждать молнии? — спросил Багреев.

— Я хочу домой, — прошептала Лея. Она как-то вся поникла, а мокрые волосы и одежда ещё более подчёркивали перемену в её настроении.

Багреев повёл её к воротам сада, подозвал извозчика и объяснил, куда ехать. Лея забилась в самый угол пролётки, верх которой уже был поднят. Она не звала Багреева с собой, но он знал, что должен её проводить, поэтому уселся рядом и приказал извозчику:

— Гони!

Тот стегнул лошадей, пролётка дёрнулась и полетела за город. Лея молчала в своём углу и хмуро глядела перед собой. Багреев тоже ничего не говорил. Он понимал, что Лея злится на него за объятия, и сам жалел о своей несдержанности, но слишком уж соблазнительной была в тот миг «колдунья». Как и её рука теперь, такая тонкая и неподвижная, резко белевшая на чёрном сиденье. Багреев дотянулся и коснулся холодных пальцев спутницы. Она отдёрнула их. Тогда Багреев произнёс:

— Вы забыли шляпу и меха.

— Ах, да… И пусть, — проговорила Лея, не изменив своего положения.

Опять воцарилось молчание.

Так и доехали, под шум дождя и цокот копыт, до дома у залива. Багреев помог Лее сойти, велел извозчику ждать, и вместе со спутницей поднялся на крыльцо. Дверь дома мягко распахнулась. Лея вошла в полумрак передней и вдруг пропала. Багреев в недоумении огляделся и сделал несколько шагов в глубь жилища. Пусто и тихо. Он постоял, послушал, потом вздохнул о том, что придётся уехать, не простившись, и вышел на крыльцо. Коляски не было. Багреев не поверил своим глазам, прошёлся по дороге, вертя головой во все стороны. Но тщетно. «Что за чёрт! — не понимал он. — Как же этот «Ванька» мог уехать? Я же не заплатил…» Багреев сунул руку в карман, где обычно лежал бумажник, но ничего не нащупал. Он поискал в других карманах. Бумажника не было. Должно быть, обронил в пролётке. Но каким чудом? А «Ванька» нашёл и, конечно, увидел, что плата достаточная. «Каналья», — выругался Багреев. Он стоял под дождём, в вечерних сумерках, вдали от города и всякой возможности туда добраться и думал, что теперь делать. И наконец решил вернуться в дом.

Он вновь поднялся на крыльцо и позвонил. Никто не ответил, хотя Багреев точно знал, что Лея дома. Он потянул ручку, входная дверь открылась, радушно впуская гостя. Багреев вошёл, оставил в передней насквозь промокшие пальто и цилиндр, потом прошёл в приветливо освещённую гостиную.

Его глазам предстала большая комната, от пола до потолка отделанная дубом и тополем. Изогнутость и плавность всех линий, на стеновых панелях и в мебели, придавала её убранству ленивый характер. Кресла, рояль, немыслимая в гостиной кушетка и этажерки дремали в лучах керосиновых светильников в форме цветов мальвы. Вытянутые вазы, у оснований своих толще, чем в горлышках, казалось, были вполне довольны нарисованными на эмалевых боках серо-зелеными камышами и оставались пустыми. Горшков с комнатными растениями не наблюдалось ни в углах комнаты, ни на большом окне, лишённом и шторы, отчего оно походило на чёрное зеркало. Не было и всяческих безделушек вроде статуэток, дамских альбомов,

подносов для карточек. И всё же гостиная имела ласковый вид, контрастируя с неприветливой внешностью дома.

Но больше всего гостя порадовал камин, выступавший из искусно вырезанных зарослей тростника и излучавший тепло от горевших в нём поленьев. Багреев с наслаждением постоял подле него, потом присел на кушетку. В ожидании, не появится ли живая душа, Багреев глядел на огонь, слушал успокоительное потрескивание дров и не заметил, как уснул…

— Просыпайся, они приехали, — услышал он ласковый шёпот, открыл глаза и увидел над собой улыбку Леи.

Из передней доносились голоса. Багреев поспешно поднялся с кушетки и поправил свой костюм. Лея предстала теперь перед ним в лёгком шёлковом платье цвета слоновой кости. На груди ткань скреплялась серебряным аграфом в виде летучей мыши. Тонкие цепочки с блестящими на них самоцветами расходились от неё и обнимали обнажённые плечи Леи. А её чёрные кудри свободно струились, оттеняя светлый наряд, и только костяной гребень пытался хоть как-то сдержать их. Лея ничего больше не сказала. Багреев и так видел, что от прежнего недовольства не осталось и следа и его присутствие приятно хозяйке дома. Вот только что сейчас будет? Званый вечер? В окно глядела чёрная ночь. Не найдя взглядом часов в гостиной, Багреев вынул свои: половина четвёртого. Поздновато для визита. Или рановато?..

Вошли Орфей, Ольга, Харитоша и Выгодский. Присутствие нового гостя их будто и не удивило. Только Выгодский скривился на миг. Все кивнули Багрееву, здороваясь, и стали рассаживаться по местам, как казалось, давно за ними закреплённым. Выгодский поместился в одном из кресел. Ольга расположилась на кушетке, напоминая мадам Рекамье. Подле неё на ковре, покрывавшем пол, — Орфей. Харитоша взгромоздился на подоконник. Багреева Лея усадила в другое кресло, а себе принесла стул из столовой и села на него боком, чтобы, перекинув руку через высокую спинку, опереться на неё. Потом прислуга Леи, которая, оказывается, всё же имелась, — сухая старуха, очень похожая на бабу Ягу, — принесла на подносе мадеру и ветчину с хлебом.

— На Рождество мы хотим ехать в Ригу, — сообщил Орфей. — Кто с нами?

Лея отрицательно мотнула головой.

— У меня будет выставка, — проговорил Выгодский.

— И я не поеду, — с досадой вздохнул Харитоша: — На праздник да после поста — самая игра. А почему именно в Ригу?

— Говорят, зимой Рига удивительно хороша, — пояснила Ольга. — Белый снег, красные крыши, салатовые да оранжевые домики, прозрачный воздух. Разве не прелесть, Выгодский?

— Не моя палитра, — отозвался тот.

— Знаю, в твоей — только чёрная краска, — кивнула Ольга.

— Рисую, что вижу. Это Орфей пусть оставляет вам надежду.

— Искусство — единственная лазейка на свободу из тюрьмы, в которой все мы пребываем, — изрёк Харитоша, поводя руками вокруг. — А раз есть лазейка, то есть и надежда.

— Искусство волшебно, но не всесильно, — возразил Выгодский, — ведь есть и те, которые страдают без надежды. Представьте, как это ужасно.

— Я подумаю, — пообещал Орфей.

— Не сегодня, — попросила Лея, поднялась со своего места и начала один за другим гасить светильники-мальвы. Скоро гостиная погрузилась в предрассветные сумерки. Харитоша, у себя на подоконнике, и Выгодский закурили. Ольга играла волосами Орфея. Багреев понял: и хозяйка, и гости чего-то ждут.

За окнами стало тихонько светлеть. Туман с реки и залива застлал оконное стекло, заволакивая рассвет матовой дымкой. Она лишь бледно розовела. В этом нежном непрозрачном свете, в тишине, ничем не нарушаемой, Багрееву показалось, что они все, вместе с домом, перенеслись в нездешние дали, за пределы бытия.

Харитоша переместился в другой конец комнаты. Орфей встал, не отрывая взгляда от окна. Лоб молодого человека разгладился, руки поднялись к стеклу. Ольга оставила кушетку и за отсутствием лиры села к роялю. Негромко и монотонно зазвучал голос. Его сопровождали звуки музыкальной импровизации, создавая лишь фон для произносимых Орфеем слов:

— Суровые скалы поднимались из воды. И холодно им было в студёных струях, зябко под ночным небом. Из каменной груди каждой слышались стоны, мольбы о тепле и о свете. Темно и страшно, холодно и сыро скалам пустынного берега ночью. И как только небо меняет повелителя, они отрясают оковы безмолвия. Мольбы и рыданья оглашают окрестность и, отражаясь от серебряного зеркала воды, несутся всё выше и выше.

Владыка светлого неба склоняет слух к настойчивым мольбам, он жалеет продрогшие мокрые скалы, и всё ярче алеет его горизонт оттого, что могучие серые камни смиренно склоняются перед его ещё большим могуществом. Просьбы несутся к небу настойчивей, громче, услаждают небо до пурпурного румянца, и восторг пронизывает его золотыми молниями. Редкие вначале, они становятся всё чаще с каждым мигом, заполняют сердцевину горизонта и торжественно поют о том, что золотая Роза готова раскрыться.

Лепестки её тянутся к скалам, нежно гладят верхушки, прогоняя холодную влагу, потом обнимают каждую каменную грудь, дыша теплом, огнём, радостью. Скалы светлеют, смолкают. Согретые золотыми лепестками, они погружаются в дурманящую дрёму, в покой безвременья. Как отголосок далёкого прошлого, носится среди них тоскливая песнь о благодатной прохладе, о спасительном сумраке ночи, скрывающем тайны.

Это песня хрупкой лунной девы, сотканной из капель росы. Голос её, чистый, как серебряный колокольчик, упрекает бездушные камни, позвавшие золотой цветок. Шипы Розы пронзают лунную деву, отчего песнь превращается в стоны. Предчувствуя неминуемую гибель, нежное создание тоскует, прощается с серебряной водой, заламывает израненные руки и плачет. Последние силы покидают деву, плачь становится тише, всё тише, потом — совершенно беззвучным. Простершись на сырой ещё земле, она смыкает воспалённые веки. Дыхание становится еле заметным, и губы дрожат лишь чуть-чуть. С них срываются бессильные, последние вздохи.

С ужасом и жалостью смотрят белые облака на гибель своей младшей сестры. Они жадно ловят каждый её вскрик, каждый вздох её долгой агонии. Но владыка дневного неба не пускает их на помощь несчастной и с радостью ждёт, когда лунное создание навеки замрёт, а потом растворится в сиянии золотой Розы. Свершить это молила его Матерь-земля.

И вот дева, сотканная из росы, кажется совсем неподвижной, и облака решаются противиться владыке дневного неба, чтобы укрыть белым саваном тело сестры, схоронить её в гробу из лунного камня под сенью большой тёмной ели и пушистого папоротника. Они скорбной вереницей сходят вниз, обнимают сестру, оплакивают её и дарят прощальные поцелуи.

Прохладное дыханье облаков обволакивает хрупкое тельце, и бледные губы вдруг снова раскрываются для вздоха, ресницы нежнее пуха чёрного лебедя подрагивают. Медленно, очень медленно приходит лунная дева в себя, и облака решаются спрятать сестру от глаз повелителя дневного неба до прихода владыки ночи, который один в силах отстоять драгоценную жизнь своей возлюбленной. Они ещё теснее прижимаются друг к другу, укрывая сестру своим спасительным жемчужным туманом. Она с наслаждением купается в нём, резвится, смеётся, целует братьев в их пухлые щёки и вновь, уже радостно, поёт о благодатном ночном сумраке, скрывающем тайны.

Золотая Роза властно распускает лепестки над всем миром, безжалостно и метко жалит плечи облаков, исполняя наказ Матери-земли. Огонь мести силится настигнуть разлучницу, укравшую у Матери-земли её супруга. Но братья безмолвно сносят боль и терпеливо ждут прихода владыки ночи, чтобы поручить сестру его могуществу.

И Роза поникает. Усталая от тщетных усилий, она сворачивает лепестки в бутон и прячется за горизонт, чтоб отдохнуть и напиться новой силы в золотом своём царстве. Облака провожают её, убаюкивают сладкой колыбельной и лёгким дыханием тушат алую зарю. И вот, когда гаснут последние искры, приходит владыка ночи. Прикосновениями ладоней он залечивает раны облаков, а скалы, призвавшие золотой цветок, окутывает холодом, безмолвием и чёрным страхом.

Из-за большой тёмной ели выходит лунная дева, сотканная из капель росы. Она нежно улыбается владыке ночи. Тот склоняется к ней, целует во влажные губы, потом садится под елью. Лунная дева кладёт голову ему на колени и слушает тайны, которые ей открывает сумрак…

Голос и музыка смолкли. Гостиная, уже наполненная до краёв жемчужным светом, опять погрузилась в тишину…

И вдруг среди всеобщего молчания раздалось разудалое:

Как по горнице столовой,
Как по светлице пировой,
Тут стоят столы дубовы,
На стенах – ковры шелковы,
На ковре чара золота,
Полна мёду налита.
Кто ту чару наливал,
Ещё мёдом дополнял?..

Это Багреев громко и очень недурно запел народную песню.

Лея прыснула. Пока её гости не пришли в себя и, возмущённые этой выходкой, не растерзали новичка, она вскочила с места и потащила Багреева в переднюю.

Там она накинула манто, Багреев — пальто, и оба выскочили из дома. Округа была окутана влажной светлой мглой, в которой виднелись только смутные фиолетовые очертания.

— Что на тебя нашло? — всё ещё улыбаясь, спросила Лея.

— Не мог удержаться, — развёл руками Багреев.

— Да, это твоя черта, — уже серьёзно кивнула Лея.

Багреев понял, что она имеет в виду, и тоже серьёзно попросил:

— Прости меня.

Лея повлекла Багреева к заливу, потом — на невысокую скалу. Они шли, неторопливо и молча. На скале, уже над туманом, была небольшая площадка, откуда открывался вид на солнечный горизонт, на будто укутанную оренбургской шалью воду, на соседние скалы, на черепичную крышу «Замка». Багреев, глядя на всю эту красоту, вздохнул полной грудью, и душу охватило ликованье, но он побоялся как-нибудь его выразить, чтоб не спугнуть тишину. Скинув пальто, Багреев постелил его на камень и пригласил Лею сесть. Потом сам устроился рядом. Было довольно прохладно, но двигаться больше не хотелось.

— Наши предки считали, что у всего есть душа: у каждого камня, дерева, реки, травы… — проговорила Лея.

— Да, — отозвался Багреев. — Им трудно было сразу понять, что во всём — один Творец.

— Но как угрожающе таинственно! Представь: везде свой бог или дух, — продолжала она, глядя вдаль. — Огнём повелевал Сварог, ветром — Стрибог, дневным небом — Вышень, ночным небом — Дый. Однажды Дый ударил в Матерь-сыру землю молнией, и появился Индра, бог битв и мечей.

— Про Сварога да Сварожичей я кое-что в книгах встречал. — Служба в герольдии подразумевала знание прошлого, в том числе и дохристианской Руси. Как только Багреев подумал об этом, так вспомнил о своих обязанностях. Наверное, он уже безнадёжно опоздал в департамент. Нехорошо, но что теперь поделаешь… — А вот про Индру…

— Для него Сварог в своей небесной кузнице сковал стопудовую палицу, а Вышень позвал Индру в помощники для победы над Вием. Про этого владыку подземного царства ты уж точно читал, — с улыбкой отвлеклась Лея и продолжала: — Вий выслал против Индры своих внуков, была битва, и один из них, Валу, испугался Индры и обратился в валун, — Лея похлопала рукой по камню, на котором сидела. — Индра своей палицей расколол валун. Забил оттуда источник живой воды. Но Вышень оказался недоволен: Индра ведь не победил Вия, — и предрёк Индре смерть от собственного сына. Знаешь, греки бы сделали из всего этого нечто подобное Фиванскому циклу, — снова отвлеклась Лея. — Так вот, Индра сильно опечалился, встал у валуна и принялся молить Вышеня о прощении. Простоял тысячу лет, зарос мхом,

вошёл в землю по пояс, но милости от Вышеня так и не добился. Тогда Дый решил помочь своему сыну и наслал на небо чёрную тучу, из которой выползла змея Пераскея. Потом ударил в сына молнией, Индра очнулся и женился на этой змее. Гордый, оскорблённый, он долго воевал со Сварогом и Вышенем, но потерпел поражение, смирился, отправился к Кавказским горам, выстроил царство Индерий из белого мрамора и зажил там со своей Пераскеей.

— Со змеёй? — переспросил Багреев и брезгливо поёжился. — Как-то странно твоя сказка кончается.

— Потому что это только середина. А что до змеи, то Индра сам мог змеем обернуться. И однажды в таком виде обесчестил Матерь-сыру землю. Ну, царь Эдип, я ж говорила! От Пераскеи у него детей не было, зато Сыра земля родила ему сына, богатыря Вольгу. Иногда его ещё зовут Волхом — Огненным змеем. Он жил на реке Мутной, в честь него прозванной Волховом. И мог он, как отец, обернуться змеем, а ещё — волком или соколом. Так вот, Вольга подрос и решил отомстить Индре за бесчестие матери. Вызвал его на бой да и убил. Потом сам женился на Пераскее и стал править в Индерии.

— Всё ещё середина? — уточнил Багреев, потому что Лея замолчала. — Что же дальше?

— А дальше начинается сказка про Финиста — Ясна сокола, то бишь — про Вольгу, потому что это один и тот же персонаж. Но сначала вернёмся к Сварогу. На Латырь-горе он насадил волшебный Ирийский сад. И росла там яблоня с золотыми яблоками, что дарят вечную молодость и власть над всем миром. Так вот, надумала Пераскея соблазнить Вольгу этими яблоками и рассказала ему про сад, про вечную молодость, про абсолютную власть. Вольга, конечно, захотел получить такой дар. Обернулся соколом и полетел на Латырь-гору, сел на яблоню и думал уже склевать яблоко, как услышал чудесную песню и увидел девицу-красавицу… Ну, дальше ты и сам знаешь про Финиста, — оборвала Лея.

— А кто была эта красавица? — всё-таки спросил Багреев.

— Дочь Сварога Леля.

— Откуда ты всё это знаешь?

— А тебе разве няня не рассказывала ничего?

— Рассказывала, но всё больше про лис да волков, когда я очень маленький был. Потом притчи пошли… А ваш Орфей тоже сказки сказывает, я смотрю, хотя на няню не похож.

— Какие ж это сказки? — Лея резко обернулась к собеседнику. — Разве ты не понял, что то была история Дыя, отца Индры?..

— Ой, только не говори мне, будто вы во всё это на самом деле верите, — засмеялся Багреев. Но Лея одарила его таким гневным взглядом, что он посерьёзнел: — Всё это красиво, не спорю. Занимательно даже. Но… Всё у вас наоборот. Предки наши от язычества пришли к вере в единого Бога. А вы? Нельзя же отголоски истины, блеснувшие в древних сказаниях, принимать за саму истину. У вас всё перевёрнуто, перемешано, а величие единого Бога расколото на множество языческих божков.

Лея внимательно слушала, хотя взгляд её оставался суровым и настороженным.

— Я думала, ты наш, — проговорила она. — Ты понимал, о чем я говорила…

— Понимать — ещё не значит соглашаться, — заметил Багреев.

— Но если ты чужой, зачем здесь остался?

— Ты же сама меня заколдовала, — напомнил Багреев.

— Что-то я замёрзла… — Лея поднялась на ноги.

Свинцово-чёрные низкие тучи затянули небо, укрыли солнце, и Багреев уже давно спиной чувствовал холод, но, слушая Лею, не думал о нём. Теперь же он обрадовался возможности вернуться к камину, так ласково гревшему его вчера. Накинув на плечи пальто, Багреев подал Лее руку и стал спускаться со скалы. Спутница крепко держалась за него, но было заметно, что её башмачки привыкли ступать по этим камням.

В доме царило безмолвие. Лея остановилась в передней, скинула манто и немного подождала, прислушиваясь. Потом шёпотом произнесла:

— Все спят.

— А почему к себе не едут? — так же тихо спросил Багреев, вешая пальто.

— Они здесь — у себя, — ответила Лея.

— Ваш Орфей ведь живёт в моём доме.

— Они все где-то живут. Ну и что?

— А тем вечером, когда я тебя встретил, зачем ты к Орфею ходила? Так поздно, одна…

— Ревнуешь? — обрадовалась Лея. — Тогда я тебе ничего не скажу. — Она потёрла руки: — Чаю горячего хочется.

— Мне тоже, — признался Багреев.

— Только придётся идти в кухню.

— Всё равно.

После этих слов Лея повела гостя по узкому боковому коридору, и скоро они оказались в комнате, душной от печи, в которой варилось и парилось что-то. У печки к стене прислонились несколько разного размера ухватов, на полках тут же стояли кастрюли с чугунками. На окне, поместившись между кружкой, в которой прорастал зеленью лук, и горшком с цветущей геранью, спал чёрный кот. Под окном стоял кованый сундук. Но больше всего внимание вошедших привлёк стол, на котором важно блестел самовар. Давешняя «баба Яга» хлопотала возле печки и что-то бормотала себе под нос, будто стряпала колдовское зелье.

— Угостишь чаем, Карповна? — спросила Лея.

— Да вон он, самовар-то, — кивнула стряпуха на стол, — только-только вскипел.

Лея с Багреевым сели на скамейку у стола. Тот час же явились большие глиняные чашки, сахар, вишнёвое варенье, румяные пироги с мясом и с яблоками. Карповна сняла с верхушки самовара чайник и налила в чашки свежего чаю. Потом снова отошла ворчать и стряпать у печи.

— Сегодня у неё трудный день, — пояснила Лея, с удовольствием обнимая ладонями горячую чашку, — мы обедаем дома.

Багреев понимающе кивнул и с наслаждением глотнул из своей чашки. Потом уделил должное внимание пирогам, а расправляясь с ними, весело думал про себя, что теперь вот завтракает у бабы Яги. Сколько всего и сразу ворвалось в его размеренную жизнь с появлением Леи… Она тоже ела, пила, улыбалась, ничуть не смущаясь уж слишком простой обстановкой.

— Тебя ищут, поди, — проговорила Лея, вылавливая ложечкой ягоду из варенья.

— Не думаю, — мотнул головой Багреев. — Родители пока за границей, а у братьев и сестёр своих забот полно, так что не знаю даже, сколько времени должно пройти, чтобы они меня хватились. Вот только на службе, боюсь, обеспокоены.

— Чем ты всё-таки занимаешься?

Багреев рассказал о герольдии.

— И для чего это всё? — снова спросила она.

— В основном для получения различных преимуществ. А потом, нужно же знать, кто были и как жили наши предки.

— Для чего?

— Чтобы яснее видеть волю Божию.

Их взгляды, став серьёзными, встретились. Потом оба собеседника вновь заулыбались. Багреев решился спросить как можно беспечнее:

— К слову о предках. Ты своих знаешь?

— А что говорил тебе Тёмочка? — опять нахмурилась Лея.

— Я не хочу его слушать, — ответил Багреев. — Но почему ты оказалась в его семье? У тебя совсем нет родных?

— Нет.

— Потому что «мы свободны и одиноки?»

— Да нет же! — рассердилась Лея. — Просто нет у меня никого. Или есть, только… Я ведь маленькая была, когда родители погибли. И никто из родни не объявился, никто не искал…

Лея так разволновалась, что Багреев взял её за руку:

— Как жаль, что я опять тебя расстроил… Но ведь всё не так плохо, да? Ведь не в сиротском доме выросла, — в семье.

— Да, всё неплохо. Дали мне приют, кормили, учили. А я, неблагодарная, сбежала, — гордо вскинула голову Лея.

— Почему?

— Они решать стали, кому меня выгодней в жёны отдать, и прямо мне объявили, что мой долг — сделать, как они велят, поскольку я им очень обязана.

Багреев крепче сжал руку собеседницы. Она улыбнулась:

— Чёрт с ними!

Послышались возгласы Ольги и бас Харитоши.

Лея заметила:

— Можно идти в комнату.

Они вышли в коридор и через дверь налево от кухни попали в столовую, тоже отделанную деревянными панелями без острых углов. Посередине стоял массивный овальный стол. Над ним висел бронзовый светильник,

который держал за верёвку Сатир, наполовину высунувшийся из потолка. И словно прямо из стены выпирал большой буфет, нижнюю полку которого поддерживали два хмурых бронзовых дракона.

Ольга, коленями стоя на сиденье стула, склонилась над столом и опиралась на него локтями, а Харитоша, так тот прямо сидел на столе. Как положено, устроился на стуле Выгодский. Перед ними были разложены листы с набросками. Художник глянул на Багреева точь-в-точь, как оба дракона. Харитоша приветливо махнул вошедшим рукой. А Ольга объявила:

— Мы тут бьёмся над афишей к выставке.

Багреев и Лея приблизились к столу и взглянули на эскизы. Виньетки на всех на них были весьма удачны: где — пластичный вьюнок и дикий виноград, где — папоротник и ветви бузины, где — просто графические линии, изогнутые и переплетённые в новом стиле. В середине же — то деревянный идол, слишком неживой в сравнении с обрамлением, то гром и молния, пугающие своим натуральным видом и безлюдьем, то жрец, простёрший руки над жертвенным костром. Последний был уже самостоятельным произведением искусства, — чересчур для афиши.

— Ему всё не нравится, — добродушно бранила Выгодского Ольга.

— Оставь его в покое, — защищал художника Харитоша. — Он и так уже нарисовал всё, что ты придумала. Сама видишь: это никуда не годится.

— А что годится? Что ему нужно? — не сдавалась Ольга. — Он и сам, наверное, не знает.

— Знаю, — возразил художник.

— Так нарисуй.

— Не хочу.

— Что же будет на твоей афише? — спросила Лея.

— Что-нибудь будет, — проворчал Выгодский.

— Ладно, продолжайте биться, — улыбнулась Лея и повела Багреева дальше со словами: — Я кое-что тебе покажу.

За столовой помещался кабинет, но кроме письменного стола да шкафа с книгами там стояли ещё два дивана по стенам. На одном лежала большая кожаная папка.

— Вот, посмотри, — предложила Лея, устраиваясь на диване.

Когда Багреев сел рядом, она открыла папку и стала показывать рисунки, сделанные карандашом. На одном из них взгляду предстал ветер, в яростном порыве которого виделся человек, скачущий во весь опор на единороге. Одежду, похожую на древнекняжескую, и длинные волосы непокрытой головы всадника трепали воздушные струи, сплетаясь с ними воедино. Лицо, молодое и грозное, было смело обращено навстречу буре. И скакал он не по земле, а среди туч. Это был Индра. На другом листе Багреев увидел сначала лишь два валуна, причём один был расколот. Но, вглядываясь в изгибы штриха, Багреев различил в целом камне того же Индру, уже в кольчуге, с мольбой обращённого к небесам, заросшего мхом и больше, чем по колени, вросшего в землю. Во всём рисунке чувствовалось отчаяние от непреклонности Вышеня. Следующий рисунок представлял собой грозу во всей красе, но,

познакомившись с манерой художника, Багреев начал всматриваться в линии и углядел два скрещённых меча и два искажённых ненавистью лица в обрамлении богатырских шлемов. В первом Багреев опять узнал Индру. В лице второго проглядывали черты хищной птицы. Значит, второй — это Вольга.

Всё было исполнено мастерски, и никогда прежде Багреев не видел такой леденящей душу красоты. Впрочем, это, наверное, была уже не красота, но трудно было оторвать глаза от веявших отчаянием и ужасом рисунков, от зловещих лиц, от обилия чёрной штриховки.

Лея подождала, потом спросила:

— Нравится?

— Да. Нет, — тут же отозвался Багреев, дивясь тому, до какой степени правдивы оба ответа. — Какая-то бездна безысходности. Она меня всего наизнанку выворачивает. Убери, пожалуйста, — попросил он.

Лея сложила рисунки обратно в папку и отложила её.

— Хороший художник, — признал Багреев. — Но вот опять... Искусство должно помогать видеть главное. А разве сумрак и отчаяние — главное?

— Зачем ты мне это говоришь? — раздражённо спросила Лея. — Скажи Орфею или Выгодскому.

— Давно ты его знаешь? — вернулся Багреев к личности художника.

— Всю здешнюю жизнь. Он был послан, когда я находилась в небытии, не видела дороги, ничего не понимала.

— Это я ничего не понимаю, — заметил Багреев. — Ты можешь говорить яснее, как в кухне?

— Я теперь в другом мире и говорю на его языке.

— Идём в кухню, — тут же предложил Багреев.

— Что, там тебе лучше? — съязвила Лея.

— Конечно. Там всё просто и понятно. А тут сплошная словесная вязь, море знаков, смыслов, предопределений.

— А ты полагаешь, вокруг — одни случайности?

— Нет, я согласен, что всё не случайно. Но не так, как понимаете вы. Ведь нелепо же, если не хуже, увидев револьвер, тут же стреляться. Или, услышав фразу из глупого романса, что донёсся из чужого окна, считать её строжайшим руководством к действию.

— А как же вот ты вышел ко мне со свечой?..

— Мы должны были встретиться, — подтвердил Багреев и взял лицо Леи в свои ладони.

— Мне кажется, ты знаешь все ответы, — испуганно прошептала она.

Потом поднялась и вышла. Багреев остался в одиночестве. Прошёлся к письменному столу. На нём лежали исписанные и немилосердно исчёрканные листы, — вероятно, черновики Орфея, — и наброски Выгодского вроде голов единорогов или больших крыльев. Поглядев на них, Багреев отметил, что Выгодский «думает карандашом», и обратился к шкафу. Там он нашёл фамилии тех, кого и ожидал: Мережковского, Бальмонта, Тютчева и более ранних, Жуковского, Одоевского, французов Бодлера и Верлена, Афанасьева с его тремя томами основательного труда о славянах, каталоги художественных

выставок. Однако был и сюрприз — несколько книжек «Москвитянина». Листая их, Багреев совершенно позабыл о времени.

— Чего ты хочешь от меня? — неожиданно и так отчётливо раздался голос Леи, что Багреев сначала подумал: она вернулась.

Но в кабинете он по-прежнему оставался один, а слова, произносимые теперь Выгодским, доносились извне. Беседа эта началась, по-видимому, раньше и достигла такого накала, что Багреев услышал её. Нужно было бы уйти из кабинета, но выход был только один — туда, где Выгодский говорил:

— Не забывай: это я привёз тебя сюда! Без меня ты бы пропала в дрянной деревеньке. Как ты там оказалась? Опять не скажешь? Ничего не говоришь! Но ведь и спорить не будешь, что здесь тебе лучше?

— Ты просил меня здесь жить, я живу. Что ж ещё?

— После выставки уже не я один, толпы будут поклоняться тебе!

— Ну да, конечно, сделай из меня идола! Каменную бабу, такую расплывшуюся, с блином вместо лица!

— Не бабу, а богиню, Повелительницу Грёз!

После мгновенья тишины раздался вызывающе нежный голос Леи:

— Ты сам грезишь, бедняжка!

Что-то грохнуло и голоса смолкли.

Багреев рискнул выйти в столовую. Там он встретил лишь Карповну, неторопливо накрывавшую стол. Он направился в гостиную, надеясь найти Лею. Но увидел только Харитошу с журналом «Северные цветы» в руках. По своему обыкновению Харитоша расположился на подоконнике, а за его спиной, на улице, Багреев увидел курившего Выгодского.

— Вы не курите? — проследил его взгляд Харитоша.

— Нет, — отозвался Багреев.

— А в карты играете?

— Редко. Когда бывает нужно составить компанию на званом вечере…

— А я, представьте, играю. И смею вас уверить, неплохо, — поделился Харитоша. — Этот дом, к примеру, я в карты выиграл. Он, правда, был заброшен тогда. Но Выгодский сделал эскизы отделки… В Париже теперь модно так отделывать дома. Он видел там и здесь постарался. Потом съездил на этюды в какую-то глушь и привёз сюда Лею. У каждого места должно быть своё божество.

— Уж не приносите ли вы ей жертвы? — спросил Багреев.

— А как же, — поддержал его весёлый тон Харитоша. — Вон, слышно, Карповна старается. Там и вино, и мясо.

В гостиной появился Выгодский. Харитоша и ему сообщил:

— Скоро за стол!

— Очень кстати, — заметил художник. — Отчего-то хочется напиться.

Багреев предоставил им развивать тему выпивки, а сам вышел в переднюю и постоял немного, размышляя, где бы ещё поискать Лею. Вдруг одна из деревянных панелей невдалеке от него распахнулась как дверь, и появилось она. В платье персикового цвета, с широкими рукавами и вышитым поясом, а в волосах алел мак.

— Повелительница Грёз, — невольно повторил слова художника Багреев. — Тут он всё-таки прав…

— Почему мне с тобой так спокойно? — чуть ли не с ужасом проговорила Лея.

Багреев понял, в чём ужас. Спокойствие у декадентов было не в чести. Но продолжить беседу им не удалось. С улицы в дом вошли Ольга с Орфеем.

— Должно быть, обед уже подан, — в следующую секунду по-хозяйски радушно произнесла Лея.

В столовой, и правда, их ожидали аппетитные телячьи котлеты с цветной капустой и неизменная мадера. Вся компания уселась за трапезу. Харитоша подмигнул Орфею:

— Нагулялись?

— Ночь будет ясная, — сообщила всем Ольга и спросила Выгодского: — Ну? Что-нибудь нарисовал?

— Нет, — ответил тот. — Не хочу больше думать об афише. Лучше найди мне отвратительную старуху, и я напишу с неё свою Недолю.

— Карповна, — предложила Ольга, но художник возразил:

— Она слишком хороша.

— А разве судьба твоя не хороша? — Ольга удивлённо вскинула брови. — Вот выставка скоро.

В ответ Выгодский только дёрнул плечом. Застольная беседа прекратилась, поскольку все больше хотели есть, чем говорить. А художник усиленно налегал на мадеру.

Пить кофе перешли в гостиную. Напиток имел чудесный насыщенный вкус, который долго оставался во рту. Такой кофе можно было с удовольствием потягивать всю ночь.

Она уже наступила, и Харитоша решил проверить, насколько она ясная. Все с этим согласились, вышли из дома, спустились с крыльца и, отойдя от света фонаря, задрали головы. В глубоком темно-фиолетовом пространстве сиял яркий тонкий месяц, а кругом мерцали льдинки звёзд.

— Вон Марс, — нарушил молчание Харитоша, указывая на красный кружок почти над самым горизонтом.

— А вон Луна, — передразнил его Выгодский, и снова воцарилось безмолвие.

Несколько минут было слышно только, как ветер шуршит в ветвях да как сопит Харитоша. Глаза Багреева уже не блуждали по небу, а любовались чётким профилем Леи, когда Ольга закричала:

— Смотрите! Огненный змей!

Все обратились вслед за её рукой. Откуда-то сбоку, из недр неба, показался и красной лентой пронёсся вдали метеор.

— Будет гостем чьей-то вдовы, — уже тише заключила Ольга.

— Почему вдовы? — спросил Багреев.

— Разве не знаешь? Огненный змей навещает только-только овдовевших женщин в облике их умерших мужей, — объяснила Лея.

— Всех? — недоверчиво уточнил Багреев.

— Нет, только кого захочет.

— Значит, он сейчас ко вдове полетел?

— Или Вольга к Леле прилетел, — проговорил Выгодский, стоявший поблизости.

Общество вернулось в гостиную. А Орфей вообще ушёл, и некоторое время были слышны только его шаги в столовой. Наконец он появился, одухотворённый и будто светящийся.

— Ты нам прочтёшь что-нибудь? — спросил Харитоша.

— Да, и народные песни здесь будут уместны. — Орфей одарил Багреева высокомерным взглядом.

Мгновение спустя зазвучал негромкий монотонный голос Орфея:

— Был синий вечер, душный и томный. Молодая вдова как во сне брела с кладбища домой. Ещё так недавно звенели свадебные бубенцы, и она, покорно став на колени, снимала сапоги с молодого жениха, светловолосого и синеглазого. Начала с левой ноги, и спрятанной за голенищем плёткой жених ударил её по спине к восторгу многолюдной шумной свадьбы. Ещё не успели налюбоваться друг другом супруги, а уже пламень в синих очах мужа погас, румянец сошёл с гладких щёк, вбит последний гвоздь в крышку гроба, и земля укрыла его толстым одеялом. Тоска стиснула сердце вдовы, и, оставив шумные поминки, вернулась она к свежей могиле. Плакала до глубокого вечера, синего, душного, томного. Припала к тёплой и мягкой земле, лила слёзы и не заметила, как на бархате неба явился над ней Огненный змей в красной мантии искр. Он покружил над вдовой, глядя пламенным глазом, и направил полёт к опустевшему дому её. Скользнул по печной трубе вниз. Окна дома засветились красноватым огнём.

Защёлкал соловей над свежей могилой, и сквозь его пение вдова различила негромкий настойчивый зов. Истомлённая слезами и тоской, подчинилась она роковой власти зова и словно во сне побрела в одинокий свой дом. Издали увидела красноватый огонь в его окнах, и ноги сами понесли её быстрее, быстрее к манящему свету. Вбежала, запыхавшись, не затворила и дверь за собой.

В горнице сидел её муж, светловолосый и голубоглазый, красивый, как в самый день свадьбы. Огонь его взора обжёг молодую вдову. Она сорвала с волос чёрный платок, упала перед мужем на колени, желая совершить вековечный обряд и снять сапоги с его ног. Муж продолжал глядеть пламенным взором, но ни звука не слетело с его алых губ. Подал он ей правую ногу. За голенищем сапога там были спрятаны жемчуга и кораллы, рубины и золото. Они дождём посыпались на дощатый пол, грязный после поминок. Всю тёмную ночь вдове было жарко в горячих объятиях. Всю тёмную ночь её обжигали безмолвные алые губы. До первых петухов, до золотого рассвета. А когда наступило прохладное утро, она не увидела мужа. Одни лишь жемчуга и кораллы, рубины и золото были рассыпаны по полу.

Ясным днём тосковала вдова над свежей могилой. Забыла еду и питьё, родных и друзей, и только горючие слёзы катились по бледным щекам на тёплую мягкую землю до самого синего вечера, когда в бархате неба проклюнулись звёзды и Огненный змей проскользнул в дымоход. Настойчивый манящий зов опять зазвучал в томном воздухе. Вдова побежала домой

и упала в объятия ненаглядного своего мужа. И было ей знойно от горячих рук, а огненные губы повергали её в негу и бессилие. Когда же из-за леса показалась золотая заря, наступило холодное и одинокое утро. Друг милый снова покинул вдову. Только золота прибавилось в её опечаленном доме.

Так. Тоскливые светлые дни сменялись жаркими да тёмными ночами. Вдова ждала, звала вечернюю зарю и грезила о том, чтоб никогда не наступали рассветы. Но неизбежна была каждая разлука. Как вечерняя зарница воскрешала её мужа, так утренняя убивала. И опустилась вдова на колени пред ночным своим гостем, рыдала и молила никогда её не покидать. Но алые уста его остались безмолвны. Ночной гость надел на вдову принесённые им драгоценности, и согнулась она под их тяжестью, а когда поднялась, никого не увидела в доме, и красноватый свет в нём померк. Залилась вдова горючими слезами, стала рвать на себе волосы, звать гостя назад. И рыдала она ясным днём, синим вечером да тёмной ночью. Рыдала. Но никто не явился. Остались одни жемчуга и кораллы, рубины и золото…

С минуту длилась тишина. Первой заговорила Ольга:

— Ну вот, от Выгодского заразился, — упрекнула она Орфея. — Слишком грустно.

— Как получилось, — буркнул тот. — Ведь есть и те, которые страдают без надежды.

— Браво! — бросил художник. — Уверяю тебя, Оленька: змею понравится.

— И мне нравится, — поспешил сообщить Харитоша. — А как тебе, Лёля?

— После ночных визитов змея вдовы сходят с ума, — проговорила та.

— Вдов у нас, кажется, нет. А вот змеи… — протянул Выгодский.

— Что ты хочешь сказать? — насторожилась Лея.

— Ты знаешь, — пристально и мрачно глянул на неё художник.

Лея нахмурилась, потом произнесла:

— Я устала, спать хочу. Доброй ночи.

Она поднялась со стула и вышла. Следом за ней и Орфей удалился в кабинет, чтоб записать про Огненного змея. Ольга и Харитоша подсели к роялю и принялись играть в четыре руки, но не очень стройно, что веселило обоих. Выгодский вытащил откуда-то папку и, сидя в кресле, стал рассеянно водить карандашом по листу бумаги. С большим интересом Багреев подошёл к нему. Тот за своим занятием заметил и зрителя, однако прерываться не стал. Багреев решил, что художник не против его присутствия, присел рядом и несколько минут наблюдал за движениями карандаша.

На одном большом листе Выгодский рисовал портреты Леи. Причём в своей излюбленной манере: её черты возникали в ветвях цветущего жасмина. Она то задумчиво клала голову на руки, то гордо поворачивалась в профиль. Все штрихи были так точны, что становилось ясно: он знает каждую мелочь в облике своей модели. Виньетки в виде стрельчатых окон ограничивали пространство. Под одним из таких окон на камне свернулась змея, а под ней красовалась надпись: «Сказание об Индре и Вольге». Над другим окном похожий змей растопырил когтистые лапы и развернул перепончатые крылья, а такая же надпись осталась на прежнем месте. Багреев

догадался, что это варианты той самой афиши, которую хотели от него получить Харитоша и Ольга.

— Там будет и её портрет. «Лёля в Ирийском саду», — не отрываясь от дела, обронил художник. — Они склонятся перед новым божеством!

— Для чего вы воскрешаете мёртвых идолов? — спросил Багреев.

— Разве наша Лёля похожа на мёртвую? — удивился Выгодский и захихикал: — Нет, она живая и такая соблазнительная…

— Вы слишком много выпили, — прервал его Багреев.

— Нет, кажется не слишком, — опять захихикал художник. — Пойду добавлю.

Он отложил карандаш и бумагу, поднялся и, пошатываясь, побрёл в столовую. Харитоша решил составить другу компанию и поспешил за ним. А Ольга отправилась проведать Орфея. Багреев снова остался один. Он всё ещё не был своим для этих людей и совершенно не стремился таковым стать. Его занимала лишь Лея.

Сквозь мысли о ней он опять услышал её голос, как днём в кабинете, но теперь Лея отчётливо звала его. Багреев секунду колебался, а потом, подчиняясь этому зову, в котором к тому же явственно звучала мольба, решился на неделикатный визит в её комнату. Найдя среди коридорных панелей дверь, Багреев увидел за ней лестницу, ведущую наверх, очевидно, в ту самую башенку, которую он разглядывал снаружи, когда приезжал вместе с Савиным. Поднявшись по лестнице, Багреев отодвинул бархатную портьеру, и первым, что бросилось в глаза, было сидевшее на тумбочке мерзкое существо, полужаба-получеловек, но размером раза в два больше жабы обычной. От неожиданности Багреев отпрянул и чуть не оступился с лестницы, но быстро сообразил, что уродец глиняный и подобных полно у Латоны в фонтане.

Эта комната изобиловала шторами из-за опоясывавших комнату окон, и лёгкая ткань колыхалась от ветра. Светильников нигде не наблюдалось, и всё-таки комната была освещена. Красное сияние исходило от рассыпанных по полу искр, которые переливались, как рубины, но не жгли ни пол, ни ноги Багреева. На кровати он увидел Лею, спавшую в своём персиковом платье прямо поверх покрывала. А над ней склонился неизвестный мужчина, такой могучий, что в его руках Лея казалась хрупкой до невероятности. При появлении незваного визитёра незнакомец вздрогнул. Когда он посмотрел на вошедшего, Багреев узнал Вольгу, — именно это лицо изобразил на рисунке Выгодский. В следующую секунду оно изменилось: Багреев увидел змеиную голову. Мелькнул раздвоенный язык, взмахнули перепончатые крылья, — и снова был перед ним Вольга-человек. Недолго думая, Багреев схватил уродца с тумбочки и запустил в него.

Послышался звон разбитого стекла. Вольга исчез. Горящие искры тоже пропали, а спальня оказалась залитой алым светом утренней зари. Лея проснулась, присела на кровати и непонимающе огляделась. Потом удивлённо спросила:

— Это что, вместо доброго утра?

— Бежим! — Багреев протянул ей руку.

Лея доверчиво засмеялась и подала свою. Они быстро спустились по лестнице и в следующий миг оказались на улице. Так, весело смеясь, и устремились они рука об руку по окутанной туманом дороге вперёд, к восходящему солнцу.

Игорь Андреевич Красовский — поэт, член Союза российских писателей, выпускник Московского литературного института им. А. М. Горького, актёр-кукловод, организатор музыкально-поэтического марафона «ПОСЛУШАЙТЕ!», лауреат калужской областной премии имени М. Цветаевой, участник 8-го и 10-го Форумов молодых писателей в Липках, автор книг «Пьесы», «Условно», «КаША», «Вопрос времени». Публиковался в сборниках и альманахах «Изящная словесность» (СПб), «Зерно», «Синие мосты» (Калуга), «Сорок сороков», «Траектория творчества» (Таруса), «Истоки» (Москва).

ВЫ ПОДОЛЬШЕ ТОЛЬКО ЖИВИТЕ

От автора

Жилец дома номер…
по улице
имени Ю. Гагарина
(или В. Маяковского, или Матросова А.) —
необычный жилец, с историей,
мне коллективно подаренной
лицами разного возраста.
Их имена назвать
возможным не представляется.
Половину не знаю по имени —
спрашивать было незачем.
Кого спрашивать? Мужика
из пиратской палатки с кассетами,
в которой однажды выменял
на деньги «ту самую» музыку —
сорок минут в витках
ленты магнитной?
Местного
дурачка,
инвалида с базедовой

болезнью, с зубами торчащими
жутковато?
Когда он гулял
у спортивной площадки вечером,
дети игры бросали, преследуя
его, обзывая «кроликом».
Так он «кроликом» и попал
в историю — мою историю.
Там таких персонажей множество.
Я и сам персонаж в историях
своих бывших, соседей, бомжей,
таксистов, сантехников, гопников,
людей, на друзей похожих во
всём, повторюсь — их множество.
я лишь результат наложе-
ния самостей этих, влияния
книг и уличных драк, страхов матери,
отцовских воззрений на будущее
страны и моё — любой
перечень вряд ли окажется
полным.

Спасибо,
вы тратили
личное время на то, чтобы
сделать меня собой.

На прогулке

«колючка» подёрнута инеем. в ряд тополя —
караульные — мёрзнут в кустах, оголённых по корни
чётким приказом от …надцатого февраля —
охраняют меня от неведомой зазаборной
жизни, в которой я смыслю не больше, чем в ней
смыслит ребёнок, спелёнутый туго, в салазках
объезжающий белые улицы и из саней
на всё заявляющий авторитетно «плекласно!»

Фрагменты

Естественный в туманности промзоны
свет окон заводских — в этаж — чуть приглушён.
Работают станки. На улице продлённый
назло синоптикам октябрь. Хорошо,
пока безлюдно. Стой, смотри на трубы
бетонные — под тучи — три трубы,
три ножки табурета. Почему бы
их не представить так? Похожи. Может быть,
они и держат небо на районе.
Молчат собаки. Тихие лежат
и наблюдают. Всякий посторонний
здесь ускоряет шаг. Из гаража —
две фары круглые — машина выезжает,
похрустывает гравий рассыпной,
над аккуратной лужей, не снижаясь,
планирует кленовый лист — клено-
вая открытка, полный адрес
на ней указан, сочинённый мной
под накрепко шнурованной, крест-накрест,
опорой ЛЭП — гудящей и живой.

Прошлым летом

Занавески в горошек лениво колышутся — шшухх…
Под ветреный шёпот о благоприятной погоде,
Под таканье ходиков, под жу-жужжание мух,
Под низкое «му-у-у» со двора растекается полдень
По копнам приземистым. Видно одну из окна,
Накрытую плёнкой на случай дождя обложного.
В полиэтиленовой шляпе-панаме копна
Смешна, и сама по себе, и как слово — как слово,
Вошедшее в отпуске месяце в мой обиход
В месте, где шифер надколотый запросто сложен
Под яблоней; где мотоблок тарахтит; где хлопот
Полон дом, огород; где нет-нет; где нет-нет, да и тоже
Увлечёшься хоть чем, хоть фигурной косьбой по траве,
Выминая ногами круги на лугах и овалы
Из мятлика, из аржанца. Здесь во мне травовед
Доморощенный заговорил, здесь я знаю так мало
О том, сколько вёдер в колодце (не сколько воды,
А сколько вёдер); о том, где — в хлеву или в хлеве? —
Довольнее сено жуётся; и кто проходил
Еженощно по полю и свежий высаживал клевер.

В рамке

1. дружить

«Теснее…вместились…снято!»
На память. Фотограф не я —
меня нет пока. Восьмидесятые.
Дедовы сын и зятья
городские в деревне. Их юность:
дяди Паша и Саша, отец,
крёстный с 12-струнной
гитарой, Сергей — военспец,
в будущем — дядя Серёжа.
Самый старший. С его похорон
вернулись вчера. Он прожил
беспокойную жизнь. Погребён
без воинских почестей, мирно,
по-семейному. Все, кто смог
приехать — простились. Обширный
инфаркт миокарда. Венок
«от родных» нёс лысеющий крёстный:
автомеханик, рыбак,
филателист — серьёзно,
у него жизнь сложилась так.
У отца — по-другому. Дяди
Саши давно нет в живых,
Паши тоже. Чего же ради
я рассказываю о них?

«Теснее…вместились…снято!»
Из нулевых шесть рож.
Свадьба Вадика. Мы поддатые
(Вадик совсем хорош).
Я свидетель — лента свидетеля
болтается на плече.
Лёшка Феде отвесил пендаль —
оба в кадре ржут. Вот зачем
мне понадобилось чуть выше
описывать мало кому
интересных людей — они же
наше завтра возможное, у
них впереди было время
такое же, как и у нас.
Наше время по той же схеме

расходуется сейчас.
Отчётливо представляю,
через пару десятков лет
сына (Мишу? Илью? Николая?),
которого пока нет,
но он будет и будет — уверен —
точно так же сопоставлять
и готовить себя к потерям
неизбежным, храня и для
надежду наивную: выйдет
иначе на этот раз!
Вы подольше только живите:
Витя, Ромик, Макс, Женька, Стас…

2. б.

так же солнце однажды сморщинится, закатится брошью в щель
между тёплым безоблачным летом и парой гвоздик. до свидания.
вот и всё… наклоняюсь над снимками, где ч/б, ты на них как модель
молодой и красивой женщины — фотофакт, а в воспоминаниях
у меня ты цветная. из раннего: папки стопками ровно лежат,
ручки, ножницы в пёстром стаканчике, дырокол из металла блестящего,
ты — начальница жилуправления, я прогуливаю детсад
у тебя на работе. кружочками из бумаги засыпаны ящики,
стол и пол. или тоже из раннего: в деревню на целый июль
в малиново-красной «копеечке» отъезжаю медленно-медленно,
шелестящей дворовой зелени полупрозрачный тюль
размывает тебя. я вглядываюсь. вглядываюсь до последнего.
осторожнее дальше разматывать — нити рвутся легко, где ни тронь,
чем старше, тем больше пробелов в дёрганом повествовании
моём, покрываюсь испариной, бабушкина ладонь —
мягко ложится на лоб, я чувствую её касание.

Станислав Валерьевич Еленский — поэт, видеограф. Публикации стихов в альманахах «ПОСЛУШАЙТЕ!», «Зерно». Участник фестиваля современной поэзии и музыки «Тарусские грозы».

ТАК И ОСТАЛОСЬ ТАЙНОЙ

Пейзаж с остановкой

разучивает поле тишину,
октябрь позирует Ван Гогу,
автобус тужится впихнуть себя
за горизонт.
у выходного дня кончается лимит.
даю карт-бланш возможному «случайно»,
смотрю по сторонам…
пейзаж молчит.
исчез автобус.
вид документальный у этого ландшафта
и меня,
хромающего в поле одиноко.
идущего ко всем чертям
в случайном кадре, где не нужен
«кто-то».

Осень в предложном падеже

безлистное,
годичное явленье…
давно не Феникс,
просто — сухоцвет.
отсутствуют места захороненья
скоропостижно уходящих лет.
в морщинах лба,
у некрологов,
минуты нервно семенят…
молчание,
безденежье,
тревога —
скупой постскриптум выходного дня.
на кухне парусится штора,
спит пёс,
горит ночник,
взрослеет сын,
в неубранной утробе коридора
пульсируют настенные часы.

Земля — воздух

игра в «земельки» кухонным ножом,
затем гоняем в «банки-палки».
ещё не пьём портвейн за гаражом,
а закрепляем трос «тарзанки».
пока нам 10… и с восьми утра
мы «делим» землю и «летим» над нею.
мы — «генералы» баночных стратегий.
мы — «асы» полусонного двора.

Пётр Евгеньевич Топорков — поэт, переводчик, кандидат филологических наук. Руководит кафедрой русского языка как иностранного КГУ им. К. Э. Циолковского. Автор поэтических книг «Добрые селенья» (2014), «Три» (2017). Публиковался в областной газете «Весть», альманахах «Зерно», «Синие мосты», журналах «АльтерНация», «Новая реальность». Член Союза российских писателей.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ГДЕ-ТО ЕЩЁ

Долина

(из Р. М. Рильке)

Есть разница, есть простота различья,
когда день светел, небо всё — движенье,
и всё в нём — свет и суета. А ниже, в землях,
всё те же домики, на тех же перевалах,
и склонах — радостны, разумны; ночь придёт,
и всё приходит к цели неизменной.

Подобнее друг другу дали и долины,
и возникают фонари, один, другой,
смотрю на фонари, их больше, но они —
пустынные и бледные огни,
их звёзды убегают в высоту,
а к полночи исчезнут, угасая.

Но иногда, в предутреннем часу
созвездие вокзалов я смотрю,
созвездие испуганных светил,
в кругу земном стоящее несмело.

* * *

(из Роберто Хуарроса)

Всё начинается где-то ещё.
Неважно, что что-то
здесь остаётся
и даже кончается здесь:
здесь ничего не начинается.

Поэтому слово, и эта тишина,
этот стол, ваза, твои шаги,
строго говоря, никогда здесь не были.

Всё всегда где-то ещё —
там, где начало.

Максим Васюнов

Максим Александрович Васюнов родился в Нижнем Тагиле в 1988 году. Окончил журфак Уральского госуниверситета. С 19 лет работает на телевидении — в новостях и в документальном кино. Литературой занимается со студенчества. Автор сборника прозы «Следы ангела». Повести и стихи публиковались в толстых журналах «Урал» и «Крым», в литературных приложениях «Российской газеты» и «Московского комсомольца». Лауреат премии им. А. И. Куприна. С 2017 года живёт в Калуге.

ПАРОМИНЫ. ОТКРОВЕНИЯ О МИРЕ НЕИЗВЕСТНОГО МОНАХА

1

Образ — нарочно не придумаешь — монашествующий священник подрабатывает паромщиком. Перевозит людей на берег, прозванный в народе Правым. Коренастый в теле и в уме человек. Я часто переплывал с ним реку. Ширина небольшая, время в пути минут десять. За это время отец Лонгин (так окрестим его) успевал рассказать немного, если мерить знаками, и много, если не мерить ничем. Вначале мы просто разговаривали, потому я стал записывать сказанное на диктофон. Так родился целый жанр — паромины. «Ты только город не называй, и реку, и как зовут меня не пиши, а то вдруг поклонники появятся», — боялся он. И ещё: «Слова мои как вода, в том смысле, что утекут, и Бог с ними». Спустя годы я решился опубликовать некоторые расшифрованные записи.

*

Села ко мне недавно девица, юбка ниже колена, значит умная. «А вы что, — спрашивает, — правда священник?» Я говорю: «Какой же я священник, вот Пушкин — священник, Мандельштам — священник, Тарковские отец и сын — священники, а я так, поп, в лучшем случае — батюшка. Понятно тебе?» Ничего не ответила. Юбку только поправила. А я гребу и думаю, откуда мне такие слова пришли? Пушкина в священники записал! Но на воде и не такие мысли приходят. Поэтому ты ко мне сильно-то не прислушивайся. Метёт Емеля — что в дороге ещё делать.

*

Я почему пошёл в паромщики? Взял благословение у настоятеля, и — за вёсла. Храм мне дали, разрушенный. Ох, красавец! Авианосец! Три этажа, можешь себе представить?! А там ни крыши, ни окон, пара затёртых фресок — вот и всё богатство. Меценатов ищу, дааа! Но и сам хочу своим трудом копейку для храма заработать. Вот потому здесь, два через два [дня]. Люди ездят — им удобно, и туристов много, для них паром в радость. И мне в радость с людьми знакомиться. То, что я монах, поначалу тут никто не знал, это уж потом — слухами река полнится. И вот какое дело приключилось. Некоторые стали специально приходить — душу изливать, советоваться. Моя лодка для них вроде церкви. Я, конечно, им: в храм приходите, там поговорим. Но иногда не могу отказать в утешении. Хотя куда мне грешному в утешители подаваться, мне бы служить одному в моей разрушенной церкви в поле. Вот счастье монаха. Уйду я, так думаю, с этой работы. А то уж слишком много ко мне внимания стало.

*

Я однажды грешным делом смотрел телевизор, там рыбак рассказывал — рано утром, когда над рекой туман, то в тумане в этом видны следы. И вот он спрашивает кого-то: «А кто по воде ходит?» И сам отвечает: «Ясно кто». Я тоже такую картину вижу. Сначала думал, мне кажется. Но нет — следы есть. Прямо в тумане. И прямо по воде… А если так подумать, то где ещё ходить в наше-то время? По воде только и остаётся. Красиво. Тихо. Чисто. Туман, когда рассеивается, — запах такой над рекой! Что ты! Благодать. Нигде так не дышится. Только здесь и в церкви моей заброшенной. Приходи ко мне на заре.

*

Адам и Ева говорили стихами. Иначе нельзя, когда постоянно видишь первозданную красоту. Красота нашей земли — лишь отблеск, лишь карикатура того, что видели Адам и Ева.

И они говорили с Богом. А Бог говорил стихами. Это Поэт Поэтов. Первый Поэт и Последний. Мы перестали видеть красоту и потому перестали писать стихи. В 21 веке мы лишились даже земной красоты. И правды. Какая уж тут поэзия.

Меня всё это волнует очень. Я по образованию гуманитарий. Но не будем о таком недосягаемом — прежде всего для меня грешного.

Я лишь о том хочу сказать, что все мы такие противные! Да потому что мы противно говорим. Наш язык на таком низком уровне, что Адам и Ева нас бы не поняли. И потому Бог часто не понимает нас. Нельзя так говорить с Богом, как мы говорим. Так вообще нельзя говорить ни с кем.

Чтобы хоть чуть-чуть понимать, какая поэзия слов была в раю и как там жили, представь себе такое: человека поселили одного среди самых прекрасных пейзажей и животных. Дали ему в руки Библию, томики поэзии великих Его собеседников. На, читай. И вот он год будет общаться с природой, с Красотой

словесной и природной. А потом его взять и перенести в город, подсунуть газеты, включить телевизор, пригласить на встречу, на вечеринку, в кино. Он нас не поймёт. Не поймёт, зачем мы тратим время на всё это. Это раз. А два. Он сойдёт с ума. Мы по сравнению с Адамом и Евой все сумасшедшие.

Вот возьмём современное искусство, оно очень интересное, не спорю, вызывающее, провокационное, но не красивое. Его даже никто не описывает прилагательным «красивое». Все говорят: вау, офигенно, зачетно. Но никто не говорит: «Ах, как красиво». Потому что современное искусство, то, что принято так называть, это отблеск ада. А красота, говорю тебе как гуманитарий, это отблеск рая. И уже потому настоящее искусство не может быть не о Боге.

Сегодня по красоте мы изголодались, тянется душа к ней. Видел бы, сколько по вечерам на берега реки выходит людей закаты провожать! Но многие из нас всё же не там красоту ищут. Митя Карамазов у Достоевского, помнишь, как говорит: «В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей». Вроде бы так его слова звучат, давно не читал. Или вот ещё оттуда же фраза про красоту: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Достоевский тут, конечно, переоценил дьявола — с Богом он бороться не может. А вот с человеком, да. С образом Божьим в человеке, да. Всё делает, чтобы человек святым не стал.

О Достоевском тебе ещё расскажу. Ты знаешь, как он к вере пришёл? Будто бы он увидел рай. Как уж увидел, то неизвестно, но Фёдор Михайлович сам об этом Оптинским старцам рассказывал. А у них он врать бы не стал. Много я читал про то, как людям на земле давалось увидеть рай, во сне, в видении или ещё как Бог пошлёт. Достоевский был одним из таковых. Может быть, поэтому он о красоте рассуждал так глубоко, так необычно. И стал великим писателем.

Ну вот мы переправились. Всего…

— Красивого?

Отец Лонгин смеётся:

— Иди уже! Ангела!

*

Слово не обесценивается, нет. Всё дело в том, что просто нет слов. Или их очень мало. Даже далеко не во всех стихотворениях сегодняшних слова. (Я грешен, пишу стишки, сам почитываю иногда, что пишут другие. Но я тебе не покажу, даже не проси! Нет-нет!) Но если «В начале было Слово», то дерзнём предположить, что и в конце Оно будет. Мы, живущие в 21 веке, должны вернуть Слово. Слова, слова, язык, понимаешь? Если мир будет рушиться, то пусть рушиться под музыку слов. Мне кажется, это прекрасная цель для нашего времени. «Это ли не цель желанная».

И потому я считаю, что у тебя хорошая профессия. Журналист может всё вокруг себя высушить, если не будет у него живого языка, слова вдохновенного и вдохновляющего, родникового. Но если дар такой будет ему дан, то в степи нашей мирской смогут реки забить. Да что ты смеёшься!? И люди в этих реках смогут увидеть следы… А чьи следы? Ясно чьи.

2

После последней нашей встречи прошло уже больше года. Тогда отец Лонгин (так мы окрестили его) просил меня не называть город, где находится переправа. Но читатели догадались — стали приезжать на духовные беседы или просто ради селфи. Как к необычной достопримечательности. В конце концов монах сбежал от славы, и я был уверен, что больше его здесь не увижу. К счастью, мои опасения не оправдались — в новое лето отец Лонгин снова сел на вёсла.

*

Тот, кто в лодке, — всегда плачет. Это моё. А вот Басё:

Взмах весла, ветер
И брызги холодных волн.
Слёзы на щеках.

Пожалуй, больше добавить нечего.

*

Я сейчас скажу о противостоянии города и деревни. Если деревня, природа со всеми её красками, бегом облаков, ручьями и реками, звуками, — это рай. То что такое город? Со всей суматохой, гонкой, авариями, деньгами, завистью, злобой, невозможностью остановиться и подумать. Что такое город?

То, что город чуждое нам, это точно. Легко проверить. Когда мы выбираемся на природу, нам хорошо, мы чувствуем себя как в раю — так многие и говорят. Как будто вернулись домой. Как там, в раю, мы, конечно, помнить не можем (вспомнить значит умереть, говорил великий поэт, кажется, Мандельштам), но духовные гены и гены духа они-то помнят, поэтому в подсознании мы понимаем, что природа — это наш дом.

А что же в городе? Кому хорошо в городе? В город можно влюбиться, страстно к нему привязаться, но не полюбить. Потому что любить то, что не от Бога, чуждо нашей крови и нашей памяти.

Я каждый день переправляю людей с одного берега, на котором деревни и леса, на другой, где разрастается город. Для меня, монаха, эта моя работа символична, да. Каждый удар весла о волну меня пугает, когда я везу людей в город, и радует — если обратно. Но в деревню плывёт гораздо меньше людей. Как священнику мне хочется, чтобы больше пассажиров плыли в деревню. Но что я могу сделать? Возможно, уговорить тех, кто плывёт в город, скорее вернуться назад... Поэтому я так болтлив! (*Смеётся.*) Судьба такая у священников — уговаривать вернуться назад.

(*После долгой паузы.*)

А главное то, о чём хочу сказать — человек должен жить у реки.

*

И вот они пошли, оделись, нарожали детей, отступников и авелей, настроили ковчегов, башен, содомов, церквей.

И так дошли до города.
Здесь пока стоит многоточие

*

Все самые хорошие мысли, открытия, озарения, идеи приходят либо в дороге, либо под утро. То есть всегда на границах, в момент, когда что-то во что-то перетекает, ночь — в утро, одно пространство в другое. Ещё можно сказать так — озарения приходят в моменты скольжения. В дороге — ты скользишь не только по пространству, но и по времени, так ведь? Под утро ты тоже как бы скользишь меж двух состояний — бодрствования и сна, будто между жизнью и смертью. А ещё в ду́ше приходит много идей. Там и скользко, и вода течёт постоянно. (*Улыбается.*)

*

Был у меня друг. Поэт и голубятник. Однажды он заметил, что после каждого написанного им стихотворения прибавляется по птице. Напишет стих, глядь — взмывает новый голубок или голубка. Стихи свои он нигде не публиковал. Он был рад уже тому, что целая стая голубей кружила над его домом и он мог ей управлять.

Он писал ещё и ещё. Голубей становилось всё больше и больше. В его поэзии появился смысл. Понимаешь? А стаю голубей он мог себе позволить, он жил в отдельном доме, на холме, над рекой, вдали от других зданий. Красивое было место.

И вот что ещё забыл рассказать. В это невозможно поверить, но мой друг уверял меня, что цвет голубей соответствовал теме его стихотворений. Белые это стихи о любви. Сизые — о Родине. С рыжими крыльями — это о Боге, должно быть, в Боге что-то от солнца — так говорил мой друг. Голуби в крапинку — это о красоте вокруг, которую поэт познавал.

Так вот, когда мой друг умер, под окна слетелись все его птицы. Они ворковали его же стихи, как молитвы на отпевании. А потом вспорхнули, сделали над домом круг и разлетелись на все четыре стороны. Два рыжих голубя живут в моём храме. Приезжай, я тебе покажу.

*

Все спрашивают, почему мир несётся в тартарары. Даже уже не спрашивают, когда миру придёт конец. Все понимают — он близко. Настолько близко, что осталось лишь понять — почему всё так происходит. Причин, конечно, много. Но я опять о воде. Вот смотри, видишь, по воде идут круги. Они расходятся от весла, или от проплывшей мимо моторки, или это рыбка попыталась узнать погоду. Так вот я и ты, и все люди, все мы для этого мира значим ровно столько, сколько значат эти круги. Этому небу, этой природе, этой реке абсолютно всё равно на наши планы, амбиции, достижения, на наши войны, богатства, гениальные разработки. Все мы и всё это пройдёт, обо всех нас и обо всём забудут. А эта река, ну ты же понимаешь, останется. И по воде обязательно будут расходиться круги. И так вечно. Зачем же

нужен наш эгоизм, гордыня, лицемерие, стяжательство (а ведь именно из-за них мир идёт на дно), если от этого даже круги по воде не расходятся?

Мы можем переубивать друг друга, река даже не заметит. И пока мы это не осознаем все вместе, нас не спасти. Ты спрашиваешь, как же до всех эту мысль донести? Я думал об этом. И ничего лучше не придумал, как открывать миру русскую классику.

Нам нужно заново переосмыслить русскую классику, именно сейчас приходит её время. Осмыслить без нужных трактовок и вне идеологий. Тогда откроются нам вещи, идеи и мысли такие, что перевернут весь мир и ход нашей истории. И эта река потечёт в обратную сторону. Я хочу, чтобы ты дожил до этих дней.

*

В другой раз паромщик сказал:

Трагедия человечества — вместо того, чтобы всем миром искать бессмертие, мы ищем, как умертвить друг друга. Вот и всё, что нужно знать о конце времён.

*

А вообще устал я от тебя. Зачем тебе мои мысли? Они гроша ломаного не стоят. Давай я тебе лучше скороговорку подарю, только что придумал, пока с тобой трепался — за неимением имения не имею мнения. Никто я и звать никак. И зачем я с тобой опять согласился говорить!

*

Хорошо, давай про творчество. …

Всё творчество так или иначе посвящено воскрешению из мёртвых (это как-то пересекается с Пастернаком?). Для автора творчество — это желание попасть в вечность. В вечность можно попасть только одним путём: не забывать. Не забывать благодарить. Герои и образы автора — это попытка что-то или кого-то воскресить. Кто очень нужен, кому (чему), возможно, не успел сказать спасибо. Даже если порой кажется творческому человеку, что он своего героя придумал — на самом деле это работа памяти. Воображает человек на основе когда-то виденного, прочувствованного. Поэтому, да, я думаю, творчество — это про бессмертие. Только, пожалуй, не о своём бессмертии надо думать. Этим, наверное, отличается хороший писатель и журналист от графомана.

*

В головах пишущих людей, поэтов, прозаиков слова разгоняются, как заряженные частицы в большом адронном коллайдере. А теперь представь — сколько пишущих, столько и коллайдеров. Один коллайдер, другой, третий, миллионный. И всё это вертится в одном гигантском мировом ускорителе. Что будет, если он взорвётся? Слово останется. Одно. Ты его знаешь. (*Добро смеётся.*)

*

А звёзды? А что звёзды. Это те же окна, которые светятся в ночи. Это те же фонари. Только это окна и фонари тех, Оттуда. Так рождаются млечные пути. Там улицы тоже требуют света в ночи. Так рождаются созвездия. Вот откуда столько звёзд. Любой свет с ночного неба — звезда. Так и Оттуда смотрят вниз ночью и видят наши огоньки. И тоже, наверное, зовут их звёздами. И дивимся — мы и они — сколько звёзд! Не сосчитать! И горят звёзды Там и горят звёзды здесь — перекличка. Может, единственная примета, сообщающая нам о них, а им о нас…

Ладно, не бери в голову. Насчёт приметы.

*

Вот все рай ищут. А рай в голове должен быть, тогда рай везде будет. Для меня рай эта река, эти поля, церковь моя разрушенная, люди, которых я встречаю, книги, которые читаю. Рай он здесь, рядом. Надо его только подумать, не выдумать, а подумать — не перепутай.

*

Зачем писатели пишут дневники? Одна из главных причин — обязательство передать другим писателям свои мысли, идеи, которые они сами не успели превратить в произведения. Я считаю — живым писателям смело можно пользоваться дневниками ушедших коллег как собственными черновиками. В конце концов перед Богом все писатели как один, и на всех Он как на одного посылает идеи и темы. Или можно сказать так — раз Бог посылает мысль писателю и даёт её зафиксировать, значит, она предназначена для широкого круга читателей — знаешь такую фразу? Если кто-то не успел эту мысль передать, то за него это должен сделать другой, следующий.

Слушай, сейчас подумал, а может быть, Гоголь потому и сжёг «Мёртвые души» и сошёл с ума, что попытался передать людям то, что было сказано ему лично и не предназначалось огласке? Или Бог передумал, забрал Свои Слова обратно?

*

Ещё о твоей профессии. Поэт Уильямс сказал: «Аду свойственна неточность». Учёный Аверинцев продолжил: «Соответственно, точность — оружие против ада. Сосредоточенность на субстанциональных признаках, на объективном». Выходит — журналистика может бороться с адом. Если будет точной и объективной. То есть правдивой. Всего и надо — говорить правду. Петь о том, что видишь. Тяжело это сегодня, но ты крепчай!

*

Если и воровать, то книги. И только у хороших людей.

Татьяна Бубенцова

Тамара Витальевна Бубенцова родилась в г. Кирове Калужской области в 1971 году. Окончила исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского. Стихи и проза публиковались в журнале «Грани успеха», газете «Маршруты культуры», альманахе «Лепестки лотоса», калужском региональном литературном журнале «Лиффт». Живёт и работает в Мещовске.

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

— Бабушка, расскажешь сказку?

Свешивается с лежанки русской печки черноволосая головка шестилетней внучки.

— Помани маленько, сейчас угольки выгребу, заслонку задвину и расскажу. А то спала бы, поздно уже, упеталась, поди, за день-то.

— Не спится без сказки.

— Ну, помани, ужо.

Бабушке уже за семьдесят. Годы напоминают о себе и быстрой утомляемостью, и частыми ревматическими болями. Ей порой хочется полежать, посидеть на завалинке со сверстницами-соседками, но «подарок», привезённый из города младшей дочерью, не даёт расслабиться, держит в тонусе. И имечко-то у «подарка» не деревенское — Томка. Одно на всю деревню.

Когда Нинка письмом поздравляла мать с рождением внучки, как бы извиняясь, объясняла, почему именно такое имя дала своей дочери. Как-то так совпало, что роды, которые были тяжёлыми, принимала акушерка по имени Тамара. И кормилицей в роддоме, пока подсыхал пупок у новорождённой, тоже была Тамара, молока у самой Нинки почему-то не было. А ещё, родилась девочка темноволосой, тёмненькой, потому и Томка. Писала ещё, что имя Тамара, на каком-то тарабарском языке означает «финиковая пальма». Вот какая финиковая пальма произрастает теперь в северной деревне.

Что-то в семейной жизни дочери не заладилось с самого начала, что-то пошло не так. А что? Разве взрослые дети откроются матери? Вроде в город уехала к брату, не к чужим людям, и выучилась, и замуж вышла, а потом всё бросила, всё перечеркнула и вот опять укатила неизвестно куда.

За свою жизнь Наталья Афанасьевна рожала много, как все русские деревенские женщины, но выжили только четверо. Три сына и дочь-последышек. Но и оставшиеся, чуть оперившись, разлетелись из родного гнезда.

Старший сын Николай жил здесь же в деревне. Женился и ушёл в дом жены, забыв дорожку к родному дому. Видно, обидела чем-то мать, а может, потому, что забогател, дом свой отстроил и не нужны стали бедные родственники. Старушка-мать тоже старалась не досаждать ему своей старостью и свалившимися на неё нежданно-негаданно заботами.

Василий — средний сын, ушёл служить в армию, да так и остался в большом городе, свив своё гнездо там. Молодицу взял в жёны добрую, из хорошей семьи, работавшую по торговой части. Школу вечернюю там же закончил, работу хорошую нашёл, а потом и сестру Нинку да племянницу Зинку, дочь старшего брата, к себе в город перетащил.

Младший сын, Валентин, затерялся где-то среди комсомольских строек, он всегда был идейным, всегда старался быть не таким как все, искал для себя чего-то особенного и, видно, нашёл, коль не возвращался, а только слал длинные, как дневники, письма, в которых подробно описывался каждый месяц его новой жизни. Присылал он их строго ежемесячно, так же как и деньги матери на жизнь. Бабушка заворачивала деньги в платочек, письмо с конвертом, на котором часто менялся обратный адрес, обвязывала тесёмкой и клала в большой деревянный сундук под замком, где хранились все её «несметные богатства»: шаль шерстяная праздничная, два полушалка, пара нового сменного белья и бережно обёрнутое белым ситцем смертное. Старушка давно его приготовила.

Умерла-то она уже лет двадцать назад, когда ушёл на пристань разгружать баржу и не вернулся её любимый Якунька, Яков Никанорович. Не выдержало сердце, надорвалось и от пережитых тягот войны, и от тяжёлого крестьянского труда. Мужчины слабее женщин. В одночасье рухнула в пропасть вся её счастливая жизнь с раем в шалаше.

В пятнадцать лет выдали Наталью замуж, да и мужу было всего-то семнацать годков. Её выпихнули из своей огромной семьи как лишний рот, а в другой большой семье приняли как помощницу. Так и росли они вместе с Яшей, взрослели, набирались жизненного опыта, рожали и хоронили детей, работали, строили новую жизнь. Пережили войну, и, казалось, только начали жить по-настоящему, в своём большом доме, выстроенном для большой семьи, пришла беда — осиротил её Якуня.

И пошла бы за ним, да на кого детей оставишь. О старших как-то не думалось, взрослые уже. А вот младшие, рождённые после войны совсем маленькие. Сыну Вальке — семь лет. Нинке — всего четыре года. А как ждали её! Рождались дочери, да почти сразу и умирали. В сорок пять лет родилась долгожданная дочка. Вся семья души в ней не чаяла. Всё ей позволялось, всё прощалось. Старшие братья берегли и защищали своё семейное сокровище и от домашних хлопот, и от задиристых сверстников. Родители надышаться не могли на своё, под старость лет, Богом данное чудо. Потому,

верно, такой непутёвой и выросла. А может, потому, что надорвалось что-то в душе Натальи Афанасьевны после смерти мужа, пролилась мимо данная ей на целый бабий век любовь, и жила она так, что лишь бы день продержаться, вот и недополучила дочка любви материнской да ласки и искала её потом всю свою жизнь.

— Бабушка, ну ты скоро?

— Иду, мезонька*, иду.

Бойко взобравшись по приступку бабушка укладывается рядом с внучкой, и ласковое тепло прогретой русской печки обволакивает уставшее от дневных хлопот тело. Приятно щекочет ноздри запах прокалённых кирпичей, просохших валенок, берёзовых веников, а ещё пижмы и зверобоя, которые так и остались неубранными с лета. Старушка чихнула.

— Будь здорова, бабушка!

— Спасибо, и тебе не хворать, дитятко! Ну, какую тебе сказку рассказать?

Бабушка обнимает покрепче внучку, подтыкает под неё одеяло, хотя на печи и без того жарко, и замирает от переполняющего её счастья. И сейчас она бесконечно благодарна Господу и Нинке за то, что она не одна на этой печи, что здесь под бочком рядышком человечек, которому она нужна, такой беззащитный и маленький, и дороже которого для неё, старой, сейчас нет никого в целом мире. А ещё оттого, что здесь на печке вдвоём они как у Христа за пазухой, в тишине и покое. И что завтра будет новый день с его заботами и трудами. Ещё один день, подаренный Господом.

— Ну, что тебе рассказать?

— Сказку какую-нибудь.

— Какую же?

— Про Петруньку расскажи.

— Про Петруньку не сказки, а бывальщина. Петрунька — брат мне, он сам баял о том, какой страх-то пережил. Нет, Петрунька врать не будет.

— Бабушка, ну ты сама-то хвостатых мужиков видела?

— Дак мужиков-то видала, раньше-то все в одной бане мылися и мужики и бабы, и не срамно это было. Ну да и к Петруньке не мужик явился, а бис.

— Ну расскажи ещё разочек, может, ты что-нибудь в прошлый раз досказать забыла.

— Ну, слушай. Жонился Петруня рано. Раньше ведь родители своих детей не спрашивали, хотят они жониться али нет, так и с Петрунькой спрашиваться не стали, сами решили, сами невесту сосватали и ожонили. Не люба Петруньке была молодица, да и он ей, видно, тоже не очень люб был. Плохо они жили. А ещё на деревне говаривали, что не добрая Маруська, и глаз у неё дурной, и с бисями знается.

— Как это — знается с бисями?

— Ну, колдунья, значит, ворожить умеет. Так вот пришёл как-то Петрунька под вечор домой, а Маруська-то встретила его, исти усадила а сама-то сразу шасть в хлев будто у скотины угоится. Петрунька за ложку-то взялся,

* Мезонька — младшее дитя, баловень.

смотрит, а с полатей по стене мужик-багарадина* слезает. Рыло чёрное, то ли сажей вымазано, то ли непромытое, а сзади-то хвост. Испужался Петрунька, понял, кто ему явился. И давай кресты накладывать да молитвы творить, которым ещё матушка учила. Токо молитвы-то не помогают, надвигается эта багарадина на Петруньку, руки вытянул и к шее примеривается. Тогда Петрунька-то смекнул, что нечисть матерных слов боится, да как вывернул всё, что знал, а что не знал, так с испугу-то само выскочило, бис-то как мыльной пузырь и лопнул, аж мокрого места не осталось.

— Бабушка, а что было бы, если бы не вспомнил Петрунька, что биси матов боятся.

— Задавил бы бис Петруньку.

— Как задавил?

— Как клопов давят, так Петруньку моего бис-то и задавил бы. Они, биси-то, силы недюжинной.

— А зачем бисям Петруньку давить?

— Им-то, может, и незачем, а вот жене Петрунькиной надо было. Полюбовник у неё был. Вот и призвала она на помощь нечистую силу, чтобы освобонится от нелюбого мужа. Да и пил Петрунька, что греха таить, сильно пил... Ой, согрешила грешная, нечистую силу поминаю, да ещё на ночь, да о покойных плохо сказываю. Прости, Осподи, рабу божию Наталью!

Крестится сама и на всякий случай крестит внучку. Мало ли что, ночь на дворе.

— А ещё что-нибудь про Петруньку расскажи.

— Дак ведь не было бы Петруньки-то у нас, если б не был он таким проворным. Мы от леса-то недалеко жили, как в огород, в лес ходили. Захочется ягодок или грибочков, схватишь зобеньку** и в лес бежишь.

— Что и родителям не сказывались?

— А где их сыщешь? Раньше родителей-то дома и не видывали, токо рази, ковды спать ложишься.

— Ну вот, пошёл Петрунька в лес-то и набрёл на берлогу. Парень, страху-то не знат, вот и полез поглядеть, как берлога медвежья устроена. Токо собрался рыло-то своё сунуть, а оттуль ведьмедица-то как выпрянет. А у Петруньки от страха-то и мочи нет бежать. Схватила его ведьмедица, да и давай валять, а он обмяк весь и не сопротивлятся. Помяла, помяла она его да оставила, а сама далеко не уходит, и Петрунька не шевелится, мёртвым притворяется. Она и давай его заваливать тем, что под лапу попадёт. Мхом да ветками. Присыпала, значит, и слушат, дышит Петрунька-то али нет. Поприхлопат лапой-то по куче да опять слушат. Смекнул Петрунька, что и дальше притворяться надо. И лежит — не дышит, не шелохнётся. Долго лежал. А ковды ведьмедица-то отошла, Петрунька подхватился да бежать. Баял, не помнил, как и дома оказался. Да со страху-то и обмарался.

— А что он на дерево взлести не мог?

---

* Багарадина — большой.

** Зобенька — небольшая корзинка из бересты.

— Ак ведьмедя-то и по деревьям лазить умеют, и дерево вырвать могут, да и ждать могут долго под деревом, пока человек не сомлеет, да сам-то и не свалится.

— Больше в лес не пойду.

— Дак, не надо было ему к ведьмедям в дом соваться, тебе поди-ко тоже не по нраву пришлось, коли кто чужой к тебе в дом рыло-то сунул бы. Не суйся куды не след, дак целее будешь. В лесу много кого живёт, да не всех увидишь потому, как ведёшь себя смирно. Вот мы ж с тобой скоко раз в лесу-то бывали, ты хоть раз лешего видала?

— Нет, бабушка, ну его ж взаправду-то не бывает.

— Как не быват, токо помяни. Поругалась как-то моя старшая сестра Верка с матушкой, а та ей в сердцах-то да и скажи: «Хоть бы тебя леший забрал!» Слово не воробей, вылетит — не поймаешь! И забрал леший-то. Обернулась Верка вокруг себя и мимо матушки на улицу выбежала, а там ветер такой сильной поднялся, берёзы к земле клонятся, ветки обломанные по улицам носятся. Шумит всё вокруг. Потемнело, будто ночью. Много тогда деревьев с корнем повыворачивало. И пропала Верка. Семь дён её искали, а ей товды годков двенадцать было. Матушка-то чуть не рехнулась было, когда вспомнила, куды дочь родную услала. Побежала к бабке знахарке, а та ей на хлеб заговор начитала и велела ночью на перекрёсток дорог вынести и попросить лешего вернуть дочку. Матушка так и сделала. Вскоре Верка вернулась, отощавшая, ободранная. Баяла мне, как леший её носил. Вроде и по местам знакомым в лесу ходила и слышала, как петухи кричат в деревне, коровы мычат: пойдёт на голоса, а и нет никого. И всё из леса выйти не могла. С ведьмедём с одного куста малину ела, ак и он её не тронул. Хранил её леший — дух лесной. Так и жила, почитай, неделю, черницей да голубицей питалась, кислицу жевала, шишечками клевера лакомилась. А набредёт на каку лужицу али ручеёк, дак и напьётся через подол платья, как матерь учила. Спала под кустиком. Ляжет на мох, ветками прикроется и спит. И никакой зверь лесной её не трогал. И людей не видала, хоть голоса слышала. Вот как леший её припрятал, а ты говоришь — лешего нет.

— Бабушка, а когда мамка приедет?

— Пишет, что скоро. Работу нашла, дак пока не может.

— Бабушка, а чего она здесь работу не нашла, жила бы с нами.

— А, мезонька, это давняя история. Она ещё в девчонках с Букой* поссорилась. Я ему под вечор кружку молока оставляла на оконце, так все в деревне делали, чтоб Буку задобрить, а Нинка, мамка твоя, прибежит с гулянок-то, да и вылакает всё. Вот Бука-то и осердился на неё и с тех пор из дома-то и гонит.

— А почему ты теперь домовому молоко не оставляешь?

— А теперь я на него осердилась, всех разогнал! Пусть уж так как есть живёт, не жалуется.

— А ты его видела когда-нибудь?

* Бука — домовой.

— Буку-то? Да, по правде сказать, не видала, а вот что тяжёлый он, не раз чуяла.

— Как это?

— Да вот, как чему недоброму случиться, Бука наперёд знает и упреждает. Бывало, спать лягу, засыпать уж учну, а он на грудь-то как вспрыгнет и ну давить. Страшно, а не зевай! Спрашиваю: «К худу или к добру?» Меня так он всё больше о худом упреждал.

— А почему сейчас люди не видят ни домовых, ни леших, ни бисей? Что, перевелись что ли?

— А я дак думаю, что это не они перевелись, а души людские безгрешные перевелись. Ведь нечисть-то всякая тоже не дура, токо чистые души блазнит. Раньше-то люди в чистоте духовной жили, в церкви ходили, молились, причащались. А сейчас-то, видное ли дело, храмы в отхожие места превратили. И покаяться сходить грешным некуды. Бабы пьют, курят, дети на родителей руку подымают. Срам-то какой! Боженька-то долго терпит, да всё равно покарает за грехи-то.

— Бабушка, а что такое душа? Где вот у меня душа находится?

— У тебя-то в пятках, как у зайца, они всего боятся, и ты. А если взаправду, так сама проверь, другой раз, ковды испужаешься, в каком мисти холодок внутри себя почуешь, там и душа твоя таится. А сама душа-то, да как тебе сказать, это вот как огонёк у свечки. Свечи-то разные бывают: восковые, парафиновые, стеариновые, а ищо бывают праздничные, церковные, да и так для дома, ковды еликтричество отключат. И люди, как и свечки, бывают разные: добрые и худые, белые и ефиопы, багарадины и карлы, вишь, бывают. У нас на деревне и то семья карлов живёт. Всяких человеков Богом на земле насажено. А что человек без души, что свечка без огня — вещь бесполезная. Вот как огонёк-то подпалишь и понимашь, гожая свечка-то али нет. Если гожая, то огонёк ровно горит, не мигая, светло вокруг от него, уютно, хорошо, век бы при такой свечке сидел. А быват, свечка трещыт, огонь трепещет, брызги во вси стороны парафина али воска плавленого — и света ровного нет, и позагадит всё. А быват так, что и вовсе едва тлеет, только избу коптит. Так и у людей. Кто с душой чистой, так люди к нему как к свету тянутся. А другой разрушат всё вокруг себя, всё, что Богом дадено. А кто дак просто небо коптит. Души-то у всех разные.

Старушка зевает, крестит рот, приговаривая: «Согрешила грешная». Повторяет трижды: «Осподи, помилуй мя грешною!»

— Всё, дитятко, устала я, давай-ко спать, завтра, ужо, доскажу, что не успела. А то уж петухи закричат скоро. Спи, моя ладушка! Утро вечера мудреней…

Анна Бахаева

Анна Гасымовна Бахаева родилась в г. Ипатово Ставропольского края в 1979 году. Первые стихи написала в 13 лет. Окончила филологический факультет Калмыцкого государственного университета. В 2000 году Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь издал первую небольшую книгу лирики Анны. Её стихотворения трижды публиковались в калужском региональном литературном журнале «Лиффт». Живёт в городе Мещовске.

РАЙСКАЯ ГРЯДКА

Ноябрьское

А так хорошо начиналось:
Покров и неспешный снежок,
и чистая детская радость
от первых завьюженных строк.

А нынче — и серость, и слякоть,
и полный душевный раздрай,
и хочется горько заплакать,
едва вспоминаешь про май,

про новозаветное время
под кущами яблонь и слив,
где слово всходило как семя,
ни капли тепла не пролив.

Где ветхий мой спал человечек,
разморенный щебетом дня.
А нынче — ни Господу свечек,
ни ветхой, ни новой меня,

и слово отчаянно мокнет,
напыжившись как воробей,
и хоть искусай себе локти,
хоть голову звонко разбей.

И нет Моисея такого
за сорок растраченных лет,
с которым я точно готова
явиться из мрака на свет.

И только бодрятся фиалки,
прижавшись к окну потесней,
и жизнь — равноценный подарок
моим трепыханиям в ней.

* * *

Снова март преподносит сюрпризы:
То ощерится хрустким ледком,
То, раздрав обветшавшие ризы,
Приласкается тёплым деньком.

Мы с погодой давно примирились,
На Прощёной поели блинов
И, согревшись, на Первой постились
До морозов и новых снегов.

Потому и ждала как подарок
Суматошную птичью возню
И хозяйственность взбалмошных галок
Как изящный намёк оценю.

Засучу рукава для порядка,
И — завьюженным дням вопреки —
Зашевелится райская грядка
И отпустит на волю ростки.

Те, свой внутренний компас настроив —
Что на горние звуки поэт,
Дружно всем малахитовым строем
На тепло отзовутся и свет.

И уже не покажется важным,
Что заношено Небо до дыр —
Всё отмоет, очистит от сажи
Пост Великий — святой Мойдодыр.

Заскорузлую душу оттреплет,
Как за уши грязнулю-юнца,
А на Светлой — ни скорби, ни смерти,
И за смертью не видно конца.

Оттого, беззаботной, поётся:
«Покровитель, Помощник и Бог»,
Оттого и нацелен на Солнце
Неискусного духа росток.

На чердаке

Здесь, на чердачной крыше,
где свален разный хлам,
снуют бесшумно мыши
по четырём углам.

На дно большой корзинки
залёг соседский кот,
в коробках ждут ботинки
сезонных непогод.

В горшочках для рассады
теперь почиет тишь…
Мне лишнего не надо,
когда ты рядом спишь.

Здесь в зыбкой полутени
у нас над головой
из множества растений
качнётся зверобой.

Сквозь сон ты скажешь: «Терпко…
Я всё же одинок.
Неужто наша мерка —
чердачный потолок,

где взвешены незримо
все прожитые дни?»
Не знаю, мой любимый,
но мы всегда одни —

хоть в этой жаркой суши
среди пьянящих трав,
где сохнут наши души,
друг дружку обобрав.

Хоть в нестерпимой грусти
осенних сборов в лес,
куда чердак отпустит
без отступных чудес.

Маргарита Бендрышева

Маргарита Витальевна Бендрышева — поэт и прозаик, автор детских сказок и пьес для музыкального детского театра. Лауреат областных литературных премий им. Л. Леонова и В. Берестова, а также ряда международных литературных конкурсов. Руководит литературным клубом «Галерея». Член Союза писателей России.

Я НАДЕЮСЬ ОПЯТЬ ПОВТОРИТЬСЯ

Одуванчик

Лету ситцы к лицу,
Всё милее узоры, всё проще.
Ветер ловит пыльцу,
Тяжелеют пчелиные ноши.
Прямо в солнце глядят
Одуванчики, ясные очи,
С неба взор отводя
Только к ночи, мой друг, только к ночи.
Так всю жизнь бы и мне
На земле золотисто-зелёной
Ничего не уметь,
Лишь смотреть да смотреть изумлённо.
Мир велик, и навряд
Ли я что-либо более значу,
Чем восторженный взгляд —
Одуванчик, мой друг, одуванчик.

Сентябрьский сад

Адмиралы летают взволнованным ангельским роем
Над поляною самоубийц, над кровавой травою,
Там, где паданцы слив оборвали судьбу высотой,
И заламывают слабосильные хрупкие руки,
Но бесстрастно взирают на эти сердечные муки
И физалис оранжевый, и золотой сухостой.

Облепихи молчат равнодушно, лохматые ламы,
Шеи длинные в бусах янтарных от сливовой драмы
Отклонив; чем презренье сильней, тем острей тишина.
И ни слова в устах недалёких простушек настурций,
Подставляют под солнце свои разномастные блюдца,
И чужая печаль не понятна им и не страшна.

Да и я в мой черёд не жалею ни сливы, ни груши,
Ни краплёной листвы, уносимой потоком воздушным,
Ни цветов, ни плодов, ни себя на краю сентября.
И хотя никогда не бывала в числе ясновидцев,
Ничего мне не жаль: я надеюсь опять повториться
В разомлевшем саду, не успевшем вкусить серебра.

Метель перед Рождеством

А снег — по наклонной, летит по наклонной,
Колючее крошево щёки сечёт,
И вдоль исцарапанной глади оконной
Опилки нещадные хлещут со звоном.
Да кто это взялся пилить небосвод?
Эй, плотник бесплотный, нет равного, с кем бы
Ты стылую смог разделить высоту.
Как тучи друг к другу подогнаны крепко!
Вскрывай же глухое дощатое небо,
Нам тоже пора поглядеть на Звезду!

Уборка снега

Новоутренний снег: изобильный, стерильный, пушистый и свежий.
Поддеваю и думаю: «Не подниму» — поднимаю успешно.
Он ещё не слежался. Он легче пера, конфетти или ваты.
Он не столько мука, сколько взбитые сливки. С фанерной лопатой
я себя представляю кондитером, радующим великанов,
чьи кофейные чашечки больше, чем вёдра, как бочки — стаканы.
Великаны столпились, в руках у них тазообразные блюдца,
все желают пирожных. О, эти пирожные! Не поскользнуться б,
раздавая дрожащие башни бисквита, зефира и крема.
Великаны мои, великаны… Добавки? А вот ещё в тему:
полагаю, непросто делить многоярусность свадебных тортов
на гостей, чтобы поровну, но так забавно, я видела фото.
Да, традиция… Мало ли всяких традиций? Порой ни закону
и ни здравому смыслу не переломить их железобетона.
Но не всё заслужило отмену, не всё выдворяется с боем,
разве плохо, что снегу предписано сделаться просто водою?
Он судьбой безыскусной доволен и будущего не боится.
А что станет со мной? Никакое умение не пригодится,
дабы вызнать хотя бы на час наперёд о своём предстоящем
на Земле беспощадной, безжалостной, пёстрой, крикливой, летящей…
Стоп, так вот оно, слово. О, как в сентябре мне мечтается дивно,
будто я научилась летать, будто самые спелые сливы,
будто самые сладкие груши снимаю с верхушек и даже
подправляю печную трубу, чтобы больше не сыпала сажей…
В общем, я и летала, пока в легкомысленных сферах витала,
ибо скучно раскидывать снег, очищая тропу до подвала.

Имя

Антоний ли, Тихон, Софроний, Зосима…
Бывает, что имени стать негасимым
Случится среди однозвучных ему.
В годах прорастает немало событий,
Бывает, из имени всходит обитель,
И вот — монастырь, побеждающий тьму:
Макарьев, Шаровкин, Пафнутьев, Лаврентьев —
Слова поминаний сильнее столетий,
Молитвы сплетают прочнейшую сеть
И прошлое держат, звуча постоянно,
И не отпускают его в безымянность;
Истории — жить, а душе — не истлеть.

В оттепель

Оттепель… Мокрых дрог расползается муть,
как на плохой акварели.
Пугливы и хрупки,
приподнимая тугие крахмальные юбки,
ели никак не решаются перешагнуть

через обочины чёрный всклокоченный лёд,
тесно столпились и мнутся, не трогаясь вовсе.
Знаешь, пожалуй, и жизнь, вся, как есть, это просто
робость минутная перед порывом вперёд.

Зонт

…плечи, запястья, локти —
спиц перепляс кривой.
Сломанный зонтик, вот ведь:
бесится, как живой.
Ткани упругой взмахи,
плещущих крыльев звук…

Помнишь ту чайку, в страхе
рвущуюся из рук?

Ольга Клюкина

Ольга Петровна Клюкина — прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

ДВА РАССКАЗА

ПЕРЕЛЁТНЫЕ

Глотнув кофе, рассеянно посмотрел в окно. Сначала показалось — со зрением что-то. Так бывает от компьютера.

Очень уж крупная птица сидела на крыше противоположного дома, раза в два больше голубя. Коричневая, с красноватым отливом. Но точно не голубь и не ворона. Гордой посадкой головы на коршуна похожа. Замерла неподвижно и смотрит сверху вниз на Вадковский переулок.

— Глянь, что там за птица? — показал в окно пальцем. — Коршун вроде. Или даже вообще орёл.

Она перестала торопливо красить ресницы, близоруко прищурилась.

— Откуда в Москве коршун? Попугай у кого-нибудь из клетки улетел.

— Сама ты попугай! Попугаи такими большими не бывают.

— Я же не про волнистых, про других… как их там… какаду… я в детстве в зоопарке видела.

— Я тоже видел. У какаду хохолок на голове, а эта без хохолка.

— Всё, готова! — Она первой поднялась с дивана. — Закрывай телеканал «Живая планета», а то снова на работу опоздаем.

На следующее утро непонятная птица опять была на крыше, почти на том же самом месте.

— Говорю же тебе, не попугай, — пригляделся он. — Точно хищная птица. Как на скале сидит.

Открыл Интернет, набрал в яндексе «хищные птицы», быстро прокрутил картинки. Ни одной похожей.

— Как павлин, только без хвоста, — сказала она. — Из зоопарка на свободу улетел.

— Причём тут зоопарк? Не бывает павлинов без хвостов.

— Всякие бывают. У них же разная порода.

Набрал в яндексе «павлин без хвоста». На некоторых фотографиях павлины куцые, без роскошных хвостов, но всё равно не такие.

— Вспомнила! Ой, вспомнила! Вчера же Благовещение было!

— И что с того?

— Не знаешь разве? На Благовещение принято птиц отпускать. Традиция такая. Вот их и отпустили на волю.

— Не понял… Кто кого отпустил?

— Ну, пришёл какой-нибудь миллионер в московский зоопарк, пальцем ткнул: «Вот этих мне отпустите». В Москве ведь полно долларовых миллионеров, не то что мы с тобой…

— И кого же это он отпустил?

На крышу села ворона, и стало видно, насколько их птица крупнее и ярче. Про голубей и говорить нечего: три к одному.

— Может, фламинго? Видишь, какая вся из себя розовая? — припомнила она знакомое слово.

— Ни разу не фламинго. У них ноги длинные.

— Цапля?

— Не гони.

— Аист?

— Ага, скажи ещё: в клюве тебе ляльку принёс.

— А хорошо бы…

— Не начинай с утра. Погнали, а то опять в час пик попадём.

Захлопывая ноутбук, всё же заглянул одним глазком. В посадке головы есть что-то общее с цаплей, но клюв совершенно другой, и опять же ноги. Решил, что если в метро повезёт сесть, ещё другие картинки с птицами полистает.

Утром на крыше сидели уже две птицы, похожие на маленькие раскрашенные статуи. Она первой их заметила.

— Смотри, они пара! Пара. Он и она. Всё так у нас. В смысле — как у людей.

— Бакланы, — сказал он неуверенно. — Я их как-то на море целую стаю видел. Так же на скале сидели.

Нашёл в Интернете картинки с бакланами. Серые, с жёлтыми клювами и вообще другие.

— Может, удоды? — вспомнила она ещё одно красивое слово. — Ты ещё про удодов посмотри.

— Удоды не такие.

Но на всякий случай всё-таки проверил: мелкие, пёстрые птички с веерами на головах. Даже близко ничего нет.

— Эх, жаль, полевой бинокль дома оставил. Я бы сразу их опознал.

— Мы с тобой всё дома оставили, — вздохнула она в такт. — Может, плюнуть на эту Москву? На свою квартиру всё равно в жизни не заработаем. Ой, куда это она?

Одна птица медленно, вперевалочку прошлась по крыше и остановилась на самом краю.

— Всё-таки водоплавающая. Как утка ходит, вперевалочку. И форма тела округлая, для плавания. У хищных птиц бока другие, — заметил он со знанием дела.

— Водоплавающим вода нужна.

— У нас рядом парк «Новослободский».

— Ты хоть раз туда заходил? Там никакого пруда нет.

— Может, уже вырыли? Ты сама год назад была, когда сестра приезжала. В Москве тебе хоть море за неделю сделают. Смотри-смотри: полетела!

Одна птица поднялась с крыши — в воздухе мелькнули её белые подкрыльные перья — и ловко занырнула в маленькое чердачное окно. Вторая птица взлетела следом, покружила возле чёрной оконной дыры и вернулась на прежнее место.

Он заворожённо проследил за полётом птиц, открыв рот, даже бутерброд откусить забыл.

— Мой чего-то не вписался…

— А моя самка, наверное, там яйца отложила. Бедные, где они будут в мегаполисе птенцам еду добывать?

— На помойках, где же ещё. Идти пора.

Незаметно в привычку вошло: утром пить кофе и наблюдать за птицами на крыше. Раньше там ничего не было интересного, только телевизионная тарелка.

— По телеку как-то показывали, как птицы Кремль охраняют, — вспомнила она. — Может, наши со службы в Кремле сбежали?

— С какой службы? В почётном карауле?

— Нет, правда. В Кремле хищных птиц на работе держат. Чтобы голуби меньше на правительство гадили, позолоту с куполов не клевали.

Набрал в поисковике «птицы, охраняющие Кремль». Действительно, есть такие. Кречеты и совы. Ничего общего с парочкой на крыше.

Птицы сидели, отвернувшись друг от друга, отчуждённые и чем-то недовольные. В профиль — водоплавающие, в фас — хищные, но точно никак не совы.

Как-то утром он проснулся от тонкого, жалобного звука, словно кто-то снаружи по стеклу ногтями царапал. Открыл глаза, прислушался. Приснилось, что ли? Нет, снова протяжное: «кия-кя…кия-кя»…

— Слышишь? Журавли кричат.

— Какие тебе журавли? Гуси, — пробормотала она сонно. — Тоже мне, деревня — гусей не узнаёшь. Один серый, другой белый, а бывают перелётные…

— А что они в Москве забыли? Может, заблудились по дороге? Хоть бы тогда у воды поселились…

— Ага, а мы с тобой — в элитном доме на Андреевской набережной. Ещё десять минут можно поспать.

Даже руки задрожали от волнения. Поставил ноутбук на грудь, еле дождался, пока загрузится. В темноте, почти наугад, набрал «гуси перелётные»,

добавил «гуси перелётные в городе», переправил на «перелётные гуси в городе сидят на крыше».

— Есть! Нашёл!

— Ты чего так кричишь?

— Вот же они. Наши! Смотри!

На одной фотографии — вылитая парочка с соседней крыши. Сидят на какой-то городской многоэтажке, по-орлиному глядят вдаль, перья красным отливают.

Он посмотрел в окно.

— Улетели…

— Крик потому что был прощальный, — сказала она, потягиваясь. — Я по нему их сразу вспомнила.

В конце апреля в Интернете появилось объявление: «Сдаётся однокомнатная квартира в Вадковском переулке, рядом с метро «Савёловская» и «Новослободская», четвёртый этаж, с мебелью и бытовой техникой, предоплата, желательно славяне».

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Из-за этого подвесного потолка они впервые чуть не поссорились. Прямо в магазине. Ему хотелось бледно-голубой и матовый. Чтобы проснуться утром — и словно летом в степи лежишь под открытым небом, на вольной воле.

А ей больше понравился белый и глянцевый. И она оказалась права: комната сразу сделалась просторней, потому что в ней появилось второе окно. На глянцевом потолке отражался подоконник в обрамлении цветущих фиалок, а ещё тротуар под балконом и часть проезжей дороги.

Маша теперь подолгу лежала на диване (в женской консультации сказали — интоксикация, у всех по-разному проходит, но пару месяцев точно придётся потерпеть), часами читала фэнтази и смотрела в потолок, на перевёрнутую улицу.

Это было почти как мультик. По дороге неслись разноцветные коробки автомобилей без колёс и вверх ногами ходили люди. Мужчины и женщины одинаково смешно сгибали ноги в коленях и передвигались на полусогнутых, как паучки-косиножки.

Если на ночь не задёргивать штору, квадрат на потолке превращался в ожившую японскую гравюру. Тополь за окном с прочерченными тушью ветками слегка покачивался, время от времени над ним кометами проносились автомобильные фары.

Сначала Маша узнала кроссовки мужа, а потом уже его синюю куртку и серую шапку.

Он ещё тогда сказал в магазине: «Ну хоть обувь я могу себе купить, какую хочу?» И купил дурацкие красные кроссовки с белыми подошвами.

Она их называла «гусиными лапками». Кроссовки вообще не подходили ни к одной куртке.

Муж медленно, на полусогнутых, тащился из магазина под балконом вверх ногами. В одной руке у него был пакет «Дикси» с едой на ужин. Кто-то быстрый и стремительный нагнал его в белых сапожках и ярком жёлтом плаще.

Красные кроссовки остановились. Белые сапожки тоже остановились.

Вдруг два перевёрнутых человечка дёрнулись и обнялись, став похожими на фантастическое существо с четырьмя ногами. Мимо промчался чёрный бесколёсный автомобиль, но муж с незнакомой девушкой даже не пошевелились. Так и стояли, замерев и обхватив друг друга.

Маша встала с дивана и на цыпочках прокралась на кухню, чтобы рассмотреть девушку в жёлтом плаще, но отсюда этот отрезок тротуара не было видно.

Пришлось снова занять место на диване, и как раз в тот момент, когда девушка в белых сапожках вдруг отчаянно рванулась и побежала в ту же сторону, откуда появилась. Муж рванулся за ней, смешно подгибая длинные худые ноги в красных кроссовках.

Несколько минут его не было. Маша слышала, как громко колотится её сердце и что-то мягко, болезненно стукнуло в животе.

В кадре на потолке снова появился муж с пакетом «Дикси». Он медленно и обречённо передвигал ногами, возвращался домой.

Маша отвернулась к стене и закрыла глаза. Что это было? Сказать мужу, что она теперь всё знает, видела их вместе в окне на подвесном потолке? Закатить скандал, разоблачить, выгнать на фиг? Но ведь это было только отражение на потолке. Может, ей вообще всё это просто показалось?

Нет, надо было всё-таки покупать голубой и матовый, а ещё лучше просто побелить потолок, как у родителей.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Вячеслав Ботук

Вячеслав Юрьевич Ботук родился в 1957 году в городе Пскове. Член независимого литературного клуба «Галерея», дважды лауреат открытого областного конкурса «Есть имена и есть такие даты…» им. А. Твардовского. Публиковался в альманахах клуба «Галерея», в сборниках «Сорок сороков», «На обнинских перекрёстках». Автор книг стихов «Искренне Ваш…», «Бумажный ангел», «Крылышек веер». В соавторстве с Маргаритой Бендрышевой выпустил книги «Отражения» и «Хайку по-русски». Живёт в Калуге.

ПРОДАВЕЦ ОБЛАКОВ

Продавец облаков, сколько стоят воздушные замки?!
Я из клеток твоих, словно птиц выпускать их готов.
Пусть они улетят на глухие лесные полянки,
Под охрану неспящих загадочных мудрых котов…

Что ещё у тебя за спиной, за ажуром решёток?!
Воплощения грёз или саваны хрупких надежд?
Может быть, след инверсий не сбывшихся чьих-то полётов
Или ваты комки от галдящих о вечном невежд?

Покажи всю палитру своей улетающей ноши.
Перья сказочных птиц и мешки для июльской грозы…
Не скупись, всё равно по дороге сомнёшь и раскрошишь,
Или ветер уменьшит твой груз непременно в разы…

Что в замен предложить я могу тебе, странник усталый?
Золочёный поднос драгоценнейшей летней зари!
Как, тебе за товар свой рассветов тех радужных мало?!..
Ну тогда для мечты ты мне лёгкий ковчег подбери!..

Вадим Шевяков

Вадим Олегович Шевяков родился в 1988 году в городе Сухиничи Калужской области. Учился на мехмате МГУ им. М. В. Ломоносова. Работает в области информационных технологий. С юношества увлекался литературой, участвовал в нескольких любительских конкурсах. Это первая публикация стихов автора.

* * *

Света истины
Не постичь ни за что уму,
И бессмысленно
Мне таращить глаза во тьму.

Мир обманчивый
Прячет лица в вуаль теней.
Солнца зайчики
Существуют лишь на стене.

Было проще бы
Видеть ясно, как в Божий день.
Но лишь ощупью
Мы находим других людей.

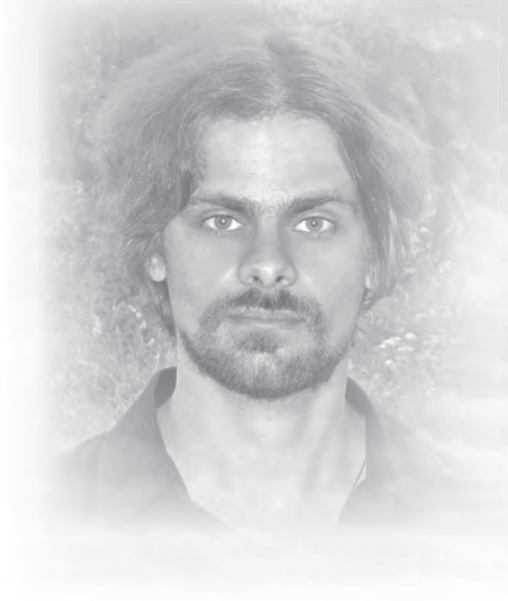
Всё, что знаю я,
Всё, что чувствую в темноте, —
Лишь дыхание
И тепло наших мягких тел.

Цвета ворона
Прядь волос на твоей щеке.
Смотришь в сторону,
Как пластмассовый манекен

В платье кожаном.
Ты смотри на меня, смотри!
Знать бы, что же там,
Знать бы, что у тебя внутри.

Экзистенция
Недоступна глазам извне.
Вырвать сердце бы —
Но и в нём тоже правды нет.

Самолётиком
Словно падаю с высоты…
Я влюблён в тебя,
Но не знаю, что значит «ты».



Станислав Колчин

Станислав Сергеевич Колчин родился в 1984 году в г. Ташкенте. Член Российского союза профессиональных литераторов. Автор поэтических сборников «Оковы памяти» и «Ночные россы». Руководитель калужского молодёжного литературного клуба «Арктида».

НИНЧУРТ*

Белая лебедь сейды** заденет крылом.
Круглые сутки солнце на небе висит.
Долго идти по несметным камням напролом —
Только б коснуться самой заветной стези

И осознать: грозный Север ещё сохранил
Здесь Светорусье в исконной своей чистоте.
Тайные тропы хранят путеводную нить
К древним руинам, застывшим в хмельной красоте.

Стены Арктиды, возможно, уже не видны.
Камни теперь только ветру даруют приют.
Скрытое прошлое нашей печальной страны
Пусть сбережёт для потомков сакральный Нинчурт.

Может, не зря, образ девы был запечатлён
В этой горе, что расскажет ещё о былом.
В сумрачный Север станешь безумно влюблён,
Если незримая лебедь коснётся крылом.

---

* Нинчурт — гора на берегу священного для саамов Сейдозера, на которой находятся несколько сейдов и много камней необычной формы, похожих на древний мегалитический комплекс.

** Сейд — священный объект северно-европейских народов, может представлять собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, а также сооружения из камней.

Вера Волнотёпова

Вера Георгиевна Волнотёпова родилась в Калуге в 1986 году. Некоторое время жила в посёлке под Санкт-Петербургом. Окончила Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского. Стихи пишет с детства. Первая публикация — в пятом выпуске молодёжного литературного альманаха «Зерно» (2017 год).

* * *

Очищу огнём, что можно ещё очистить,
что не поздно исправить.
Пасха. Последние отзвуки прежних жизней
сгорают. Сгорают —
играют дымом чёрным, белым, зелёным:
вот кочерга, вот свечка.
Дома в кои-то веки запахло домом,
истопленной печью.

* * *

Бабушка дверь закрыла от всего мира.
Учит меня, трёхлетку, пряча печаль:
«Nece om baboj. Nece om čašk».* [1]

Лет десять спустя рассказывает другая:
о русско-финской, заговоры, куплеты.
Не понимаю, милая, не понимаю!
Я из далёкого города здесь на лето…

Знать бы цену словам, пролетавшим мимо!
Память утрачена и — невосстановима.

---

* Nece om baboj. Nece om čašk. [Нецэ ом бабой. Нецэ ом чашк.] — Это бабушка. Это чашка. (вепсск.)

Наталья Хвостикова

Наталья Павловна Хвостикова родилась в 1985 году в посёлке Новый Думиничского района Калужской области. Окончила библиотечное отделение Калужского областного училища культуры и искусств и филологический факультет КГУ им. К. Э. Циолковского. Стихи публиковались в сборниках «Ожидание», «Писатели и поэты Думиничского края», других региональных, всероссийских и международных изданиях. Участница литературной студии «Вега», член Российского союза профессиональных литераторов. Работает учителем русского языка и литературы.

* * *

Счастье моё порастерянное,
На семи ветрах поразвеянное,
На семи столбах пораскрученное,
К горькой доле навеки приученное.

За какими лесами, долинами
Мне найти тебя, доля кручинная?
Видно, горе мне мыкать да маяться.
Видно, счастье другим улыбается…

Разыскать где любовь долгожданную
Да принять как подругу желанную,
На семи перепутьях мной званную,
Позабыть чтоб тоску окаянную?..

* * *

Счастье моё, да какими тропинками
За тобою идучи, кручиниться?
Сердце моё, как холодными льдинками
Мне б росой серебристой прикинуться.
Позабыть да тебя, милу волюшку,
Чтоб не плакать слезами-дождинками.
Горем вымыкать светлую долюшку,
Заблистать поутру серебринками.

ДЕТЕКТИВ

Георгий Куликов

Георгий Викторович Куликов родился в 1950 г. в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР, Дипломатическую академию МИД России. До 2006 года работал в сфере государственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Увлекается музыкой.

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...

Семь часов утра. Евгений Сергеевич Кудрин нехотя встал с постели, не спеша подошёл к окну и рывком отдёрнул штору. Вид из окна ему показался удручающим: хмурое, дождливое утро, бегущие под разноцветными зонтами люди и тут же переполненные мусорные баки. По мокрому шоссе стремительно проносились автомобили, оставляя за собой веер грязных брызг, а по воздуху всё кружились и кружились жёлтые листья и укладывались слоями на сырой асфальт.

Кудрин смотрел на эту картину и ему не очень-то хотелось выходить из тёплой квартиры. С каким удовольствием он бы снова забрался под одеяло и, прижавшись к мирно сопевшей жене, поспал бы ещё часок.

«Покой нам только снится, пора на работу», — подумал он и стал быстро одеваться.

Уже через полчаса Евгений Сергеевич вышел на улицу и сразу замёрз — утренний промозглый ноябрьский ветер леденил тонкий болоньевый плащ. В нос ударил запах костра — во дворе жгли листья. У подъезда он увидел дворника, который старательно мёл асфальтированную дорожку, с трудом отдирая от неё намокшие листья.

Кудрин обратил внимание на объявление, висевшее у подъезда на крышке электрощитка. Не увидеть его он просто не мог — оно было написано ярко-красным карандашом. Корявым почерком строго предупреждали: «Не открывать крышку и не трогать мокрыми руками оголённые провода! Они от этого ржавеют».

Усмехнувшись, Евгений Сергеевич подумал, что такое объявление достойно быть в его заветной книжечке. Ещё с юности он записывал в книжечку разные анекдоты и смешные выражения и под настроение охотно делился ими с друзьями.

«А книжечек таких у меня уже с дюжину», — подумал Кудрин и широко улыбнулся.

Проходя мимо табачного киоска, он обратил внимание на отражённый в его окне луч света: «Солнышко проклюнулось, и это хорошо!»

Как-то сразу стало теплее, да и ветер начал стихать; он уже гораздо медленнее разгонял опавшие листочки деревьев по тротуару, и они, как маленькие самолётики, не спеша пилотировали в прозрачном осеннем воздухе и садились на мокрый асфальт в ожидании своего дворника.

Евгений Сергеевич остановился и неожиданно представил себя парящим на таком листочке, как Хоттабыч и Волька на ковре-самолёте.

— Да, что-то меня далеко унесло в моих мыслях, — осадил себя Евгений Сергеевич.

И все же осень была его любимым временем года. В это время природа была на распутье: и с летом расставаться не торопится, и осени сторонится. Но с каждым днём осень спешит занять свои права, и всё новые цвета появляются в её арсенале, а город постепенно накрывает листопад, превращая его в желто-багряное царство.

Евгений Сергеевич мельком любовался обилием этих красок, несмотря на усиливающийся моросящий дождь.

«Осень чудесна! — подумал он, — как же я люблю её многообразие».

Сильный порыв ветра прервал радужные мысли, и Кудрин, подняв воротник плаща, ускоряя шаг, направился в сторону остановки троллейбуса.

Утреннее оперативное совещание у заместителя начальника управления полковника милиции Кочеткова прошло сравнительно быстро, и, когда все уже стали расходиться по отделам, он попросил Евгения Сергеевича остаться.

Кочетков протянул ему тонкую папочку и без всяких преамбул буднично сказал:

— Займись, Евгений Сергеевич, этим делом срочно…

— Товарищ полковник, — недоумённо возразил Кудрин, — да у меня дел по горло, и к тому же только вчера вы мне пару материалов расписали.

— Ты внимательно посмотри, чья там виза стоит, — резко обрезал Кочетков.

Евгений Сергеевич раскрыл папку и достал три бумаги: на одной заявление потерпевшего, на другой — протокол осмотра места происшествия и третьей была карточка контроля. Прочитав внимательно заявление потерпевшего, он узнал размашистый почерк начальника главка: «Кочеткову, на личный контроль» в левом верхнем углу, а в контрольной карточке уже за подписью Кочеткова красовалось: «Кудрину к исполнению».

— Странно, — сказал Евгений Сергеевич, недоумённо посмотрев на начальника, — с чего это на меня возложили такую задачу, это компетенция местного отделения милиции, в крайнем случае, оперативников из РУВД.

— Женя, займись этим делом и не задавай лишних вопросов, там контроль с самого верха, — сказал Кочетков, показывая большим пальцем на потолок.

— Потерпевший не простой профессор физики Борисов Глеб Алексеевич, — продолжал он, — а известный во всём мире учёный и к тому же ещё депутат Моссовета.

— Понятно…

— Что тебе понятно? — с раздражением ответил полковник, — видел же, чья виза на заявлении, а ты мне толкуешь про местное отделение милиции… Давай, Женя, приступай к делу, внимательно прочитай протокол осмотра места происшествия, который составил оперативный работник отделения милиции и лично начинай работать.

— Так в нём практически ничего нет, — оторвав взгляд от протокола, проговорил Кудрин.

— Я тебе достаточно понятно всё сказал, да и Борисов мне недавно звонил; он тебя уже ждёт у себя дома, — недовольно проговорил полковник, всем своим видом давая понять, что разговор окончен.

В свой кабинет Евгений Сергеевич пришёл слегка удручённый новым заданием руководства, набрал телефон своего сотрудника Романа Вольского и вызвал его к себе. Из всех сотрудников отдела, которым руководил Кудрин, тот выделялся своей рассудительностью и не по годам развитой логикой мышления. Именно его Евгений Сергеевич и решил подключить к этому делу.

Вольский не заставил себя ждать и уже через несколько минут сидел в кабинете Кудрина и читал бумаги из папочки, «нежно» переданной полковником Кочетковым.

— Ну что, Рома, поехали к потерпевшему, — задумчиво проговорил Евгений Сергеевич.

Он набрал номер телефона Борисова, который был написан в конце его заявления. Тот оказался действительно дома и ждал звонка работников милиции.

Уже через полчаса дежурная «Волга» подъехала к длинному угловому дому на Ленинском проспекте. Поднявшись на восьмой этаж, Кудрин позвонил в звонок, дверь им открыл высокого роста худощавый человек, на вид лет пятидесяти, с сединой на висках.

— Борисов, — коротко сказал он и пригласил приехавших в квартиру.

Они прошли на большую кухню, в центре которой стоял круглый стол, а вокруг него четыре стула. Представившись хозяину квартиры, Евгений Сергеевич попросил рассказать о том, что произошло во время его поездки в Курск.

— В квартире мы проживаем вдвоём с дочкой Валей, а жена умерла десять лет тому назад от серьёзной болезни, — начал свой рассказ Борисов. — В прошлую пятницу мы с дочкой поехали в Курск на свадьбу племянника и отсутствовали в Москве два дня. Когда приехали домой, в квартире, на первый взгляд, было всё в порядке, однако через некоторое время я не обнаружил радиоприёмник «Сони», который всегда стоял на кухонном столе. Я заволновался, когда зашёл в спальню и не увидел позолоченного портсигара, который всегда лежал на столе рядом с письменным

прибором. Это память об отце, он привёз его с фронта после ранения в самом конце войны.

Борисов прошёл в спальню, приглашая приехавших пройти за ним. Комната была небольшая, кровать и письменный стол стояли у окна, а почти всё остальное пространство занимал старый платяной шкаф.

— После обнаружения пропажи я понял, что в квартире кто-то был чужой, — проговорил Борисов и подошёл к шкафу.

Он открыл шкаф и раздвинул висевшие пиджаки. В глубине шкафа показался стоящий на маленькой табуретке небольшой сейф, вокруг которого, как охрана «его величества», висели пиджаки и разноцветные рубашки.

— Так вот, — продолжал Борисов, — когда я в тот вечер открыл сейф, то увидел ещё одну пропажу — не было драгоценностей моей покойной жены и денег в размере трёх тысяч рублей. Я их держал в полиэтиленовом пакете.

— А какие драгоценности там лежали? — спросил Кудрин.

— Я же в заявлении вчера указал, но могу и повторить, — ответил хозяин квартиры, — там было рубиновое ожерелье, кольцо с бриллиантом в форме лепестка, браслет зелёного цвета со змейкой на конце и круглый позолоченный кулон-камея, на обороте которого выгравированы цифры «1970». Это год рождения нашей дочки, и я подарил его жене в честь её рождения.

— А когда вы зашли в квартиру, сейф был открыт? — спросил Евгений Сергеевич.

— Да в том то и дело, что он был закрыт, — ответил Борисов, — не могу понять, как его смогли открыть… Вчера, когда это всё на меня свалилось, я позвонил начальнику главка, мы с ним добрые знакомые и вместе депутатствуем в Моссовете. Он и вызвал местных работников милиции. Они, надо отдать должное, очень быстро приехали и стали проводить свои оперативные мероприятия. Следователь составил протокол осмотра квартиры, а криминалист долго искал отпечатки пальцев и, как мне показалось, ну, может, это мне просто показалось, ничего не нашёл. Ну а я написал заявление о краже с описью украденных вещей, передал его следователю.

— Вернёмся к сейфу, — проговорил Кудрин, — кто ещё знал о существовании сейфа и код?

— О сейфе знала только дочка, а код был лично у меня, даже Валя его не знала. Это очень серьёзный сейф, он относится к семейству продукции английской фирмы «Брама». Я его приобрёл пять лет назад, будучи в служебной командировке на Кубе. Даже можно сказать, что мне его практически подарил профессор физики Родригес, который опекал нашу делегацию. Этот сейф уже много лет пылился в тёмном чулане его кабинета и как-то сразу приглянулся мне своей необычной формой. Он не совсем квадратный, какими мы привыкли видеть такие изделия, а немного закруглённый, да и цвет его отличается от серой массы подобных — зелёный. И его невозможно в принципе открыть, так как он имеет в качестве наполнителя высокоармированный бетон. Кроме того, в нём существуют бетонные пластины, защищающие механизм и кодовый замок с комбинацией цифр. Вот посмотрите: циферблат нужно повернуть несколько раз, чтобы набрать

необходимую комбинацию, — проговорил хозяин квартиры и повернул его ручку в сторону.

— А самой главной особенностью этого сейфа, — продолжал Борисов, — является то, что диск циферблата издаёт дополнительные щелчки, что делает невозможным взломщику уловить правильную позицию в определении нужной цифры. В обыкновенных сейфах, когда цифры занимают нужные позиции, раздаётся щелчок, и сейф открывается.

Борисов быстро набрал код, раздался щелчок, и сейф открылся.

— Мне ещё на Кубе профессор Родригес рассказывал об особенностях этого сейфа, что его можно открыть только лишь разрезав автогеном или просто взорвать, — проговорил хозяин дома и закрыл сейф.

— Но кто-то же открыл его? — не удержался Вольский.

— Получается, что так, — ответил Борисов, — хотя вчера ваши коллеги сказали, что таких профессиональных взломщиков в настоящее время уже нет. Это раньше были, как они говорили, кто-то из дикой природы, кто мог открыть такой сейф.

— «Медвежатники», — усмехнувшись, сказал Кудрин.

— Да, именно так они называли взломщиков сейфов, — утвердительно ответил хозяин квартиры.

— А из соседей кто-либо видел подозрительных лиц? — спросил Роман Вольский.

— Да ваши коллеги вчера опросили, по-моему, весь наш подъезд, — проговорил Борисов, — но ничего толкового никто из соседей не сказал.

В этот момент открылась входная дверь и в квартиру вошла девушка лет семнадцати в тонком светлом плаще.

— А вот и Валюша из института пришла, — оживился хозяин квартиры.

— Это сотрудники милиции, — проговорил Борисов, — пришли по поводу кражи у нас.

Девушка ничего не сказала, только хмыкнула и, сняв плащ, ушла к себе в комнату, громко хлопнув дверью.

— Не обращайте внимания, — тихо проговорил Борисов, — она несколько месяцев встречалась с неким Вадимом. Такой интеллигентный на вид и симпатичный парень, он буквально проходу ей не давал: и утром звонил, и днём, и вечером. Они то в кино ходили, то гуляли где-то, а вот после нашего приезда его как корова языком слизала. Второй день не звонит и не появляется, вот дочка и расстроилась. Она и в общежитие МГУ звонила и пыталась узнать о нём, ведь он ей говорил, что студент первого курса географического факультета нашего университета и живёт в общежитии, так как приехал из Воронежа. Но там ничего об этом парне сказать не смогли.

— А как его фамилия? — спросил Вольский.

— Иванов Вадим, — ответила Валентина, входя в комнату.

Лицо у девушки было заплаканное, она и не скрывала своего расстройства.

— Да вы не волнуйтесь, дело житейское, — уверенно сказал Кудрин, — может, он просто заболел, или какая-то ещё уважительная причина, ведь всякое в жизни бывает.

— Мы должны были вчера вечером пойти в кинотеатр «Ударник» на вечерний сеанс, — со слезами в голосе сказала Валентина, — но Вадик так и не позвонил. И сегодня также не позвонил, как бы чего с ним не случилось… плохого…

— А какой он из себя, опишите его! — попросил Вольский.

— Ничего не буду вам говорить, пока не найдёте Вадика, — со злостью в голосе отчеканила девушка, повернулась и снова ушла к себе в комнату.

— Вот так, — тихо проговорил Борисов, — любовь зла…

— Как он всё же выглядит? — ещё раз спросил Кудрин.

— Высокий, симпатичный молодой человек примерно двадцати двух лет, с пышными чёрными волосами и ямочкой на подбородке, — ответил хозяин квартиры.

— А особые приметы есть у него? — проговорил Вольский.

Евгений Сергеевич с удовлетворением отметил про себя, насколько грамотно и профессионально задаёт вопросы Роман Вольский.

— Я его видел всего один раз и то мельком, — подумав, ответил Борисов, — но кажется, под левым ухом у него было большое родимое пятно.

— Попробуем отыскать вашего Вадика, — сказал Кудрин и добавил: — У нас пока всё и мы уходим, а как только что-то прояснится — немедленно вас проинформируем.

Они попрощались с хозяином квартиры и вышли на улицу. Подойдя к стоящей у подъезда автомашине, Евгений Сергеевич вдруг остановился и задумался. Через какое-то мгновение он встрепенулся и тихо сказал Вольскому:

— У меня возникла одна идея, садись в машину, я по дороге расскажу…

— Поехали, Иван Михайлович, по Киевскому шоссе, — сказал Кудрин, обратившись к водителю машины, — примерно у двадцатого километра должен быть указатель и поворот в сторону села Ясное, вот в это село и поедем.

Вольский удивлённо посмотрел на своего начальника, а затем, пожав плечами, уставился в машинное окошко. Машина помчалась довольно резво, поскольку днём при выезде из города обычно не бывало много транспорта.

Евгений Сергеевич также с любопытством уставился в окошко: и на влажные от дождя московские улицы, и на витринные вывески, и на спешащих по своим делам людей.

«Сколько же их живёт в нашем городе, а сколько приезжих? — подумал Кудрин, увидев, как трое мужчин идут по тротуару с огромными чемоданами. — Москва очень скоро у приезжих отбивает веру в сказки, но от души платит им расчётливым практицизмом. Да и те, в свою очередь, не очень-то любят москвичей. Но я-то знаю, мои земляки — исключительно общительные люди, готовые помочь всякому приезжему советом и объяснить, как пройти на ту или иную улицу».

Мысли Евгения Сергеевича прервал голос Вольского:

— Куда мы всё-таки едем?

— Ты знаешь, Рома, — сказал задумчиво Кудрин, — за годы работы в МУРе я понял, что обращение к добрым началам души человека, в том числе

и преступника, всегда находит отклик. И если оперативник не добьётся психологического контакта с ним, раскрыть преступление будет весьма сложно. Я даже придумал название этому — «алгоритм контакта». В каждой мрачной и заблудшей душе нужно найти живую искорку и, воспользовавшись ею, попытаться построить психологический контакт. Вот так у меня вышло с неким Мишкой Бурковым, известным в своё время «медвежатником» по кличке «Бур», — продолжал Евгений Сергеевич, — который ещё совсем пацаном попал в зону за кражу, которую, в сущности, и не совершал. В то время Мишка окончил ПТУ и пришёл на завод работать слесарем; надо сказать, что мастер он был хороший, и ему доверяли делать самые сложные детали. И вот однажды со склада исчезли дефицитные инструменты, и обвинили в этом его напарника. А за день до этого тот за бутылку портвейна дал на время Мишке для изготовления какой-то детали сверло, пропавшее из того самого склада. Кто-то доложил начальству, Мишку сразу же за шкирку и, не слушая никакие объяснения, отвели в милицию. А там в то время особо не разбирались, да и некому было заступиться за Буркова. Таким образом, Мишку обвинили в соучастии в краже инструментов, и суд присудил ему два года колонии.

Когда он прибыл в колонию, его сразу же избили и отняли всё, что у него было. А буквально через несколько дней там случился пожар; загорелся бокс для тяжелобольных, стоящий рядом с санчастью. Все заключённые, да и охранники, лишь хлопали глазами, и никто не рисковал войти туда. В этом блоке, в единственной его палате, лежал страдающий сильным радикулитом известный на всю страну «медвежатник» — вор в законе по кличке Брон. Мишка бросился в огонь, вбежал в этот горящий блок и вытащил на себе того самого Брона, тем самым спас ему жизнь. После того случая Мишку на зоне никто не трогал, а Брон устроил по своим каналам своего спасителя работать в библиотеку и стал учить его премудростям, так сказать, своей «профессии».

— Когда Мишка вышел на свободу, — продолжал свой рассказ Кудрин, — он вначале поступил слесарем на завод, но потом каким-то образом повстречался с людьми из криминального мира города и пошёл по наклонной дорожке вниз. У него была мать, которую он очень любил и помогал ей всем, чем мог. Она часто болела и была уже на пенсии, поэтому Мишке хотелось сделать так, чтобы она ни в чём не нуждалась. И он действительно всё делал: из коммунальной квартиры они переехали в однокомнатную кооперативную квартиру, купил мебель и положил матери приличную сумму денег на сберкнижку. Этим, может быть, и можно в какой-то мере объяснить тягу его к большим деньгам, но только отчасти. Ему нравились и рестораны, и раскрашенные девицы, и возможность сорить деньгами. Он стал бомбить сейфы магазинов и предприятий, а милиция с ног сбилась в поисках наглого «медвежатника». До поры до времени он уходил от карающей руки закона, но однажды всё-таки попался на краже из ювелирной мастерской в Черёмушках. Это было примерно десять лет назад, когда он с подельником через окно туалета ночью проник в небольшое одноэтажное

здание этой мастерской. Согласно наводке, в сейфе директора в тот момент находились неучтённые алмазы из Якутии на очень большую сумму денег. Они тихо пробрались в здание и не заметили, что охранник, обычно спавший за столом у выхода из мастерской, не спал и, услышав шорох в коридоре туалета, пошёл туда. Они столкнулись лицом к лицу, и подельник Мишки недолго думая ударил охранника кулаком в челюсть. Тот рухнул навзничь и ударился головой о плитку, лежащую на полу коридора. Проникнув в комнату директора, Мишка быстро открыл сейф, а напарник, схватив единственный мешок, лежавший там, быстро пошёл в сторону туалета. Закрыв сейф, Бур также пошёл в ту же сторону, но, проходя мимо лежащего на полу охранника, услышал его стон и всхлипывание. Мишка наклонился к нему и услышал: «Вызови скорую, плохо мне, прошу тебя…». У него в душе что-то зашевелилось, он снова вернулся в кабинет директора, где на столе стоял телефон, набрал в полутьме номер скорой помощи и вызвал врачей на адрес мастерской. А когда снова подошёл к окну туалета и шмыгнул в раскрытое окно, его схватили работники милиции. Как оказалось, охранник успел нажать тревожную кнопку, а яркие вспышки прожектора на крыше мастерской не оставили сомнения работникам милиции, что там что-то происходит.

— Так вот, то дело вёл я, — продолжил Кудрин, — и мы с Бурковым тогда долго разговаривали по душам о жизни, о добре и зле, о его матери, которую он очень любил. По сути дела он спас того охранника от смерти, как когда-то Брона, и душа у Мишки была далеко не огрубевшей. Он хоть был и вор, но человека в беде не оставил и вызвал скорую помощь ценой своего задержания. Я разрешил ему свидание с матерью, и, как мне тогда показалось, он был мне благодарен. Подельника Мишкиного мы задержали, и большую роль в этом сыграл непосредственно Бурков, а я, как и обещал, оформил ему явку с повинной, которая и помогла на суде, вкупе со спасённым охранником, избежать длительного наказания…

Пока Кудрин всё это рассказывал, машина свернула с шоссе и по просёлочной дороге въехала в село Ясное.

— Остановите недалеко от церкви, — попросил он у водителя.

Машина проехала ещё несколько метров и остановилась на единственной дороге, проходившей через всё село. Они пошли по пустой сельской улице; по бокам её стояли тополя, словно старые усталые пехотинцы — безмолвные и безучастные к этой тишине и безлюдью.

Из калитки покосившегося дома выскочила с визгом худая дворняга и, подскакивая на трёх лапах, оглядываясь по сторонам, пробежала через дорогу. И опять на улице ни души, только осенний ветер свистит, подвывая, ворошит опавшие листья.

У небольшого одноэтажного дома с вывеской «КЛУБ» они увидели одиноко стоящий облезлый стенд, на котором висело потускневшее старое панно — Ленин с зажатой в руке кепке радостно смотрел в сторону клуба. А внизу панно виднелась поблёкшая от времени надпись: «Верной дорогой идёте, товарищи!».

Спутники не спеша побрели в сторону небольшой церкви, стоявшей недалеко от клуба. У церкви никого не было, они подошли к входу и остановились. В этот момент дверь открылась и появился широкоплечий священнослужитель в чёрной рясе и большой седой бородой.

— Вот это и есть Мишка Бурков, — тихо сказал Кудрин и пошёл навстречу священнику.

— Здравствуйте, отец Михаил, — проговорил он.

Священник уставился на посетителя и какое-то мгновение смотрел на него немигающими глазами.

— Не ожидал увидеть вас. Что, в церковь потянуло, товарищ капитан? — пробасил он.

— Не капитан, а подполковник, — поправил батюшку стоящий рядом Вольский.

— Сколько лет не имел чести видеть вас, — продолжал священник, — фамилия ваша Кудрин, если память мне не изменяет?

— Верно, — улыбнувшись, проговорил Евгений Сергеевич, — цепкая у вас память на лица, отец Михаил, но я в церковь не ходок, да и не турист по просторам необъятной страны. У меня возникла необходимость с вами посоветоваться, поэтому я здесь.

— Со мной? — удивлённо произнёс священник. — С каких это пор милицейские начальники стали совета просить у церкви?

— Да не у церкви, а у вас лично, — проговорил Кудрин.

— Ну, если что-либо о Законе Божием — тогда, пожалуйста, — примирительно ответил отец Михаил, — идите к лавочке, что сбоку от церкви стоит; я накину куртку и выйду.

Через пять минут, одетый в чёрную куртку поверх рясы, он подошёл к лавочке, присел на самый её край и, повернувшись лицом к приехавшим, принял смиренный вид, готовый выслушать вопрос любого прихожанина.

— Слушаю вас, чем могу быть полезен? — спросил он.

— Послушай, Михаил, — без всяких преамбул начал Кудрин, — мне нужна твоя помощь в расследовании одного дела.

— Вы не по адресу обратились, товарищ подполковник, — перебил его отец Михаил, — я священнослужитель, а не консультант по расследованию уголовных дел.

— Миша, ещё раз говорю, мне нужна твоя помощь, и ты не можешь отказать простому прихожанину, — повторил Евгений Сергеевич.

— Совсем простому прихожанину в звании подполковника? — с иронией в голосе ответил отец Михаил.

— Да какая разница, в каком звании, — раздражённо проговорил Кудрин, — я как простой человек к тебе приехал, в своё время я ведь тоже помог тебе.

— Помню я всё и ничего не забыл. Что вам надо от меня?

— Несколько дней тому назад обокрали квартиру одного серьёзного человека. Из сейфа, принадлежащего хозяину квартиры, унесли ценные вещи, но потерпевший уверяет, что этот сейф с серьёзной защитой и открыть его постороннему невозможно. Вот упирается он как индюк, что открыть его

невозможно, а вещей — нет! Поэтому я и хочу тебя попросить проехать с нами на квартиру потерпевшего, чтобы ты сам посмотрел на этот железный ящик и продемонстрировал бы хозяину квартиры, как открывают такие сейфы. Ехать недалеко, на Ленинский проспект.

— Да вы что, товарищ Кудрин, я давно завязал со своим прошлым и перед Богом поклялся больше к этому не возвращаться! — отшатнулся от него отец Михаил.

— Я тебя, Миша, единственный раз попросил, тем более ради благого дела, а ты отказываешь в моей просьбе, — удручённо проговорил Кудрин, — и это не возврат к прошлому, а помощь ближнему в расследовании деяний заблудших грешников.

— Ну, вы уже и на библейские аксиомы киваете, — усмехнулся священнослужитель.

Несколько минут он молчал, смотря куда-то в даль, а потом, повернувшись к Кудрину, спокойно произнёс: «Поехали, только я на своей машине за вами поеду».

— Спасибо, Михаил, знаю нелегко тебе сейчас решиться, но я был уверен в тебе, к другому не поехал бы, — поднимаясь с лавочки, произнёс Евгений Сергеевич, — мы едем на Ленинский проспект, 99, это угловое здание с Ломоносовским проспектом.

Кудрин со своим сотрудником быстро нырнули в служебную «Волгу», а отец Михаил поехал следом за ними на стареньком «Москвиче». Минут через сорок эта необычная кавалькада уже въезжала в арку дома.

Поднявшись на лифте на восьмой этаж, Вольский нажал кнопку звонка, дверь опять открыл хозяин квартиры. Евгений Сергеевич объяснил ему, что приехал для проведения оперативного эксперимента. Борисов был крайне удивлён, увидев с приехавшими милиционерами священнослужителя.

— Проходите прямо в спальню, — проговорил он.

Борисов открыл шкаф и снова раздвинул висевшие пиджаки. А вот и зелёный сейф. Кудрин легко подтолкнул отца Михаила, и тот без тени смущения подошёл к сейфу и стал осматривать его. Нависшую тишину нарушил хозяин квартиры:

— Что вы там смотрите, товарищ, — это не иконостас, а серьёзный английский сейф.

— Так это не у тебя ли, сын Божий, вскрыли это английское чудо? — усмехнувшись, пробасил священнослужитель.

— Глеб Сергеевич, отец Михаил знает, что делать, пусть посмотрит, — вмешался в их диалог Кудрин.

— Какая-то ерунда получается, — задумчиво сказал Борисов, — с одной стороны, я уверен, что никто не сможет вскрыть мой сейф, с другой — вещи исчезли, мистика какая-то…

— Ну что, слабо́ откупорить такой ящичек? — с усмешкой в голосе проговорил Кудрин.

— Вы меня почтеннейший подполковник на «слабо» не берите, — пробасил отец Михаил, осматривая сейф со всех сторон.

— Да этому в рясе только затворы в церкви открывать, — зло сострил хозяин квартиры, но вовремя остановился.

Отец Михаил выпрямился, внимательно посмотрел на Борисова, потом, засучив рукава рясы, медленно опустился на колени и трижды перекрестился.

— Ну, это только для товарища Кудрина, по его большой просьбе, — сказал он и, положив правую ладонь на металлическую гладь сейфа, продолжил: — Сейчас мы подружимся с ним, мне ведь когда-то приходилось иметь дело с такими английскими замками.

За спиной отца Михаила воцарилась тишина, было слышно, как тикают ходики на стене у комода. Стоять на коленях было непросто, на лбу появилась испарина, да и ряса путалась в ногах.

Приложив ухо к циферблату, он стал медленно вращать его ручку; так прошло ещё минут десять. Тишина становилась плотной, напряжённой.

— С ним надо быть очень деликатным, как с женщиной, — усмехнулся он, — в этом сейфе помимо всего имеется двойная щеколда с внутренней пружиной, которая задерживает замок, если не знать секрета.

— А вот и секрет, — повысил голос отец Михаил и как-то даже небрежно пальцем нажал на головку одного из трёх болтов, которыми был заклёпан замок.

Головка болта со скрежетом отошла в сторону, и сейф… открылся.

Хозяин квартиры, раскрыв рот от удивления, смотрел на всё происходящее.

— Вот так-то, английский сейф русскими руками открыли, — улыбнулся Кудрин.

— Впервые вижу, чтобы поп открывал сейфы, что у вас все такие? — пришёл в себя Борисов.

— Ну, во-первых, это не наш священнослужитель, — проговорил Кудрин, — я попросил его как специалиста в прошлом по такого рода работам проконсультировать меня, а во-вторых, мне надо было убедиться, да и вас убедить, что такие сейфы вскрываются и без автогена.

— Я начинаю понимать, — проговорил удивлённый Борисов, — что открыть можно любой сейф, даже с самой ухищрённой защитой от взлома.

— Вы же сами убедились, что этот английский ящик легко был открыт умелыми русскими руками, — сказал Евгений Сергеевич.

— Да ещё какими умелыми, — согласился Борисов, посмотрев на отца Михаила.

— Ну вот, — проговорил Кудрин, — можно сказать, что оперативный эксперимент закончен.

Попрощавшись с хозяином квартиры, они вышли на улицу.

— Спасибо большое тебе, Михаил, — поблагодарил Евгений Сергеевич священнослужителя.

— Да чего уж там, я просто вам долг возвратил.

— Если уже так, то для полного возврата долга ещё один вопрос: кто, кроме тебя, мог бы вскрыть этот сейф? — спросил Кудрин.

— Да, пожалуй, что никто, перевелись у нас мастера таких дел, все по мелочам работают, хотя я уже давно не в теме…

— Ну а ты подумай, Миша, — настаивал Евгений Сергеевич.

— Ну, может быть, если только, — и отец Михаил прищурив один глаз, посмотрел куда-то вдаль, — Фома, знал я такого мастера. Но если он ещё жив, то уже совсем старый, и лет ему сейчас уже за семьдесят. Вот он, пожалуй, мог сработать такой сейф. Знаю, что он был одним из подельников известного вора в законе Якута, с которым я познакомился на зоне.

— А где обитает этот Фома?

— Раньше он проживал в районе Пресни, в Спиридоньевском переулке, я как-то один раз был у него дома. Это пятиэтажка, и его квартира на первом этаже. Больше ничего не могу о нём сказать, прошло слишком много времени, да и я давно порвал все старые связи с этим миром…

— Благодарю вас, отец Михаил, за помощь, — Кудрин вновь обратился к нему на «вы».

Попрощавшись со священнослужителем, они сели в машину и поехали по ночной Москве.

— Ты вот что, Рома, — сказал Евгений Сергеевич, — завтра утром сделай оперативную установку на этого Фому и если потребуется, то свяжись с оперативниками Краснопресненского РУВД.

— Есть, — по-военному коротко ответил Вольский.

Всё утро следующего дня Кудрин занимался другими делами, от которых его никто не освобождал: вызывал к себе сотрудников отдела, давал поручения и прорабатывал с ними оперативные мероприятия. Где-то ближе к обеду в кабинет вошёл Вольский и протянул листок бумаги, на котором чётким почерком была написана справка-установка на Фомина Вениамина Сергеевича.

— Так, — проговорил Кудрин, — значит Фома — это Фомин Вениамин Сергеевич, 1910 года рождения, проживающий по адресу: Москва, Спиридоньевский переулок, дом 10, строение 3, квартира 2. Имеет три судимости за кражи, известный «медвежатник» по кличке Фома, освободился из Пензенской колонии год назад, и ещё много чего интересного о нём…

Дочитав справку, Евгений Сергеевич поблагодарил Вольского и сказал ему, что через час они вместе выезжают в Краснопресненское РУВД. Когда Роман вышел, Кудрин позвонил дежурному по главку и узнал, что Кочетков на выезде и будет часа через два. Евгений Сергеевич, помня распоряжение полковника, взял чистый лист бумаги и написал рапорт о проделанной работе по краже из квартиры Борисова, а также данные из справки Вольского на нового предполагаемого фигуранта по этому делу — Фому. Рапорт он отдал секретарше Кочеткова, а сам отправился в местную столовую.

Там было как всегда шумно и душно, звенела посуда, между столами с подносами буквально пробегали сотрудники этого большого здания, чтобы вовремя занять освободившийся столик.

Евгений Сергеевич успел занять столик, стоящий у окна в самом углу столовой, и быстро принести на подносе любимый салат «оливье» и гороховый суп. К нему подсел знакомый следователь со звучной фамилией Колокольников, со смешным, вздёрнутым кончиком носа.

— Евгений Сергеевич, неужели это вы? — работаем который год в одном здании, а встречаемся крайне редко, да и то в столовой.

— Приветствую вас также, Иван Иванович, — обрадовался Кудрин, протянув руку для рукопожатия.

— Евгений Сергеевич, может быть, расскажете что-нибудь новенькое? — спросил Колокольников, явно намекая на анекдоты.

Настроение у Кудрина было хорошее, да и ветерок, поддувавший из раскрытого окна, способствовал доброму расположению духа, и он не заставил себя долго просить. В обеденный перерыв необходимо расслабляться.

— Значит так, у районного военкомата стоят толпы мужчин призывного возраста и всё время прибывают новые. Все двери и окна окружены призывниками. Внутри военком с офицером подтягивают стол, чтобы успеть забаррикадироваться. Военком спрашивает у офицера: «Лейтенант, какого чёрта нужно было писать в повестках, что танки чистым спиртом заправляют?..»

Колокольников громко загоготал, отчего кончик его носа ещё больше подтянулся к переносице, и чуть не подавился куском хлеба.

— Ну, класс! — сказал он, — а давай ещё что-нибудь…

— Хорошо, ещё один и всё. Парикмахерша, подстригая постоянную клиентку, жалуется той на жизнь: «Муж достал: утром ему дай, в обед — дай, вечером тоже дай!..» Клиентка с завистью в голосе: «Счастливая ты, Люба». А парикмахерша возмущённо в ответ: «Какая счастливая? Он же на пузырь просит…»

Иван Иванович снова громко рассмеялся, вытирая слёзы, брызнувшие от смеха, а Кудрин завершил обед, поблагодарил его за компанию и, встав из-за стола, направился к выходу из столовой.

Созвонился с заместителем начальника по оперативной работе Краснопресненского РУВД Олегом Захаровым, с которым был знаком уже не первый год, и они с Вольским уже через несколько минут катили на служебной «Волге» в сторону Пресни.

Захаров попросил своих подчинённых принести ему материалы на Фомина. Время пролетело незаметно, пока они говорили об общих знакомых по учёбе и работе; вскоре объёмная папка, на которой крупными буквами было написано «Фома», уже лежала на рабочем столе Захарова. Он передал её Кудрину, который сразу же погрузился в чтение. В папке было много разного о «похождениях» Фомина, но ничего нового о нём Евгений Сергеевич не узнал.

— Значит, он освободился из Пензенской колонии год назад? — спросил он у Захарова.

— Так точно, Евгений Сергеевич, — ответил Олег, — Фома у нас личность известная, и мы с особым вниманием наблюдаем за ним после освобождения. Хотя за этот год он вёл себя тихо, нигде не «засветился» и вовремя отмечается в рамках административного надзора в местном отделении милиции. Да и ведёт он уединённый образ жизни, практически ни с кем не встречается, но пьянствует часто. Это видно из рапортов участкового инспектора.

— А родственники у него есть? — спросил Кудрин.

— Была сестра, — ответил Захаров, — она его и прописала к себе после освобождения из мест заключения. Тоже была одинокой и нелюдимой женщиной, так она буквально через несколько месяцев после приезда брата попала в ДТП и погибла.

— Вот интересный, на мой взгляд, рапорт участкового инспектора, — проговорил Захаров и протянул Кудрину листок бумаги, написанный крупным почерком.

Евгений Сергеевич взял в руки рапорт и углубился в чтение. Из него следовало, что месяц назад участковый инспектор видел Фому на лавочке у дома распивающим вино с каким-то молодым парнем, не проживающим в этих домах.

Пока они общались, Захаров через своих сотрудников попросил найти участкового инспектора, обслуживающего улицу, на которой проживает Фомин.

Спустя полчаса в кабинет Захарова вошёл уже немолодой капитан милиции.

— Капитан милиции Васин, — представился, переступая порог кабинета.

Поздоровавшись с участковым инспектором, Захаров представил ему своих гостей и объяснил цель их приезда.

Капитан Васин обстоятельно доложил Евгению Сергеевичу о Фоме, его жизни, а также о некоторых характерологических особенностях подопечного.

Кудрин поблагодарил его и попросил сопроводить в квартиру, где проживает в настоящее время Фома. Через несколько минут, попрощавшись с Захаровым, все трое сели в машину и поехали.

Всю дорогу Евгений Сергеевич внимательно смотрел в окно и не узнавал многих улиц, старая Пресня строилась: появились новые высотные дома, плиткой укладывался тротуар, на фасадах магазинов новые металлические вывески сверкали разноцветными огнями.

Подъехав по адресу к пятиэтажному дому, они зашли в подъезд, где на первом этаже была квартира Фомина. Кудрин нажал пальцем на звонок, тот прозвенел, но никто дверь не открыл. Он ещё несколько раз нажал на звонок, в ответ — тишина.

— Погодите, товарищ подполковник, — проговорил участковый инспектор, — я зайду с тыльной стороны дома, там окна его квартиры выходят на дворик между домами.

Через несколько минут он вернулся взволнованным.

— Там в окне видно, что Фома лежит на полу, раскинув руки, я пойду за слесарем, будем дверь открывать.

Через минут десять, слесарь железной «фомкой» поддел замок и открыл дверь. Они вошли в квартиру и увидели в комнате лежащего на полу человека. Участковый инспектор подошёл к лежащему, пощупал пульс и, закрыв тому глаза, тихо сказал: — Помер Фома.

Судя по одежде, внешнему виду и убранству квартиры, это был совсем небогатый человек. На теле были видны татуировки — традиционные мотивы блатного фольклора: русалка и пронзённое стрелой сердце.

«По этим татуировкам можно было вполне проследить этапы жизненного пути Фомина», — подумал Кудрин.

— Ну что, товарищ капитан, — проговорил он, обращаясь к участковому инспектору, — найдите телефон и вызывайте оперативную группу и врачей. А ты, Рома, опроси соседей.

Когда они ушли, Кудрин очень осторожно, чтобы не оставить лишних следов, осмотрел комнату. На столе стояли три бутылки из-под водки, причём две пустых, а одна почти полная. Рядом с бутылками одиноко стоял стакан и отломанный кусок чёрного хлеба, поверх которого лежал солёный огурец. На первый взгляд, следов борьбы не было, да и видимых телесных повреждений на умершем не наблюдалось.

Размышления Евгения Сергеевича прервали входившие в квартиру работники милиции. Среди вошедших он с удивлением увидел следователя Колокольникова, с которым в обед сидел за одним столиком. Тот, увидев Кудрина, широко улыбнулся и прошёл в комнату.

— Иван Иванович, — сказал Евгений Сергеевич, — от вас никуда не скрыться, присаживайтесь снова за мой, так сказать, «столик».

Колокольников достал из своей папочки несколько листов бумаги и приступил к осмотру места происшествия. Криминалист занялся поиском отпечатков пальцев, а вошедшие через несколько минут медики стали осматривать труп.

Врач, осмотрев тело Фомина, как бы подтверждая размышления Кудрина, произнёс:

— Смерть наступила приблизительно пять часов тому назад, но видимых телесных повреждений не наблюдаю. Возможно, смерть наступила от отравления спиртным, более подробно опишу в акте вскрытия тела.

— Ну надо же, — проговорил Евгений Сергеевич, — пять часов тому назад было ещё раннее утро, а он позавтракал литром водки практически без закуски; так и у молодого человека мотор может отказать.

Закончив работу, врачи уехали и забрали тело Фомина в районный морг, а работники милиции ещё целый час копались в квартире Фомина, пока эксперт-криминалист не закрыл свой чемоданчик, показывая всем своим видом, что работа завершена.

— К завтрашнему утру будет готов акт дактилоскопической экспертизы, — сказал эксперт-криминалист, — есть на ручке двери и на чайной чашке, стоявшей на подоконнике, отпечатки пальцев, не принадлежавшие Фомину.

Когда оперативная группа уехала, Кудрин попросил участкового инспектора ещё раз тщательно осмотреть квартиру, а у Романа поинтересовался результатом опроса соседей.

— Опрос соседей практически ничего не дал, — доложил тот, — никто ничего подозрительного не видел, Фомин жил бирюком и с соседями не общался. Хотя старушка из квартиры напротив несколько раз видела Фому с молодым человеком приятной наружности с родимым пятном под левым ухом.

«Знакомая примета», — отметил про себя Кудрин.

Почти целый час они толкались в этой затхлой квартире, пока не услышали звонкий голос Вольского:

— Нашёл, идите сюда!..

Кудрин и участковый инспектор в это время проводили осмотр на кухне, и, услышав голос Романа, поспешили в комнату. Там они увидели открытый старый шкаф.

— Здесь в углу шкафа тайник, — громко сказал Роман, вынимая из шкафа небольшой мешок.

Подойдя к столу, он открыл мешок и высыпал на стол его содержимое. Кудрин ахнул, увидев перед собой рубиновое колье и браслет со змейкой на конце. Небольшая пачка денег, скреплённая резинкой, выскочив, упала на пол, а удар о стол какого-то предмета, завёрнутого в тряпку, заставил всех отступить на шаг от стола. Кудрин осторожно взял в руки этот довольно тяжёлый предмет и, развернув тряпку, увидел настоящий золотой слиток промышленного производства.

— Так это же золото! — восхищённо воскликнул Вольский. — Я в первый раз в жизни вижу настоящий слиток.

Он взял слиток и, повертев в руках, положил его на стол.

— Рома, похоже, что это ценности из квартиры Борисова, иди за понятыми и оформляй протокол изъятия, — сказал Евгений Сергеевич, внимательно разглядывая рубиновое колье.

Помимо украденных вещей, указанных в списке Борисова, и золотого слитка, из мешка высыпались серебряные запонки, мужское кольцо-печатка и два золотых кольца с маленьким бриллиантом. Вывод напрашивался сам по себе: видимо, не одну кражу за этот год совершил Фома.

Когда все формальности были соблюдены, Кудрин и Вольский, попрощавшись с участковым инспектором, сели в дежурную «Волгу» и помчались на работу. Было уже поздно, и, когда они приехали на Петровку, Кудрин отпустил Романа домой, а сам зашёл в свой кабинет и положил мешок, найденный у Фомы, в сейф.

Затем Евгений Сергеевич не спеша вышел из кабинета и пошёл к выходу из главка.

Утром следующего дня оперативного совещания не было, и Кудрин сразу же отправился на доклад к полковнику Кочеткову.

— А ты, Евгений Сергеевич, уверен, что Фому не убили? — спросил Кочетков.

— Это экспертиза покажет, — ответил Кудрин, — но явных следов борьбы или другого насилия в отношении Фомина не было обнаружено. На столе стояли три бутылки из-под водки, причём две из них пустые. Если исходить из показаний соседей, то Фома в последнее время сильно выпивал, и они редко видели его трезвым. Да и стакан на столе стоял один, что косвенно говорит о том, что он был один.

— Ну, хорошо, к Фоме мы ещё вернёмся, — проговорил Кочетков, — удалось что-либо найти в его квартире?

Кудрин утвердительно кивнул головой и, раскрыв принесённый с собой небольшой мешок, высыпал его содержимое на стол. Из мешка высыпались украшения из золота, бриллиантовые кольца и рубиновое ожерелье.

— Так вот оно — ожерелье из сейфа Борисова! — воскликнул полковник. — Я узнаю его по описанию потерпевшего.

Он осторожно взял ожерелье, поднёс его к свету и восхищённо воскликнул:

— Какое же оно красивое! Молодец Женя, я знал, что ты найдёшь.

— Это ещё не всё, товарищ полковник, — сказал Кудрин и вынул из мешка небольшой предмет, завёрнутый в тряпку. Развернув её, он достал золотой слиток и положил его на стол.

— А это что ещё? — недоумённо спросил Кочетков.

— Золотой слиток промышленного производства, — ответил Евгений Сергеевич.

Полковник взял слиток в руку, покрутил его и стал читать выгравированные надписи.

— Настоящее золото высшей пробы, — задумчиво произнёс он, — многие считают, что изделия из него могут подарить человеку уверенность в себе и даже защитить от злых духов. Но существует и противоположное мнение: золото может отнять у человека самое дорогое — жизнь, если он слишком вожделеет его…

— Так получается, — продолжал Кочетков, — что Фома из квартиры Борисова и золотой слиток стащил?

— Может быть, и так, — ответил Кудрин, — хотя в перечне похищенных ценностей его не было. А из похищенных вещей — рубиновое ожерелье, кольцо с бриллиантом в форме лепестка и браслет со змейкой на конце, всё перед вами на столе.

— А здесь гораздо больше драгоценностей, чем было в описи похищенного у Борисова, — проговорил полковник, — может быть, Фома ещё где-то поживился…

— Поговори, Женя, сегодня же с Борисовым по поводу слитка, но только очень аккуратно; депутат всё-таки, мало ли, не так поймёт…

— Слушаюсь, товарищ полковник.

— А я сегодня же покажу его специалистам, а там посмотрим, — проговорил Кочетков и положил слиток к себе в сейф.

— Теперь вернёмся к Фомину, — продолжил полковник, — что ты думаешь о его смерти?

— Сегодня к вечеру, в крайнем случае, завтра утром, мы узнаем об этом. Эксперт-криминалист обещал не задерживать написание акта.

— А что удалось ещё узнать про Фому?

— Общую информацию вы знаете из моего рапорта, — сказал Кудрин, — год назад Фомин освободился из мест заключения и приехал в Москву к сестре, которая и прописала его на своей жилплощади. По словам участкового инспектора, последнее время он вёл себя тихо, правонарушений не допускал. Как отмечали его соседи, Фомин сильно выпивал в одиночку, ибо друзей у него не было, да и с мужиками во дворе в домино никогда не играл и вёл уединённый образ жизни.

— Ему уже было за семьдесят лет, — продолжал Евгений Сергеевич, — но воровские навыки «медвежатника», как оказалось, не потерял. Одна

из соседок рассказала, что видела несколько раз Фомина с молодым парнем лет двадцати пяти выходящими из квартиры. Она описала его примерно так: молодой, весьма симпатичный, черноволосый и под левым ухом — большое родимое пятно.

— А что сестра Фомина, где она? — спросил полковник.

— Сестра Фомы буквально через два месяца после его освобождения погибла в ДТП.

— Да, — задумчиво протянул Кочетков, — значит, он жил один, ни родственников, ни друзей…

— Кстати, эксперт-криминалист после осмотра места происшествия сказал, что нашёл отпечатки пальцев, не принадлежащих Фомину, — сказал Кудрин.

— Ну что же, поживём — увидим, а с актом дактилоскопической экспертизы ознакомьте меня сразу после его получения, — проговорил Кочетков, давая понять, что на этом разговор закончен.

После обеденного перерыва Евгений Сергеевич позвонил Борисову и попросил о встрече. Уже через час он уже был в квартире потерпевшего. Кудрин очень аккуратно спросил его о золотом слитке. Борисов сказал, что он вообще в глаза не видел золотых слитков и у него их никогда не было. Евгений Сергеевич поблагодарил хозяина квартиры за понимание и вышел на улицу.

Через полчаса он уже входил в свой рабочий кабинет, в котором было непривычно темно и душно. Рабочий день подходил к концу, и усталость давала о себе знать. Сняв плащ, он не спеша подошёл к окну. За стеклом снова шёл мелкий дождь и качались от ветра деревья, с которых слетали последние листья.

Минорное осеннее настроение быстро передалось Евгению Сергеевичу, и он, поёжившись, уселся в своё уютное кресло. Не хотелось думать ни о чём: ни о работе, ни о зарядившем дожде, ни о визите к начальству. Единственное, что его согревало в настоящий момент, так это лежащие в кармане пиджака два билета на концерт джазового оркестра под управлением Георгия Гараняна, который сегодня вечером будет выступать в Театре эстрады. До этого сладостного момента оставалось ещё много времени, но он уже мысленно представлял себе, как они с женой сидят в зале театра и с упоением слушают музыку. Джазовую музыку Кудрин полюбил ещё с детства, когда он сам, играя на пианино, извлекал из инструмента причудливые аккорды джазовой музыкальной гармонии.

Евгений Сергеевич откинулся на спинку кресла, и мысли о джазе стали приходить одна за другой, всё больше затмевая рабочую суету и минор осеннего ненастья.

«Ни один из многочисленных стилей музыки не окутан такой тайной, как джаз, — подумал он, — такой яркий и в то же время загадочный, а импровизация как его музыкальный язык — это огромный комплекс приёмов исполнителей».

Евгений Сергеевич посмотрел на свои пальцы и представил, что играет одну из джазовых тем великого пианиста Дюка Эллингтона. В голове сразу же зазвучали звуки бессмертного «Каравана», а пальцы сами по себе

стали постукивать по столу, как по клавишам пианино, ритму этой темы. И сразу стало тепло и светло; Кудрин улыбался, как ребёнок, предаваясь чарующим звукам музыки, звучавшей у него в голове.

Одна джазовая тема переходила в другую, и вот уже и его любимая — блюз «Опавшие листья» Джорджа Космо. Эту мелодию он мог слушать бесконечно, и, закрыв глаза, Евгений Сергеевич представил себе, как это произведение играет на своём саксофоне Гаранян: сначала основная тема, а потом импровизация, импровизация и ещё раз импровизация…

Посмотрев на часы, Кудрин нехотя поднялся и пошёл надевать плащ.

«Пора идти, на сегодня достаточно поработал, да и концерт уже скоро», — подумал он и заторопился к выходу.

На следующее утро в кабинете Евгения Сергеевича лежали два акта: вскрытия тела Фомина и дактилоскопического исследования отпечатков пальцев, обнаруженных в его квартире. Относительно Фомина там было сказано, что он умер от передозировки спиртного, а признаков насильственной смерти выявлено не было. А вот дактилоскопическая экспертиза выявила в квартире Фомина отпечатки пальцев другого человека, причём ранее судимого и опознанного по картотеке МУРа. К акту экспертизы был приколот лист бумаги с информацией о нём.

Это был Иван Сергеевич Бенин, 25 лет, ранее судимый за кражу и проживающий в Колодезном переулке, 12, строение 5, квартира 22.

Кудрин набрал номер полковника Кочеткова, тот не отвечал. Тогда он позвонил дежурному по главку и узнал, что полковник отъехал в Московское управление КГБ. Евгений Сергеевич ещё раз внимательно прочитал справку на Бенина, и решение побывать в Сокольническом РУВД пришло само по себе. Его рассуждения прервал звонок дежурного, который сказал, что приехал Кочетков и просит Кудрина срочно зайти к нему.

Евгений Сергеевич аккуратно положил документы в папочку и направился к начальнику.

Через несколько минут он уже докладывал о результатах экспертиз и о новом фигуранте — неком Иване Бенине.

— Думаю, что вам в ближайшее время следует познакомиться с этим Бениным, — сказал Кочетков, — чем чёрт не шутит, вдруг нам это поможет ответить на вопрос, откуда у того оказался золотой слиток. Ну а теперь о слитке. Я говорил тебе, что посоветуюсь с компетентными товарищами. Вчера я передал слиток нашим коллегам из КГБ, а сегодня меня пригласили в городское управление, и их эксперты поведали очень интересную историю с этим золотым слитком. Начинается она в конце октября 1941 года, когда немцы бросили в наступление под Москвой все свои ударные группировки. Для наших войск ситуация складывалась катастрофическая: немцы прорвали оборону в нескольких местах и продвинулись ещё ближе к столице. Ещё в конце октября 1941 года ГКО СССР принял решение об эвакуации из Москвы Правительства, ряда заводов, военных складов и банков. Было также решено, что из ближайшего Подмосковья из музеев и финансовых учреждений перевезут все ценности в Москву для отправки в тыл.

— Ценой огромных усилий, — продолжал полковник, — в начале ноября 1941 года наши войска остановили врага у стен Москвы. Где-то в начале ноября было принято решение местных органов власти о перевозке из Наро-Фоминска в Москву музейных экспонатов и банковских ценностей для последующей отправки в тыл. Поскольку задача была секретной, а поручить это местным сотрудникам милиции не представлялось возможным, из Москвы на крытой брезентом полуторке направили шесть бойцов военной комендатуры во главе с офицером. Они благополучно прибыли в Наро-Фоминск, погрузили ящики в машину и выехали в сторону Москвы. Известно, что в этих ящиках находились в основном экспонаты городских музеев и несколько ящиков из местного банка. В одном из таких ящиков и были золотые слитки. Так вот, эта полуторка в Москву не доехала; на выезде из города у села Саватеево её разбомбили немецкие самолёты. Большая часть музейных экспонатов уцелела, а ящик с золотыми слитками исчез. Из группы охраны четверо бойцов были убиты, а тело офицера и ещё одного солдата нигде не нашли.

— Так вот, Евгений Сергеевич, — сказал Кочетков, — твой слиток из того пропавшего в ноябре 1941 года ящика. Отлит он был на Московском заводе цветных металлов в период с 1930 по 1941 год.

— А откуда это известно? — спросил Кудрин.

— В августе 1941 года завод был эвакуирован в Новосибирск и первую продукцию выпустил лишь в начале 1942 года. Так что вот такая судьба у твоего слитка и твоя задача — попытаться найти этот ящик.

— Легко сказать, найти его, как иголку в стоге сена, — развёл руками Кудрин.

— Ну, попытаться необходимо, если надо будет, то сотрудники КГБ будут привлечены к решению этой задачи. А что касается кражи у Борисова, то ты молодец — полдела сделал, нашёл часть ценных вещей, пропавших у Борисова. Деньги ещё не все найдены, портсигара и кулона-камеи нет, и приёмника «Сони» я что-то не вижу. Тем не менее, Женя, помимо розыска других похищенных ценностей, сконцентрируйся на золотом слитке. Это очень важно, можешь считать это главным твоим заданием.

Кудрин вышел из кабинета полковника и не спеша пошёл по длинному коридору Петровки 38, обдумывая то, о чём сказал Кочетков. Зайдя в свой кабинет, он набрал номер телефона своего старого приятеля по учёбе в школе милиции Саши Воробьёва, который работал начальником отдела уголовного розыска Сокольнического РУВД. Обменявшись буквально несколькими фразами, Кудрин сказал, что по делам через час собирается подъехать к нему. Воробьёв обрадовался и сказал, что будет ждать.

Евгений Сергеевич вышел из здания и сел в дежурную «Волгу».

«Всю сознательную жизнь, — думал Кудрин, — нам приходится решать большое количество задач, к некоторым из них мы бываем не готовы. Но наша работа оправданий не приемлет. Здесь так: либо ты решаешь задачу и находишь единственно верное решение, либо тебя затягивает этот водоворот событий и вырисовывается «висяк», то есть нераскрытое дело. Конечно, можно захламлять дело отписками, имитируя работу. Некоторые так и делают, хотя, по сути, задача не решена, и только папка пухнет от ненужных

отписок. А потом, со временем, дело попадает в архив, и о нём благополучно забывают».

С этими мыслями Евгений Сергеевич ехал в сторону Сокольников.

Воробьёв уже ждал его, немного поговорили о друзьях, о семьях, и Кудрин попросил рассказать о Бенине, проживающем на территории района.

— Ну как же, знаю такого Беню, — проговорил Воробьёв и, подойдя к своему сейфу, вынул оттуда серую папку.

— Вот здесь все материалы на него, — сказал он и протянул её Кудрину.

Евгений Сергеевич раскрыл папку и на первой странице увидел фотографию молодого симпатичного парня с густой чёрной шевелюрой, ямочкой на подбородке и родимым пятном под левым ухом. Кудрин внимательно прочитал все материалы, и постепенно у него складывался образ Бени, беспечного ловеласа и легковесного кутилы.

— В последнее время Беня, как его кличут в среде криминала, ничем не выделялся, — проговорил Воробьёв, — после освобождения год назад из Пензенской колонии ведёт себя тихо, правонарушений за ним не числится, проживает с матерью, но часто крутится в парке Сокольники.

Воробьёв позвонил дежурному по РУВД и спросил, не закончилось ли совещание руководства с участковыми инспекторами. Узнав, что оно только что завершилось, он попросил дежурного, чтобы тот пригласил в его кабинет участкового инспектора Бокова, обслуживающего парк Сокольники.

Через несколько минут в кабинет вошёл небольшого роста в возрасте за пятьдесят лет капитан милиции.

— Вызывали, Александр Ильич? — спросил вошедший.

— Да, Николай Николаевич, — ответил Воробьёв, — есть необходимость посоветоваться с вами.

Представив мужчин друг другу, он попросил рассказать Кудрину всё, что знает о Бенине.

Передав общую информацию о нём, часть которой Кудрин уже знал, участковый инспектор продолжал:

— В настоящее время Беня занимается разной мелочёвкой. Есть у нас в парке так называемый авторитет — вор в законе Седой, так вот Бенин при нём и состоит; тырит у зазевавшихся кошельки и сумки, а по вечерам часто сидит с компанией таких же, как он, в каком-нибудь кафе парка. Но на кражах Беня пока не попадался.

— Ну а в последнее время не совершал ли он чего-либо? — спросил Кудрин.

— Да нет, я уже говорил, что крупного ничего, — сказал капитан, — если не считать небольшого скандала вчера вечером в кафе «Отдых». Он там гулял со своей любовницей, а потом избил её.

Их дружинники доставили для разбирательства в пункт милиции парка, но избитая подруга отказалась писать на него заявление. Я взял у них объяснение и отпустил домой.

— А что за подруга? — спросил Евгений Сергеевич.

— Вот здесь самое интересное, это не какая-то там путана, а весьма приличная женщина, да ещё директор мебельного магазина на Красносельской

улице. Она, кстати, Бенину в матери годится, примерно на двадцать лет старше его.

— Ого! — воскликнул Воробьёв, — мир перевернулся, раньше ещё при царе старики брали в жёны молодых девушек, да и сейчас люди в возрасте приударяют за молоденькими девчонками, а тут всё по-другому…

— А как эта женщина объяснила, что не будет писать на него заявление? — спросил Евгений Сергеевич.

— Да никак не объяснила, сказала, что не будет писать и все, несмотря на большой синяк под глазом, — ответил участковый инспектор.

— А как её фамилия и где проживает? — продолжал задавать вопросы Кудрин.

— Одну минуту, — ответил капитан и, порывшись в своей толстой папке, достал листок бумаги и протянул его Евгению Сергеевичу.

— Толмачёва Дина Николаевна, — прочитал он в справке, — проживает на 2-й Сокольнической улице, дом 32, квартира 24, — надо будет познакомиться с ней.

Поблагодарив коллег, Кудрин покинул кабинет и вышел на улицу, где уже смеркалось и продолжал лить мелкий осенний дождик. Следом за ним из здания РУВД вышел участковый инспектор.

— Вас подвезти? — спросил Кудрин.

— Да нет, спасибо, мне тут недалеко — в Колодезный переулок, один адресок проверить надо, — ответил капитан.

— Так там Бенин проживает. Может, вместе и зайдём к нему в гости?

— А почему бы и нет, — ответил участковый инспектор, — я согласен, поехали…

Они сели в машину и через несколько минут подъехали к пятиэтажному дому в Колодезном переулке. Зайдя в тёмный, грязный подъезд, они поднялись на второй этаж. Участковый инспектор нажал на кнопку звонка. За дверью послышались шаркающие шаги. Дверь им открыла пожилая женщина в тёмном халате; было видно, что она была больна, тяжело дышала и ходила с большим трудом.

— Бенина Нина Ивановна? — спросил участковый инспектор.

— Да, а вы кто? — проговорила женщина.

Представившись хозяйке квартиры, они прошли с ней в комнату, в которой был небольшой беспорядок и затхлый, тяжёлый воздух.

— А где Иван? — спросил Кудрин.

— А кто его знает, он редко приходит домой. Принесёт мне еды и лекарств и опять исчезает на несколько дней. Что он натворил? — с трудом проговорила она.

— Мы его ищем по подозрению кражи из квартиры, — ответил Евгений Сергеевич.

— Чувствовала я, что с Иваном что-то не так, а ведь он же мне обещал больше не воровать, — тихо сказала Бенина.

— Когда вы видели его в последний раз? — спросил участковый инспектор.

— Да позавчера, он принёс еды и лекарств и ушёл, наверное, к этой пожилой женщине.

— К какой такой пожилой женщине? — уточнил Кудрин.

— Приходил Ванька один раз с ней, так она примерно моего возраста, круглолицая такая, с ярко-рыжими волосами. Ещё обнимались они и целовались, — с горечью произнесла Бенина.

— Скажите, Нина Ивановна, не приносил Иван домой каких-либо вещей? — продолжал задавать вопросы Кудрин.

— Раньше не приносил, а позавчера принёс какую-то сумку и спрятал её под мою кровать, — сказала она.

Участковый инспектор встал на колени, нагнулся и вытащил из-под кровати небольшую спортивную сумку. Открыв её, они увидели в ней радиоприёмник «Сони» и позолоченный портсигар.

— Это вещи из ограбленной квартиры, — проговорил Кудрин.

Нина Ивановна заплакала. Участковый инспектор пошёл на кухню, налил в стакан воды и принёс ей.

— Ну что, товарищ капитан, приглашайте понятых и оформляйте протокол изъятия сумки, — сказал Кудрин.

Пока участковый инспектор ходил за понятыми, Евгений Сергеевич взял у Бениной объяснение, где она показала, как сумка попала под её кровать и кто её принёс.

Через час Евгений Сергеевич и участковый инспектор, закончив все формальности, выходили из этого мрачного подъезда. Попрощавшись с капитаном, он сел в машину и поехал по направлению к своему дому.

«Осень она не спросит, осень сама придёт», — вспомнил Кудрин слова старой песенки, которую в юности с ребятами пели под гитару. Глядя в квадратик окна машины, он любовался чередованием осеннего пейзажа в городе: то это качающиеся от ветра деревья, то вихри листопада, то бегущие под зонтом люди. Через сорок минут машина привезла Евгения Сергеевича к дому, и он устало побрёл к своему подъезду. Войдя в квартиру, он сразу позвонил Вольскому, попросил его утром приехать к дому, где проживала Толмачёва и продиктовал её адрес.

На следующее утро к дому Кудрина подъехала дежурная машина, и, не заезжая на работу, он отправился к Толмачёвой. Резон в этом был, как предполагал Евгений Сергеевич: вряд ли она поедет на работу с огромным синяком под глазом.

Дом, в котором проживала Толмачёва, был двенадцатиэтажный, с одним подъездом, он возвышался в окружении разных палаток и киосков. У подъезда его уже ждал Вольский.

В подъезде было довольно чисто, на полу в маленьких горшках стояли цветы, а на стене у лифта висел календарь с видом Лужников.

— Наверное, дом кооперативный, — сказал Кудрин, — уж как-то не похожа обстановка на обычный московский подъезд.

Лифт быстро поднял их на пятый этаж, и они оказались в уютном холле, в углу которого стояло кресло, а на полу — кадка с фикусом.

Дверь им открыла полноватая женщина с рыжими волосами и одутловатым лицом, под левым глазом под слоем густо намазанного грима просматривался огромного размера синяк.

— Толмачёва Дина Николаевна? — спросил Кудрин.

— Да, — ответила он, — а что вам надо?

— Подполковник милиции Кудрин Евгений Сергеевич, — ответил он, показывая ей своё удостоверение.

— Ну, заходите, — нехотя проговорила она, пропуская вошедших в квартиру.

Квартира была двухкомнатной, хорошо обставленной, как и полагалось директору мебельного магазина.

Толмачёва пригласила неожиданных гостей пройти на кухню, и все сели за большой круглый стол.

— Чем обязана?

— Это мой коллега капитан Вольский, — представил Кудрин своего спутника, — мы хотели бы с вами поговорить о происшествии в кафе «Отдых» два дня тому назад.

— И по этому недоразумению целый подполковник ко мне пожаловал? — съязвила Толмачёва.

— Это, так сказать, недоразумение у вас на лице отпечаталось, — с усмешкой ответил ей Евгений Сергеевич.

— Да ничего особенного там не произошло, — проговорила Дина Николаевна, — в тот вечер после работы я зашла в кафе, а тут какой-то пацан стал приставать. Я его быстро отшила, но он ударил меня по лицу. Потом налетели дружинники и отвели нас в пункт милиции.

— А вы раньше с ним встречались? — продолжал задавать вопросы Кудрин.

— Да что вы, товарищ подполковник, — удивлённо ответила Толмачёва, — он же мне в сыновья годится.

— Эх, Дина Николаевна, — покачивая головой, проговорил Евгений Сергеевич, — нехорошо обманывать целого подполковника милиции. Вы же его прекрасно знаете, да и мать Бенина вас описала, сокрушаясь по поводу возраста подруги её сына. Я смотрю на вас и думаю: состоятельная женщина приобрела себе живую игрушку и развлекается!

Толмачёва занервничала и, достав сигарету из дефицитной пачки «Марлборо», закурила.

— Да знаю я этого молодого кобеля. А что он натворил? Вы же не из-за происшествия в кафе ко мне приехали? — спросила она.

— Вы совершенно правы, не из-за того происшествия, — ответил Кудрин, — Иван Бенин подозревается в совершении квартирной кражи, и мы его в настоящее время ищем. Что произошло позавчера в кафе «Отдых»?

— Ну, хорошо, я всё расскажу, — проговорила Толмачёва, — с Иваном я случайно познакомилась год назад в кафе, где была с подругами. Он тогда пригласил меня на танец и был таким обходительным и галантным. Такой молодой, красивый, он мне сразу понравился, ну и пошло-поехало… Ваня стал часто у меня бывать дома, и я была счастлива, несмотря на большую разницу в возрасте. Он был тогда жалким после колонии, денег не было, а мать его уже тогда болела, и, зная его любовь к ней, я давала деньги на лекарства. Ивану тоже просто так выдавала деньги, надеясь, что он скоро устроится на работу.

— То есть за любовь вы деньгами расплачивались? — спросил Кудрин.

— Да понимайте, как хотите, — ответила она, — а что ещё надо одинокой женщине…

— Где-то месяца три назад, — продолжала Толмачёва, — я стала замечать, что у Вани вдруг стали появляться приличные деньги, он меня несколько раз приглашал в ресторан. А позавчера в кафе он подарил дорогущий подарок — кулон-камею. У меня на той неделе был день рождения, но Иван по какой-то причине не смог прийти ко мне, вот и договорились отметить его в кафе.

— Разрешите посмотреть на кулон, — попросил Кудрин.

— Да, пожалуйста, — ответила Толмачёва и, сняв с шеи золотую цепочку с кулоном, протянула её Евгению Сергеевичу.

Кудрин взял кулон и, посмотрев его оборотную сторону, увидел то, что и ожидал: гравировку «1970».

— Ну вот, что и требовалось доказать! — воскликнул он. — Эта вещица из ограбленной квартиры.

— Да вы что? — в ужасе проговорила Толмачёва. — Не может быть, я ничего не знала…

— Рома, пригласи понятых и составь протокол изъятия, — проговорил Кудрин, обращаясь к своему помощнику.

— Кулон мы у вас забираем, — продолжал Кудрин, — а сейчас расскажите, что же всё-таки произошло в кафе?

— В последнее время Иван стал приходить ко мне редко, — проговорила Толмачёва, — и я нутром почувствовала, что у него появилась другая. Так вот, когда мы сидели в кафе и отмечали мой день рождения, туда вошла молодая девица пышных форм и, подойдя к Ивану, сначала шепнула ему что-то на ухо, а потом шлёпнула ладонью по щеке. Тот вскочил и стал ей что-то говорить, а она повернулась и выбежала из кафе. Я была в шоке от увиденного и попросила Ивана объясниться, но мой милый мальчик, находясь под парами алкоголя, схватил тарелку со стола, разбил её о пол и обозвал меня неприличными словами. А когда я ему сказала, чтобы он ко мне больше не приходил и что всё у нас кончено, он вдруг размахнулся и ударил меня кулаком в лицо. Я упала на подошедшего к нам официанта, который и удержал меня от падения. Потом как во сне, какие-то лица с красными повязками на рукаве, комната милиции, участковый инспектор.

— А почему вы отказались писать заявление? — спросил Кудрин.

— Вам этого не понять, товарищ подполковник, — ответила с грустью в голосе Толмачёва, — всё-таки мы с ним встречались, и мне было хорошо. Кулон я вначале хотела выбросить, но потом оставила его на память о Ваньке.

— Какие-нибудь вещи он к вам приносил на хранение и когда вы его видели в последний раз? — продолжал Кудрин.

— Да нет, никогда ничего не приносил, — ответила она, — а после того случая в кафе я больше Ивана не видела.

— Ну, хорошо, — проговорил Евгений Сергеевич, — сейчас возьмите лист бумаги и напишите объяснение — всё то, что только что вы рассказали.

Толмачёва закурила ещё одну сигарету и занялась написанием объяснения, а Вольский, пригласив понятых — соседей из квартиры напротив, стал составлять протокол изъятия кулона.

Через полчаса, когда необходимые документы были оформлены, они стали одеваться.

— А где сейчас может быть Иван? — спросил Кудрин.

Дина Николаевна, немного помявшись, нехотя сказала, что участковый инспектор в пункте милиции назвал в разговоре пришедшую в кафе девицу Пышкой.

— У вас имеется телефон? — спросил он у хозяйки квартиры.

— А как же, я всё-таки директор магазина, — не без гордости ответила Дина Николаевна.

Кудрин снял трубку телефона и позвонил в Сокольнический РУВД Воробьёву. Благо, тот оказался на месте, и Евгений Сергеевич сказал, что минут через пятнадцать подъедет к нему. Кроме того, он попросил, чтобы Воробьёв вновь пригласил к себе участкового инспектора для уточнения ряда вопросов.

Через пятнадцать минут Евгений Сергеевич с помощником входили в здание РУВД. В кабинете Воробьёва уже находился участковый инспектор Боков.

— Что за молодая девица тогда заходила в кафе и ударила Бенина по щеке? — спросил он у капитана.

— Ну, я этого не видел, — ответил Боков, — но мои информаторы сказали, что это была некая Тонька Сыромятникова по кличке Пышка. Эта девятнадцатилетняя особа — путана со стажем — и липнет ко всем, у кого толстый кошелёк. Мне даже странным показалось, что эта кукла в последнее время стала гулять с Беней. Видимо, у того деньги появились, и немалые, так как Пышка размениваться на мелочь не будет.

— А почему у неё кличка такая? — спросил Кудрин.

— Да она пышных форм особа с грудями четвёртого размера и щёками, как у хомяка, и как только мужики клюют на такое безобразие…

— А где она проживает? — спросил Вольский.

— Здесь недалеко, — ответил капитан, — на Сокольнической улице, 38, в квартире на первом этаже. Отец сидит в тюрьме, а мать — гулящая, живёт где-то у хахаля, вот и собираются в квартире шалманы: пьянки, драки, разбитые окна и так почти ежедневно. Я уже сколько раз предупреждал её, что оформлю по мелкому хулиганству, так она на мои предостережения не реагирует, а соседи боятся писать на неё заявление.

— Значит, Беня с ней тусуется? — переспросил Кудрин.

— Ну а где же ему быть, он в последние дни гуляет с ней, да и сегодня вечером наверняка будет у неё, — ответил капитан, — я так понимаю, что он и ночует у Пышки.

— Ну что, мужики, надо брать сегодня Беню как соучастника ограбления квартиры, — проговорил Евгений Сергеевич.

— Я думаю, что брать надо где-то после девяти вечера, когда этот шалман будет уже под градусом, — проговорил участковый инспектор.

— Так и решим, — сказал Кудрин, — ровно в девять вечера встречаемся здесь, а потом выдвинемся на Сокольническую улицу.

Все утвердительно кивнули и вышли из кабинета Воробьёва. До обозначенного времени было ещё полтора часа, и Евгений Сергеевич вышел на улицу, а Вольский остался в здании обсудить с Боковым детали предстоящей операции.

Кудрин зашёл в стоящее напротив небольшое кафе и заказал себе чашку кофе и два пирожка с мясом. Пирожки он любил с детства, особенно те, которые ему пекла бабушка.

В кафе было уютно и тепло.

«Всё, что вокруг меня происходит, — размышлял он, — клубок людей рядом, какие-то вещи, вражда и любовь, когда-то закончится вместе со мной. В чём же состоит смысл моей жизни? С момента появления на земле первого человека эта проблема остаётся нерешённой. Для чего мы рождаемся, растём, стареем и умираем; вот я, например, воспитывался родителями и школой. Что-то в голову они вложили, но когда вырос и стал познавать мир, в голове появились вопросы о поиске своего места в этом огромном мире. В институте учили тому, что самое важное в человеке, кроме характера, это его поступки и конкретные дела. А всё, что мы делаем, так это воплощаем в жизнь свои мечты, и я должен быть счастлив от того, что раскрываю преступления и нахожу преступников. Вот как! И ещё в древности Аристотель говорил, что смысл жизнедеятельности человека состоит в поиске счастья, состоящего ко всему прочему из познания мира. Можно к этому ещё добавить, — продолжал философствовать Кудрин, отхлебнув горячий кофе, — что мир можно постоянно познавать, вплоть до смерти, а счастья не найти. Видимо, есть и ещё более конкретные составляющие смысла жизни — рождение потомства и воспитание детей. А что касается деятельности человека, то, скорее, это можно отнести не к смыслу жизни, а к потребности найти себя в этом мире и достичь поставленных целей. Каждый решает сам, чему он посвятит свою жизнь. У кого-то это получится лучше, а у кого-то хуже, но всё равно, добиваясь своей цели в жизни, можно быть счастливым. Вот мой интерес сейчас — найти этот ящик золотых слитков и, если найду, буду счастлив тем, что цель достигнута. А каждое успешное раскрытие преступлений — это та самая конкретная цель, к которой я стремлюсь!»

Зашедший в кафе посетитель прервал философские размышления Кудрина и вернул его мысли к действительности.

«Так, — подумал он, — получается, что Беня и есть тот Вадик, который старательно обхаживал дочку Борисова и навёл Фому на его квартиру. Вполне может быть, что Валя что-то и наговорила Бенину об имеющихся в сейфе отца ценных вещах. Да это и понятно, отец — заслуженный человек, ездит за рубеж и катается на своей «Волге», к тому же Валя один раз приглашала Бенина к себе домой, его же видел Борисов. Вот как бывает, сидел Бенин в одной колонии с Фомой, там он и приглянулся старому вору, да и освободились он почти одновременно. Видимо, Фома почувствовал, что этот симпатичный молодой человек может быстро войти в доверие к неопытным

девушкам и богатым женщинам. А дальше — дело в технике! Шустрый Бенин как нельзя лучше подходил на роль подельника Фомина. Получается так, что Бенин должен знать, в каких квартирах ещё, кроме Борисова, побывал Фома. А если так, скорее всего, он знает, из какой квартиры Фомин украл золотой слиток».

Так в размышлениях быстро прошло время, и Кудрин, расплатившись с официанткой, покинул уютное кафе и вышел на улицу. Ёжась от ветра, он поднял воротник плаща и быстро пошёл к зданию РУВД.

Через полчаса на двух машинах они подъехали к дому, где проживала Пышка. Первым из милицейского газика вышел участковый инспектор, за ним Воробьёв. Кудрин со своим подчинённым подошёл к ним, и все вместе они присели на лавочку, стоящую у огромного куста шиповника. Раскинувший свои ветки куст заслонял их от дома, да и сгустившиеся сумерки надёжно прятали приехавших.

Через полчаса к дому подошли трое парней и девушка, они были явно навеселе и громко разговаривали.

— А вот и они, — тихо сказал участковый инспектор, — крайний слева это и есть Беня.

Компания подошла к подъезду и села на лавочку напротив ярко горящей лампочки.

— Ну что же, надо брать Беню, — тихо проговорил Кудрин, — мы с Ромой пойдём к ним.

— Ну а мы с капитаном, на всякий случай, пройдём за кустарником к тыльной стороне дома. Если Беня попробует бежать, то путь отхода один — за дом, — проговорил Воробьёв.

Евгений Сергеевич и Вольский вышли из кустов и направились к лавочке. Молодые люди громко разговаривали, сопровождая свою речь грубым матом.

— Чего ругаетесь, пацаны? — громко спросил Кудрин.

— Шёл бы ты отсюда, дядя, — прошамкал долговязый и, достав из кармана куртки кастет, надел его на правую руку.

— Я работник милиции, ведите себя по-человечески.

— Да пошёл ты… — громко сказал долговязый, встал с лавочки и замахнулся на Кудрина.

В этот момент Беня, как заправский кенгуру, прыгнул в сторону кустов сирени и побежал за дом.

— Руки вверх, гады, сидеть и не вставать, а то всех перестреляю к чёртовой матери! — вдруг крикнул Вольский, показывая пистолет.

Долговязый сжался и плюхнулся на лавочку, задев толстое бедро девчонки. Боковым зрением Кудрин увидел, что к лавочке подходят Воробьёв и капитан, а между ними в наручниках плетётся Беня.

— Ну что, Сыромятникова, говорил же тебе, что доиграешься со своим шалманом, — проговорил Боков.

— А я ничего, выпить уже нельзя!? — залепетала она.

— Так, этих в управление, — сказал Воробьёв.

— Ну а Бенина мы повезём на Петровку, — проговорил Кудрин.

— За что сразу на Петровку? — завопил Беня.

— Там всё тебе объясним, — сказал Вольский и подтолкнул его к машине.

Через час они уже вводили Бенина в кабинет для допросов, расположенный у дежурной части. Кудрин поднялся к себе в кабинет, вынул из сейфа сумку, переданную матерью Бенина, и снова спустился на первый этаж в комнату для допросов.

— Ну что, Иван Бенин, или правильнее будет Вадим Иванов?

Бенин сидел молча, устремив взгляд в пол.

— Молчать будешь или расскажешь нам о своих подвигах?

— А что говорить, я ничего не знаю, — ответил он.

— А что ты можешь сказать по поводу этих вещей? — спросил Евгений Сергеевич и положил на стол зелёную спортивную сумку.

— Не моя сумка, — пробурчал Беня, — не докажете…

— А мы и доказывать ничего не собираемся, — проговорил Вольский, — там на ней твои отпечатки пальцев всё за тебя доказали. А сумку эту мать твоя нам отдала и сказала, что несколько дней назад ты принёс её и бросил под её кровать.

— А вот и кулон-камея, который ты подарил Толмачёвой в кафе, — сказал Кудрин, доставая из кармана кулон.

— Да и Фома дал на тебя показания, что он лишь сейф открывал, а организовывал всё лично ты, — добавил Вольский.

Бенин ещё ниже опустил голову вниз и продолжал молчать.

— Ты знаешь, Иван, — примирительно проговорил Евгений Сергеевич, — получишь ты лет десять колонии, не меньше. Пожалей свою мать, ведь она болеет и может тебя не дождаться.

В этот момент Беня поднял голову и на его глазах показались слёзы.

— Если всё расскажешь как на духу, — продолжал Кудрин, — оформлю тебе явку с повинной.

Но Бенин снова отвернулся, и стало ясно, что продолжать беседу сегодня было бесполезно.

— Подумай, Ваня, крепко, я тебе всё сказал, — проговорил Кудрин и попросил Вольского увести Бенина в дежурную часть и оформить документы на его задержание.

Евгений Сергеевич сложил все вещи обратно в сумку и не спеша отправился в свой кабинет.

— Женечка, приветик, — услышал Кудрин тонкий женский голос, выходя из лифта на своём этаже.

Перед ним с кипой бумаг стояла старая его приятельница старший следователь Ольга Колганова. Она была несколько раз замужем и каждый раз после развода говорила, что сама бросала этих никчёмных мужиков. При каждой их встрече она по-особенному улыбалась Кудрину, и он догадывался, что она по-особому относилась к нему. В памяти вдруг возник случай в командировке лет пять тому назад, когда несколько управлений направили на несколько дней в Ленинград на повышение квалификации. Они жили в одной гостинице

и вечером Ольга, выпив спиртного, зашла в номер, где жил Кудрин, и стала делать прозрачные намёки на продолжение вечера. Хорошо, что его ребята подошли, и общими усилиями удалось её выпроводить в свой номер.

Он не питал к Ольге каких-то особенных чувств, поэтому при встречах лишь отшучивался и не давал ей возможности подойти к себе на более «близкое» расстояние.

— Спешу засвидетельствовать к вам искреннее уважение, — шутливо произнёс Кудрин.

— Что не заходишь к нам, ведь в одном здании работаем? — проговорила Колганова.

— Да некогда, Оленька, работы по горло, — сказал Евгений Сергеевич.

— А когда-то заходил и анекдоты смешные рассказывал, — не унималась она.

— Клянусь тебе, что на днях обязательно зайду и расскажу самый свежий анекдот из моей книжечки.

— Ну пока, Женечка, буду ждать!

Было уже поздно, и Евгений Сергеевич, положив сумку в сейф, направился к выходу из здания.

На следующий день после оперативного совещания Кудрин зашёл в свой кабинет и не успел даже разложить на столе бумаги, как позвонил дежурный и сказал, что Бенин просится на допрос.

Через двадцать минут он уже был в кабинете и давал показания.

— С Фомой мы сидели в Пензенской колонии и освободились почти одновременно, — начал он, — я стал промышлять в парке Сокольники и был под Седым. Денег тот платил мало, а «работать» по сумкам и кошелькам заставлял целый день. И как-то однажды встретил в парке Фому, который и предложил работать с ним по квартирам. Я должен был найти состоятельных людей, узнать о них как можно больше информации, а дальше Фома сделает всё сам.

— И сколько квартир вы с ним обчистили за это время? — спросил Кудрин.

— Да всего две, — ответил Бенин, — первую месяца три назад у банщика с Даниловских бань. Я тогда за ним почти месяц ходил и видел, как он в бане загребает денег у посетителей. Да и автомашина «Москвич» есть не у каждого простого человека. А по понедельникам в бане выходной день, он ездил к своей любовнице на Плющиху и возвращался домой за полночь.

— В один из таких понедельников мы и «взяли» квартиру банщика; я стоял на стрёме, а Фома сам орудовал в ней. Он вынес из этой квартиры целый пакет каких-то вещей, и мы пошли к нему домой. Там Фома мне дал кучу денег, каких у меня никогда не было, а всё остальное взял себе.

— А не было ли среди вещей золотого слитка? — спросил Кудрин.

— Да видел я что-то вроде куска золота, когда Фома заворачивал его в тряпку, — ответил Бенин, — он его сразу же в свой карман положил и велел об этом никому не говорить.

— А вторая квартира была на Ленинском проспекте, «взяли» мы её почти неделю назад, — проговорил Беня, — там словоохотливая девчонка, с которой я познакомился на танцах, подробно рассказала мне о ценностях, которые

хранятся в сейфе отца. Я однажды даже был у неё дома и случайно встретился с её отцом, который куда-то спешил; это никак не входило в мои планы, но я Фоме ничего не сказал об этом.

— Когда девчонка с отцом уехали к родственникам на несколько дней, — продолжал Бенин, — мы и пошли в квартиру. Фома легко открыл дверь, но с сейфом возился долго. Открыв его, Фома отдал мне деньги, которые были завёрнуты в целлофановый пакет и кулон-камею, а остальное всё разложил по своим карманам. Я также взял позолоченный портсигар, лежащий на письменном столе, и приёмник «Сони». Вот практически и всё, что хотел сказать…

— А какой адресок у банщика? — спросил Евгений Сергеевич.

— Живёт он на Мытной улице, дом 56, строение 4, в пятой квартире, — проговорил «Беня», — я хорошо запомнил этот адрес, ведь не раз ходил следом за ним.

— Ну что же, Иван, — проговорил Кудрин, — если не соврал, то я, как и обещал, оформлю тебе явку с повинной, а ты сейчас пройдёшь в кабинет моего сотрудника, и вы документально оформите всё то, что ты сказал.

Когда Бенина увели, Евгений Сергеевич вызвал к себе своего сотрудника Сергея Васильева и попросил его срочно сделать оперативную установку на человека, проживающего по адресу, указанному Бениным.

Часа через три Васильев положил на стол начальника справку-установку на Михеева Петра Павловича, 1922 года рождения, уроженца Москвы. Из справки было видно, что он фронтовик, дважды был ранен, не судим и действительно работает банщиком в Даниловских банях.

— Надо срочно встретиться с этим Михеевым, — подумал Кудрин.

Через двадцать минут они с Вольским уже мчались на дежурной машине в сторону Даниловских бань. Там они Михеева не нашли, как им сказали в администрации — он сегодня отпросился пораньше домой.

— Ну что же, поехали к нему на квартиру, благо Мытная улица рядом, — проговорил Кудрин.

Подъезжая к его дому, они увидели толпящихся людей, милицейский «Москвич», стоящий у подъезда, и отъезжающую «Скорую помощь».

Евгений Сергеевич подошёл к капитану милиции, стоящему у подъезда. Предъявив своё удостоверение, он спросил у капитана о том, что здесь произошло.

— Да вот полчаса назад в мужика стреляли в арке этого дома, — ответил он.

— А как фамилия мужика? — спросил Кудрин.

— Михеев из пятой квартиры, — ответил капитан.

— Убит, ранен, куда отвезли?

— Да не знаю, когда «Скорая» забирала, жив был ещё, хотя два ранения в грудь — это серьёзно, — проговорил капитан, — а отвезли его в первую городскую больницу.

— А кто в него стрелял? — спросил стоящий рядом Вольский.

— Никто не видел стрелявшего, только слышали два выстрела, а когда люди подбежали к пострадавшему, он был уже без сознания.

— Ну что же, спасибо, — поблагодарил его Кудрин. — Рома, как только доберёмся до работы, свяжись с больницей и узнай состояние Михеева.

По приезде на работу Евгений Сергеевич зашёл в свой кабинет и присел в кресло. Он был немного обескуражен случившимся и никак не мог собрать свои мысли. Рывком ослабив узел галстука, он откинулся на спинку кресла.

«Ну, если кто-то стрелял в него, значит, на то была причина, — подумал Кудрин, — ведь просто так в людей не стреляют; а если Михеев не выживет, то всё уйдёт вместе с ним. Нет, надо взять себя в руки и думать. А что если он каким-то образом был связан с сопровождением того груза из Наро-Фоминска в начале войны?»

Мысли приходили одна за другой. Кудрин вытянул под столом ноги и постарался расслабиться. Стало спокойно: потерял чёткие ориентиры стоящий в углу кабинета книжный шкаф, стулья растворились, а висящая на стене картинка с изображением Красной площади расплылась в красивую мозаику.

Его мысли прервал приход Вольского.

— Евгений Сергеевич, в настоящее время ещё идёт операция, Михеев пока жив, — сообщил он.

— Это радует, будем надеяться на лучшее, — проговорил Кудрин.

— Кроме того, я тут связался с городским военкоматом и принёс вам дополнительную информацию о Михееве, — сказал Вольский и положил на стол начальника листок бумаги, исписанный ровным каллиграфическим почерком.

Кудрин велел своему сотруднику присесть на стул, а сам стал внимательно читать принесённую справку.

— Ага, вот оно что! — воскликнул он, — Михеев в 1941 году служил во взводе военной комендатуры, и если логически рассуждать, то он теоретически мог попасть в группу сопровождавших тот груз.

— Мог и в самом деле попасть в ту группу, ведь все остальные были на передовой, — сказал Вольский.

— Да, — задумчиво проговорил Кудрин и снова, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла.

— Опять сегодня ненастно, дождь льёт как из ведра, что-то погода нынче разгневалась и выкрутасы всякие нам показывает.

— Погода шепчет, выпить надо, — с улыбкой сказал Кудрин. — Со времён зари человечества, почтеннейший Роман Александрович, — отношение человека к природе было неоднозначным. Ещё в каменном веке люди пытались понять природу погодных явлений, молния и гром вгоняли в них страх. Потом наблюдением за погодными катаклизмами занялись разные колдуны и шаманы; они стали трактовать эти явления в свою пользу, извлекая даже выгоду для себя. А с развитием цивилизации, Рома, — продолжал Кудрин, — место колдунов заняли учёные, но их выводы о законах природы были весьма спорными. И какое-то время было затишье; никто ничего не писал в прессе, было даже не принято открыто рассуждать о природных явлениях, все исследования засекречивались. А сейчас разворот на девяносто градусов; о природных аномалиях начали писать все газеты и даже показывать по телевидению. Я вот вчера прочитал в одной газете, что в этом месяце после

интенсивных дождей на Землю может упасть метеорит, способный убить всё живое. Глупость, конечно. Как можно увязывать дожди с полётом метеорита? Но пишут же такое в газетах и придумывают разные небылицы для популярности того или иного издания.

— Что-то отвлёкся я, Рома, — давай по делу, — сказал строго Кудрин и внимательно посмотрел на Вольского.

— Евгений Сергеевич, — проговорил Роман, — взвод военной прокуратуры специфические задачи выполнял, немцы ведь к ноябрю 1941 года вплотную к Москве подошли. Я вот и думаю, а надо ли было отправлять этих людей в Наро-Фоминск из Москвы для сопровождения груза?

— В твоих словах есть резон, — задумчиво сказал Кудрин, — но если учитывать этот факт, то необходимо сказать и о суматохе, царившей в столице. Знакомые фронтовики мне об этом рассказывали, когда порой отдавались прямо противоположные команды, выполнять которых было сложно, а порой и невозможно. В тот период, когда Москва оказалась на волосок от гибели, а немецкие войска приближались к Наро-Фоминску, кто-то, возможно, и отдал приказ о выделении красноармейцев из этого подразделения для доставки и охраны груза. А Михеев мог попасть в число сопровождавших груз, но это только предположение, важно сейчас, чтобы он остался в живых.

Кудрин попросил Романа вновь связаться с больницей и узнать состояние Михеева. Через десять минут Вольский зашёл в кабинет и сказал, что операция прошла успешно и завтра можно будет с ним поговорить.

— Очень хорошо, — ответил Евгений Сергеевич, — завтра с утра и поеду.

Кочеткова в управлении не было, а дежурный сказал, что он будет сегодня очень поздно, поэтому Кудрин решил доложить ему о произошедшем с Михеевым завтра с утра.

На следующий день после оперативного совещания Евгений Сергеевич подробно доложил полковнику обо всём, что произошло накануне, и выехал в больницу, где находился Михеев.

Войдя в больницу, он вначале отправился к врачу, оперировавшему раненого.

— Ему исключительно повезло, — проговорил хирург, — одна пуля прошла навылет через плечо и не задела жизненно важные органы. А вот другая — могла бы и убить Михеева, если бы не спасший его портсигар.

С этими словами он достал из ящика стола серебряный портсигар, в центре которого виднелась дырка. Открыв портсигар, врач показал на пулю, застрявшую на его тыльной стороне. Аккуратно вынув её, он сказал: — Если мне память не изменяет, то это пуля от немецкого «Вальтера», — и протянул портсигар Кудрину.

— Кстати, должен сказать, что это его не первое ранение в грудь, — продолжал врач, — следы от двух пуль я обнаружил у него на груди, причём оба в область сердца. Счастливчик какой-то!

— А сейчас можно к нему зайти? — спросил Вольский.

— Можно, только не очень долго и наденьте, пожалуйста, халат, — проговорил врач.

Надев халат, Кудрин вошёл в палату; в ней стояли две пустые кровати, а на третьей лежал человек, накрытый одеялом. По всему было видно, что ему было уже лучше, но какая-то напряжённость сквозила в его взгляде. Во внешности лежащего ничего не было привлекательного: темно-русые волосы, искривлённый нос и большой рот. Под одеялом были видны очертания широких плеч и мощных рук. Практически единственное, что выделяло его лицо, так это глубокий шрам, рассекавший левую щёку.

— Здравствуйте, Павел Петрович, — проговорил Кудрин, — я подполковник милиции Кудрин, как вы себя чувствуете?

— Да уже гораздо лучше, чем вчера, — ответил Михеев.

— Что с вами произошло, кто стрелял? — спросил Евгений Сергеевич.

— Да не знаю, — тихо проговорил он, — шёл вчера домой с работы и в арке увидел мужика в тёмной куртке и шапочке. Когда я подошёл ближе к нему, он выхватил пистолет и два раза стрельнул в меня. Я упал и больше ничего не помню, а стрелявшего в меня мужика раньше не видел. Да я особо и внимания на него не обратил, был занят своими мыслями.

— А на это что вы скажете? — проговорил Кудрин, доставая из кармана золотой слиток.

— А что я должен вам сказать? — вопросом на вопрос ответил Михеев.

— Павел Петрович, я уверен на сто процентов, что этот слиток лежал у вас дома, — проговорил Евгений Сергеевич.

— А что, там мои отпечатки сохранились?

— Послушайте, Михеев, вы же взрослый человек и должны понимать, что я не просто так проведать пришёл, у меня есть все основания так утверждать, — с раздражением ответил Кудрин.

— Ну ладно, где вы его отыскали, у меня его украли месяца три назад, — устало проговорил он.

— Вот я и хочу узнать, откуда у вас этот слиток? — проговорил Евгений Сергеевич.

— Я всё расскажу, — ответил Михеев, — меня призвали в армию в 1940 году, и я оказался на службе в комендантском взводе военной прокуратуры Москвы, где и встретил войну. В ноябре 1941 года, когда немцы подошли к Москве, меня вызвали к начальству и приказали в составе группы нашего взвода из шести человек поехать за каким-то грузом в Наро-Фоминск. Этот груз надо было доставить в Москву. На следующий день мы во главе с лейтенантом Мироном Обидайло погрузились в грузовик, накрытый тентом, и поехали.

— Этого лейтенанта я хорошо знал, — продолжал Михеев, — он также служил в нашем взводе. Родом был из Львова, хохол во всех поколениях и очень отвратительный тип; рьяный служака, кто ниже его по званию — унижал, заставлял по нескольку раз чистить туалет. В общем, ребята его не любили, да и он, в свою очередь, отвечал им тем же.

Мы благополучно доехали до Наро-Фоминска, погрузили в машину ящики и отправились обратно в Москву. Отъехав несколько километров, я услышал рёв моторов самолёта и свист пуль, прошивших весь кузов грузовика.

А потом вдруг взрыв, и меня вынесло взрывной волной через борт в канаву, которая была у самой дороги. Очнувшись, я увидел ящики, валяющиеся на дороге, и машину, горящую ярким пламенем. Когда выбрался из канавы и осмотрелся, то понял, что бог меня уберёг — ни одной царапины. А по обе стороны дороги лежали тела моих убитых товарищей. Я встал, пошёл вдоль горящего грузовика и столкнулся лоб в лоб с лейтенантом Обидайло, у которого из щеки текла кровь. Он посмотрел на меня, затем подвёл к лежащему на дороге небольшому ящику и приказал: «Собери всё обратно в ящик, а я пойду и посмотрю на остальные». Вот тогда я впервые в жизни и увидел настоящие золотые слитки, валявшиеся рядом с ящиком. Как смог, собрал их в ящик, но один слиток никак не помещался в него. Тогда я положил его в карман галифе, а ящик закрыл на защёлку.

Потом пришёл лейтенант и сказал, что его надо отсюда унести, и мы взяли ящик за ручки, которые были у него сбоку, и понесли вдоль дороги. Через какое-то время справа показался населённый пункт, и мы, свернув с дороги, пошли в его направлении. Подходя к первому дому, я увидел на дороге лежащий сломанный указатель, на котором была надпись «Село Корнеево». В селе никого не было, видимо, жители его покинули в связи с наступлением немцев. Мы прошли в глубь села и оказались у старой церкви, двери которой были раскрыты, а у входа разлетались в разные стороны какие-то бумаги. Как сказал лейтенант, в ней, видимо, был склад, так как у дверей стояли пустые ящики, а внутри какие-то кастрюли и вёдра. Вокруг церкви никого не было, а справа от неё находились две могилы священников с деревянными крестами.

— Лейтенант зашёл в церковь, — продолжал свой рассказ Михеев, — а я, поддавшись неожиданно охватившей меня тревоге, решил спрятать золотой слиток, лежащий в кармане. Я подошёл к фундаменту церкви и разрыл руками землю. Слиток завернул в носовой платок и, положив его в вырытую ямку, быстро закопал, а через некоторое время подошёл лейтенант и сказал, что внутри церкви всё перевёрнуто и кругом один беспорядок. Потом подошёл ко мне, заглянул мне в глаза и отошёл немного в сторону.

— Теперь ты мне не нужен, — сказал Обидайло и, вынув пистолет, стрельнул мне прямо в грудь.

Очнулся я в госпитале, и, как потом мне сказали врачи, две пули прошли навылет в сантиметре от сердца, не задев его. А нашёл меня лежащим у дверей церкви водитель машины, приехавшей последним рейсом за каким-то грузом, и доставил меня полуживого в госпиталь.

— Я этого гада Мирона на всю жизнь запомнил, — тихо проговорил Михеев, — каждую частичку его бледного лица и колких серых глаз.

— А что было дальше? — не удержался Кудрин.

— В начале 1942 года меня выписали из госпиталя, — продолжал Михеев, — и направили на фронт в полковую артиллерию. С ней я прошёл до Праги, где был ранен, и снова госпиталь. Ну а тут и война закончилась, я поехал с фронта домой в Москву. Отец погиб ещё в 1941 году, а мать была очень рада, что я живым вернулся с войны. Она и устроила меня в кочегарку

в Даниловских банях, где сама долгое время работала уборщицей. Истопником я проработал несколько лет, пока не познакомился с банщиком Фомичевым, который работал, наверное, с основания этих бань. Он был уже очень старый, но дело своё знал хорошо, и люди шли в баню именно на Фомича. Со временем он стал показывать мне приёмы банного ремесла, и уже через год я стал даже его подменять. А когда Фомичев вышел на пенсию, меня и оформили банщиком. А про тот золотой слиток практически забыл, но однажды, лет десять назад, я был на даче у одного знакомого под Наро-Фоминском. Когда возвращался на машине домой, то увидел на шоссе указатель «Корнеево». Не хотелось мне вспоминать о случившемся в далёком 1941 году, но любопытство победило, и я заехал в село. Было достаточно поздно, и на улице никого не было. Подъехав к старой церкви, я с удивлением отметил, что практически ничего не изменилось. Также за церковью был пролесок, а справа от неё находились те же две могилы с крестами. Единственное отличие было, что церковь отремонтировали и, судя по виду, там уже проходили церковные службы. Я подошёл к фундаменту и разрыл землю у его основания. Слиток находился на том же месте, где я его спрятал много лет назад.

А когда приехал домой, то слиток положил в небольшой сейф, стоящий у меня в кухонной стенке. Три месяца назад этот слиток у меня и похитили вместе с золотой печаткой, серебряными запонками и двумя золотыми кольцами моей покойной матери.

— Так вот позавчера, — продолжал Михеев, — в конце рабочего дня я увидел сидящим на лавке мужика без правой руки, который разговаривал с широкоплечим человеком, исколотым татуировками. Я пригляделся и узнал в безруком Мирона Обидайло. Он поправился и отпустил усы, но я бы его узнал из тысячи людей. Они сидели на лавке рядом с моей маленькой комнаткой, в которой лежали новые веники и чистые простыни. Окошко комнатки как всегда было открыто, и мне сквозь шум воды удалось услышать некоторые фразы их разговора. Мирон говорил, что приехал на неделю в Москву и нужно будет срочно решить какой-то вопрос, так как осталось ему пребывать в Москве всего три дня. Мужик стал возражать Мирону, но потом смиренно затих. Больше я ничего не слышал, так как они ушли в душевой зал. Я решил проследить за ними и, быстро собравшись, стал поджидать их у выхода из бани. Через некоторое время они вышли и сели в троллейбус, я тоже успел в него заскочить, и мы поехали в центр Москвы. Выйдя из троллейбуса, я минут двадцать шёл за ними, пока они не подошли к гостинице «Националь». Они зашли в холл гостиницы, а я осторожно последовал за ними и сел в стоящее рядом со стойкой администратора кресло. Дежурный администратор подал Мирону ключ и вежливо сказал: «Пожалуйста, герр Шмидке». Когда они уехали на лифте, я какое-то время сидел обескураженный услышанным, пока меня не окликнули: «Петрович, какими судьбами?..» Я повернулся и увидел своего клиента, который часто парился у меня. Это был охранник гостиницы, и на мой вопрос о Шмидке он утвердительно кивнул головой и подошёл к администратору. Через пару минут

он мне сказал, что это прилетевший два дня назад турист гражданин ФРГ Вальтер Шмидке и пробудет он в гостинице ещё три дня. Тогда я подумал, каким образом Обидайло заделался гражданином ФРГ и стал Шмидке? Поблагодарив охранника, я уже было собрался выходить из гостиницы, как в этот момент из дверей лифта вышел Обидайло со своим спутником. Проходя мимо меня, он вдруг остановился, внимательно посмотрел своим колючим взглядом прямо мне в глаза и, ничего не сказав, прошёл дальше в холл гостиницы. Стало понятно, что он тоже узнал меня, и я, нахлобучив на глаза фуражку, быстро вышел из гостиницы.

— А сегодня, пораньше закончив работу, я приехал домой и, когда зашёл в арку, увидел прямо перед собой широкоплечего мужика в тёмной куртке и чёрной шапочке. Он, ничего не сказав, вытащил пистолет и стрельнул в меня несколько раз. И вот я снова в больнице, где в очередной раз меня заштопали. Я опять был на волосок от гибели.

— Так значит, у Обидайло осталось в запасе только два дня, — проговорил Кудрин, — и если он завтра улетает, то, значит, именно сегодня вечером и приедет в Корнеево, где когда-то спрятал ящик с золотыми слитками.

— Скорее всего, именно так, — утвердительно сказал Михеев.

— Ну, хорошо, мы с вами ещё встретимся и подробно обо всём поговорим, а сейчас мне надо идти, — проговорил Евгений Сергеевич и, попрощавшись с Михеевым, вышел на улицу.

Машина быстро доставила его на работу, и уже через полчаса он докладывал Кочеткову о встрече с Михеевым.

— Времени в обрез, — сказал полковник, — бери с собой пару своих ребят и поезжайте в село Корнеево, а я созвонюсь с подмосковным главком, и туда подтянутся местные оперативники. Составьте детальный план операции и действуйте аккуратно, преступники могут быть вооружены.

Кудрин взял с собой Вольского и Васильева, они сели в дежурную «Волгу» и помчались по городу в сторону кольцевой автодороги.

Через полтора часа они въехали в село Корнеево. Оно было небольшое, прямо с трассы виднелась церковь, купол которой блестел от яркой позолоты. Напротив церкви стояла старая изба с заколоченными крестом деревяшками окнами, слева виднелся берёзовый пролесок, а справа — две могилы с деревянными крестами.

Выйдя из машины, они увидели троих молодых людей, стоявших недалеко от церкви.

— Капитан Поспелов, — представился один из них, показывая удостоверение, — мы из местного РОВД направлены в помощь вам.

Представившись, они присели на лавочку, стоявшую в берёзовом пролеске. Кудрин рассказал о цели приезда и в целом немного поведал о ходе расследования по делу, после чего они стали обсуждать детали предстоящей операции. Дежурную машину Евгений Сергеевич попросил поставить на окраине села, чтобы не привлекать лишнего внимания. У церкви никого не было, только ветер свистел и задувал листву к двум одиноким могилам.

Поспелов вынул из своей сумки два фонарика и любезно предложил их приехавшим коллегам.

— Уже через полчаса будет темно, и они пригодятся, — сказал он.

Поблагодарив капитана, Евгений Сергеевич и Вольский осторожно открыли скрипучую дверь и вошли в стоящую напротив церкви избу; они устроились на лавке у окна, забитого деревяшками. Было неплохо видно в большие щели между ними, да и ещё полная луна своим светом хорошо освещала, поэтому церковь стояла перед ними как на ладони. А приехавшие оперативники направились в берёзовый пролесок, где было определено место их дислокации.

Быстро стемнело, стало холодно и сыро, а ещё часа через два они стали замерзать. Кудрин встал с лавки, сделал несколько упражнений, и в этот момент послышался шум мотора. Они напряглись и прильнули к щелям между деревяшками. Они увидели машину «Жигули», из которой вышел человек в светлой куртке, правый рукав которой был заправлен в карман. Следом за ним показался широкоплечий человек, который держал в руке металлическую трубу.

— Куда же они пойдут, где спрятан ящик? — тихо проговорил Кудрин.

Приехавшие убедились, что в церкви никого не было, и направились прямо к двум одиноким могилам.

Безрукий подошёл к одной из могил и показал рукой на небольшую мраморную плиту, лежавшую на одной из них. Широкоплечий поддел трубой плиту, но она не двигалась с места, тогда он расставил ноги, взялся за железку двумя руками, ещё раз поддел плиту, и она стала сдвигаться в сторону. Безрукий встал на колени и стал что-то делать, что не было видно наблюдавшим, послышался лязг железа.

— А, а, а! — вдруг закричал безрукий и единственной рукой стал бить о землю.

В этот момент, как и было условлено, все вышли из своих укрытий и направились к могиле.

— Руки в гору! — скомандовал Кудрин, — мы работники милиции, вы окружены.

Безрукий рыдал и не обращал на эту команду никакого внимания, а широкоплечий, отойдя в сторону, поднял руки вверх.

Когда они подошли к могиле, то увидели на месте мраморной плиты ямку, в которой находился ржавый металлический ящик. Его крышка была открыта, но внутри ничего не было: он был пустым.

Кудрин не ожидал такого развития событий и был немного обескуражен увиденным. Оперативники быстро увели задержанных в свою машину, которая стояла также в конце села, а Кудрин с помощником, включив фонарики, стали внимательно осматривать развороченную могилу. Неожиданно луч фонаря высветил небольшой квадратный предмет синего цвета — это была необычной формы квадратная пуговица. Евгений Сергеевич поднял её и машинально положил в карман пиджака. Они постояли у могилы ещё несколько минут, затем с трудом при помощи железной трубы,

брошенной спутником Обидайло, поставили мраморную плиту на место и направились к машине.

Через полчаса все были уже в кабинете Поспелова в Наро-Фоминском РОВД и провели первый допрос Обидайло. Но он разговаривать отказался, сказав, что является гражданином ФРГ. После этого приехали сотрудники городского КГБ и увезли его к себе в управление.

Вторым задержанным оказался некий Забелин, у которого при обыске и нашли пистолет «Вальтер». Он не стал упираться и начал всё подробно рассказывать.

— В 1943 году под Орлом я попал в плен к немцам и, чтобы сохранить себе жизнь, согласился сотрудничать с ними и попал в разведывательную школу под Брянском. Там и познакомился с Мироном Обидайло, который был инструктором по минному делу. Он учил нас, как правильно минировать различные объекты и различать типы мин при разминировании. Даже жалование немцы платили небольшое, а Мирон брал его у меня за то, что договаривался с немцами, чтобы меня какое-то время не забрасывали в тыл к партизанам. Ну а потом, советские войска перешли в наступление, а я, воспользовавшись суматохой, сумел убежать в лес. Школу разбомбили наши самолёты, так что я своим побегом спас себе жизнь. Бродил дня четыре, и когда я весь оборванный и голодный встретил передовой отряд партизан, они поверили мне, что я выходил из окружения. Благо, что я от немцев хорошо знал, какие войска сражались с ними на этом участке фронта. Проверять особо они не стали, так как каждый день были стычки с немцами, и было не до меня. Так я стал сражаться у партизан и получил даже две медали «За отвагу», был ранен; там, на белорусской земле, и закончил войну. А Мирона больше я не видел с той поры, как убежал из той школы. После войны работал на полиграфическом комбинате, а сейчас — наборщиком в типографии.

— Так вот, — продолжал он, — три дня назад ко мне домой и явился тот самый Мирон Обидайло и попросил меня съездить в какую-то деревню за вещами. Он сказал, что сам не может их донести, так как нет одной руки. Я ему отказал, зная Мирона как хитрого и жадного человека, но он стал мне угрожать, что «настучит» на меня в КГБ и меня расстреляют как немецкого агента. Назначив на завтра на вечер встречу в Даниловских банях, он ушёл. А на следующий день вечером мы снова встретились в бане, и он мне сказал, что в начале войны спрятал ящик с золотыми слитками и что третью часть их он отдаст мне. И я согласился, подумал, что лучше деньги, чем позор. После бани мы пошли с ним в гостиницу «Националь» за деньгами, которые он обещал мне в качестве предоплаты. Я очень удивился, что он теперь гражданин ФРГ по фамилии Шмидке и приехал в Москву в качестве туриста. В холле гостиницы Мирон неожиданно увидел какого-то человека и очень испугался. Он велел мне пойти за ним следом и узнать его адрес. Утром следующего дня мы вновь встретились с Мироном в холле гостиницы, и я ему сказал, что это банщик Михеев из Даниловских бань, а проживает он, согласно справке из адресного бюро, на Мытной

улице, дом 56. Мирон дал мне пистолет «Вальтер», большую сумму денег и приказал сегодня же убить его. Я отправился к его дому и стал ждать банщика, а через какое-то время увидел, как он заходит в арку. Подойдя к нему, я два раза выстрелил в него и убежал. А через час я был уже у Мирона и сказал, что банщик мёртв, и тогда мы договорились, что завтра, то есть уже сегодня, мы поедем в какое-то село под Наро-Фоминск. Мирон попросил меня взять с собой железный ломик и фонарик. Ну, а дальше вы всё видели сами…

— Хорошо, теперь под протокол вы расскажете всё это моим товарищам, — устало сказал Кудрин и вышел из кабинета.

В Москву они добрались к часу ночи, и водитель сначала отвёз домой Васильева, затем Вольского, только потом подрулил к дому Евгения Сергеевича.

Утром Кудрин после оперативного совещания доложил полковнику о произошедших вчера вечером в селе Корнеево событиях.

— Неожиданная развязка, — задумчиво произнёс Кочетков, — кто-то побывал на кладбище раньше…

— У Обидайло вчера был нервный срыв от вида пустого ящика, он несколько десятилетий мечтал о своём золоте и вот — полный пшик, — проговорил Кудрин.

— А Михеев в это время был уже в больнице, — сказал полковник, — да и не знал он точного места, где Обидайло зарыл в 1941 году ящик, так как он помнил лишь то, что они поставили его у входа в церковь, а потом выстрел — и всё.

— Что-то здесь не так, крути ни крути, а об этом ящике знали лишь два человека, причём только один — точное место его укрытия, — проговорил Евгений Сергеевич.

— Вот что, Женя, ещё раз переговори с Михеевым, может, какая мысль и придёт в голову, — задумчиво произнёс Кочетков.

Оказавшись у себя в кабинете, Кудрин подошёл к окну и увидел капли дождя на мокром стекле, которые постепенно собирались в целый ручеёк. И дождливая погода, и неудача в поиске золотых слитков создавали невесёлое настроение. Он поёжился, уселся в кресло и посмотрел на рамку с фотографией, которая стояла у него на столе: они, обнявшись с женой, стояли на пляже в Одессе.

И сразу как-то стало тепло, и вспомнилась жаркая Одесса, где они с женой в августе отдыхали в пансионате. Тогда они окунулись в атмосферу героев одесских анекдотов; они гуляли по Дерибасовской, по Ришильевской, торговались на Привозе, катались на одесском трамвае, заходили в дворики старой Одессы. Одним словом, наслаждались пляжем и одесским юмором. Ему вспомнилось объявление на пляже: «Уважаемые граждане отдыхающие! Помните, не всё то, что плавает в море — наши трудящиеся». Или, когда они с женой были на Привозе, то увидели, что в мясной павильон вошла толстая женщина, гружённая сумками, и остановилась у прилавка со свиной головой. Некоторое время она пристально смотрела на неё и громко произнесла:

— О, забыла мужу купить сигареты!

Кудрин с удовольствием вспоминал свой отдых на море, от этого становилось теплее и уже не казалось всё таким мрачным. Но действительность берёт своё, и мысли опять закрутились вокруг ящика с пропавшими золотыми слитками.

«Ну не могли же они просто так исчезнуть, — мыслил он, — значит, их раньше кто-то взял. Но кто? Михеев в больнице лежит раненый, если только инопланетяне за слитками пожаловали».

Евгений Сергеевич отогнал потусторонние мысли и уставился в потолок. Он увидел паутину, тянувшуюся с потолка к окну и маленького паучка.

«Вот чертёнок, плетёт себе паутину и ждёт, когда какая-нибудь букашка не попадёт в неё, — подумал он, — а я кого жду? Даже версий никаких; надо ехать к Михееву в больницу, хотя особого смысла в этом нет».

С этими мыслями он позвонил Вольскому и пригласил его зайти в свой кабинет.

— Ну что ты думаешь, Рома, про всё это?

— Да что-то не складывается у меня, — ответил тот, присаживаясь на стул.

— Давай сначала, — сказал Евгений Сергеевич, — о ящике знали исключительно два человека, причём только Обидайло знал точное место. Михеев этого знать не мог, так как лейтенант выстрелил в него тогда, когда ящик ещё лежал перед входом в церковь.

— А, может, Забелин, которому Обидайло поведал в бане о золотых слитках за день до этого, опустошил ящик? — неуверенно проговорил Вольский.

— Да нет, Мирон — хитрый лис, — сказал Евгений Сергеевич, — он ведь Забелину про слитки сказал, а о том месте, где ящик зарыл, — ни слова.

— Задачка получается не слабая, со всеми неизвестными.

— Ладно, поехали к Михееву в больницу, может быть, ещё что-то проясним.

Через полчаса они уже были в первой городской больнице. Они зашли к руководству, представились и попросили разрешения зайти в палату к Михееву.

Михеев настороженно посмотрел на пришедших. Кудрин, поздоровавшись с ним, уселся на табуретку, стоящую у окна. На рядом стоящей табуретке кучкой лежали какие-то вещи, а сверху — синяя байковая рубашка.

— Это мои стиранные вещи, — сказал Михеев, — положите их на другую кровать и присаживайтесь.

Перекладывая вещи, Кудрин обратил внимание на квадратные пуговицы синего цвета на рубашке. Положив другие вещи на соседнюю койку, он взял рубашку в руки и увидел, что на манжете правого рукава такая пуговица отсутствовала.

Он достал из кармана пиджака пуговицу, найденную вчера у могилы, и приложил её к манжете.

— Вот оно как! — громко произнёс он, показывая пуговицу, — она именно от этой рубашки и была потеряна у церковной могилы. Ну что, Павел Петрович, рассказывайте всё как на духу!

— Да я бы всё равно рассказал, — проговорил Михеев, — не нужно мне было это золото. Я только хотел как можно больнее отомстить Мирону Обидайло за то, что он сделал со мной. Представляю его перекошенную рожу, когда он увидел пустой ящик, а тут ещё вы нагрянули… Я вам на первой нашей встрече не всё сказал. Когда в бане Мирон разговаривал с тем плечистым мужиком, он сказал, что послезавтра они должны съездить в одно село, а какое — не сказал, но я ведь знаю, о каком селе он говорил. Там, продолжал Мирон, у церкви две могилы, и в одной из них под мраморной плитой он в начале войны спрятал ящик с золотыми слитками. Но сдвинуть эту плиту он одной рукой не сможет, поэтому они поедут вместе, а за это Мирон обещал ему отдать третью часть спрятанных слитков. А когда в гостинице «Националь» Мирон узнал меня, я понял, что надо действовать и быстрее, — продолжал свой рассказ Михеев, — выйдя из гостиницы, я поехал на работу, где стоял мой «Москвич», взял там фонарик и небольшой железный ломик, после чего поехал в сторону села Корнеево. Когда приехал туда, время было уже позднее и у церкви никого не было. Я достал из багажника фонарь, ломик, старый рюкзак и направился к могилам. С большим трудом я отодвинул мраморную плиту и увидел ржавый железный ящик, лежащий в ямке под плитой. Пришлось долго повозиться с защёлками, которые тоже заржавели и не хотели открываться, но я всё-таки справился и открыл ящик.

Переложив золотые слитки в рюкзак, я закрыл ящик, задвинул плиту на место и уехал домой.

— Так значит слитки у вас дома? — спросил Евгений Сергеевич.

— Ну а где же им быть, — ответил Михеев и, слегка приподнявшись с кровати, открыл стоящую рядом тумбочку, достал связку ключей и передал их Кудрину.

— Это ключи от моей квартиры, а рюкзак найдёте на антресолях в прихожей.

Попрощавшись с Михеевым, Кудрин и Вольский поехали к нему на квартиру. Они быстро нашли рюкзак и, открыв его, увидели золотые слитки.

— Ну вот, Рома, — проговорил Евгений Сергеевич, — теперь я счастлив: и преступление раскрыли, и вещи потерпевших нашли, и золотые слитки вернули государству.

— А что, только в этом и состоит ваше счастье? — спросил Вольский.

— И в этом тоже, но главное — мы достигли своей цели, — с улыбкой проговорил Кудрин, — но это уже из области философии. Читай, Рома, Аристотеля, и тогда, может быть, будет всё тебе понятно.

— Протокол будем оформлять? — спросил Вольский.

— Да думаю, что ни к чему, — ответил Евгений Сергеевич, — он же нам добровольно слитки передал.

Они не спеша вышли из подъезда дома, Роман кряхтел и чертыхался, неся рюкзак к машине. Через полчаса Кудрин входил в кабинет полковника Кочеткова с увесистым мешком в руке. Кудрин доложил ему о завершающем этапе операции по поиску ящика и высыпал на его стол груду золотых слитков.

— Ну, Женя, ну молодец, всё-таки докопался до этих слитков, — сказал он, рассматривая лежащее на столе богатство, — передавай материалы в следствие. Дело сделано, буду ходатайствовать о твоём поощрении.

Через неделю, когда страсти по слиткам улеглись, Кудрина вызвал начальник главка и сообщил, что за успешное раскрытие преступления и умелые действия по розыску государственных ценностей он награждён двойным окладом и представлен к внеочередному званию «полковник милиции». А капитан Вольский награждён памятными именными часами, которые от имени руководства он попросил вручить Кудрина.

«Вот как бывает, — думал Евгений Сергеевич, шагая по длинным коридорам Петровки, 38, — такое запутанное, на первый взгляд, дело, а как оказалось — ларчик просто открывался; внимательность к деталям и чёткий алгоритм оперативных мероприятий — вот, пожалуй, залог успеха в раскрытии любого преступления. А если рассуждать в глобальном плане, то я ведь действительно счастливый человек: прекрасная жена, отличные дети, любимая работа и множество интересных встреч с разными людьми, с их судьбами и удивительными жизненными историями…»

О литературе

Валентина Александровна Невинная — поэт, публицист, переводчик, сценарист. В советские годы долго не печаталась. Первая книжка «Четыре степени свободы» вышла уже в перестроечные годы. Но зато её стихи, положенные на музыку, стали любимы многими российскими музыкантами и певцами — Андреем Крючковым, Натальей Дудкиной, ансамблем «Свояси», Андреем Крамаренко и другими. Её детство прошло в Калуге, здесь она познакомилась с Булатом Окуджавой. Именно он стал первым критиком её стихов. По совету именитого наставника со временем перебралась в Москву.

СТИХИ О ПОЭЗИИ И ВЕЧНОСТИ

(Интервью с Валентиной Невинной)

История этой дружбы началась давно, в конце пятидесятых. И началась достаточно необычно. Однажды в кабинете директора пятой калужской школы раздался звонок, разыскивали восьмиклассницу, её просили прийти в газету со своими стихами. Восьмиклассницей была Валентина НЕВИННАЯ. После публикации её стихов она познакомилась с Булатом Окуджавой.

— Мы переехали в Калугу из Солнечногорска. Отец был военным, и его направили сюда комендантом. И я попала как раз в 5-ю школу. Булат там уже не работал. К тому времени ушёл в газету, где и познакомился с моими стихами.

— *Вы к тому времени уже представляли, кто такой Булат?*

— Нет, не представляла!

— *То есть вы не знали ни его стихов, ни его песен?*

— Абсолютно ничего!

— *А сами вы что тогда писали?*

— Пробежал… или проплакал дождь весенний, выстирал, подзеленил листву, и его серебряные крылья разметали неба синеву… Ну и так далее.

Я плохо запомнила нашу первую встречу. Помню только, что мы гуляли с ним возле почты и телеграфа, ходили по улочке… Булат был в плаще хлопчатобумажном, самом дешёвом, такой плащ и я потом себе купила, только у меня был малинового цвета, а у него зелёный — видавший виды.

Он похвалил мои стихи и сказал, что надо уезжать в Москву, сказал, что вообще-то поэтессам надо уметь не только стихи писать, но и картошку жарить, и очень удивился, узнав, что я это умею с восьми лет и что вельветовая юбка на мне сшита моими руками. Произнёс он тогда ещё одну фразу, которую я запомнила на всю жизнь: «Чтобы алмаз стал бриллиантом, его нужно покатать в алмазной пыли».

— А когда вы познакомились с творчеством Окуджавы?

— Потом стихи какие-то я читала, но особого впечатления они не произвели.

Спустя время я вышла замуж и уехала вместо Москвы в Казахстан — кататься в алмазной пыли, точнее — в казахской пыли. Работала в газете «Молодой целинник».

Корреспонденты — все выпускники университетов, из Петербурга, Москвы, Красноярска, и кто-то из этих «юных гениев» запел песню «Один солдат на свете жил, красивый и отважный»... Так я узнала песни Булата, которые мне очень понравились.

Отработав два с половиной года, я вернулась в Калугу, и мы с Булатом снова встретились. Он уже взошёл на пик своей первой славы, выступал очень успешно... Гораздо позже я узнала его историю, что родители репрессированы, что отец расстрелян, что в ссылке погиб его брат Гиви, что мама отсидела восемнадцать лет в сталинских лагерях...

Булат был старше меня на шестнадцать лет. И всего на несколько лет моложе моих родителей, тоже фронтовиков. Он учитель, а я ученица. Мы никогда границ нашей дружбы не переступали. Никакого фамильярного тона никогда не позволялось, хотя он сам предложил, чтобы я обращалась к нему на «ты». Несколько раз я приезжала к нему в гости, познакомилась с его женой, а когда уже совсем стало трудно в Калуге от «всенародной любви», Булат с Ольгой помог и мне перебраться в Москву. Они жили в одном подъезде с писателем Олегом Васильевичем Волковым, и после переговоров меня устроили литературным секретарём к Волкову.

— А что, Булат Шалвович был вообще такой добрый человек, готовый всем помогать?

— Не знаю обо всех, но мне в жизни он помогал много. Моя вторая книжка вышла благодаря его усилиям. Меня же в Калуге двадцать лет не печатали, вокруг рукописи такой водоворот возник... И вот первый раз в жизни я поехала к Булату просто поплакаться в жилетку. И он написал в обком партии письмо, где говорил, что тридцать лет следит за моим творчеством, считает меня ярким дарованием и просит разобраться...

Он же и написал предисловие к этой книжке «Четыре степени свободы». Она вышла, правда, вся «потрёпанная» редакторами, в ней остались стихи, написанные на заре туманной юности. Когда я увидела её в таком виде, опять поехала к нему. Он спросил:

— Ты стыдишься этих стихов?

— Нет.

— Ну, тогда пусть выходит хоть это.

Когда я ему эту книжку дарила, надписала так: «Непобедимому учителю от непобеждённой ученицы».

Мы продолжали общаться, перезваниваться. Помню любопытный случай. Я ему показала свои новые стихи. Он стал читать недовольно: «Ну, кто так рифмует?! Ну что это такое?» Тогда я показала ему его стихи и тоже сказала: «Ну кто так рифмует?!» Он удивился: «Да? Я и не заметил...»

И когда мы в прихожей прощались (у меня волосы были — вот такая шапка на голове!), я подошла к зеркалу, стала причёсываться и, вспомнив

о неудачных, взлохмаченных рифмах и строчках, говорю: «Булат, меня причёсывать бесполезно».

Он посмотрел в зеркало, погладил свою лысину и заключил: «Меня — тоже!»

— «Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую...» — так писал Окуджава в стихотворении, посвящённом Борису Чичибабину. Ведь это вы его с Чичибабиным познакомили?

— Да. Он меня как-то спрашивает: знаешь, есть такой поэт Чичибабин? Я говорю: знаю, мы друзья. Он: познакомь!

Я присутствовала при их первой встрече: они, как два маленьких ребёнка на детской площадке, увидели друг друга и несказанно обрадовались, сверкали глаза и у того, и у другого. Потом они уже встречались у Булата на даче. Они друг другу пришлись, и как люди, и как поэты.

Последний раз он звонил мне по телефону перед отъездом на Запад: ну вот, опять не увидимся. Я говорю: «Я тебя по телевизору видела, очень хорошо повидались». Посмеялись. Это был наш последний разговор.

9 мая, как обычно, я набираю номер (каждый год поздравляла его с днём рождения и Днём Победы), — ответил автоответчик. А через месяц его не стало...

Похоронен он на Ваганьковскском кладбище. На могиле простой деревянный крест. Ведь он крестился перед самой смертью под именем Иоанн.

ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ

Мне богом данный брат,
В безбожном переулке
Торгуешь ли с утра
У чёрствой славы булки?
Или сухой рукой
Через проспект всемирный
Историю с клюкой
Ведёшь, минуя мины?
Булат ты мой, Булат,
В серебряной оправе!
Нет ни золы, ни зла
В твоём звенящем сплаве.
Но дым Отечества
Обходится втридорога:
Накормит досыта,
Разденет донага.
На ум наставит
И на путь направит.
Нет судей у тебя —
Лишь трибунал Всевышний.
Все подозренья спят,
Один предлог — на вышке.
Приставки — по местам,
И суффиксы — при деле.
Да только корень там,
Где снова проглядели.
Свети и жги, Булат,
Как велено, глаголом,
Пока из-за угла
Не подобрались к горлу.
Пока твоё перо
Раздельно, а не слитно,
Пока на твой порог,
Как лист, летит молитва.
Дабы продлил Господь
Твой путь, забывши меру.
Воспой, Булат, воспой
Замученную веру,
Надежду и любовь
Все истины святые,
Пока плывут гурьбой
Форели золотые,
Пока хулы зола
Не примешалась к славе,
Пока звенит булат
В серебряной оправе.

Валентина Невинная

В. А. Невинная и Б. Ш. Окуджава на Пушкинском празднике в Полотняном Заводе. 1984 г. Фото Н. Низова

— Валентина, а вы ведь раньше пришли к вере? Вы с ним разговаривали об этом?

— Нет, как-то уж так сложилось. Но интересно вот что. В начале девяностого года меня пригласили в Оптину пустынь, я поехала на Масленую неделю перед Великим постом. Конечно, я ходила на службы и подала записку за всех своих друзей, в том числе и за Булата, написала (в скобках) Окуджава, я тогда не думала, что он не крещён. Говорю монаху, принимавшему записки, что не знаю его православного имени. Он говорит: напишите только, что грузин. Я написала.

А потом с женой Булата разговаривали, уже незадолго до его смерти, и выяснилось, что он не крещён и что каждый день несколько человек молятся о том, чтобы он пришёл к вере. Я сказала, что тоже буду молиться.

Но ведь Булат — поэт от Бога, и жил он по Божьим законам. Благороднейший человек. Умел отличать добро от зла. У него есть такие стихи прекрасные о том, что он завоевал своё право так смотреть на жизнь в окопе. Воевал в пехоте, в разведроте, был под шквальным огнём, прошёл весь ад, ранен тяжело.

Но в любой ситуации он сохранял чувство собственного достоинства, был человеком неподкупным.

Он ошибался, безусловно, потому что дитя своей эпохи. Он и Борис Чичибабин… Когда я их знакомила, произошло следующее. Булат только приехал из Японии, удивлялся, как у них сохраняются реалии старины. Я, может, некстати, сказала тогда, что коммунисты не добрались, вот старина и сохранилась… Он обиделся, резко вздёрнул брови. Его песни гражданские, его стихи о Ленине, о комиссарах в пыльных шлемах, о декабристах писались совершенно искренне…

— То есть он не наступал на горло собственной песне, писал не по указке партии…

— Нет, конечно. Нет. Он вообще трудно жил. Государство ему ничего не давало. Всё зарабатывал своим потом и талантом. А вот от ордена Дружбы народов отказался, не поехал его получать, сказал: «Я не вижу никакого смысла в этих наградах». Но делалось всё без вызова, без гордыни, а совершенно убеждённо и спокойно.

Вот архимандрит Кирилл тоже человек другого плана, но они оба воевали, архимандрит Кирилл (лейтенант Павлов) прошёл всю войну и Сталинградскую битву, видел тоже этот ад и Волгу, красную от текущей крови, как и Булат, прошёл испытание смертью. Я думаю, это их неподкупное прошлое стояло за ними. Когда архимандрита Кирилла через много-много лет нашли его военные ордена, он тоже отказался от них. Его спросили, что же сообщить, почему не вручили награды, тот ответил: «Скажите, что я умер». Так и Булат «умер» для государственной жизни. И только последнее время, с перестройкой, и он, и Борис Алексеевич, по-моему, искренне поверили в то, что засиял свет свободы.

— Сейчас многие упрекают Булата, что он продался новым властям.

— Никому он не продавался, он поверил, что теперь, после всех концлагерей, распределительных талонов, после плюшевых портьер, за которыми совершались преступления, начнётся новая эра. Многие ведь уверовали, да и мы поначалу… Мы же романтики все. Булат через всю жизнь пронёс свой юношеский романтизм, хотя знал изнанку «счастливого бытия». Сколько раз он говорил, что бывал неприятно удивлён, обнаруживая свою фамилию под коллективными письмами, которые он в глаза никогда не видел.

Помню интересный случай. В один из его приездов в Калугу мы встретились в кафе. А я знала, что человек, сидящий за соседним столиком, сексот. Написала Булату записочку. А он повернулся туда и произнёс: «У меня в таком-то году был личный филёр, я его спросил, сколько платят, он назвал сумму, а я ему: «Буду платить тебе на пятьдесят рублей больше, только не маячь перед носом».

Сосед за столиком покраснел и удалился.

— Валентина, часто, когда вспоминают Окуджаву в Калуге, я слышу не очень доброжелательные отзывы, дескать, и человек он в общении малоприятный, и учитель никакой… Как вы можете это прокомментировать?

— Я думаю, это не совсем так. В пятой школе его любили учителя, помогали ему выжить, тайно называли вполне ласково — «Булочкой». Может

быть, он был никаким преподавателем, но это был настолько незаурядный человек, что, конечно, не вписывался в эти рамки. Уж очень он безыскусен, не умел сохранять учительский имидж. Ну и вспыльчив весьма… Он же восточный человек. Зато и отходил очень быстро. Но он был всё-таки человеком ранимым, долго не имел права жить в столице, подвергался слежке, всё это не могло не наложить отпечаток на характер. А с некоторыми людьми действительно чрезвычайно трудно находил общий язык.

— *А каких современных писателей он любил кроме Чичибабина?*

— Олега Чухонцева. Он его выделял. Любил Ахмадулину, Трифонова. С Фазилем Искандером дружил и с Нагибиным.

— *Хорошая компания…*

— Да, вот насчёт компании и булатовского остроумия. В одну из наших встреч я приехала в Москву, сели, чайку попили, он спрашивает: «Ну, как ты там в Калуге живёшь?» Я говорю: «Ты же знаешь, как живу: писать пишу, но не печатают… Один из редакторов сказал, что, пока он жив, Ахматову, Окуджаву и Невинную печатать не будет». Булат помолчал и сказал: «Тебе что, компания не нравится?»

— *Валентина, насколько мне известно, к концу его жизни вы стали видеться редко. Булат Шалвович, конечно, часто уже находился за рубежом, но, наверное, существовали и ещё какие-то причины?*

— Да. В Москве я жила в доме, который продали вместе с жильцами футбольному союзу, тайными кураторами которого являлись братья Квантришвили, известные уголовные авторитеты. Мне пришлось защищать не столько свои интересы, сколько интересы людей, попавших в беду. Три года мы вели с ними войну в полуразрушенном неотапливаемом здании, где нас пытались и подкупить, и угрожали, и громили, и поджигали, и много чего страшного там происходило. Это, конечно, отдельная история.

И вот тогда я позвонила Булату, он отсутствовал. Мы разговаривали с его женой Ольгой. Кстати, удивительной женщиной, которая и Булата много раз спасала, и мне тоже помогала. А у Булата тогда уже начались серьёзные проблемы со здоровьем. Ольга меня внимательно выслушала и сказала: «Он этого знать не должен, и обещайте мне, что вы ему ничего не скажете, если желаете ему добра».

Я сдержала слово, и пока шла эта война, я виделась с Чичибабиным, с Наумом Коржавиным, с Анастасией Цветаевой, но Булату не сказала ни слова.

В последний наш разговор по телефону я тоже ничем не обмолвилась о своих бедах. Вот пошутила тогда, что повидались по телевизору, как хорошо… Договорились, что всё же встретимся. Но уже не привелось.

Встретились, когда уже шло прощание в Вахтанговском театре.

Тогда, перед отъездом, я пошла на калужский рынок купить розы, а там все импортные, мёртвые, без запаха. И вдруг стоит женщина, как часовой на посту, немолодая, но красивая, и продаёт темно-красные розы. Я спрашиваю: «Сколько ваши розы стоят?» Она назвала приличную цену. «А почему так дорого?» Она ответила, что провоевала всю войну. Теперь

ей семьдесят пять лет, а вот сама эти розы выращивает, чтобы свести концы с концами. И я, не торгуясь, купила у неё эти прекрасные цветы. Меня поразило то, что она тоже воевала, как и Булат.

Вот эти розы и ещё свечку из часовни Кирилла и Мефодия я принесла к его гробу.

— Валентина, кроме стихов, представленных в нашем материале, я знаю, вы ему ещё посвящали стихи?

— Были ещё стихи шуточные, несерьёзные, которые нигде не печатались. Они написаны по особому поводу. Булат ведь мучился от язвы. Он рассказывал, что во время войны ели сухари и пили буквально из лужи и ничем не болели. А после войны все эти узлы развязались.

Как-то я его угощала пирогом своего приготовления, он ел с удовольствием, а затем спрашивает: «На чём пекла?» — «На маргарине». — «Ты что, уморить меня хочешь?» Но ничего плохого не случилось, а я написала «Стихи о вечности и пироге»:

Ершалаим уездного пошиба,
Сиречь — Калуга — ждёт тебя, Булат!
Но кто тебе так неизменно рад,
Как я, твоя нисколько не подруга?
Никто! Никто. Где зависть или лесть?
Мы вместе пережили века стужу.
Вновь будем говорить, и пить, и есть.
Ведь наши речи не впадают в лужу.
А после воспарим. «До новых встреч!»
Неважно где: в Москве или на Марсе.
И, чтобы для тебя пирог испечь,
Я тесто замешу на чистом масле.
О, только не болей! И не жалей,
Что ты сюда заехал в оны леты.
Тебе к лицу и тихий свет полей,
И горные снега, и эполеты.
Соузник мой, соратник и собрат,
Мы будем вечно помнить друг о друге.
Когда-нибудь напишут: «Здесь, в Калуге,
Творили Валентина и Булат».

Беседовала Марина УЛЫБЫШЕВА

Эльвира Частикова

Эльвира Николаевна Частикова родилась на Калужской земле, в бывшей усадьбе Павлищев Бор. Окончила библиотечный факультет МГИК, заведует читальным залом в центральной библиотеке Обнинска. Её стихи и проза публикуются в российской и международной периодике. Она — автор двадцати книг, из которых шестнадцать — поэтических. Первый лауреат литературной премии им. М. Цветаевой (1998), член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ.

ВАЛЕРИЙ ПРОКОШИН:
«На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова...»

РОЖДЕНИЕ

Вот что мне рассказывал Валера: «Моя мать, уже на сносях, ехала куда-то в кабине грузовика. И приспичило ей рожать в дороге. Шофёр согласился искать акушерку или даже принимать роды при условии, что она назовёт сына Валерием. Почему? Кто знает! А родится дочка — Валерией. Как припечатал».

Так местом его рождения стала деревня Буда где-то на калужской дороге. Такие случайные не случайности. А, может, это он выдумал как начало истории своей жизни, стремясь хоть к какому-то разнообразию и обогащению своего истока в тусклой действительности.

Перегрызть пуповину, спешить на зелёный свет,
Отражаясь в стёклах левым побитым боком,
Оставляя сзади свежий кровавый след
Между русской матерью и иудейским Богом.
Горько плакать и звать на помощь подобных себе
На своём языке — почти что зверином,
Ничего не зная о страшной, как сон, судьбе,
Кроме имени в чьём-то списке — казённом, длинном...

Конечно, сам новорождённый не может помнить своего первого дня — 26 декабря 1959 года. Но его легко вообразить: зимний заметённый уголок России, нахохленные избы, хлопья снега, как в чёрно-белом кино, и хвойные предновогодние запахи.

В. Прокошин

ёлки московские
послевоенные
волки тамбовские
обыкновенные
то ли турусами
то ли колёсами
вместе с тарусами
за папиросами…
вырваны клочьями
воспоминания
всхлипами волчьими
вместо сусанина…

Но у Прокошина нет никакого предчувствия праздника, это у нас, читателей, за пять дней до Нового года — сладкое ожидание чуда и неких перемен. Хотя чудо уже свершилось — чудо рождения!

ДЕТСТВО

Я родился в фабричном бараке и жил в нём, как свечка, сгорая,
Освещая собою подвалы, углы, чердаки, пустыри.
И кого-то любил, не боясь, ничего ещё не понимая,
Только чувствуя, как тёплый пепел любви оседает внутри…

Первые впечатления врезаются намертво и потом всё время выплывают из малевичского квадрата, заглядывая в душу. И никуда не денешь это заоконное кино, разве что в стихи. Барак, запах керосина, пьяные драки, пожары… Посёлок Ермолино.

До Москвы — два часа езды, до Калуги — полтора, до юного научного городка под названием Обнинск — каких-то тридцать минут, а до седого Боровска — и того меньше…

Валера так и будет всю жизнь гонять этими главными маршрутами, заманивая сюда всех, кого не лень, чтоб они могли «увидеть в подлиннике Россию». Но пока он ещё — малыш, и не сходит с рук, как на его любимой фотографии, — с обнимающих, мамкиных.

Эти сказки китайские, мама,
На ночь глядя, опасней, чем сны…

Детство есть детство. Речка, церквушка, старая котельная, огороды, пустырь — мальчишка осваивает мир, никак не меньше. Он различает, у кого «громче всех поёт петух», удивляется, как «в кинобудке стрекочет кузнечик стальной», «стрекоза обгоняет сестру-стрекозу», а «сумерки полны обмана»… Если двигаться дальше и дальше, можно подглядеть сквозь ночь вообще невероятное: «Лошади качают мордами и раскачивают мир». Валера

не только наблюдатель, он уже и участник важнейших событий, выходящий на главную сцену бытия.

Я крещён на дому у священника, возле церковных развалин,
В городке, где единственной меккою водочный был магазин.
Ни латыш, ни узбек, ни цыган, ни мордвин, ни еврей, ни татарин,
А обычный советский пацан — алкаша и уборщицы сын.

Горькие нотки, появившиеся, когда всё ещё должно быть безоблачным. Но это — у кого как. Детство — это фундамент, но и первые открытия, порой — очень горькие. И больнее всего тому, кто особенно раним и восприимчив. Не потому ли у него вырываются такие строчки:

Пролечу мимо детства
Пёстрой тенью скворца,
С разорвавшимся сердцем
Семилетний пацан...

Впрочем, это — метафора, очень важная для человека, рождённого поэтом. Но «мимо детства» он не пролетит, более того, именно там, в детском саду, встретит свою непроходящую любовь, прямо-таки на всю жизнь, — Галину Эккерт (впоследствии жену, мать двух его дочек).

— Немка, что ли? — поинтересуюсь я после его рассказа об этом.

— Цыганка, — ответит он, — венгерская.

И почему-то хрипло рассмеётся, как обычно, открывшись в главном. А я заподозрю его в расширении информации за счёт сочинительства. Был бы повод!

Не из детства ли однажды явятся на свет все его «Сказки в формате MP3»? Колобок, Буратино, Снегурочка, Финист Ясный Сокол, Красная шапочка, Сивка-Бурка, Дюймовочка, Чебурашка родом, конечно, оттуда, но они понадобятся Прокошину для создания иного пространства игры и свободы. Эти любимые персонажи были воплощением правды и воли, обретаемой изнутри обстоятельств времени. Валерий же переведёт их из артистического измерения в современный вездесущий цинизм, маркируя тем самым новую эволюцию. Что и говорить, он невероятно чуткий улавливатель тенденций, чем не раз ещё сумеет поразить своих читателей.

Божьей скрипкой вскрикнет сердце,
Превращаясь в дар данайцев.
Не пугайся, это детство
Ускользает между пальцев...

А каковы ментальные границы между детством и отрочеством, можно ли их обозначить? Кажется, феномен человека остаётся вечно ускользающим, и всё же, всё же...

ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Пожалуй, это самая трудная пора жизни, хотя кто-то считает — лучшая. Я не берусь определять и решать, в том числе за Валеру. Послушаем, что он говорит:

Пляшет бабочка тайных мальчишеских лет,
То во тьму залетев, то явившись на свет…
И почти неземное гуденье шмеля
У виска… Из-под ног ускользает земля.
Ничего больше нет, никого больше нет:
Я лечу — я расту. Мне четырнадцать лет.

Его биография уже переплетается с вымыслом настолько, что, как хотелось бы и как на самом деле, — не сильно разделимы. Чтобы стать хозяином положения, надо самому создавать окружающий мир, сочиняя его или воображая, и как-то осваивать. Кажется, с малых лет он стесняется несовершенства: и своего, и чужого. И преодолевает через творчество, стихи, тем более что разглядывает он это время через расстояние, длиною в годы и десятилетия.

Мне кажется, я тут когда-то был:
На половицах стоптанная пыль,
На стенах отпечатки дней храня,
Узоры пальцев помнят про меня.
И, словно капля клея, сохнет день,
Меня вжимая в собственную тень.

Как Прокошин учился в школе, чем увлекался, на что нацеливался, какие профессии примерял к себе, по стихам точно не скажешь. Школа, правда, встречается в его текстах, но как повод для определённых высказываний, а не как факт биографии.

На уроках немецкого старый еврей-педагог
То руками махал, а то вскрикивал раненой птицею.
Мел стучал по доске и никак достучаться не мог
До ребят, откровенно скучавших над книжной страницею.

Так можно сказать и о географии, математике — да о любом уроке в школе. Стихотворение о том, как у школьников зарождается интерес друг к другу, а точнее — у нашего лирического героя к одной девочке-однокласснице, потом к другой — из поволжских немцев… Он будет к этому возвращаться не раз. Полагаю, фамилия Эккерт не давала ему покоя, да и вообще эти переселенцы не по доброй воле… Он уже приглашает читать между строк. Почему бы и нет?

Все школьные уроки для него «кончились в майскую ночь, когда так одуряющее пахли земные растения…», далее он поступил учиться

в ПТУ — на электрика. Эта профессия будет кормить его всю жизнь — наряду с другими, смежными. Значит, не зря он сделал такой выбор, или его родители — не знаю определённо. Отца он потерял рано, остался с матерью и младшей сестрой Светланой. Время требовало, наверное, становиться мужиком в доме. У него это получилось на раз-два-три. Всегда и всем помогал, кто попросит: что-то починить, прибить, подвесить... Сама пользовалась неоднократно: до сих пор на стене висят книжные полки, надёжно им укреплённые.

А как же фундаментальное образование? Поэту без него — ну, никак! Мог бы поступить в литературный институт, если слышал тогда что-нибудь о нём. Но он очень увлечённо занимался самообразованием, поэтому был грамотным, эрудированным, пытливым, постоянно во что-то вникающим.

АРМИЯ

Так пришло время служить в армии. Валера от службы не уклонялся и попал в Германию. Его всегда интересовали ДРУГИЕ. И это стало первым реальным опытом погружения в иную историю, культуру, этнографию... Но сегодня мне кажется, что в армейском периоде оружие обрело для него некий гуманитарный смысл. Не будет преувеличением сказать, что, осваивая боевое мастерство, он осваивал и дружелюбие. Время было космическое, освещённое улыбкой Гагарина. Мы ощущали себя «впереди планеты всей». Но Валера примерил к себе эту тему с присущей ему болью.

Гибнет тело, врываясь в запретную область,
Словно лодка, попавшая в шторм.
Жадно кожу сдирает с меня невесомость,
Обнажая уродливость форм...
Мир гремит, как пустая железная бочка
По обочине небытия.
Расползалась в пространстве моя оболочка,
Но я помнил тебя!

Мне не довелось быть слушателем его армейских историй, но Германия как таковая не раз всплывала в каких-то наших разговорах. Не глобально. Хотя иного дальнего зарубежья в его жизни никогда уже не случилось — по разным причинам. Но живой интерес так и остался, пульсируя в стихах-путешествиях, к которым мы обязательно вернёмся.

Что касается образа воина, то он так и не вышел на передовую поэзии Прокошина, хотя одно стихотворение в этом плане заслуживает внимания. Это ведь — позиция поэта-гражданина, интернационалиста:

Лето прячется в мать-и-мачеху,
Словно жизнь — между крайних дат...
Подарили сегодня мальчику
Папа с мамою — автомат.

За окном на церквушку-устрицу
Падший ангел, смеясь, присел.
Мальчик вышел один на улицу
И на солнце навёл прицел.
Пробежала волна по пальчику
Указательному, как рок.
Ах, как сладко и страшно мальчику
Нажимать на тугой курок!
Грянул гром, благодать небесную
Разрывая бедой ночной...
И стоит он, как бог, над бездною
Между Косовым и Чечнёй.

Позже он вообще напишет: «Я с детства космос не любил...». Поди-разбери этого Прокошина!

«СТАВ СРАЗУ ВЗРОСЛЫМ...»

Кажется, он разом выдохнул все эти строки, возвращаясь «под калужскую Аляску»:

«Поезд в прошлое мчится: история в панике,
Ностальгия всю ночь дребезжит в подстаканнике.
Кто-то долго стучит кулачком под колёсами.
Возвращается классика страшными дозами.
И мелькают за окнами снова и снова
Переделкино, Внуково и Комарово...»

«Я вернулся домой: серебром зазвенели ключи...
Я к себе возвращаюсь, уже на себя не похожий...»

«Смириться с тем, что не любим,
Став сразу взрослым...»

«Нам с тобой никогда не уйти от советской судьбы:
То Арбат, то Лубянка, то угол кремлёвской избы...»

«Поезд шёл на восток, как во время войны...»

Это не значит, что Валерий Прокошин, так сказать, вдруг покончил с пейзажами, элегикой, туманными образами, романтикой... и явил себя солидным мужем. Просто открылась принципиально новая для него, возмужавшего, перспектива.

Перед армией он сжёг, забраковав, свои рукописи, не считая тех отдельных листочков со стихами, ранее осевших у друзей... Потом мы ещё раз убедимся, что рукописи не горят, собирая из них посмертные книги.

Свят, свят, свят! — не будем забегать вперёд.

Итак, для Валеры наступило время ЛИТО. Я несколько раз видела его на занятиях у Валентина Михайловича Ермакова ещё до службы, а теперь вновь с ним встретилась, стала мало-помалу общаться. Я обратила внимание на то, что он не намерен ходить на поводу так называемого общественного мнения. Очень важная черта для поэта, который должен уметь ругаться, отстаивать, опережать и не ломаться от уроков жизни.

После всех высыхающих слёз
Или гроз, затихающих где-то,
У поэта всегда есть вопрос,
На который пока нет ответа.
Сохраняя условный черёд
Меж людьми, но, пробравшийся выше,
Он им нужное слово найдёт,
А в ответ ничего не услышит.
И не зная, как жизнь уберечь
От распятья, уверен стократно:
Только б эту библейскую речь
Не забыть, возвращаясь обратно.
Из пространства, где возраста нет,
Только память, летящая косо…
У поэта всегда есть ответ,
На который пока нет вопроса.

Это уже программное стихотворение, на все времена, с незыблемыми постулатами. Его можно цитировать, на него легко опираться, но нельзя больше жить как простой смертный: сказанное обязывает. Я почти ничего не знала о текущем его житье-бытье того периода. Что-то едва просачивалось сквозь беседы и строчки. Переехал он уже из Ермолина в Обнинск или только собирался? Короче, это должно было произойти, и произойдёт, и он однажды скажет мне, что Обнинск — для более комфортной жизни, что бы там ни говорилось… Касательно же его дружелюбия, о котором я вскользь обмолвилась выше, то оно было налицо! Посвящения друзьям — тому подтверждение! Вот они, эти фамилии, перед прекрасными стихами: Николай Милов, Вячеслав Черников, Виктор Жигарев, Людмила Киселёва… Известная боровская художница формировала из Валеры личность, любя, направляла его… Роль такого воспитателя — везение для поэта. И он пишет и пишет в честь своей музы Людмилы:

Я из небес сошью тебе
Одежду к маленькой судьбе.
Ты только на руки полей,
Художник мой, мой Водолей…
Я радостно покинул ад,
Когда попал под водопад.
И весело пойду с тобой
На твой небесный водопой.

Выступление в обнинском Доме учёных. 2002 г.

Эту милую хрупкую женщину, страдающую с детства миопатией и всегда зависящую от посторонней помощи, можно назвать главной в судьбе Валеры (он сам так считал). От восхищения, влюблённости, служения… до духовной опоры — долгий путь их отношений. И он запечатлён в стихах. Они — самые искренние, трогательные, более безыскусные, чем прочие, без красного словца… Не собранные в циклы, которые он предпочитал россыпям, они встречаются в разных местах его книг, одухотворяя и очаровывая. С нею он так и останется до конца «последним романтиком века».

И я не оговорилась про книги. Да, пришло наконец их время. И это, конечно, потрясающее событие, хотя и ответственное, беспокойное. Ведь книга — своего рода подведение итогов, пусть и промежуточных. Отбор текстов, выстраивание их, взаимодействие между собой — всё чрезвычайно важно. Оформление — тоже. Но тут постарался Вячеслав Черников, друг и художник. Валеру всегда восхищало его видение литературного творчества. Уникально и необычно — умение создать свой художественный мир в мире доверившейся ему поэзии. Так, в оформлении Черникова вышли две первые книги Прокошина: «Поводырь души» (М.: Прометей, 1990. 68 с.) и «Боровск. Провинция» (Калуга: Золотая аллея, 1992. 32 с.). Потом появятся и другие с этим узнаваемым почерком, и лично мне перепадёт от щедрот художника Славы — к бесконечной благодарности.

«РАДИ ЕВЫ...»

Почему-то нынешние поэты, ровесники Прокошина, а также по возрасту на один-два поколения моложе, почти не пишут о любви. Это отмечают за «круглыми столами» редакций «толстых журналов», на это сетуют читатели и недоумевают критики. Последние обращаются к классикам, ищут и называют адресатов их лирики, расшифровывают отношения...

У Прокошина в стихах всё прозрачно, начиная с запечатлённого детства.

...И разломится утро
Половинками дня.
— Мама, Ленка-лахудра
Разлюбила меня...

Потом появится Селиверстова Катька, директора школы примерная дочь, со смеющимися бесстыжими глазами. И другие, и третьи — подрастающие Евы...

Ты шепчешь: я тебя люблю. Но смотришь с завистью налево.
Какая разница, с какой спать женщиной: все бабы — Евы.
Какая разница, с какой восточной хитростью Китая,
Допустим, ты изменишь мне, из тени в свет перелетая...

Когда — собирательный образ, то и впрямь такая бравада возможна, а если конкретный? Тогда позволь тебе не поверить, Валера! Имею право, зная нюансы гендерных отношений из нашего совместного творчества, когда мы обсуждали, что и как надо пережить в стихах. Равнение-то было на жизнь! Поясню.

Свечение золотой рыбки из детства однажды подтолкнуло нас к написанию совместного поэтического романа «Новая сказка о рыбаке и рыбке», выдержавшего затем два издания, благодаря запросу и спонсорству немецкого синдиката, приобретшего книгу для своих студентов. Что в нём было такого особенного, привлёкшего внимание? Форма — диалог, чередование наших стихов, некая подгонка их друг к другу, местами — лобовая, но чаще с расширением диапазона. О чём могут говорить мужчина и женщина, заинтересованные друг другом? Это в любой культуре более-менее понятно. Вот и наши лирические герои позволили себя подслушать и подсмотреть. Приведу парные тексты в качестве примера:

В нетронутой местности тетеревиной,
Где уши комар прожужжал,
Нас фотодебют поэтессы Невинной
Навек задержал.

Мы лишь улыбнулись на вспышку и выстрел,
Отщёлкнувший прежние дни.
И в оцепенелой ажурности листьев
Остались одни.

Как вольные духи, бродяги, скитальцы,
Которым открыт белый свет.
И робко друг друга нашедшие пальцы
Творцу подсказали сюжет.

И лето нас в храме своём обвенчало,
Сиянию вторя лица…
Доныне мне голову кружит начало,
Как жизнь без конца!

(Э. Частикова)

Жизнь, давно разбитую,
Вспоминать не будем:
В горе все мелодии
На один мотив.
Но мгновенье вечности
Из медовых будней
Выхватил, прицелившись,
Чей-то объектив.

Проплывает облако,
Чуть трепещет ива,
Речка без названия
Убегает вдаль.
И под заколдованным
Взглядом объектива
Мы с тобой счастливые –
Ничего не жаль.

Это наше прошлое
Августовским мёдом
Просочилось в трещину
Будущих разлук.
И на фотографии
С каждым новым годом
Светотени времени
Замыкают круг.

(В. Прокошин)

Первое издание вышло в оформлении художника Вячеслава Черникова (1999), а второе (2000) проиллюстрировано нашими личными фотографиями для усиления достоверности. Отзывов было — море! Из Москвы Оксана Кузнецова прислала Валерию для обложки такой: «Мальчик и девочка, парень и девушка, мужчина и женщина. На улице, в сквере, на лугу, на качелях, в лодке, на берегу моря, реки, озера. На берегах Любви. Они смотрят друг на друга, и все вокруг тоже смотрят на них. Ведь если эти двое счастливы — значит, в самом главном мир разумен и добр, значит, завтрашний день возможен, и его не обойдёт стороной солнце… Именно поэтому мы так

После вручения В. Прокошину премии им. М. Цветаевой. Таруса, 2006 г.

любим смотреть фильмы о любви, читать любовные романы, слушать или петь песни, выражающие наши собственные чувства. А в книге В. Прокошина и Э. Частиковой — это всё вместе.

Три солнечных берега, омываемых одним океаном. Общность поэтов не случайна. По-разному ведут себя, как и свою партию, два автора, два лирических героя на своих собственных побережьях. Но из двух миров они пытаются создать единый!

Сколько поэтов на земле говорят друг с другом стихами, но здесь — новаторы, потому что дерзнули создать роман в форме диалога, начав его с самого детства, не побоявшись где-то в середине сюжета тональности мистической эротики, плавно переходящей в иное качество… Они «берут любовь» как фонарик и освещают им тьму».

Нас всюду приглашали выступать, озвучивать наш труд. Появились и песни на наши тексты из книжки, так что мы давали творческие вечера ещё и с исполнителями, с музыкой. Одну из презентаций показали по центральному телевидению, по каналу «Культура». Это был успех. Наверное, люди истосковались по предельной искренности и любви, которых не бывает много. Однако писать о любви — сложнее всего, потому что трудно балансировать на грани, но легко уйти от золотого сечения, и тогда это будет либо пафос, либо пошлость, либо примитив. Единственно правильный путь подсказывает само чувство. И читатель верит или не верит, но, тоже проходивший дорогой любви, способен судить и оценивать. «Люблю» и есть та лакмусовая

бумажка, где проступают все нюансы этой «сладкой» ноши, хотя порой и непосильной.

У Валеры в каждой книге есть исповедальные стихи о любви. Можно цитировать и цитировать, радуясь, что никакой банальности не встретишь!

...Обними меня, пока растерян,
И распят, и брошен вниз лицом —
В гущу отцветающих растений,
Там где пруд, как ржавое кольцо.

Поцелуй меня всевышней Музой,
Даже если в прошлом виноват.
Я не столь любим, чтоб быть обузой,
И не столь далёк, чтоб ревновать...

Так что же такое — прекрасные стихи о любви, то есть, претендующие на вечность? Ну, наверное, стихи красивые, безупречные: с мелодией текста, содержащей личную интонацию автора, верные слова и их порядок, несущие правду и художественную правду одновременно. И стихи Прокошина как раз подходят под такое определение. А так он сам признаётся Творцу, предчувствуя отключение сердца чуть раньше своего ухода:

Я замешан на твоей крови,
Из муки из дедовых запасов,
Но не ради муки, а — любви,
Между двух нерукотворных Спасов.
Отпусти, я всё, что мог, урвал,
Ради Евы.
Что мне этот гибельный Урал,
Что я — левый?..

Я верю, что именно такая поэзия способна спасти от безлюбья... и забвения его неповторимого присутствия в мире.

ОТ РОДИНКИ ДО РОДИНЫ

Летний день в провинции течёт
Медленней, чем позапрошлый век.
К вечеру макушки напечёт
Одуванчикам, закутавшимся в мех.

Пахнет свежим сеном городок,
Ладаном — церквушка, пылью — путь.
И не в силах птичий ветерок
Парус паутинки натянуть.

Можно всё простить или забыть,
Всех перекрестить одной виной.

Но ничем не сдвинуть этот быт —
Ни любовью, ни молитвой, ни войной.

Медленней, чем сон или река,
Протекает жизнь — как ни была.
Лишь плывут налево облака
И плывут направо купола.

Валера называл себя провинциальным поэтом, перед смертью даже уточнил:

— Я — ермолинский поэт, не спорь, я уже распорядился, чтоб меня похоронили в Ермолине. И место присмотрел. Ясно?

Он два с половиной года серьёзно болел, но был всё же на ногах, когда случился этот, неожиданный для меня, разговор. Хотя он надеялся ещё пожить, мечтал в свои сорок девять — до шестидесяти. Но итоги подводил, тем не менее. И уже не сражался с «редькой в поле», «чердачной тоской», «уродством карнизов», «убогими местами»... Из сплошных противоречий, «где быт напоминает криминал», выткался вдруг, преображённый Прокошиным, мир провинции. Читаешь и думаешь, что все эти феномены, дарованные глазу, содержат в себе реминисценции одного единственного дома, который является домом души поэта. А из дома куда убегать? Да и как обходиться без этих кривых улочек, церковных маковок, наклонившихся окон, смыслов-чувствований?

Старый дом пророс сквозь моё лицо,
Светом поздних слёз осветив крыльцо...

Провинция Прокошина, его малая родина, обнаруживает множество пространств, где обыденное всегда содержит в себе необыкновенное, первозданное. Поэтому его повседневность — прежде всего многоярусная, живая.

Нынче февраль, как огонь пятипарусный,
Лик обжигает до слёз.
Плавится память в сорокаградусный
Русский мороз.

Тают названия улиц и детские
Меты. Из памяти всей
Лишь имена выплывают библейские:
Марк... Моисей.

Вымерзло всё. Поневоле от холода
Здесь заплутаешь среди
Белых развалин старинного города,
Стылой среды.

Бьётся судьба, словно рыба на леске. И
Снежный шумит океан.
Лишь имена выплывают библейские:
Ной... Иоанн.

А горькие приметы времени являются доказательствами того, что всё тут настоящее. Бедность, несчастья — атрибуты подлинности. Реальная жизнь не может быть гладкой и бесконечно удобной, а вот просто непрерывной — может. Поэтому о ней и можно писать бесстрашно, почти вызывающе:

Не жалеть эту жизнь, никогда не жалеть, не беречь,
Пусть проходит она неразумно, как детская речь,
Как теченье реки, как течение света во тьму...
Ощущенье, что жизнь непонятна лишь мне одному.

Смысл её ускользает ребёнком, рекою, лучом,
А начнут объяснять — не могу догадаться, о чём?
Всё плывёт, исчезая в обычном табачном дыму...
Ощущенье, что жизнь непонятна почти никому.

Даже в старенькой церкви рукой заслоняюсь от свеч:
Не жалеть эту жизнь, никогда не жалеть, не беречь.
Пусть уходит, пускай растворяется — грешная — тут,
Где несчастные люди счастливые песни поют.

Что ж, в многослойной жизни всегда есть, о чём петь. Так и видишь эту церковь, прихожан... Слои реальности в стихах Прокошина просвечивают один через другой, так что зримые детали причудливо вписываются во вчерашний колорит, или наоборот. Что это? Монтаж? Или разные плёнки в несколько слоёв крутятся в одном проекторе.

Край непуганых ангелов, лохов и пчёл,
Где мы жили с тобой понарошку.
Я почти что всего Мандельштама прочёл.
Догорала церквушка за правым плечом,
Где-то слева светилось окошко.
Жизнь, казалось, совсем ни при чём...

Он, Валера, — ещё и фотограф! Увлёкся вдруг фотошопом и стал по-своему переиначивать давно обжитую провинцию: поменял местами холмы и храмы, плеснул то ли моря, то ли речушку расширил до размеров Волги, добавил экзотические острова... Творец, да и только! Есть, на кого равняться, «Отче наш» уже написано»... Поэтическое лукавство, как и просто человеческое, у него не отнять.

На девятый день
Бог создал кузнечика —
Так, для забавы.

Приручал зверей,
Чтоб жить в чужом краю,
А они — меня.

Живу в деревне.
По утрам меня будит
Колокольный звон.

Империя зла
Всю жизнь была мачехой.
Стала родиной.

В этом городе,
Где родина с родинку,
До старости жить.

Через малые формы поэзии Прокошину тоже удаётся убедительно показать законченные творения. Каждое — на вдох и выдох. Все они прекрасно вписываются в канву провинциальной жизни автора, не разрушая русской патриархальности образами из совсем другого мира с традициями хайку. Ещё шажок и… Но чтобы добраться до идиллического, ему пришлось бы жить в сторону детства, вспять, прошлым, где всё неизменно.

В январе по воле Бога
Выпав, словно из гнезда,
В небе светит одиноко
Вифлеемская звезда.
Свет её пронзает души
Точно так же, как и свет
Этой русской зимней стужи
На краю прошедших лет.
Пламя Божьего светила
Указует путь добра,
Но ни с кем не примирило
Ни сегодня, ни вчера.
Это время — просто пропуск
В мир несбыточный, как сон:
Рождество… Россия… Боровск
Вечным снегом занесён.

И хотя время застывших стрелок для него является самым привлекательным, как жизнь без конца, он совершает свои шаги в пугающее будущее, пытаясь растянуть точку бытия в двунаправленную линию. Но в движении вперёд разочарований не избежать, как и отчаяния…

Холодно в доме и так одиноко,
Даже душа позабыла про Бога.
В дальнем углу еле тлеет лампадка,
Словно в России в период упадка.
Свет погашу и задую свечу —
В этой стране умирать не хочу…

Так он пишет, подставляя себя под удары «истинных» патриотов, которые слышут про «эту страну», не слыша «УМИРАТЬ НЕ ХОЧУ»! У каждого бывает такое настроение и состояние, сколько ни бодрись. А у Валеры с его обострёнными предчувствиями, неотступными зимами и простуженными пейзажами, пунктирным воздухом… — нестерпимая боль (не беспочвенная, кстати!).

Малая родина, выросшая до размеров большой, болит в его сердце. Ведь любовь, если она настоящая и глубокая, а не умильная, всегда сопровождается болью и тревогой, из которых вызревает ответственность. Я уже говорила, что ему интереснее работать с циклами стихов, где каждый отдельный текст как бы подпирается остальными. И я тоже, читая его книги, к которым прибавилась уже главная (Между Пушкиным и Бродским: стихотворения. СПб.: Геликон Плюс, 2006. 128 с. (серия «Созвездие»)), за которую он получил областную поэтическую премию им. М. Цветаевой; а также изданная к 650-летию города Боровска наша с ним общая книга-перевёртыш, где у меня своё название «Однажды в Боровске», а у Валеры своё (Прогулки по Боровску: стихи. Худ. В. Черников. Обнинск, 2008. 112 с., ил.), двигаюсь от отдельных стихотворений к массиву, а от циклов к гиперциклам. Одним из таковых я считаю «Русское кладбище» — вершину гражданского поэтического творчества Прокошина. Полностью он входит в посмертную книгу поэта «Не кружилась листва» (Обнинск, 2011. 199 с., ил., фото).

Гиперцикл, конечно, надо читать целиком, но я позволю себе для эссе вырвать что-то одно — просто для примера, чтобы показать степень накала.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 37-го ГОДА

Спите, граждане, гражданки, намотавшись по стране,
Пусть у вас прольются слёзы покаяния — во сне.

Тёмной ночью у подвалов вновь ревут грузовики —
Там расстреливают левых правые большевики.

Полстраны спит на Лубянке, в Магадане — полстраны.
Спите, граждане, гражданки, вы пока что не нужны.

Спите все, кому сегодня жизнь по-прежнему мила,
Ничего, что вас разули и раздели догола.

Ничего, что кровь и слёзы душат вас, когда темно,
Завтра утром вы вздохнёте и проснётесь всё равно.

Спите крепко, спите долго... Вас никто не ждёт нигде,
Ваши сны летят и гибнут в соннике НКВД.

Внимательное прочтение «Русского кладбища» — процесс нелёгкий, но обязательный. Настроение будет испорчено, однако заставит задуматься. Это поступок со стороны Прокошина: напомнить о существовании трагической системы-судьбы, которую многие сторонники альтернативного развития человечества стараются не замечать. Где гарантии, что она вновь не способна кого-то вытащить из тёплого уюта и навсегда изменить устоявшуюся жизнь? Разве у нас порядок больше не меняется хаосом, а справедливость — крахом

нравственных устоев? Это с Земли никуда не собирается исчезать. И пробить в набат «Русским кладбищем» — не лишнее. После этого спорить о патриотизме как-то неловко. По Прокошину родина может быть или прикидываться даже чужой, не переставая при этом оставаться единственной. Именно поэтому для неё он находит слова, напоминающие по мощи ахматовские: «но ложимся в неё и становимся ею, потому и зовём так свободно своею».

Как странно:
Песчинкою жгучего мрака,
Прорвавшись сквозь ангельское забытьё
Апрельской любви двух людей из барака,
Родиться в России — стать плотью её.

Как страшно:
Когда не любили, не звали
По имени, и предложили жильё
В каком-то обшарпанном полуподвале,
Прижиться в России — стать мясом её.

Как больно:
Однажды проснувшись средь ночи,
Увидеть в окне отраженье своё —
Из слёз и дождя, и других многоточий…
Подохнуть в России — стать прахом её.

Как сладко:
Во мрак погружаясь, как прежде —
На самое донышко, в небытиё,
Не ведать, что это, быть может, надежда
Остаться в России — быть болью её.

После таких строк Валера имеет право на многое, вплоть до предупреждения. Да, Родина — это не что-то внешнее, а глубокое, внутреннее, не зашоренное абсолютно ничем, даже земной красотой.

Ещё мне хотелось бы уточнить, что поэтические циклы Прокошина рождались и собирались постепенно: из разных лет и эмоций. Поэтому нельзя сказать, что самое мощное им написано в период последней зрелости, хотя многим так кажется. По мне, он, Валера, всё-таки неделим, как жизнь и текущее время.

ДАО СНОВ

Ну вот, теперь пора и дух перевести, как после точки, открывая давно открытое, но, кажется, всё ещё не провозглашённое. А именно, что самое дорогое — это жизнь: в центре или на окраине, в провинции или в столице, с шумом моря или в тишине трав… Выбирая свою дорогу, человек выбирает и сопротивление мира (наверно, для лучшего его постижения). Каждый

надеется накрыться небом до того, как накроют землёй. А если «жизнь несбыточна, как сон», то сон может быть, наоборот, избыточен, как жизнь. Какая у Валеры богатая, так называемая, сонография! Стихи — субстанция загадочная, они нас выбирают сами, как и дороги, даже если последние похожи на сны.

Как-то в начале нового века мы размечтались с Прокошиным о путешествиях. Это был период моей переписки с питерским эмигрантом, литератором и издателем Александром Шкляринским, и тот периодически приглашал к себе в Америку, обещая удобное жильё на неограниченное время. Причём звал повыступать, даже заработать какие-то денежки. Мы обсуждали круг моих друзей в связи с этим. И Валера загорелся! А вскоре и засомневался... в своих возможностях. Ну какая Америка без знания языка?!

— Вот в Китай бы или в Японию! — переключился он на Восток. — Азиатчина жутко притягивает...

— Учи иероглифы, — подколола я.

А он и учил, ковырялся в словарях да разговорниках. Не для путешествий — для себя, утолял любопытство. Здоровье не очень потворствовало дальней дороге, а про финансы мы даже не вспоминали: вечно они были у нас на задворках. Хотя Валера дом свой обихаживал, дочек содержал, жену не обижал. А что касается дальних стран, так они сами стали поочерёдно заплывать в русло его фантазий. Такое вот Дао!

Светает. Начнём одинокое плаванье вниз по реке под названием Ю —
На запах кувшинок и лилий, на свист зимородка, на шум водопада, на юг,
Я буду всё время грести: с двух до трёх, с четырёх до пяти и с пяти до шести,
Я буду тебе повторять: не грусти. Водопад отключается в восемь, прости.
Вдоль правого берега, видишь, и левого берега, словно сквозь утренний сон —
Крадущийся в зарослях тряпочный тигр, затаившийся в чаще бумажный дракон.
Бамбуковый мальчик блеснёт наготой, и пройдёт по воде, снова станет водой.
Наверное, в полдень начнёт припекать, как всегда. Ты разденешься медленно до...
Неважно. Я буду грести за двоих, за троих — по реке под названием Ю:
Люблю, — вспоминать, говорить, бормотать, повторять, бредить и забывать, — не люблю.
Глаза закрываю: две цапли на цыпочках мимо проходят, и две стрекозы
На ощупь за нами летят и летят... На щеке жгучий след от случайной слезы.
Сквозняк воробьиный скользит вдоль спины, вдоль бедра, вдоль... Неважно,
фейерверки в душе.
Бумажные змеи — зелёные, красные — дружно взлетают из-за камышей.
Китайский фонарик мелькнул за деревьями пьяной луною. И я говорю:
Какая большая, глубокая эта чужая река под названием Ю.
Темнеет. Поёт золотистый тростник. И бумажные змеи спускаются вниз.
С востока на запад плывут облака по двенадцать юаней за штуку. За жизнь.

Такие стихи подключают все органы чувств, чтобы ощущать вектор направления не понарошку, а по-настоящему. Даже если окликнет вдруг Родина, Валера явно попытается ускользнуть «через узкие дырочки русского сита». Восток так Восток! Но, честно говоря, что в нём такого, чем он совершенно пленяет Прокошина? «Иероглифами лет», «нездешним взглядом»,

«татарским полумесяцем», «чистым хлопком», «кимоно» и «айкидо»? Скорей всего, — дополнительным пространством, а попросту — запасной жизнью, нигде не учтённой! Поглядите-ка, Валера-сан всячески пытается сделать на необъятных просторах поэзии Восток реальным, чувственным, и он накатывает строчками, как волны.

Азиатчиной нетрезвою
Вечер лезет под бочок
И притягивает к лезвию
Немигающий зрачок… —

начинает он одно из своих стихотворений, а другое завершает:

…И, пройдя сюжетом плотским,
Мы спешим на Фудзияму
Эротического текста
С многоточием в конце…

А чего мы хотели от снов? Они вроде и не по Прокошину совершаются, скорее — «по желанию Басё». Владея широким диапазоном манер и техник, Валера старается во что бы то ни стало вмонтироваться в смоделированный им мир. И уже совершенно неважно, что он для этого использует. Вот хайку:

Серебро и смех
Февраль рассыпал у ног.
Где ты, русский Басё?

Пью зелёный чай —
И медитирую, и
Медитирую…

А можно и шестисложные танкетки, своя рука — владыка:

Душит жаба Басё

Компот с изюминкой…

То, что классическое стихосложение для него — органика, и так известно, рифмует себе:

…Птицам дела нет до чужих отчизн,
Кроме Бога, к ним кто привяжется.
Мы читали дерево сверху вниз,
Как китайскую грамоту, кажется…

Можно привести множество примеров. И всюду прорывается его медитативность и философичность! К тому же он — метафорист и смысловик, за образами в карман не лезет, а щедро рассыпает по строчкам. Неискушённому

читателю не сладить с его иронией, фантазийностью и многослойностью. Что тут можно посоветовать? Повышать свой литературный уровень, подтягиваться!

Рисовый ветер, конечно, с Востока, откуда ещё, —
В сторону юга, куда же ещё в этот сбивчивый вечер.
Режется в кровь молодая осока на уровне щёк,
Где я тебя безоглядно целую на уровне речи.
Чувствуешь: яд на губах и на девственной коже — ожог?
Это луна пролилась ртутным светом на голые плечи…

Было бы, пожалуй, странно, строчками исколесив Восток, не оглянуться на Запад. И, конечно, Прокошин соблазнился.

Ветром надуло в книгу — с запада, США,
Смотришь и видишь фигу там, где была душа.
Кто здесь, крылом шурша, вновь замутил интригу?

Кто? Можно сказать, тот же Александр Шкляринский, выпустивший сборник «Всемирный день поэзии» (Нью-Йорк, 2004), куда на анонимной конкурсной основе вошли и Валерины, и мои стихи. Вскоре Валера опубликовался в американском «Новом русском слове», успев до закрытия этой газеты. А ещё нас в 2005 году поманил к себе журнал «Флорида». То вместе, то раздельно мы начали публиковаться и там. Потом Прокошин вообще стал сотрудничать в этом издании и даже отвечать за отдел поэзии. Какие-то национальные пристрастия через годы их развели, очень жаль, ведь единомыслие существует только на кладбище. Впрочем, Валере свойственно было «подначивать» и эпатировать, а с этим просто наломать дров. Тем не менее через публикации он двинулся в сторону заходящего солнца. Из Дании его заметил журнал «Другие берега», в который он отправил стихотворение «Влажная Дания» вместе с другими текстами. Ему нравилось такое освоение мира. Он обретал уверенность в своих силах, что очень важно.

На этом пути, тоже с изрядной долей снов, он приручил Венецию и Рим («Слаще халвы и мёда Этот выбритый Рим…»), чтобы потом себя от них отговаривать.

…Пора очнуться, стать другим:
Как из скворечни —
Птенца, из памяти украсть
Позор любви.
Забыть Венецию. А Рим?
И Рим, конечно.
Он тоже разжигает страсть
В моей крови…

Но сколько ни витай в лабиринтах снов, «география тоски больше, чем картонный глобус». Что ж, Александр Сергеевич Пушкин, не выезжая, но благодаря вдохновению, проникал и в «Египетские ночи», и в рыцарские

времена, да так убедительно, что до сих пор — никаких сомнений! Не зря же Прокошин определил своё место в поэзии между Пушкиным и Бродским — по личному ощущению. Никто его не упрекнул за это, значит, так оно и есть. Иосиф Бродский оказал на Валеру очень сильное влияние, показал длинные строки и разгон на них мысли. Но устоявшееся своё не перебилось, а обогащение — оно всем полезно.

...Скоро здесь рассветёт, и зима обнажит свою сущность медвежью,
Оставляя меня, как всегда, между сном и реальностью между.
Я хожу от окна до дверей с полной чашкой остывшего яда,
Ожидая Годо или ангела — разницы нет. И не надо.

К снам Прокошина примешивается и кино, сливается с ними, и он перечисляет имена любимых режиссёров уровня Пьера Паоло Пазолини и Гаса ван Сента. Мир необъятен, влекущ, разнообразен. Но куда и как убежать от себя? Или остаться «очарованным лохом»? Но он этим сыт уже и не хочет:

Вспоминать эти пьяные сны,
Явь с придурками, дом с дураками,
И почти несусветную «точку росы»...
Два в одном: Гоголь & Мураками.

Собственно, он уже не знает, «куда теперь грести». Впрочем, сны не советуются с нами, а затягивают в свою зыбь. Поэма Прокошина «Кокаиновый Каин» — не что иное, как страшный сон, погружение в боль и психологию наркомана, в топь невозвратности. Правда, это окажется лишь началом замысла о падении и гибели и войдёт в его триптих «Жизнь с тремя козырями». На этот раз мне не хочется цитировать — незачем. Да, грехов прибавится (опять уловленная тенденция), обвинений — тоже, словно поэт сам грешит, сочиняя про наркоманов и зеков, прельщая... Но чем прельщать-то?! Нет, он предостерегает! Но роль дерзкого исследователя будет читателями обругана. Даже собратья по перу, не ставящего знака равенства между автором и героем, поэмы не примут, но обратят внимание на его миссию — посредника между жизнью и смертью. А Прокошину не привыкать к «нездешней печали». Может, примеряя на себя, немного ...и убивать себя, как Валера с юности убивал свои лёгкие куревом? Но тогда от своих снов он ещё быстро просыпался и БЫЛ! С семьёй, с нами, среди нас... Да и теперь всеми своими снами он — с нами! У искусства слова — иная биография.

В БОЖЬЕМ МИРЕ

Каждый разумный человек, а тем более — поэт склонен к разговорам с Богом. Взять хоть самых любимых наших с Валерой: Геннадия Русакова и Инну Лиснянскую, которые своё Слово адресуют сразу в высшую

инстанцию. Такова исповедальная суть творчества. Вот и Прокошин тоже, замирая от присутствия в мире Творца, выстраивает свои ориентиры:

...Кто там пихается в бок
Глупою жизнью земною?
Господи, если б я мог
Тоже читать между строк,
Книга могла быть иною.
Чем бы ни тешился Бог,
Лишь бы не мною... не мною.

Божий мир заполняет поэзию Валерия Прокошина до краёв и доверху. Он густо населён, и больше всего в нём встречается ангелов — самых что ни на есть разных: это и ангелы-телохранители, и падшие, и пьяные, и пьющие молоко, и считающие ворон, и с буковками во рту, и непуганные, и сонные, и новогодние, и перелётные, и даже отвечающие на письма. Вот ведь как! А другим не везёт увидеть вообще никакого. Впрочем, поэты от простых смертных всё же тем и отличаются. Так вот, ангелы... Перелетают себе с места на место, из цикла в цикл, из книги в книгу, словно связные и связующие. Или это птицы? Поди, разбери на высоте!

...Время течёт сквозь слюду
Сна. И у всех на виду
Яблоки падают в руки
И, как в больничном бреду,
Птицы разбились на звуки...

Снегири, свиристели, клёсты, зимородки, щеглы, стрижи, сороки — всякие, даже «птицы по имени птицы», а то и с именами Ариадна, Анна, Анастасия, которых автору удалось приручить. В Валерином мире, то есть в Божьем, конечно, не заскучаешь. Да и как можно — рядом с пёстрыми бабочками, прозрачными стрекозами, голоногими кузнечиками, пчёлами, жуками, муравьями, гусеницами?! Творец не только для себя старался...

То ли стерео, то ли моно
Летний зной, перешедший в звук.
Я вытягиваю поимённо
Насекомых из первых рук:
Муравей, стрекоза, кузнечик
Или жук, залетевший в куст...
Насекомые детской речи
С именами из первых уст...

Создания Божии — на зависть всем мирам! Они не владеют человеческой речью, но поэт, ею владеющий, предъявляет их нам столь живо и многообразно, что начинаешь догадываться, какой он, рай, и где находится. Правда, про рай Валера пишет с глубоким знанием, уверяя, что он «похож на гигантский пломбир», впрочем, уточняя: «Рай остался внутри шалаша...».

Неважно, ведь главное в том, что он есть. Для Прокошина. Ну а как же?! Он уже предъявил его нам! Или это — не ПМЖ? Иногда он сомневается, оглядывается, предполагает, что «где-то должен быть рай...». Через все свои книги, не исключая последней, им самим составленной (Ворованный воздух: сб. стихотворений. М.: Арт Хаус медиа, 2012. 72 с.), он направляется туда. И чем дальше, или дольше, тем всё более хочется спросить, «откуда у парня испанская грусть»? И не поддувает ли из ада?

В Божьем мире не всё, оказывается, по-божески. Есть такой уральский поэт Константин Комаров, которого Валера, возможно, не знал, но их поэтическая близость прямо читается по строчкам Константина:

Да нет, ничего мне не надо,
И я ничего не хочу,
Из этого райского ада
Мне выбраться не по плечу.
Из этого серого праха
Я создан. Кого мне дурить?
Курить и не плакать, не плакать.
Курить и не плакать. Курить.

Так вот, на последнем жизненном отрезке Валерин рай превратился вдруг в «райский ад», скорее всего, из-за изматывающей болезни. Он не задавал Господу вопросов, «за что», но и не спрашивал — «для чего». Он предъявлял ему факты, показывая, что творится в Божьем мире. Как сказал его любимый Мандельштам: «И слова, как пудовые гири верны». В чём же?

«Размывая пейзаж библейский на стыд и срам», Прокошин выложил в интернете свою поэму «Выпускной — 77», сразу же потрясшую темой потерянного поколения искушённую публику, в том числе и столичную. Написанная верлибром, она до жути проста, дающая пофамильный перечень одноклассников автора с краткой историей судьбы каждого из них. Опять уловил тенденцию, как я отмечала раньше. Заканчивается она так:

В прошлом году на встречу выпускников
Из нашего класса не пришёл ни один человек
Потерянное поколение
Из которого почти никто не выжил
Кроме меня
Но и я не хочу просыпаться

Для меня тут двойной ужас: подлинность имён... с примеркой к ним вымышленной страшной судьбы и беспощадность к себе. Я умоляла Валеру сменить все имена и концовку, чтобы никому не подписывать смертного приговора таким образом. Он слушал меня очень внимательно и долго смотрел в глаза, печально и обречённо смотрел, молча. Он не верил, что это — выход. Он чувствовал — его нет. Поэтому в книгу «Ворованный воздух» включил без поправок, жертвуя вымыслу. На жизнь ему уже не хватало воздуха и приходилось перебиваться ворованным (не по Мандельштаму, а по своей

болезни лёгких). Да, к Богу у него уже накопилось множество претензий, и он начал спорить с ним своими произведениями.

...время желаний
кончилось. дождь за окном,
как полупьяный:
com, com, com, com, com, com, com...

В этом несогласии и протесте он пишет свои ремейки, высмеивая, издеваясь, переиначивая действительность по-своему. А если мир уже не исправить, то можно исказить ещё больше, утрируя! Где словом, где фотошопом... В один кадр он загоняет свадьбу и похороны, искривляет пейзажи, сбивает с резкости натюрморты, лица... Ад и рай у него явно «спелись», поэтому между собой почти неразличимы. В его посмертных книгах, изданных нами, его друзьями, — жёсткий подход к героям. Я говорю о повести «Атомный angel» и сборнике «Искушение». Они вышли под грифом «Чтение не для всех». Потому что оно непосильно из-за отсутствия нормальных или, выражаясь школьным языком, положительных героев. Причём многие, а в повести — вообще все, узнаваемы, имея живых прототипов, но весьма художественно переработанных в стиле порно. Как это выглядит? Издевательски, по большей части. Но исключить эти произведения без ведома автора из его творчества нельзя, тем паче в них есть находки, юмор, сатира и местный узнаваемый колорит. А сколько просто потрясающих кусков, написанных мастером! Если произведения Виктора Ерофеева имеют право на существование, то почему нет — подобные им, вышедшие из-под пера Прокошина? Он такой же неласковый к своим персонажам... Валере я высказывала своё мнение, и он полностью переписал своего «Атомного ангела». На мой взгляд, стало куда лучше, веселее, остроумнее, да и многое объясняющее. Вообще, этим книгам стоило бы посвятить большой серьёзный разбор, а я не ставлю сейчас для себя такой цели. Скажу лишь, что все негативные проявления человека (или его персонажей) не от того, что он плохой, а от того, что ему плохо! Задача читателя — понять это и посочувствовать. Таков уж его способ — обратить на себя внимание высшей инстанции, небес обетованных.

Вообще-то свои разговоры с Богом Валера начал давным-давно, когда ещё стрекотали «райские кузнечики речи», осыпалась мотыльковая пыльца, «вкусней мартини» было море, золотились купола храмов с «абрисом ангела на горизонте», а он уже заглядывал за горизонт своей жизни, и не только...

Свет и тень, тень и свет — это полосы,
Что бегут, и бегут, и бегут...
Чёрно-белые мамины волосы
Туго скручены в тоненький жгут.
Лента лжи извивается коброю,
Соблазняет нас красной ценой.
Мама верит в другую — загробную —
Жизнь, которая будет цветной.

Перестав быть «очарованным лохом», он начал дерзить. Непорядок мира его возмущает, и хочется, чтобы не мы, люди, с этим справлялись, а видящий это сверху, всемогущий. Единственный, кто всё понимает! Жизнь — это больно, не жизнь — жутко. Почему вместо объятий, любви и славы — вечная облава и снятие с дистанции? Созданному по образу и подобию Творца необходимо утешение! Есть ли какой-то выход? Впрочем, что — наша жизнь? Поэт Прокошин предполагает: «Электронная версия Бога». Он видит вокруг себя следующее:

А в провинции люди уходят
Кто — в религию, кто — в интернет...

И сам ныряет туда, в Интернет, с головой, исследует, исповедуется... с изрядной долей юмора и фантазии, пряча под улыбкой свою боль. Например, в ЖЖ он сообщает, что в Боровск, в художественную галерею, на презентацию нашей с ним книги-перевёртыша «Прогулки по Боровску» и «Однажды в Боровске» явились пять старушек. До начала мероприятия они, как шерочка с машерочкой, танцевали, а потом слушали наши стихи, раскрыв рты. Им явно они пришлись по душе, поэтому вскладчину старушки смогли купить одну книгу и по очереди её поцеловали. Забавно... и даже малость похоже на правду. А настоящая — скучна: ну, зал не пустовал, пришло человек шестьдесят, всё было, как всегда (молодёжи — кот наплакал, пожилых — большинство). И что?! Не стадионы же! Другие и такого зала не соберут, стихи — не повальное увлечение сегодня. Фантазировать весело, это творчество, и оно — от Бога. Он и на мой счёт нафантазировал, невольно меня обидев. Какое-то время мы не общались, и Валера не мог всерьёз понять моей позиции. Шутка ведь! Просил друзей помирить нас. Но в конце концов смог сам попросить прощения и произнести главные слова:

— Я же очень тебя люблю и страдаю, не злись на меня, ладно?

Это оказалось сильнее всех обид. Да и не был он носителем зла! Как не простить? Ну а что касается Интернета, вот уж замечательное местечко для реализации не только фантазий и розыгрышей, но и творческих планов, публикаций, общения. Однако вскоре он поймёт: «Виртуальная любовь — это лажа, дорогая», хотя и «последний причал между жизнью, нирваной и смертью». Он жил, эмигрируя с сайта на сайт, надеясь на этот запасной вариант. Но бумажные публикации, журналы предпочитал электронным. Да, понимал, что Интернет — чудо из чудес, необходимость, удача, прорыв. Но Божий мир разве можно променять на виртуальный? «На краю виртуального быта жизни нет», — сокрушается он. Ругая и кляня ненадёжную жизнь, Валера осознаёт свою дерзость и просит прощения:

Прости меня, Господи, правда, прости
За грешную связь с 9 до 6
Под звёздным лже-катом Калуги,
Когда ухожу через арку двора
Под ангельским ником — такая игра
На грани нездешней разлуки...

Пусть с нового сайта срывается скотч,
И пусть начинается каждая ночь
Прогулками по интернету.
Прости меня, Го... даже если я лгу,
За мелкие крестики в правом углу,
За жизнь виртуальную эту.

Способность повиниться — черта редкая и ценнейшая, и Валера Прокошин обладал ею, вне всякого сомнения. А как же иначе в Божьем мире, как?

ЕВГЕНИЙ КОЗИНАКИ

Однажды Валера попросил меня написать о нём «врез» в альманах «Илья», и я начала со слов: «Валерий Прокошин и Евгений Козинаки — одно лицо, только первый пишет для взрослых, а второй — для детей...». Он тут же настоял убрать этот абзац, ибо в данном случае интрига для него была важнее разоблачения, правды.

Я уже говорила, что в его биографии много заморочек для незнающего человека, потому что он её сочинял на ходу. Скажем, якобы, родился в Лабуде, а не в Буде... А сколько он увлечённо путешествовал, не путешествуя! Примеров не счесть, и в них легко заблудиться. Но, выходит, он таким образом искал имеющих ушки на макушке: «чтобы сказки слушать». Так и появилась его сладкая фамилия КОЗИНАКИ, а точнее — псевдоним. Детишкам легко запомнить!

— Валер, а почему — Евгений? — интересуюсь я.

В ответ он пожимает плечами.

— Ну, правда? — не отстаю. — Потому что внутри прячется «гений»?

Валера вскидывает брови, словно и не подозревал этого, и начинает неудержимо хохотать. Потом заводит меня:

— А ты какой бы мне придумала псевдоним?

— Про-ко-ко-шин! — выпаливаю я.

Он снова заливается смехом, через который еле выдавливает из себя вопрос:

— А имя?

— Если надо отказаться от Валеры, пусть бы ты был Гошей Прококошиным.

Ему нравится моя придумка, он вновь давится смехом и показывает мне большой палец. Но под Евгением Козинаки в Калуге, в издательстве «Золотая аллея», у него уже вышли три книжки для детей: «Про секреты» (1991), «Во всём виновата Жучка» (1994), «Озорная азбука» (1998), отмеченная литературной областной премией им. В. Берестова. Все — оформленные Вячеславом Черниковым (сколько выдумки, завлекалок, юмора, очаровательных подробностей от табличек с названиями улиц до выражений лиц персонажей!), а ещё три — им же подготовлены к изданию. Кроме того, в 1997 году в Обнинске вышел замечательный коллективный сборник для

детей, проиллюстрированный ребятами местной художественной школы, — «Удивляндия», открывающийся подборкой Евгения Козинаки. Каждому блоку тот же художник Черников, оформивший книгу, предпослал портрет автора. Все очень удачные! И Козинаки — вылитый Прокошин — очень понравился Валере по точности и настроению. Рядом с портретом давалась художественная преамбула о сочинителе, типа: «У дяди Жени Козинаки очень сладкая фамилия, но появилась она у него не сразу... Когда молочные зубы у мальчика сменились на постоянные, у него вдруг открылся волшебный дар: есть сладости на расстоянии...» и т.п. А в конце на каждого автора (всего — шесть) имелось досье — уже без волшебства и шуток. Но Валера втайне от остальных дал о себе прикольную справку: «Евгений Козинаки — автор детских книг (мною выше названных. — *Э. Ч.*) на русском языке. Долгие годы он жил с родителями за границей, а в начале 80-х вместе с семьёй эмигрировал в Советский Союз. Работал директором банка, управляющим треста, начальником автоколонны, редактором газеты, заведующим рестораном. В настоящее время живёт в Обнинске, работает дворником...». Мы это увидели, когда уже весь тираж вышел из печати. И до сих пор народ натыкается на эту невероятную биографию и задаёт странные вопросы. Собственно, чего и добивался наш Прокошин, то есть Евгений Козинаки (у него-то биография могла быть любой!). Сочинитель! И любую свою выдумку он превращал в весёлую историю.

Это правда, а не ложь:
Серый ёж попал под дождь,
Не под крупный, проливной,
А под солнечный, грибной.
Подросли его иголки
Выше ёлок на пригорке.
Ёж гуляет и слегка
Задевает облака.

Других выдумок нашего героя я здесь расшифровывать не буду — ему бы это не понравилось. Какой писатель (у Валеры был этот статус: член Союза писателей России, лауреат областных поэтических премий), сочиняющий книги, обходится без легенд? Только скучный! Но сие — не про Евгения Козинаки! А писал он для детей потому, что сам оставался непосредственным ребёнком, несмотря на возраст и болезни. Он выдавал себя даже в еде, копался, как дитя: то буду, то — не буду... Не любил яблок, категорически не пробовал борща. Такой вот избирательный вкус растущего организма! Но жареными пирожками просто объедался, как и вредными, в густой сахарной пудре, пончиками — где-нибудь на вокзале или на бегу... О пользе тех или иных продуктов думают чаще всего в старости, до которой ему жить — не дожить.

С мальчишками и девчонками он держался на равных, легко входил в доверие. И тут не было никаких подделок и заигрываний — дети это безошибочно чувствуют. Ну а написанное Валера проверял прежде всего на своих

дочках Марине и Кристине, а позднее и на внучке Лере. Именно они его больше всего стимулировали, требуя каждый вечер, перед сном, сказку за сказкой, стишок за стишком.

Если б только можно было
Жить совсем-совсем без мыла,
Я бы голову не мыла
Целый год, а может, два.
Пусть бы жили на макушке,
Как на солнечной опушке,
Две зелёные лягушки
И кричали всем: «Ква-ква!»

Так и рождались великолепные книжки Евгения Козинаки (стихи и проза), полные озорства и фантазий. Он с удовольствием их надписывал, дарил. Приведу лишь одну его надпись мне: «Пусть хоть иногда жизнь кажется детской забавой». Конечно, как без этого?! Нам подарить своё детство не жалко, но потерять — невыносимо. Напомню, три книжки Евгения Козинаки, ещё не вышедшие к маленьким читателям, ждут своего часа, как ракеты сигнала «Пуск!». А Валера Прокошин, спрятавшись в Евгения Козинаки, всё-таки нашёл запасной путь для себя. Он снова уплыл в детство, с которым таким людям невозможно расстаться. Я, во всяком случае, на это очень надеюсь, поэтому и пишу ему туда и стихи, и письма:

Не иначе, в детстве где-то
Ты сумел зашухариться,
Вплыть на лодочке по лету,
Чтобы в речке с небом слиться.
Я видала, как водица
Повторяет наши лица,
Будучи проводником
В лучший мир. И точка. Com

Алексей Мельников

Алексей Александрович Мельников родился в 1963 году. Окончил Московский институт стали и сплавов. Работал в Калуге на предприятиях электронной промышленности, в металлургии, в прессе.

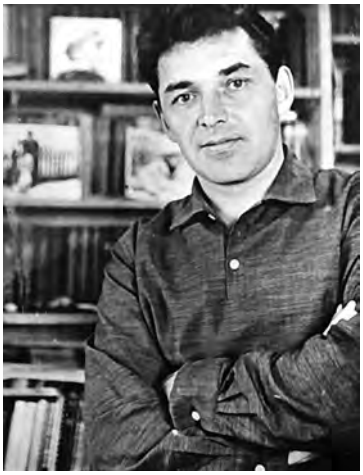
МЕЛОДИЯ КОБЛИКОВА

(К 90-летию замечательного калужского писателя, одного из издателей легендарных «Тарусских страниц»)

Они почему-то очень мало живут — самые талантливые. Владимиру Кобликову было отведено всего 44. Когда я пошёл во второй класс, его уже не стало. О Кобликове я тогда, конечно же, ничего не знал. Встреча состоялась только через два года. Дату знакомства я запомнил точно — 20 мая 1974 года. Именно этим днём заведующий Калужским гороно (фамилия неразборчива) подписал моему старшему брату книгу — в качестве награды за участие в математической олимпиаде. Книга называлась «Мелодия Дворжака». В ней не было нот, как можно было бы сначала подумать. Более того — в ней больше не было никаких упоминаний о великом чешском композиторе.

Под обложкой обнаружились повести и рассказы. Один — самый короткий — был назван моим именем — «Лёшка». Я его тут же и прочитал. «Лёшку знает вся улица. Он гроза девчонок. Его боятся собаки, кошки и воробьи. Лёшка дерётся каждый день и всех побеждает. У него есть старенький велосипед, на котором он умудряется съезжать даже с лестницы...» Вообще-то рассказ был про любовь — Лены и Лёшки — двух дошколят. Всего две странички. Мне их хватило их, чтобы полюбить эту шуструю парочку навсегда. И прикипеть душой к их нежному автору.

С тех пор я и запомнил автора «Лёшки». Однажды взял его книгу с собой в Москву — коротать время в электричке. Попутчик напротив тоже что-то читал и, видимо, пресытившись своей книгой, предложил поменяться. Я протянул ему «Мелодию Дворжака». Он мне — своё, не помню что. Через пару минут я уже не способен был сосредоточиться на подсунутой соседом



В. В. Кобликов

К. Г. Паустовский и В. В. Кобликов

книжке, а с интересом следил за ним самим — попутчик покатывался со смеху, безуспешно затыкал ладошкой рот, размашисто утирал платком выкатывающиеся из глаз обильные слёзы. Смущённо оглядывался — как бы извиняясь за несдержанность и одновременно беспомощно кивая на разложенную на коленках книгу Кобликова: мол, это он во всём виноват, а не я…

Затем встречи с Владимиром Кобликовым стали происходить у меня всё чаще и чаще. Хотя о том, что они были, я узнавал только какое-то время спустя. Скажем, каким-то ветром был занесён в редакцию газеты, где задолго до этого начинал свой писательский путь Владимир Васильевич. Я не знал, что Кобликов здесь тоже когда-то трудился. И рождался, как лучший калужский прозаик. К стыду своему, не ведал…

Подружился как-то с замечательным калужским фотографом Сергеем Петровичем Денисовым. Будучи у него в гостях, в домике за Окой, вдруг узнаю, что нахожусь в родовом гнезде Владимира Кобликова. Сергей Петрович оказался двоюродным братом Владимира Васильевича, который в этом самом домике принимал обожаемого им Константина Георгиевича Паустовского.

Они вообще искренне симпатизировали друг другу — молодой калужский прозаик и всеми признаний литературный мэтр. Без снисхождения со стороны классика и без заискивания со стороны никому не известного провинциального газетчика. Секрет этой дружбы не давал покоя тогда многим: чем же так приворожил этот скороспелый, неугомонный Кобликов искушённого и разборчивого в литературных привязанностях Паустовского? «Подумаешь — насаживал червей «Доктору Паусту» на удочку», — шипели обойдённые вниманием мэтра иные калужские «литературные классики».

Сам же «Доктор Пауст» формулировал силу тяготения к начинающему калужскому литератору несколько иначе: «Проза Кобликова наполнена

спектральным светом. Она горит то красной, то таинственно синей, то напряжённо-зелёной, отражающей могучий всероссийский разлив наших лесов, то золотом, омытым в холодном воздухе того великолепного, хотя и ежегодного чуда, которое мы не зря зовём «золотой осенью».

Можно добавить ещё, что проза Кобликова будто звенит — тонко так, нежно, иногда напоминая то ли бубенчики под дугой, то ли щебет ласточек под крышей. Вслушайтесь только в названия кобликовских повестей и рассказов: «До свидания, Эрлюсы», «Побег в соловьиные зори», «Баюн-трава», «Голубые слёзы»... Последнюю вещь Паустовский взял в свой знаменитый, ставший впоследствии легендарным сборник «Тарусские страницы».

Под одной обложкой в компании с Мариной Цветаевой, Николаем Заболоцким, Булатом Окуджавой, Борисом Слуцким, Надеждой Мандельштам, Давидом Самойловым и Юрием Казаковым поместился и молодой калужский рассказчик. «Под ногами поскрипывал снежок. Дятел долбил звонкое дерево, кричала сойка. На одной маленькой полянке Сергей увидел много чёрных пятен. Подошёл к ним. Грибы. Их забыли собрать, и теперь они торчали из-под снега, чёрные, сморщенные, никому не нужные...»

Кобликов, как сказали бы сейчас, «позиционировался» двояко: как писатель для подрастающего поколения, романтиков и пилигримов — это с одной стороны; и как тонкий деревенский лирик, душой чувствующий сельский уклад, крестьянский дух, околоточный чин... «Придёт Марья перед вечером за амбарчик, сядет на лавку и щурится на заречные дали. С крутизны глядится далеко-далеко. И — сколько глаз хватало — всё леса. Леса хвойные, дремучие. И дали алые. За этими далями, считала бабка Марья, и лежит весь мир...»

Род Кобликовых большой. «У меня их семеро было, ребят-то, да две девки», — пересказывает воспоминания своей и Владимира Кобликова бабушки Сергей Денисов. Отец будущего писателя — Василий — художничал умело, да сапоги тачал ловко. Владимир отчасти по его стопам пошёл — знал толк в живописи. Хотя литература перевесила — окончил филфак Калужского педа. Учительствовал. Но тяге к писательству противостоять не смог — утянули книги. Даже, было время, дослужился до поста главреда калужского книжного издательства. Того самого, что вынянчила «Тарусские страницы».

Впрочем, этих «страниц» с лихвой хватило, чтобы издательство калужское прихлопнуть. А Кобликову наоборот — взлететь. Но уже — не по карьерной стезе, а по писательской. И — вынашивать всё более серьёзные и глубокие вещи. Может быть — большой роман. Или — нежный-нежный, лёгкий, почти невесомый, звонкий, прозрачный и чуточку грустный рассказ. «Который, — делился своими замыслами Владимир Кобликов, — надо писать на одном дыхании...»

Он успел придумать только название этого рассказа. Очень певучее, нежное и искристое — «Мелодия Дворжака»...

2018 г.

Александр Хмелевский

Александр Сергеевич Хмелевский — литератор, автор эссе и пьес. Живёт в Калуге.

НЕ СКЛОНИВ ГОЛОВЫ

Десять лет назад от нас ушёл Олег Михайлович Бушко, поэт, прозаик, языковед и просто умный, интересный, удивительно добрый человек. В этом году ему исполнилось бы 95 лет.

То, что было, было быль иль небыль?
То, что было, было явь иль сон?

Олег Бушко

Родился он 17 мая 1924 года в Краснодаре в семье истинно пролетарской. Отец, Михаил Осипович, был сыном рабочего каменоломни и вырос в доме, где размещалась подпольная типография РСДРП. С ранних лет он был очарован идеями большевизма о ниспровержении царской власти в России: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…». Во время Гражданской войны он был комиссаром в дивизии знаменитого Щорса, а затем — командующим Южно-Кубанским фронтом. Мать, Екатерина Феоктистовна, происходила из трудовой казачьей семьи, а в гражданскую стала красной сестрой милосердия.

В мирное время мать выучилась на врача, а отец окончил военную академию, став, как тогда говорили, ответственным работником. Казалось бы, жизнь наладилась. Но весной 1935 года Михаил Осипович, человек искренний и душевный, честно служивший идеалам большевизма, выступил на заседании партийного актива, чтобы развеять накопившиеся у него сомнения. Ни сочувствия, ни понимания он не встретил. Ему заявили, что в идеалы коммунизма надо верить так, как раньше верили в бога, а тот, кто сомневается, — враг трудового народа.

В одночасье изменилась и судьба одиннадцатилетнего Олега. Отныне он стал, как тогда говорили, «членом семьи врага народа» и оказался очень

далеко от тех мест, где вырос, — в рабочем посёлке фабрики «Организованный труд» под Владимиром, где жил и учился в школе. Вопреки времени и режиму Олег ощущал доброжелательное, участливое отношение окружающих. Но какая судьба ждала его — сына «врага народа»?

В августе 1942 года Олег, призванный после окончания школы военкоматом, оказался на станции Якшанга (в Костромской области) на спецлесоповале, называвшемся «трудовым фронтом». Здесь дети «врагов народа» должны были рубить и пилить лес. Барак, телогрейки, лапти, топоры и пилы, прозванные «кремлевками» (за сходство их зубьев с зубцами Московского кремля). Тот же лагерь, что и у их отцов, только без явного конвоя.

Октябрь сорок второго года.
Мороз — чуть ли не
в душу влез.
А сыновья «врагов народа»
в тылу далёком валят лес.
В тылу! ...
На перекличках тут такие
фамилии звучат порой,
что голову невольно
вскинешь,
чтоб оглядеть застывший
строй.

В сущности, их осудили так же, как и их отцов. Они, совершенно не нужные власти, должны были стать лагерной пылью.

Сын за отца не отвечает?
Нет! От начала до конца
я отвечаю, отвечаю,
я отвечаю за отца!
За те листовки, что печатал
в подполье
большевистском он,
и за статьи
в «Окопной правде»
в преддверье грозовых
времён,
за то, что комиссаром
Щорса
он на войне гражданской
был,
за большевистское
упорство,
за революционный пыл.
Пусть пятьдесят восьмая
крестик
на нём поставила статья...

В это время и был сделан выбор судьбы. Олег и пять его сверстников бежали, став «дезертирами трудового фронта», решив добраться до Москвы, чтобы пробиться в Наркомат обороны. Более 700 километров без денег, без еды, без документов, в военное время, когда расправа была короткой, без суда и следствия. В агитпункте Ярославского вокзала (в Москве), куда они попали, Олег сказал экспромтом пламенную речь: их место на фронте, где решается судьба страны… Затем Олег написал петицию и со своими товарищами всё-таки прорвался в Наркомат обороны. Они добились своего! Их направили в действующую армию…

Олег некоторое время жил в Алёшинских казармах и учился в полковой школе, в запасном зенитном полку, а затем из Мытищ на 195-м отдельном зенитном бронепоезде отправился на фронт.

Я знаю сам, что не герой,
хотя и горд, что в звёздный
час свой
и я держал солдатский
строй.
Горд тем, что, повинуясь
долгу,
историей взят на учёт.

Олег участвовал в освобождении Донбасса, Украины, Молдавии, Румынии. На дорогах войны к нему пришло желание писать стихи, которое реализовалось осенью 1944 года в армейской печати.

Это я был
на бронеплощадке —
долговязый, робкий,
молодой?..
Немцы клали в шахматном
порядке
мины — неминуемой бедой.
Справа, слева, спереди
и сзади…
Вот сейчас!.. А нам уйти
нельзя.
И несмелым быть не смел я,
глядя,
как смелы вокруг меня
друзья.
И с тех пор к любой
нежданной схватке
подготовлен я минутой той:
это ж я был
на бронеплощадке —
смелый, сильный, статный,
молодой!

О. М. Бушко

Стихи привели начинающего поэта в Литературный институт им. Горького. Творческими руководителями здесь у него были Ярослав Смеляков и Евгений Долматовский. Немалое значение имело и общение с однокашниками, яркими творческими личностями.

Большую роль в судьбе Олега сыграл Александр Твардовский, писавший ему в одном из писем: «Работаете вы серьёзно, не ищете лёгких путей, размышляете», отмечая в его стихах «серьёзность замысла, стремление сказать что-то существенное, общезначимое».

После института, с 1953 года, Олег Михайлович жил в Смоленске, где работал в областной газете, преподавал курсы эстетического цикла и, естественно, писал стихи. В 1958 году в Смоленске вышла его первая книжка стихов под символическим названием «Начало» и ещё одна для детей — «Про книжки-малышки».

Лежат себе
книжки-малышки
на полке
и ночью
ведут разговор
без умолку.

Молодой автор начал публиковаться и в журналах, и в альманахах. В 1964 году он был приглашён в Москву на День поэзии. Казалось, распахнулась широкая дорога свободного творчества. Но... В октябре этого же года произошёл тихий и бескровный государственный переворот: на смену Никите Хрущёву пришёл Леонид Брежнев, коммунистический ортодокс и догматик. С этого времени свободомыслие старательно изгоняли, подменяя его лицемерным единогласием, а непокорных писателей просто перестали (по негласному указу сверху) публиковать. Олег Михайлович, к тому моменту общественно активный человек и уже известный в Смоленске поэт, не захотел изменять идеалам истинной свободы, что привело к конфликту с обкомом КПСС, хотя он и не состоял в партии.

В 1968 году Олег Михайлович, надеясь начать новую жизнь, переехал по приглашению Николая Воронова, однокашника по литинституту, из Смоленска в Калугу. Это мало что изменило: негласный запрет на творчество оставался в силе.

Три года — с 1968 по 1971 — он рецензировал для «Литературной России» стихи, присылаемые в газету со всех концов страны. Затем Олег Михайлович занялся переводами, делая их даже с корейского языка. Бывало, писал и статьи за косноязычных руководителей и начальников. Всё это позволяло

худо-бедно держаться на плаву в материальном отношении, но не давало душевного удовлетворения.

В эти годы, между прочим, он сделал и великолепный перевод 66-го сонета Шекспира, который ничуть не хуже, чем у Маршака и Пастернака:

Устав, взываю к смерти: успокой! —
чтоб попрошаек не видать в почёте,
и низость жадную в оправе дорогой,
и веру, преданную в злом расчёте,
и почесть тем, что низки и пусты,
и добродетель на аукционе,
и совершенство в рабстве клеветы,
и мощь, которой правит беззаконье,
и мудрость, смолкшую среди цензурных пут,
и тупость — в жалких поучать потугах,
и правду, что безумием зовут,
и благо, и добро у зла в прислугах...
Устав, взываю к смерти, но — терплю:
как брошу я тебя, кого люблю?..

С горечью Олег Михайлович написал годы спустя: «В моей жизни тогда, в самом работоспособном возрасте, когда талант множится на опыт, образовалась «чёрная дыра» непечатания продолжительностью в 17 лет...»

Фактически только со смертью Брежнева начали выходить поэтические книги Олега Михайловича: «Тяжёлый огонь» (1982), «Суть» (1985), «Для вас» (1990), «Костёр» (1992), «Силуэт» (1994). Юбилеям Великой Победы были посвящены сборники его стихов «Солдатская книжка» (1995) и «Равнение» (2005). В 1999 году вышел его небольшой, но интересно написанный роман «Любовь сильнее смерти». Сборник стихов «Эхо», изданный в 2004 году, стал итоговым в творчестве поэта.

На гордость победы,
на радость успеха,
на всхлипы рыданья,
на сполохи смеха —
на всё отзывается
сердцебиенье —
души неусыпной мгновенное
эхо.

В последние годы жизни Олег Михайлович создал два любопытных пособия: «Эстетика для школьников» и «Школьный словарь литературных терминов». Обе книжки, написанные с глубоким знанием дела, представляют большой интерес не только для учащихся, но и для учёных-филологов. На всероссийской выставке «Образовательная среда-2000», проходившей на ВДНХ (Москва), автор за написание «Школьного словаря литературных терминов» был награждён золотой медалью.

Олег Михайлович Бушко прожил большую, трудную, яркую жизнь и ушёл от нас 14 октября 2009 года в возрасте 85 лет.

Спустя чуть более двух лет — 10 февраля 2012 года — в галерее Л. А. Климентовской состоялся вечер памяти Олега Михайловича, на котором Римма Яковлевна, его вдова и подруга, устроила презентацию новой книги поэта «Распахнут светлый мир». Взяв на себя подвижнический труд, она собрала его любовную лирику и издала отдельной книгой. Этот вечер открыл его друзьям и почитателям великолепный дар интимно-сердечной лирики поэта.

Как будто сам Олег Михайлович прислал искренний привет из незабвенного прошлого:

Пусть, кто вспомнит,
зайдёт
не по долгу, не ради
застолья,
а когда луч погасшей
звезды
в душу глянет сквозь мглу.

Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Валерьевич Кузнецов родился в 1967 году, окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1993), работал тележурналистом, пресс-секретарём. Автор стихотворных книг «Русская рулетка», «Белый марш», детской книги «Колобок и два жирафа в Стране пиратов». Лауреат премии им. В. Кирюхина в области радио- и тележурналистики, литературной премии им. М. Цветаевой, премии имени генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля.

ИЗ ЦИКЛА «МИНИАТЮРЫ»

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Свои первые стихи я написал, когда мне было шестнадцать. Нет, сочинял я и раньше, лет с семи, но это было что-то невразумительное. А тогда, летом 83-го, мне впервые показалось, что вот эти вдруг появившиеся строчки, возможно, не столь уж плохи. Откуда они пришли ко мне? Конечно, из книг, из детских фантазий. Романтический подростковый бред. И всё же именно их я оставил, не уничтожил, как сотни других черновых набросков, а через много лет уже уверенной рукой поправил, довёл «до ума». Знаешь, я никогда не ставлю дат под стихами, не хочу фиксировать их временные координаты. Но появление некоторых помню. И вот — лето 83-го. Первая любовь, первая сигарета, первый глоток портвейна в дружеской компании, первые стихи:

Под трубный звук и крик прощальный
«Вперёд! Во славу короля!»
Уходят в путь за новой тайной
Три белоснежных корабля.

Всё дальше, дальше… Но не плачьте
В слепом предчувствии беды,
Покуда вьётся флаг на мачте,
А люди смелы и горды.

На берегу — костёр и плаха,
Запоров лязг, рычанье псов,
А здесь — ни горести, ни страха,
Лишь окрылённость парусов.

«Санта Мария», ветер стонет,
Кидая пену по бортам!
В какую даль тебя загонит
Твой сумасбродный капитан?..

Годы минули, но мои парусники идут и идут в неизвестность.

«Санта Мария»... «Паллада»... «Святая Анна», куда вы несёте меня до сих пор?

ЗОРРО

Зимний вечер 1976 года. Маленький кинотеатр «Спартак» не то что переполнен — забит до предела, до невозможности. Мне (девятилетнему) экран еле виден, и мама сажает меня на колени. В обычной ситуации ни за что бы не пошёл на такое, но тут... Тут ведь особое кино. Мы смотрим фильм «Зорро»! Тот самый, с Аленом Делоном. У-ух!! Что это был за фильм! И что это была за музыка!! Стоило бы добавить: сейчас таких нет... Но — в каждом времени свои шедевры.

Уже с первых кадров — берег моря и скачущий на лошади всадник со шляпой, откинутой за спину — с первых аккордов песни братьев де Анжелис:

Где даль светла, где сталь бела,
Где смерти мгла навек ушла, там — Зорро.
Где шум волны, где звон струны,
Где блеск луны пронзает сны, там — Зорро.
Лишь одному дано ему
В огне, в дыму, пройти сквозь тьму...

Мою детскую душу захватил почти физический восторг и не отпускал на протяжении двух часов. Наверное, я пережил один из моментов абсолютного счастья. «Здесь больше не будет литься кровь!» — звучало на площади знойного калифорнийского города, и одинокий мститель в чёрной маске с хлыстом и шпагой разгонял целую толпу врагов... «Когда мне надоест забавляться с вашим мундиром, я проткну вас насквозь...» — слышал жестокий полковник Уэрто и опускался на колени перед обиженной девушкой. И самое впечатляющее — «эпиграф» к последней, смертельной схватке: «Легко убивать святых, полковник... Попробуйте справиться с грешником!»

Давно это было. Много лет я не пересматривал старую ленту. Но помню её хорошо, до кадра. Ну и Делон — до сих пор один из любимых артистов. Конечно, Зорро — не самая серьёзная его роль. Но — едва ли не самая знаменитая. А уж что творилось на просторах нашей (в то время советской) страны! Не было школьной парты, автобусной остановки или телефонной будки, не отмеченной буквой «Z». Да я и сам, помнится, написал её немало...

Как-то раз вызывающий росчерк появился даже в классном журнале.

— Я спрашиваю, кто это сделал?! Кто испортил журнал?! — вне себя от гнева выговаривала нам Любовь Сергеевна, преподаватель русского языка.

— Зор-ро… — послышалось из глубины класса.
— Кто?!
— Зор-ро… защитник обиженных и угнетённых.
— А! Ну, может быть, он покажется? Может быть, выйдет сюда, к доске?
— Зор-ро сейчас нет…
— Нет?!
— Но когда-нибудь он вернётся.
— Тьфу! Вот пусть тогда сразу идёт к директору!

Как часто люди, взрослея, относятся с пренебрежением, а то и с явной насмешкой к тому, что в детстве казалось совершенно серьёзным, приносило радость, вызывало восторг… Я не из этого числа. Никогда не изменял книгам, фильмам, песням, которые однажды понравились или помогли в жизни. Фильм «Зорро» — яркое детское впечатление — люблю до сих пор. И знаю многих, разделяющих мои мысли. А это, кстати, признак настоящего искусства, если произведение столько лет — в данном случае почти полвека! — остаётся в памяти, живёт в душе. Когда порой кажется, что хищное зло, властный обман и стяжательство безнаказанны, всесильны, непреодолимы, — мне вспоминается блистательный лейтмотив давнего фильма и как–то светлее становится небо, и воздух чище и прозрачнее.

Но всё же он есть!
Ты тоже жди весть,
Однажды вернётся к нам — Зорро…

КВЕНТИН ДОРВАРД

Сто лет, кажется, не перечитывал знаменитого романа. Да и вряд ли уже открою. А когда-то… Когда-то, забравшись с ногами в широкое кресло на квартире у бабушки, я не мог оторваться от роскошной рыцарской прозы сэра Вальтера Скотта! Напрасно меня звали к обеду, — я даже не откликался, только мотал головой. Были зимние каникулы (пятый класс), и дед достал из книжного шкафа эту книгу… «Вот тебе, мушкетёр (дед частенько называл меня так — ласково и чуть насмешливо) ещё одну “бомбу” для чтения!» Всё, рекомендованное дедом неизменно было на пределе моих мальчишеских интересов. Я тут же схватился читать и — улетел, провалился во времена Людовика XI, шотландских стрелков, разбойников и беглых принцесс… Видя, что к столу меня не дозваться, бабушка (на каникулах я жил у неё) рассердилась и хотела уже применить силу, но дед остановил: — Не трогай его, он сейчас далеко. — Где это? — не поняла бабушка. — За тридевять земель… И это действительно было так!

Давным-давно нет уже волшебной страны моего детства, и холодок немого восторга не пробегает змейкой между лопаток. Это нормально, это правильно. Но… какое же счастье когда-то подарила мне книга, предложенная дедом, — старая, добрая рыцарская книга!

Я и сам теперь не знаю,
Где, в какие времена
Это было. Вспоминаю:
...Замка серая стена,
Амбразуры и бойницы,
Меч, кольчуга, арбалет.
И столетий вереницы,
Как трагический балет,
Искажаясь в танце диком,
Смутно кружат предо мной.
Небо, знамя с Божьим ликом,
Шпили башен над стеной,
Мост подъёмный, кавалькада
Выезжает из ворот...
Свет девического взгляда
Станет заревом вот-вот,
Под тяжёлый грохот стали
В кровь окрасится трава,
Истомится от печали
Изабелла де Круа,
А разбойничья пехота
Перейдёт Арденнский лес...

Красный томик Вальтер Скотта,
Позолоченный обрез!
Как же я любил когда-то
В романтическом плену
И шотландского солдата,
И бургундскую княжну!
Невозможно детской вере
Жизнь исправить ни на миг,
Не открыть заветной двери,
Как страницы лучших книг,
В мир, где честь всего превыше,
Где любовь всегда права.
...Замки, флаги, шпили, крыши,
Песни, шпаги, кружева...
Вспоминаю, вспоминаю
Эту призрачную дверь,
Но и сам уже не знаю,
Где искать её теперь?

ТРИ МУШКЕТЁРА

Мне было десять лет, и я не верил в Деда Мороза. Но почти верил в мушкетёров. Почти, потому что понимал, — их нет на самом деле. И всё же, читая книгу, я видел их живыми. По-настоящему видел. Нас было трое школьных приятелей: я — Атос, Игорь — Портос, Андрей — Арамис. Так мы решили, облачась в костюмы, сшитые мамами. О, эти костюмы! Они были великолепны! Образцом служил рисунок Мориса Лелуара из энциклопедии: трое господ и примкнувший к ним молодой гасконец стояли у моста через

Сену в самых непринуждённых позах и во всей мушкетёрской красе. Мы повторили её, как могли: короткие плащи с крестами из наклеенной блестящей фольги, большие воротники, кружевные жабо, бриджи до колен, белые гольфы, туфли с пряжками и — главное! — шпаги с жестяными гардами, сделанные из длинных, тонких указок. Широкополые шляпы мы целый вечер создавали из ватмана под руководством моей мамы.

Ещё не вышел на экраны знаменитый музыкальный фильм, но «Пора-пора-порадуемся…» уже звучало везде. Это был шлягер! Кажется, его пели даже солдаты, маршируя по военному городку. Мы тоже пытались петь, но ничего не получалось. Зато на школьной ёлке наши костюмы были вне конкуренции. Жаль, не осталось ни одного фото. Всё только в памяти. А ёлка та кончилась трагически. Во время хоровода газовое платье одной из девочек (нашей одноклассницы) вспыхнуло от искры из детской хлопушки. Девочка превратилась в факел. Учитель, игравший Деда Мороза, бросился сбивать пламя и загорелся сам. Визг, крики, огонь… Их спасли, но ожоги были очень сильными. История наделала шума. Только мы, дети, даже не поняли тогда опасности ситуации.

Праздничные ёлки продолжались. Продолжалась и мушкетёрская эпопея. Следующий маскарад был на главной ёлке нашего городка, проходившей в солдатском клубе. Там я оказался один, без друзей, но вполне себе Атос, привлекавший всеобщее внимание. Каково же было моё потрясение, шок, просто удар судьбы, когда я услышал из уст любезной Снегурочки: — Приз за лучший костюм получает… кот в сапогах! — Какой кот?!! — завопил я в негодовании. — Кот в сапогах! — настойчиво повторила Снегурочка, идя ко мне с подарочной коробкой. Казалось, что микрофон усилил её голос тысячекратно. — Я не ко-о-от!!! Это ты кошка драная!! — от жгучей обиды слёзы хлынули из глаз, праздник померк, и весь мир стал вдруг чёрно-белым. Я спрыгнул со сцены и выбежал из зала… Ну как можно было принять меня за какого-то паршивого кота?! Меня — мушкетёра роты господина де Тревиля?!! До сих пор не понимаю. Эх, детство, детство, мушкетёрское моё детство, как же ты далеко…

Стук сердец угасает немо,
Вечность души берёт в полон.
Нет ни герцога Бекингема,
Ни виконта де Бражелон.
Цепи рвутся, горят бумаги,
Ветер гонит столетий прах…
Остаются сердца и шпаги —
Не в романах, в иных мирах!

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

А если бы я был всемирно известным, хорошо обеспеченным и важным таким поэтом, в твоих глазах это имело бы значение? Как знать… Но однажды я действительно перевоплотился. Ненадолго, только на одну ночь.

Новенький двухэтажный поезд «Петербург — Москва» плавно тронулся с вечернего вокзала. Я закрыл глаза. Позади был день в любимом городе, выступление в Царском Селе, коньяк, ананасы в шампанском... Только что рассказывал об этом (друг звонил), и вновь события фейерверком кружились в памяти. Рюмка «на посошок» была явно лишней.

— Простите за нескромный вопрос, а вы не артист? — две симпатичные шатенки среднебальзаковского возраста, сидевшие напротив, глядели на меня с нескрываемым любопытством.

«Вот-те номер! За артиста приняли. С чего бы? Ах, да я ж по телефону говорил! — выступление, сцена... Тут любой подумает».

— Нет, милые дамы, с Мельпоменой я не в компании, но вы почти угадали. Я — поэт.

— Поэ-эт?!

— Ну да, стихи пишу.

— Вау! А прочесть что-нибудь можете?

«Эх, думаю, видно, дамы «в поиске» и скучно им, бедным... Но сразу соглашаться нельзя. Нужно поломаться». Стал ломаться:

— Не могу, устал, только что с концерта...

— Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим. А у нас вот пирожки есть... с яблоками...

— Вам стишки, мне пирожки, — скаламбурил я к радости попутчиц, — ладно, уговорили...

Я сделал вдохновенное лицо, придал взгляду нужную отрешённость и выдал:

Россия, ты моя! И дождь сродни потопу,
И ветер, в октябре сжигающий листы...
В завшивленный барак, в распутную Европу
Мы унесём мечты о том, какая ты...

— Ой, как здорово! Ой, как интересно! А как вас зовут?

— Юрий... — я выдержал паузу для солидности и изрёк как можно весомей, — Кублановский.

Несколько секунд длилась тишина, потом та, что повыше, произнесла, как бы припоминая:

— А я вас, вроде бы, видела по телевизору. Но думала, что вы старше.

— Экран всё искажает, — заметил я скептически.

— Да, да, вот Пугачёва большой кажется, а на самом деле маленькая, — вмешалась вторая шатенка (с большим бюстом).

— Борисовна? Мне по пояс будет...

— А вы знакомы?!

— Хм... живём рядом.

— Ой, Юрий, э-э...

— Можно просто по имени...

— Юрий, а почитайте ещё что-нибудь! Ну, Юрий, ну, пожалуйста...

— Эх! Ну что с вами делать… Слушайте:

Потёмкин, Зубов и Орлов —
Екатерининских орлов
Блестящая плеяда —
Намёка ждут и взгляда.
Кому, приосвещая путь,
Помогут слуги проскользнуть
В таинственную дверцу —
К жиреющему сердцу?
За шаткой ширмой будет он
Шуршать шелками панталон.
И матушка царица завоет,
Что волчица…

— А-а-а!.. Юрий, какие у вас стихи замечательные! — зааплодировали дамы, пища от удовольствия.

Поездка явно была не скучной. Ну а я вошёл в роль, и принялся рассказывать байки из богемной жизни, слышанные ещё в литинституте, периодически разбавляя их стихами Кублановского, благо помнил их в достаточном количестве… Было уже за полночь, когда мои соседки угомонились, а я выложил все подробности о жизни на российском Парнасе.

Утром мы были в Москве. Прощались трогательно, со слезой. Шатенка с большим бюстом протянула мне книгу Акунина для автографа.

— Не люблю я Гришу, пишет и пишет, пора уж и честь знать, — проворчал я под нос, но размашисто расписался, присовокупив пару строк, типа «милой Лерочке в память о приятном знакомстве…».

— Вы, Лера, если увидите, что я где-то выступаю, прямо с этой книгой приходите и на входе автограф показывайте, вас пропустят и ещё на лучшее место посадят. А если что не так, скажите, мол, Кублановскому пожалуетесь, он придёт и всех уволит.

— Юрий, — вдруг застенчиво пролепетала та, что повыше, — можно спросить: а вы женаты?

(К этому вопросу я был готов, можно сказать, предчувствовал его.)

— Гм… Видите ли… У меня есть муза.

— Му-уза?!

— Ну да. Что вы удивляетесь? Для нас, поэтов, жена — понятие относительное. А вот муза…

(Включаю смартфон. На экране — твоё фото, самое эффектное. Показываю спутницам.)

— Муза!..

С полминуты длилась тишина и напряжённое сопение. Наконец высокая вздохнула и произнесла с непередаваемым выражением:

— Эх, Юрий… Вы, поэты, такие…

И вот я думаю с тех пор: ну, а какие мы, собственно?

Екатерина Карачун

Екатерина Александровна Карачун родилась в Калуге. Студентка 3-го курса направления «Русский язык и иностранный язык» Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, изучает китайский язык.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ «ОБЛАКОВ»

В 2018 году состоялся выход в свет первого выпуска Калужского литературного альманаха «Облака». Издание нового литературного альманаха — это большое событие для культуры Калужского края. Некоторую информацию о калужских писателях, поэтах и их произведениях читатель может найти в интернет-пространстве, но, как правило, эта информация требует перепроверки и теряется среди другой. К тому же существует много авторов, чьё творчество обычно не рассматривается как часть богатого культурного пласта, сформировавшегося в Калужской области. Благодаря первому выпуску «Облаков», не блуждая среди сотен журналов, книг, интернет-публикаций и отчётов литературных конкурсов, можно узнать о выдающихся, но малоизвестных или забытых, талантливых, но ранее не публиковавшихся авторах, перечитать любимые произведения признанных творцов.

Литературные альманахи Калужской области уже не раз привлекали внимание широкой аудитории. Эти издания — пример удачного объединения произведений высокого литературного уровня под одной обложкой. Так, в 2013 году состоялся выпуск литературно-художественного альманаха «Тарусские страницы XXI век», продолжив историю первых легендарных «Тарусских страниц» 1961 года. Некоторые из имён, попавших во второй выпуск «Тарусских страниц», мы видим и на страницах «Облаков».

«Я — Мастер Облаков, то есть тот, кто придаёт им определённую форму.<...> Найти подходящее облако, эту бесформенную гору водяного пара — не полдела, и не четверть дела, даже не десятая его часть», — пишет тележурналист Владимир Кормильцев в первом произведении первого раздела «Проза и поэзия». Таким «Мастером Облаков» в прямом и переносном смысле для альманаха стал его редактор-составитель, председатель регионального отделения Союза российских писателей Александр Трунин.

Альманах «Облака» собрал в себя произведения 46 поэтов, писателей, журналистов, краеведов, чья творческая жизнь так или иначе связана с Калужским краем. Объединение большого количества авторов разных литературных направлений позволит читателю получить представление о текущем состоянии развития литературы Калужского края, а структура книги организована таким образом, что читатель, переходя от одной рубрики к другой, получает возможность самостоятельно исследовать культурную жизнь области в различных её проявлениях.

Первый и самый большой раздел альманаха, как уже упоминалось, называется «Проза и поэзия», и открывает его произведение Владимира Кормильцева «Сюжеты облаков», оставляющее впечатление маленького художественного фильма на бумаге. За ним следуют стихотворения под общим названием «Лишь краски на холсте» Владимира Обухова, поэта, искусствоведа и художника, чья жизнь уже много лет связана с Калугой. Также в этом разделе мы можем найти произведения известной поэтессы Марины Улыбышевой («Моё синее счастье»), участницы ежегодных российских фестивалей верлибра Натальи Никулиной («В окружении ангелов»), повесть Вячеслава Некрасова «Любовь моя, цвет зелёный».

Цикл Дмитрия Кузнецова «Снежная королева» и стихотворения Юлии Горбачевской «Чудо за чудом» на фоне привычной современной «экспериментальной» поэзии воспринимаются как давно забытая сказка, где каждое слово знакомо и легко ложится на душу. Следом — два рассказа писателя-фантаста Михаила Тырина «Отпуск за храбрость» и «Клиент созрел», в которых трудно определить границу между фантастикой и обратной стороной нашей реальной жизни.

В альманахе представлены стихотворения Игоря Красовского и Виктора Чернявского — необычные, заставляющие задуматься и перечитать их снова…

В городе-космонавте
С небольшим притяжением —
Взлетевшим воображением
В невесомости парил…

(В. Чернявский)

Альманах «Облака» задумывался как периодическое издание, которое объединило бы писателей и поэтов с разным опытом, направлением творчества, и уже первый раздел — «Поэзия и проза» — подтверждает, что это удалось осуществить. В него наряду с произведениями таких известных авторов, как Александр Трунин, Галина Ушакова, Ольга Шилова, Юрий Убогий, знакомых читателю по многим литературным сборникам, книгам и журналам, вошли стихотворения писателя и журналиста Максима Васюнова, дебютный сборник которого вышел лишь через несколько месяцев после издания данного альманаха. За иносказательно-прямолинейными стихотворениями Петра Топоркова следуют пронзительные рассказы Ольги Клюкиной, рядом с лирической поэзией Эльвиры Частиковой — немного печальная проза Натальи Торбенковой.

В раздел «Проза и поэзия» попали также богатые красками и смыслами стихи Юрия Холопова, Павла Тришкина, Маргариты Бендрышевой

и Людмилы Филатовой. Завершается, но только «почти», раздел повестью «Завтрак на траве» Александра Ларина. «Почти» — потому что после следует небольшой подраздел «Поэтическая панорама».

Панорама — «вид с высоты» — в данном случае «облачной», знакомит читателя со стихотворениями Инны Тепловой, Виктора Канаева, Натальи Головатюк, Владимира Кормильцева, Александра Зорькина, Виктора Лареева, Светланы Соколовой…

Мир, что зеркален и хрустален
И что незримо состоит
Из сотен судеб, чувств, желаний,
Мечтаний и воспоминаний…
Всё это дом в себе хранит,
И он стоит, и знать не знает,
Что целый мир в себя вмещает…

(В. Кормильцев)

Завершается раздел «Проза и поэзия» повестью «Рояль» Александра Киселёва. Произведение построено в непривычной форме — в виде задачи, где основной сюжет разворачивается в «действиях» её решения.

Второй раздел альманаха знакомит нас с творчеством Андрея Коровина, поэта, чьи стихотворения переведены на десять языков, руководителя Международного проекта «Волошинский сентябрь» и других культурных проектов. В 2017 году он впервые посетил Пушкинский праздник. Калужский край поистине может гордиться культурной традицией, начало которой было положено более сорока лет назад на территории бывшего родового имения Гончаровых. Каждый год там собираются поэты, писатели, краеведы, пушкинисты со всей России. В альманахе представлено несколько стихотворений Андрея Коровина о Пушкине.

«Литературный космодром» — так называется следующий раздел альманаха, а также проект 2018 года, призванный поддержать творческую молодёжь, выявить талантливых авторов и познакомить с ними читателя. С этого космодрома в «Облака» успешно состоялся полёт четырёх авторов: Анны Пашковец, Евгении Шабаевой, Софьи Семиной и Дмитрия Горенского. Раздел завершается «письмом» Дмитрия Горенского под названием «Nihil novi», автор призывает задуматься, возможен ли «большой и смелый разговор о поэзии, преемственный и не глухой». Каким бы ни был ответ на него, четвёртый раздел альманаха помогает «встретиться без страха» для этого разговора.

Важным и необходимым представляется следующий, возможно, немного грустный раздел — «Литература и судьба». Мысленно его можно разделить на три части.

Первая часть, подготовленная Юрием Холоповым и Александром Трунинным, повествует о трёх поэтах, которых, к сожалению, уже нет с нами — это Алексей Петрович Золотин, Михаил Анищенко и Вячеслав Щетинников. На страницах альманаха не просто вырванные из контекста строки их стихотворений, но отражение судеб, их самих в воспоминаниях, биографических

очерках, посвящённых им произведениях, отрывках вышедших когда-то статей и личной переписке с автором.

А умереть —
так раствориться
в зелёной вечности земной,
как будто заново родиться
и быть всегда самим собой.

(В. Щетинников)

Тот, кто не был знаком с этими авторами, почувствует, что лично познакомился с тремя замечательными людьми и выдающимися поэтами, кто знал их — будет рад новой встрече — за облаками времени.

Устав от беспросветной суеты,
Я глянул вверх — как будто бы спросонок —
И увидал там ровный свет звезды,
Зазывный свет среди сплошных потёмок.

(А. Золотин)

Вторую часть открывают две статьи Марины Улыбышевой: «Страда поэтическая» и «Справка о гениальности». Не случайно они попали в раздел «Литература и судьба», в них чрезвычайно ярко представлена связь между судьбой страны, судьбами людей и, как следствие, судьбой поэзии. От «погоды» в стране меняется отношение человека к «поэтическому небосводу», и его собственная судьба часто приводит к желанию подняться на эту высоту (к сожалению, иногда «бесформенным облаком»).

Вячеслав Черников (художник-оформитель, лауреат областной литературной премии им. Валентина Берестова), говоря о жизни Людмилы Георгиевны Киселёвой и её новой книге «Испытаниями растём», напоминает, что Слово — слово с большой буквы, сказанное простым человеком, даже необязательно поэтом, — обладает большой силой. Вот где действительно трудно понять, где граница между литературой и судьбой: «Силу слова она ощущает физически, и слово для неё — материально и конкретно», — пишет Вячеслав Черников. Строительство храма, создание музея народного творчества, картинной галереи, издание книг, организация помощи детям-сиротам… — своей волей и Словом Людмила Георгиевна, несмотря ни на какие трудности, преподносимые судьбой, вносит неоценимый вклад в культурную и духовную судьбу края, и благодаря данному разделу альманаха у нас есть возможность больше узнать об этом.

Третья часть раздела «Литература и судьба» — о Борисе Слуцком, Константине Паустовском. Когда-то, в далёком теперь 1961 году, эти имена прозвучали в известном альманахе «Тарусские страницы», а теперь мы вспоминаем их на страницах нового литературного альманаха Калужского края.

Алексей Мельников, автор статьи о творчестве Бориса Слуцкого, упоминает его стихотворение «На экране — безмолвные лики», и мы узнаём о непростой судьбе этого произведения. В «Тарусских страницах» 1961 года была напечатана только первая его половина, по политическим соображениям,

и лишь спустя двадцать лет увидела свет вторая, более «опасная». Сейчас поэзия не подвергается жёсткой цензуре, уничтожающей и искажающей произведения, существуют все условия для свободного творчества, развития культуры. И, как доказательство этого, в «Облаках» А. Мельников приводит стихотворение «На экране — безмолвные лики» полностью.

Константин Паустовский — великий и всем известный писатель, один из составителей «Литературной Москвы» и «Тарусских страниц», автор, чьи книги издаются сотнями тысяч экземпляров, много лет жил и работал на Калужской земле: «Если море рядом с писателем прошло, Ока навеки рядом осталась...», — пишет в статье «Мой Паустовский» наш современник Алексей Мельников.

И в завершение раздела необыкновенная судьба Ивана Калинина, описанная Татьяной Азаровой, автором рассказов о творческих людях. Иван Михайлович Калинин внёс большой вклад в литературу и культуру Калужского края. Несмотря на непростую судьбу, Иван Михайлович нашёл в себе силы и продолжил занятия литературой. Последняя его книга так и называется — «Происки судьбы». И рассказ о нём — как победный гимн творчеству, жизни и судьбе.

Далее, в разделе «Литературоведение», опубликована статья Анатолия Черникова «Обогащение жанра. Художественные искания в автобиографической прозе русского Зарубежья», в которой представлен интересный и глубокий анализ произведений И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва в контексте их разлуки с Родиной и православным мировоззрением, «которое в эмиграции воспринималось и как первооснова жизни, и как важнейший способ сохранения национальной идентификации».

Архитектура и история Калужского края — важные области культуры, о которых читатели, к сожалению, обычно знают не так уж много. Шестой раздел альманаха — краеведческий. Эссе Андрея Убогого «Городня» позволяет вместе с автором проследить историю этих мест от времён, когда «в Аравии пророк Мухаммед ещё не отправился в Мекку», до настоящего дня, когда здесь уже слышен «гул самолётных моторов». Здесь же статья Владимира Обухова «Классическая Калуга», которая представляет собой превосходное описание «архитектурной судьбы» Калуги, основанное на тщательном анализе исторических фактов, эмпирических данных и ранее вышедших публикаций по этой теме.

Такой синтез литературы, истории и архитектуры даёт возможность увидеть видимую и невидимую историю края на страницах литературного сборника.

И напоследок — раздел «Облако смеха». Он включил в себя некоторые из пародий Дмитрия Кузнецова на творчество Ирины Астаховой — «Ах Астаховский цикл», рассказ Александра Хмелевского «Как ставится пьеса в любительском театре» и необычное интервью прозаика и драматурга Ольги Клюкиной с поэтом Владимиром Обуховым «Ответы-палиндромы».

Подводя итог, можно сказать, что первый Калужский литературный альманах «Облака» — книга-событие. Выход в печать этого альманаха чрезвычайно важен для развития культурной и литературной жизни области. Книга создала хорошую основу для дальнейшей творческой работы калужских поэтов, писателей, журналистов и краеведов. Широкому кругу читателей стали доступны достижения современной литературы Калужского края.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо вступительного слова 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Марина Улыбышева
Перекличка. *Стихотворение* 6

Андрей Убогий
Начало, или Scribo ergo sum. *Эссе* 7

Вячеслав Некрасов
Средь мощных шмелей и полыни. *Стихи* 23

Виктор Чернявский
Я пою для открытой книги. *Стихи* 26

Сергей Михеенков
Повесть о бессмертном сержанте. 28

Владимир Обухов
Звёзд извечный труд. *Стихи* 102

Вера Чижевская
Я вышла из игры… *Стихи*. 104

Юрий Холопов
Уроки плавания. *Рассказ* 106

Инна Теплова
Я привыкаю жить. *Стихи* 109

Владимир Карпенко
Видится свет иной. *Стихи* 113

Юрий Убогий
Время вокзала 116

Пётр Катериничев
Человек по сути своей — живой. *Стихи* 158

Владимир Кормильцев
Зёрна малые слов. *Стихи* 162

Татьяна Бессонова
Замок туманов. *Повесть* 165

Игорь Красовский
Вы подольше только живите. *Стихи* 196

Станислав Еленский
Так и осталось тайной. *Стихи* 201

Пётр Топорков
Всё начинается где-то ещё. *Переводы* 202

Максим Васюнов
Паромины. Откровения о мире неизвестного монаха 203

Татьяна Бубенцова
Бабушкины сказки. *Рассказ* 210

Анна Бахаева
Райская грядка. *Стихи* 216

Маргарита Бендрышева
Я надеюсь опять повториться. *Стихи* 218

Ольга Клюкина
Два рассказа. 222

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Вячеслав Ботук
Продавец облаков 228

Вадим Шевяков
«Света истины...» 229

Станислав Колчин
Нинчурт 230

Вера Волнотёпова
«Очищу огнём, что можно ещё очистить...» 231
«Бабушка дверь закрыла от всего мира...» 231

Наталья Хвостикова
«Счастье моё порастерянное...» 232
«Счастье моё, да какими тропинками...» 232

ДЕТЕКТИВ

Георгий Куликов
А ларчик просто открывался… 234

О ЛИТЕРАТУРЕ

Стихи о поэзии и вечности (*Интервью с Валентиной Невинной*) 278

Эльвира Частикова
Валерий Прокошин: «На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова…» 285

Алексей Мельников
Мелодия Кобликова (*К 90-летию замечательного калужского писателя, одного из издателей легендарных «Тарусских страниц»*) 313

Александр Хмелевский
Не склонив головы 316

Дмитрий Кузнецов
Из цикла «Миниатюры» 322

Екатерина Карачун
Первый полёт «Облаков» 329

ОБЛАКА

Калужский литературный альманах

Выпуск 2

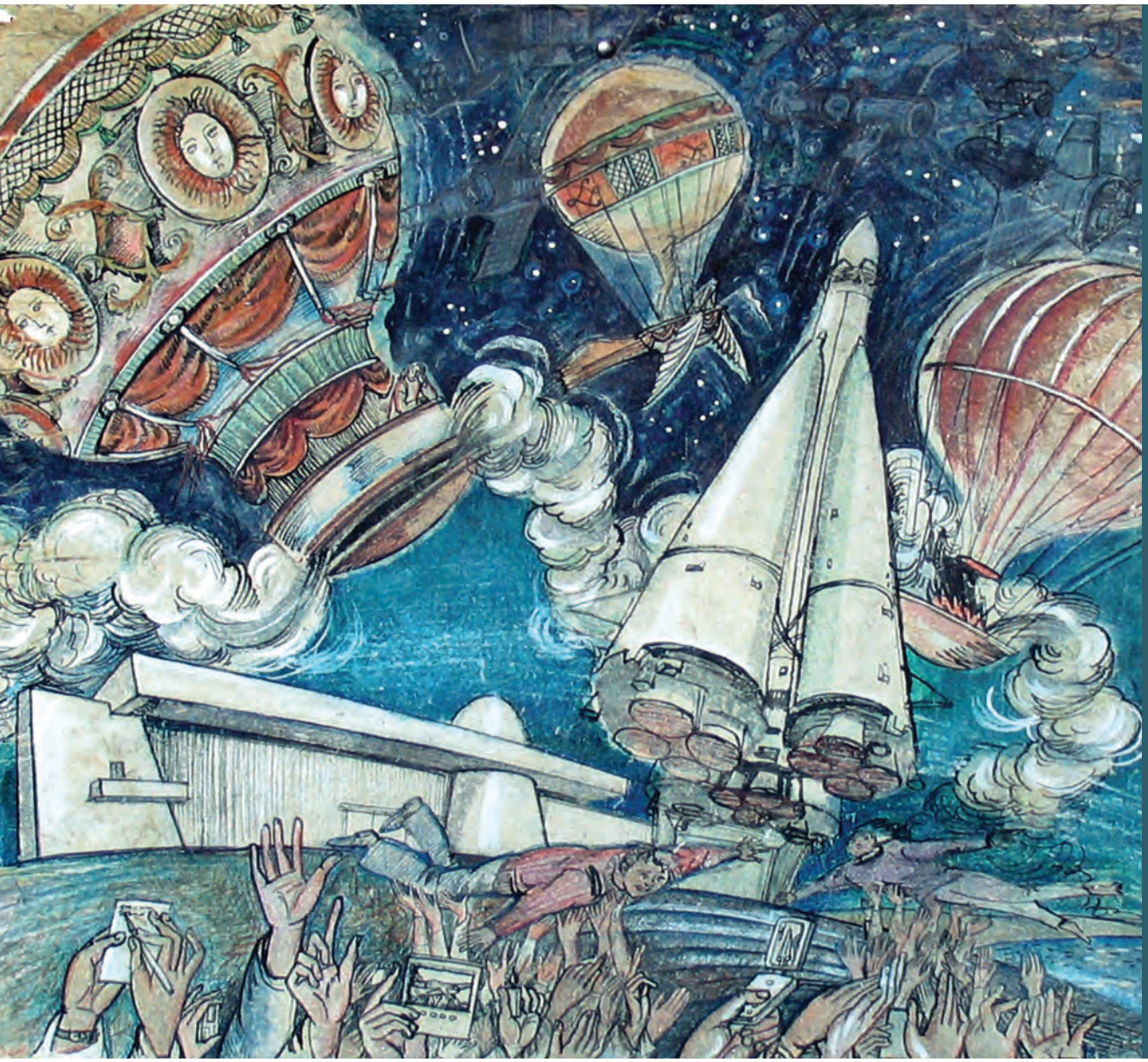
В оформлении обложки использованы лубочные картинки
Ирины Камышанской
«Калуга — родина комонавтики» и «Мы научились летать»

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная верстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издательство «СерНа»
Тел. 8-910-914-95-30
E-mail: sergeizah@gmail.com

Подписано в печать 30.07.19. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 21 п. л.
Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75

Если вы хотите узнать, что выходит из-под пера писателей, живущих на Калужской земле, откройте эту книгу. В ней представлено творчество тридцати трёх авторов из Калуги, Обнинска, Мещовска, Тарусы.

Военная проза и детектив, повествование о декадентах и рассказы на современные темы, тонкая лирическая поэзия и жёсткие авангардные стихи, мудрые размышления о литературе и жизни и воспоминания о писателях-земляках, которыми мы гордимся,– всё это и многое другое читатель найдёт на страницах второго выпуска альманаха «Облака».